ЭС 1885
1923 №1-4

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач. _____

18/09 9 384
19/2-01 45223
20/2 - 45223
25/03/03 - 23896 f
21/2 07 - 14981
2/4/8 - 800

3 ТМО Т. 3600000 з. 1425—91

ЭС 1885

ТКАЧ

ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

№ 1

ЯНВАРЬ 1923 г.

ОСНОВА

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК.

1941

ВСЕРОССИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ СИНДИКАТ

„НЕФТЕСИНДИКАТ"

ПРОИЗВОДИТ
ПРОДАЖУ

Нефтетоплива, осветительных и смазочных масел, а также бензина с отпуском с базисных распределительных нефтескладов по всей территории РСФСР.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ:

Председатель В. А. ТРИФОНОВ
Тел. 2-76-04.

Дирек. Расп. А. И. ЦЕВЧИНСКИЙ
Тел. 2-98-45.

Правление и Главная Контора Нефтесиндиката — Мясницкая 20.

ТЕЛЕФОНЫ:

Управление делами 1-24-84.
Торговый отдел 2-05-22.

ПРАВЛЕНИЕ.

Сокращенный адрес для телеграмм „НЕФТЕТОРГ".

Ивановская Областная Научная Библиотека

Д. Семеховский.

Ткач.

Подумай: руками ткача
Свита золотая парча
И, как ароматный цветок
Расцвел от сияний луча,
Так самый простой лоскуток
Сработан руками ткача.
И если нарядная ткань
Твои одевает плеча,
Воздай справедливую дань
Труду и уменью ткача.
Рубаха, платок, епанча —
Его мастерства торжество.
Так слава работе ткача
И чуду ладоней его!

От редакции.

Журнал „Ткач“ выходит в свет — значит, явилась потребность в общественно-литературном ежемесячнике для читателей нашего рабочего края.

Старый читатель привык к типу толстого журнала, издаваемого обычно в крупнейших центрах страны—Петербурге и Москве.

В наши дни подобные издания появляются и в провинции. Достаточно назвать „Сибирские Огни“, „Понизовье“. К сотрудничеству привлекаются общеизвестные имена, а на ряду с ними участвуют местные писатели — часто из рабочих, которые по разным причинам не в силах пробить дорогу в солидное издание, но которые нередко превосходят самые смелые ожидания неожиданным расцветом своего таланта.

Таким необходима внимательная поддержка.

Кроме того, толстый столичный журнал предназначен, главным образом, для читателя с искушенным литературным вкусом и зрелой культурно-политической подготовкой. Он недоступен рядовому рабочему читателю, который проявляет бесспорный интерес к книге и стремится углубить свои знания и в вопросах политики, экономики, советского строительства, науки, искусства, литературы, и требует доступного, популярного изложения. Это необходимо сделать.

Наконец, наш обширный край красных ткачей в далеком прошлом и в минувшие годы вписал не одну прекрасную страницу в историю борьбы труда с капиталом. На севере, юге, востоке и западе десятки тысяч красных ткачей бились победоносно на красных фронтах с отечественной и международной буржуазией. Голодные, не имея запасов сырья и топлива, они пустили свои фабрики. Неумелыми рабочими руками они сами создали советский государственный аппарат. Эти моменты героических подвигов не должны исчезнуть бесследно; участники тяжкой борьбы должны сохранить их для истории в своих воспоминаниях.

Эрнст Толлер.

РАЗРУШИТЕЛИ МАШИН.

Драма из времен Лудистского движения в Англии. В пяти актах с прологом.

Написана зимой 1920—21 г. в крепостной тюрьме Нидершененфельд.

Английским товарищам, в особенности *Мамте Рартлэй*, сестре ткачихе в Ланкашире, *Вильфреду Веллоку*, товарищу и борцу.

Перевод С. М. Городецкого.

Действующие лица пролога:

Лорд Канцлер.
Лорд Байрон.
Лорд Кэстлери.
Другие лорды.

Действующие лица драмы:

Нед Луд, ткач.
Маргрэт, его жена, ткачиха.
Дети Луда, среди них:
маленький Луд.
Джон Уайбл, ткач.
Мэри, его жена, ткачиха.
Тэдди, их ребенок.
Старый Рипер, отец Мэри.
Джимми Коббет.
Генри Коббет, брат Джимми, управляющий Урэ.
Мать Джимми и Генри.
Джордж, Вилльям, Боб, Альберт, Чарли, Эдвард, Джэк — вязальщики, ткачи и ткачихи.

Том, Первая женщина, Вторая женщина, Третья женщина, Четвертая женщина, Пятая женщина — вязальщики, ткачи и ткачихи.
Дети ткачей.
Нищий.
Двое пьяных.
Луи с тачкой
Урэ, фабрикант.
Маленькая дочь Урэ.
Его гость, чиновник.
Инженер.
Надзиратель.
Глашатай.
Народ.
Солдаты.

Место: Ноттингэм в Англии. Время: около 1815.

Пролог.

Вестминстерский дворец. Зал заседаний английской Верхней Палаты. Пролог может быть представлен простыми средствами перед занавесом. Посредине стол, за которым сидит лорд канцлер, справа и слева стулья для лорда Байрона и лорда Кестлери. В первом ряду зрительного зала другие лорды. Исполнитель роли Джимми может выступать под маской лорда Байрона, а исполнитель роли Уре — под маской лорда Кэстлери.

Лорд канцлер. Билль правительства. Приговаривается к смерти тот, кто разрушает машины. Билль принят в первом чтении подавляющим большинством. Вступаем во второе и третье чтение.

Лорд Байрон имеет слово.

Лорд Байрон.

Известно, лорды, вам о разрушении машин.
Рабочие соединились,
Допущено насилье ими, поднят бунт.
Но кто их научил таким поступкам?
Кто подорвал благополучие страны?
Политика «людей великих»,
Политика грабительства и войн,
Политика больших героев,
О которых ваши книги говорят;
Политика, которая проклятьем стала для живущих поколений.
О, можете-ль вы удивляться, лорды,
Что в эти времена,
Когда обман и ростовщичество, грабеж и жадность,
Как плесень гнусная, пристали к нашим высшим классам,
Рабочий люд, терпя чудовищную нищету,
Забыл гражданский долг и совершил проступки,
Сравнимые с проступками лишь теми,
Что изо дня в день в парламенте свершают наши депутаты?
И в чем же разница меж ними?
Высокопоставленный преступник знает средство,
Как проскользнуть ему сквозь сеть законов;
Рабочий лишь расплачивается за свои проступки,
В которые его вгоняет голод, холод.
Машины у него украли место на работе,
Машины ввергнули его в нужду,
И возмущанье поднялось в его душе:
Велит природа, чтобы все мы жили.

Природа не велит, чтоб доставалось золото немногим,
А остальные голодали.
Рабочий был готов
Возделывать пустые земли,
Но плуг был не его.
Он попрошайничал. Кто в Англии поднялся,
Чтоб сказать: смягчим его нужду?
В бездну слепых страстей отчаянье его низвергло.
Вы, лорды, чернью называете этих людей.
Кричите: голову чудовищу снести,
Всех вожаков повесить!
Где нужно брать любовью, там государство жаждет крови,
Но меч всегда был самым неразумным средством.
Взгляните же на эту чернь, вы, лорды,—
Это та чернь, которая возделывает ваши пашни.
Это та чернь, которая на ваших кухнях служит.
Это та чернь, которая дает солдат для армии и кораблей.
Это та сильная рука, которая вам позволяет
Сопротивляться миру целому врагов,
Которая и вам сопротивляться будет,
Если в тупик отчаянья вы вгоните ее!
Еще одно позвольте мне сказать:
Для войн ваш кошелек всегда был широко открыт.
Одна лишь часть тех денег,
Которые вы Португалии даете,
Чужой стране «гуманно» на войну даете,
Лишь части этих денег было бы довольно,
Чтобы ослабить нищету у нас в стране,
От милосердья виселицы нас освободить.
Я видел в Турции примеры величайшей деспотии,
Но нет нигде такой нужды, как в нашей Англии,
Которая себя считает христианской.
И как зовется ваша медицина? Смертной казнью!
Лечебный корень тех великих шарлатанов,
Что копошатся в теле государства.
Иль не довольно крови набагрилось на законах?
Должна ли кровь так долго литься,
Чтоб к небу возопить ей и свидетельствовать против вас?
Иль смертной казнью вы излечите отчаянье и голод?
Допустим, лорды, примете вы билль
О смертной казни. Посмотрите-ж на того,
Кого вы предаете в руки палача —
От голода он изможден, отчаяньем он притуплен,
Он презирает жизнь, которую вы цените дешевле,
Чем ткацкую машину. Посмотрите на него —
Оторван от своей жены, оторван от своих детей,

Которым он не может хлеба дать (он так бы этого хотел),
Он привлечен к суду. — И кто же произносит смертный приговор?
Двенадцать честных?.. Никогда.
Двенадцать резников вы назначаете присяжными,
А председателем суда, о, лорды, — палача.

Во время речи среди лордов поднимается иронический смех. Возгласы неодобрения.

Лорд канцлер. Лорд Кэстлери имеет слово.

Лорд Кэстлери.

Вы, лорды, слышали
Речь этого почтеннейшего джентльмэна.
Он говорил пред вами, как поэт, не как политик.
Поэты могут сочинять стихи и драмы,
Политика есть ремесло стальных людей.
Весь этот сброд брать под защиту допустимо,
Как поэтическая вольность.
Но государственные люди ценят только принципы хозяйства.
Бедность — закон, желанный богу, непреложный.
В парламенте нет места чувству состраданья.
Нам пастор Мальтус доказал, что сотни тысяч
Людей излишних в Англии — Природа сотням тысяч
Отказывает в пище. Да, жестокости мы видим...
Они — оружие владыки, господа, перед которым
Благоговейно мы должны склониться и умолкнуть.
Пороки, нищета и каждый год войны
Излишнее уничтожают населенье.
Должны-ль бороться мы с божественным законом?
Ведь это значило-б итти против морали.
Наш долг — познать закон
И всеми силами содействовать ему.
Оказывать поддержку бедным — значит поощрять средь них деторожденье,
А бедным в Англии не должно размножаться.
И каждый путь хорош, ведущий к нашей цели,
Коль скоро он согласен с нравственностью и заветом церкви.

Лорд Байрон *(прерывает)*. От голода оставить умирать детей?

Лорд Кэстлери *(лорду Байрону)*.

Я уважаю ваш широкий жест, почтенный лорд,
Но, как политик, должен холодно вам возразить:
Чем больше смерть опустошит толпу детей,
Тем больше будет счастье будущего поколенья.
У нас излишек населения, почтеннейший поэт;
Сердечнейшее чувство
Не поколеблет этой истины железной.

Лорд Кэстлери *(другим лордам).*

Прежде всего прошу, почтеннейшие лорды,
Подумать об одном: благополучье королевства
Поставлено на карту. Заговор открыт против порядка и покоя.
Билль этот — дань на алтарь справедливости.
Поэту подобают чувства.
Расчетливый дан разум государственному человеку.

Крики лордов: браво!

Лорд Канцлер. Список ораторов исчерпан. Прения закрыты. Мы голосуем. Кто из почтенных лордов подает свой голос за билль?

Все лорды, кроме лорда Байрона, встают.

Лорд канцлер. Кто против, прошу.

Встает лорд Байрон. Смех.

Лорд канцлер. Один голос. Билль принят. Заседание закрывается до завтра.

Сцена затемняется.

Первый акт.

Церковная площадь в рабочем квартале Ноттингэма. Солнечный весенний день. Дети сидят вокруг трех сооружений вроде виселиц. Их одежда бедна и в лохмотьях. Лица впалые и старческие. Они поникли безучастно. Из боковой улицы выходит Джимми Коббет. Платье подмастерья. Джимми молча рассматривает детей.

Джимми. Не за работой?.. Праздник?

Первый мальчик. Трех кукол вешают.

Джимми. Трех кукол?

Первая девочка. Они спрятаны в доме у ткача Джона.

Первый мальчик. Я их видел.

Джимми. Вы все уж под ярмом?

Первый мальчик. А что вы думаете, господин? У нас дома нельзя сидеть без дела. Моему брату четыре года, и он уже стоит у станка.

Первая девочка. Тедди едва может бегать, а зарабатывает три пенса в день. Три настоящих пенса.

Вторая девочка *(начинает плакать).*

Джимми. Что ты плачешь, маленькая?

Вторая девочка *(плачет, не отвечает).*

Джимми. Скажи мне. Я больше никому не скажу.

Вторая девочка *(беспомощно).* Ах, господин... Я не знаю... Солнце светит так ярко.

Джимми *(молчит. Блики солнца танцуют на лицах детей).*

Джимми. Знаете ли вы какие нибудь игры, дети?

Первая девочка. Мы очень голодны, господин. *(Молчание).*

Джимми. Любите вы слушать сказки, дети?

Второй мальчик. Что это такое «сказки», господин?

Джимми. Необыкновенные истории о дальних и чудесных странах, о пестрых лугах, на которых играют дети.

Вторая девочка. Ах, играют... Расскажите, господин.

Джимми.

Один богатый человек, по имени Золотобрюхий,
Себе настроил множество дворцов, таких красивых.
Как, знаете, дворец у господина Уре...
Был у него единственный ребенок, по прозванию Беззаботный.
Носил он золотое платье, каждый день играл
В игрушки золотые, в золотом саду.

Первый мальчик. В игрушки золотые?

Первая девочка. И не стоял он никогда у ткацкого станка?

Джимми.

Да, никогда он не стоял у ткацкого станка. Ведь я-ж сказал вам.
Тот человек богатым был. Ребенок назывался Беззаботным.
И жил вблизи дворца один рабочий, ткач.
Он тоже своему ребенку дал названье:
Всегда Несчастный. Это был худенький ребенок,
С тощими руками, узкогрудый, и с ногами,
Как ивовые ветки... Вот как ты.
Однажды маленький Всегда Несчастный
Пришел с корзинкой, полной пряжи,
Под тяжестью ее сгибаясь,
В дом Беззаботного пришел. Увидел он игрушки золотые,
Сады увидел золотые...

Третий мальчик *(при последних словах незаметно отошел в сторону и ищет в водостоке).*

Третий мальчик. Ура! Нашел кусочек хлеба!

Первая девочка. Дай мне кусочек.

Первый мальчик. Обманщик ты. Мы слушаем, а ты ищешь хлеб. Это не хорошо с твоей стороны. Давай сюда хлеб. Мы его разделим.

Дети дерутся с третьим мальчиком.

Третий мальчик. Не дам... Я укушу!.. Ай...

Второй мальчик. Я научу тебя... кусаться.

Между детьми начинается настоящая драка. Они сцепились из-за хлеба. Третий мальчик убегает. Остальные за ним.

Джимми. Один Беззаботный... Другой Всегда-Несчастный.

Из боковой улицы выходит отряд рабочих и работниц в лохмотьях. Женщины одеты в платья из дешевого пестрого ситца. Мужчины в разорванных костюмах из бумажного бархата. На многих мужчинах вместо шапок низкие четырехугольные бумажные колпаки. Впереди несут три куклы, которые должны изображать трех штрейкбрехеров. Крики толпы. Джон Уайбл влезает на подножье виселицы.

Джон Уайбл *(куклам)*.

Предатели! Проклятые! Рабы хозяев!
Сорвали стачку! Мразь! Подлизы!
Питаетесь голодным потом бедных.
Единогласно стачку мы решили.
К машинам ни рукой! И эти тюфяки,
Это дерьмо... пошли к хозяевам
И стали попрошайничать: примите нас... Чорт их дери!
Чтоб тысяча клещей их разодрала.
Веревки намочить в горячем масле
И горло перерьать вам ими.
Связать и положить вас перед чаном виски,
Когда-ж лакать начнете... стерве старой
Велеть вам в пойло...

Три куклы вздергиваются под крики толпы. Двое рабочих становятся справа и слева помоста. Они поют монотонно на манер панихиды.

Первый рабочий. Они хозяевам служили. Они рабочих предали.

Второй рабочий. Если эти попадут на небо, кто захочет спасаться?

Толпа *(вопит, танцуя вокруг виселицы)*. Бэ... Бэ... Черный баран!
Бэ... Бэ... Черный баран!

Первый рабочий. Штрейкбрехер, шерсть имеешь?

Второй рабочий. Да, господин, три полных мешка. Один для эксплуататора. Другой для слуги. Третий должен быть разделен между предателями.

Толпа. Бэ... Бэ... Черный баран!
Бэ... Бэ... Черный баран!

Первый рабочий.

Горе, горе, горе, горе.
Рабство, голь, беда, гнетут.
Слушай: с улицы зловонной
Стон несется похоронный:
Смерть иль труд!

Второй рабочий.

Прочь, прочь, прочь и прочь,
Кто тиран и паразит!
Для бездельника труд — вздор.
Вольной Англии позор.
Кто не трудится, тот вор.
Право — лучший меч и щит.

Рабочие вырывают из земли шесты, на которых висят куклы. Толпа уходит с песней.

Песня.

Вперед, вперед, вперед, вперед;
Врага в глаза узнать.
Уходит ночь, — горит восток.
Окончен час, — песок утек.
Пришел судья, — возмездью срок.
Кто может устоять?

Нед Луд и Чарли остаются.

Нед Луд. Бьюсь об заклад... и на десяти из них нет рубашки.

По площади проходит разносчик.

Разносчик. Пилюли Парра! Пилюли жизни! Ни одному ткачу не нужно больше голодать. Без мяса, без сала, каждый выглядит цветущим, как королева Англии. Пилюли Парра! Пилюли жизни!

Старый нищий рыщет по улице, ища хлеба.

Нищий. Я отлично вижу, это не будний день. Детский выводок, чортов выводок... все подобрал... все сожрал.

Нищий направляется к Джимми.

Нищий. Господин, дайте мне пол-пенни.

Джимми. Я сам ищу работы. Беден, как ты. Ты просишь у такого же голодного, как ты сам, друг.

Нищий. Значит, я нашел то, что надо. Ты думаешь, что я обращусь к жирному мешку? Если-б на земле существовали только богатые, нищие подохли бы с голоду. С нами делятся бедные. За это они и попадут в царствие небесное.

Джимми. Откуда ты это знаешь?

Нищий. Разве ты не знаешь слов нашего господа Иисуса Христа? Скорей верблюд пройдет в игольное ухо, чем богатый в царствие небесное. Богачи только хапают, а дарят неохотно. Оттого у них такие толстые животы. А дверь в царствие небесное очень узкая. Как раз впору для таких голодающих чахоточных, как наши нищие. И очень низка эта дверь. Кто высокого роста, как ты, тому мешает шапка. Спасенье твоей души поставлено на карту, человек.

Джимми. Ты прозевал свое призванье, друг. Ты должен был сделаться попом или депутатом в палате общин.

Джимми дает свою шапку нищему.

Нищий. Я ведь тоже не простой нищий. Я нищий с честолюбием. Я ищу благодетеля, который мне подарил бы землю ценою в 300 фунтов стерлингов. Я в своей молодости видел Вестминстер — снаружи. Я хотел бы как-нибудь посмотреть это здание внутри. До свиданья, друг. Таких молодых, как ты, любит солнце. И ты оказал только дружескую услугу солнцу, подставив ему свою непокрытую голову. Много от того зависит, когда что подставить.

Джимми. Тебя, кажется, любит водка. И потому я боюсь, что ты подставишь мою шапку под лапы шинкаря — для обмена.

Нищий. Друг, ты ирландец. Ты ел слишком много картошки. Она действует скверно на пищеварение. А кто плохо переваривает, тот пропо-

ведует мораль. Заведи себе свинью, друг. Но только не спаривайся с ней. Говорят, что ирландцы так сильно любят своих свиней, что спят с ними в одной постели. Это дало бы потомство людей со свиными головами. А у нас, в Англии, достаточно свиноголовых.

Нищий уходит. Входят рука об руку двое пьяных.

Первый пьяный *(горланит)*.

Точите серпы. Уродила земля.
И дети о хлебе кричат.
Потоками слез оросились поля,
Удобрены смертью отцов.
Погибли надежды. Душа без луча,
Но в землю легли семена.

Второй пьяный *(горланит)* Блаженны нищие духом, говорит господь, и кого он любит, тому... он... посылает... водочки... водочки... водочки... во... во... водочки... Ах, какие мы несчастные... У тебя есть еще несколько пенни?

Первый пьяный *(нараспев)*. Пенни. Хе-хе. Это у нас, где короли мостят отхожие места фунтами стерлингов? У меня есть сто шиллингов, божий ты человек, в моем животе... понимаешь... Моя женка пьет со мной водку... И моих детей посмотрел бы ты... они... п... пьют... водку... лу... лучше... чем ты, че...ем ты... Грудной тоже питается... водкой.. во..о..одкой.

Оба пьяных *(горланят)*. Водка... Во..о..одка...

Проходят мимо. Джимми подходит к Неду Луду.

Джимми. Нед Луд.

Нед Луд. Это я. А ты кто?

Джимми. Рабочий человек, как ты.

Нед Луд. Из Ноттингэма?

Джимми. Родился в Ноттингэме. Много лет странствовал и сегодня в первый раз опять здесь. Шатался по Англии и континенту.

Нед Луд. Тогда я приветствую тебя, как товарища, на твоей старой родине.

Джимми. Благодарю тебя, Нед Луд. У вас стачка?

Чарли. Машина в городе.

Нед Луд. Наши тела хотят втиснуть в ужасное рабство.

Джимми. Из-за этого борьба?

Нед Луд. Они хотят надеть на нас цепи. Они хотят приковать нас к страшному чудовищу. К мельнице, которая приводится в движение паром, и которая когтит людей, швыряет и вертит на смерть.

Джимми. Мулэ-машина уже здесь?

Нед Луд. Каждый человек на божьей земле имеет естественное право жить тяжелым трудом своих рук. Каждый человек рождается свободным и имеет право на труд. Непреложное, святое право. Кто отнимает

у нас это право, является предателем. Предателями являются мастера, которые привезли машины в город. Какая-ж теперь цена ручной работе?

Джимми. У вас уже была Дженни.

Чарли. И уже она была нарушением прав человека.

Нед Луд. Вместо одного веретена она двигает восемнадцать. Каждая Дженни ежедневно отнимает хлеб у пяти прядильщиков. Мулэ, говорят, двигает тысячу веретен. Придет день, когда Урэ выбросит нас на свалку: «Околевайте». «У меня машина». Мы должны соединиться. Ни рукой к машине. Мы хотим жить трудом наших рук, как до сих пор. Тогда знаешь, по крайней мере, что ты человек. Заработная плата с машин — чортова плата. Мы объединились. Джон Уайбл наш вождь. Сегодня вечером собранье у него.

Джимми. Вы ведете борьбу против машин?

Нед Луд. Кулаки ещё наши.

Джимми. Я знаю машину, и говорю: то, что вы делаете, безумие.

Нед Луд. Пусть это безумие, пусть это бесцельно. Мы должны бороться, потому что мы люди. Если будем молчать, мы будем животными, покорно идущими под ярмо.

Джимми. Я знаю, что машина — наша неизбежная судьба.

Нед Луд. Твои слова мне чужды. Я тебя не понимаю.

Джимми. Я хочу снять вам бельма с глаз. Я приду к ткачу Уайблу. Там дадите мне слово.

Из боковой улицы выходит отряд солдат, сопровождаемый толпой.

Глашатай.

Оповестить велел его величество король —
(Шапки долой, презренный сброд!) —
До сведенья властей дошло,
Что подданные заключают тайные союзы,
Грозящие покою и порядку королевства.
Поэтому повелеваем мы: воспрещено
Устраивать собранья, вымогать насильно
Повышенную плату, сокращать часы работы.
Воспрещено
Прилежных подданных, работающих добровольно
Снимать с работы,
Будь то угрозами, иль убежденьем, или просьбой.
Воспрещено
Рабочим сообща бросать условленную службу.
Воспрещено
Во время стачки делать сборы денег,
Поддерживать бастующих рабочих.
Достопочтенным фабрикантам разрешается свободно,
По собственному усмотрению, назначать часы работы и размеры платы.
Тот, кто нарушит запрещенье, будет заключен в тюрьму на десять лет

За богомерзостное это преступленье.
Тот верноподданный, который сообщит о недозволенном собраньи,
О запрещенных сборах, — получает половину
Всех собранных преступно денег.
Другую половину принимает в собственность его величество, король.

Барабанный бой. Солдаты уходят.

Нед Луд. Половину — брату доносчику. Другую половину — его брату королю. Достойная пара.

Занавес.

Второй акт.

ПЕРВАЯ СЦЕНА.

Мещански обставленная комната. У стола обедают Генри Коббет и его мать.

Генри. Я ненавижу чесночный соус, эту приправу черни.

Мать *(покорно)*. Отец...

Генри. Отец. Отец. Мне знакома эта музыка. На свадебном пире венец роскоши: жареное мясо с чесночным соусом. Потом... на рождество, а пасху, на троицу все та же святыня: чесночный соус. Отец сам виноват.

Мать. Заработок...

Генри. Ерунда. Недостаток ловкости. Он остался до конца чулочником. Я в тридцать лет добился купеческого звания. Разница. Я прошу эту тему оставить. Воспоминания о тех временах портят аппетит. Разрушают необходимый уют. Мешают нормальной деятельности пищеварительных органов.

Джимми. Мать...

Мать. Тебя ли я вижу?

Джимми. Добрый вечер, Генри.

Генри. Ты стал человеком... Наконец-то. Но если взглянуть на твой костюм... Ты едва ли приобрел большое состояние.

Мать. Ты, должно быть, устал и голоден. Поешь с нами.

Джимми садится за стол.

Джимми. Какая хорошая квартира у вас.

Генри. Ты чем занимаешься?

Джимми. Я ткач. Подмастерье, ищущий работы.

Генри. Это не занятие.

Джимми. Я рабочий, ткач.

Генри. Это не делает чести.

Джимми. Королева не может дать большей.

Генри. Странная честь: быть чернью.

Джимми. Ты себя называешь чернью. Птица гадит в свое гнездо.

Генри. Ты ошибаешься.

Мать. Генри больше не ткач. Он выслужился. Стал управляющим у господина Урэ.

Джимми. Если он оскорбляет рабочих, он оскорбляет меня.

Генри. Не моя вина, что мой брат бродяга.

Джимми. Ты... почему ты можешь жить прилично и хорошо есть? Потому, что бродяги, чернь, приносят в жертву свою силу, свою жизнь.

Генри, Закон природы. Для того, чтобы сильные могли жить, слабым должны погибать. Ты требуешь, чтоб я опять пошел на дно, чтоб я отказался от того, чего я добился своим потом?

Мать. Ты остаешься в Ноттингэме, Джимми?

Джимми. Я пришел во-время: рабочие начинают борьбу.

Генри. Что это значит?

Джимми. Рабочие начинают борьбу за свои человеческие права.

Генри. Это фразы.

Джимми. Нищета — фраза. Голод — фраза. Детский труд — фраза.

Генри. Ты бунтовщик.

Джимми. Если ты называешь борьбу за правду бунтом, тогда я бунтовщик.

Генри. Ты не останешься в Ноттингэме?

Джимми. Нет никакого повода мне уходить.

Генри. Я потеряю место.

Джимми. Я не могу считаться с этим.

Генри. Мама, хорош наш гость?

Мать. Ты шутишь... Джимми?

Джимми. Кровью сердца не шутят, мама.

Генри. Взгляни на эту сволочь, за которую ты борешься. В воскресенье, божий день, они валяются пьяными по кабакам... Бабье распутничает... Девченки с двенадцати лет продаются... Дети воруют... Несколько недель тому назад полиция искала в Тренте ребенка и нашла... шестьдесят детских трупов.

Джимми. Кто были их отцы? Ты, твои друзья, твои хозяева, которые имеют золото, чтобы покупать себе девченок. Почему матери бросают своих детей в воду, своих невинных маленьких детей? Потому, что никто из отцов не помогает им вскормить детей. Потому, что ваша церковь их проклинает и называет стыдом то, что является божественным, непонятным чудом и требует благоговения. Почему мужчины валяются пьяными в кабаках? Потому, что их жилища похожи на стойла, воняющие нечистотами. Рабочие не плохие люди, они лучше твоих господ. Виновен тот, кто, зная, что хоть один ребенок голодает, не помогает ему достать хлеб. За каждого, кому холодно, за каждого, кто погибает, за каждого бездомного и безприютного, за каждого, кто стремясь к красоте и свободе, должен жить в грязи, — ответственен ты.

Генри. Рабочие борятся против машин. Ты будешь поддерживать это преступление?

Джимми. Рабочие завоюют машину.

Генри. Я больше ничего не могу сказать. Иди своей дорогой, я пойду своей. Я сумею отказаться от тебя. Ничего общего. Ни даже родства. Мать, тебе придется сделать выбор.

Генри оставляет комнату.

Мать *(после паузы, с тяжелым жестом)*. Нет... мальчик... Нет... Еще раз переживать старые мученья... Этого я не могу... Нет... Года голодовки... Холодные зимы... Утром не знать, хватит ли денег на пару картошек... Грязь... Холод... Я стара... Я больна... Я не могу этого... Нет...

Джимми. Это значит, что я должен уйти?

Мать *(всхлипывая)*. Мне шестьдесят лет... Еще раз... Нет.

Мать уходит.

Джимми. Когда я был маленьким мальчиком, я стоял перед образом богоматери и молился за свою мать.

Входит нищий.

Нищий. Подайте милостыню, добрый господин.

Джимми. Это ты, друг. Не во-время пришел.

Нищий. Нет такого времени, которое было бы не во-время, друг. У тебя нет житейской мудрости. Если время скачет на скаковой лошади, оно делается сверх-временем. Если оно садится на старую клячу, время делается тягучим. Если-ж оно скачет на молодой женщине, наступает беременное время. Тебя бросила любовница?

Джимми. Мне показали на дверь. Мать и брат показали мне на дверь.

Нищий. В таком случае тебе еще не очень плохо. Прошедшее и настоящее тебе показали на дверь. А меня будущее выставило за порог. Господин, мой сын, нашел, что ему нет надобности держать у себя человека, у которого одна рука, и который ничего не зарабатывает. Он находит, что я достаточно развлекался до его рождения, и теперь, после своего рождения хочет сам развлекаться... Я ему мешаю в этом. И он вовсе не так неправ.

Джимми. Значит, дела у тебя обстоят так же, как и у меня. Мы можем заключить союз дружбы.

Нищий. Охотно. Это твоя доля обеда, на столе? Я хочу ее взять, как утренний дар твоей дружбы... хотя ты был так неучтив, что не предложил мне этого сам. Хочешь стать нищим?

Джимми. Нет, друг. Я беру работу. Мы будем вести борьбу, старик. Великую борьбу. Рабочие проснулись. Они идут вперед.

Нищий. Ты хочешь стать секретарем рабочего союза? Ну, тогда я должен буду тебе часто помогать крохами из желоба. Рабочие в качестве благодетелей... Лучше быть не может. Рабочие в качестве работодателей... Тебе придется пережить апокалипсические чудеса. Предприниматель сажает тебе на грудь одну шпанскую муху... Рабочие посадят тебе трех . . . . . Хорошего аппетита, друг.

Джимми. Жажда мести говорит в тебе.

Нищий. Жажда истины, друг.

Джимми. Из-за того, что сын твой выставил тебя за дверь, что все такие же, как он.

Нищий. Дружок... милый дружок... Есть у тебя кров на сегодняшнюю ночь?

Джиммми. Нет.

Нищий. Тогда разреши оказать тебе честь и отвести тебе парадную комнату в моем дворце. Для начала ты можешь там жить в качестве моего гостя. Лорды крысы будут твоими лакеями, лэди вши приготовят тебе благовонную панну, фрейлины блохи будут тебя развлекать ночью.

Джиммми. Покажи мне твое жилище. У меня важное дело сегодня вечером. Потом я приду к тебе.

Сцена затемняется.

ВТОРАЯ СЦЕНА.

Внутренность коттэджа. Жилище Джона Уайбла. Сырая комната. Обстановка: стол, два сломанных стула, два ткацких станка. У окна старый Ипер.

Старый Ипер. Ибо написано: истинно, истинно говорю вам, склонятся передо мной все племена земные и все языки будут славить бога. Но есть некто, чьи колени не сгибаются, чей язык не славит меня.

Тэдди. Дедушка, я голоден.

Старый Ипер. Он заставляет тебя голодать.

Тэдди. Дедушка.

Старый Ипер *(молчит)*.

Тэдди. Дедушка, я хотел бы бегать, как дети от господина Урэ. Но мои ноги... посмотри на них.

Старый Ипер *(молчит)*.

Тэдди. Если-б у меня был хлеб, о... Я бы играл...

Старый Ипер *(молчит)*.

Тедди. Дедушка, почему ты не даешь мне хлеба? Я голоден... я голоден...

Старый Ипер *(беспокойно)*. У меня нет... нет его... у меня его нет... У него... у него... там наверху, все есть. Он честных заставляет голодать, а бесчестных пресыщаться. О, ты... о, ты... о, ты... детоубийца... Но, подожди, Тедди. Придет день дела. На жизнь и смерть мы будем бороться... На смерть и жизнь... Тэдди, где мое ружье?

Тэдди. Здесь, дедушка, здесь твоя палка.

Старый Ипер. Это не палка, Тэдди. Это ружье. Один из нас должен пасть.

Старый Ипер берет палку и целит в воздух. Делает жест, как будто стреляет. Опускает палку.

Старый Ипер *(плаксиво)*. Курок заржавел... Не стреляет.

Тэдди. Дедушка, ты уж видел машину? Говорят, что у нее сто голов?

Старый Ипер. Быть может, это бог, быть может, это бог. Где... где стоит машина?

Тэдди. Хочешь, я тебя сведу... Но отец не должен знать об этом. Ты мне обещаешь?

Старый Ипер. Веди меня... Веди меня... Кажется, я его выследил.

Тэдди. Завтра вечером, когда отец будет спать.

Входит Джон Уайбл.

Джон Уайбл. Матери еще нет?

Тэдди. Нет, отец.

Джон Уайбл. Старик, чистишь свое ружье? Все равно не попадешь в него.

Старый Ripер. Возомнили они себя мудрецами и стали глупцами.

Джон Уайбл *(смеется)*.

Тэдди. Отец, на дворе нора крота. Давай поймаем крота.

Джон Уайбл. Пусть живет зверек.

Старый Ripер. Зазубрилось... Уже зазубрилось... Милое ружье.

Входит Мэри, молодая красивая женщина.

Мэри. Добрый день.

Джон Уайбл. Хорошо заплатил тебе Коббет?

Мэри *(бросает деньги на стол)*. Пять пенсов.

Джон Уайбл. Мерзавец. Мерзавец.

Мэри. Оставь мне половину. Ни куска хлеба в доме. Последнюю неделю я отдавала тебе все эти грешные деньги.

Джон Уайбл. Карманы пусты.

Мэри. Ты играл?

Джон Уайбл. Хотя-б и играл. Если-б я был господином, тогда-б распутничал. Я не на себя трачу.

Мэри. Крыша продырявилась. Дождь каплет и не дает спать всю ночь. Сырая солома. У меня нет денег. Кровельщики требуют денег. Никто не пойдет к нам, пока не отсчитаешь денежек на стол.

Джон Уайбл. Лавочнику должны?

Мэри. Пять шиллингов. О, этот обманщик бедных! В сахар он подмешивает толченый рис, в муку гипс и мел, в перец шелуху. Когда заболел ребенок у Маргрэт, и она должна была взять втридорога у него какао, она нашла в нем землю, смазанную бараньим салом.

Джон Уайбл. Ужин есть?

Мэри. Хочешь пару картошек?

Джон Уайбл. Дашь потом. Будь благоразумна, Мэри. Иди и не сопротивляйся нежным поцелуям. Без тебя я потеряю место. Он дает тебе деньги. Подчинись его желаниям и поступай, как ремесленник. Раньше, чем поцелуешь, требуй плату... плату... плату... Ко мне сегодня придут товарищи. Ты нам мешаешь.

Мэри. Ах, боже мой. Разве я не делаю этого? Что за жизнь! Иди, Тэдди, ложись в комнатке и спи. Когда ты проснешься, завтра утром, ты найдешь у своей кроватки свежий хлеб. Покойной ночи, отец. Ложись спать.

Старый Ripер. Омойся бальзамом, дочь. Скоро наступит день, когда ты будешь увенчана среди дочерей.

Мэри *(выходя)*. Колотушками, отец?

Джон Уайбл. Мужайся, старик. Придет день дела.

Входят: Чарли, Боб, Вильям, Эдвард, Артур, Джордж и другие рабочие.

Чарли. В большом рабочем корпусе стоит она.
Боб. Чудовище имеет много рук и сто пастей открытых.
Виллльям. Этот демон схватит нас и смелет.
Эдвард. Господа продали души свои дьяволу.
Джордж. Кровавой платой будем мы.
Рабочие. Всегда мы платим кровью.
Старый Рипер. Они с дороги верной сбились, заблудились.
Джон Уайбл. Молчи, старый дурак. Давайте совещаться, соседи. Они насмехаются над нашей стачкой.

Старый Рипер выходит.

Чарли. В церквах попы громят стачку и направляют на нас женщин.
Боб. Король нам запретил собранья и союзы.
Джон Уайбл. Пусть кишками последнего попа
Удавится последний царь.
Чарли. Пусть будет так.
Боб. Но что-ж нам делать нужно?
Джон Уайбл. Расставлены патрули?
Чарли. Вокруг на сто метров расставлены дозоры.

Джон Уайбл.

Товаром Урэ сделал нас, который покупают
И вон выбрасывают, если он порвался.
Теперь машина у него,
И он победу торжествует нагло.
Это чудовище сожрет работу тысячи ткачей.
Чарли. Ворующий работу у людей, грешит против природы.
Все. Грешит против природы.

Джон Уайбл.

Мужчин погонят вон из городов,
Детей на дьявольскую цепь посадят.
Трехлетних, говорят, детей чудовище хватает.

Альберт.

А если пустят нас к машине, какова наша работа?
Соединять разорванные нитки, надзирать
За диким зверем, быть рабами на цепи.
Эдвард. Не будем больше ткать, производить не будем.
Джон Уайбл. Дьяволу продал вас Урэ. Дьяволу отдаете вы душу.
Артур. Что... с нами будет?

Альберт.

В Карлтоне на три дня связался я с машиной.
Потом бежал. Как будто адскими клещами
Вас Демон Пар хватает.
Из тела рвет вам сердце
И пилит, пилит, пилит
В куски живое тело.
Ты, Чарли, стал ногой: ты ходишь,

Ты ходишь, ходишь, всю свою жизнь.
Ослабнут твои руки,
Глаза твои ослепнут, сгорбится спина;
Ты, Джордж, становишься рукой... и вяжешь... вяжешь... вяжешь...
Оглохнут твои уши... Высохнет твой мозг,
И кровь твоя застынет...

Чарли. Я буду ногой...

Джордж. Я буду рукой.

Вилльямм.

Если машина остановится... Если тиран
Откажется служить... Что делают рабы?

Джон Уайбл.

Что делают вороны, если им подрежет крылья
И в ночь морозную их выбросит хозяин?
Замерзнут и погибнут.

Чарли. Но все-таки мы люди!

Джон Уайбл. Мимо. Мимо.

Чарли. Это не может быть. Это грешно.

Джордж. Проклятие тирану Пару!

Эдвард. Сожги чума его!

Вилльям. Бессильны мы...

Крики *(глухо)*. Бессильны...

Джон Уайбл.

Есть одно средство. Объявить войну машине.
Молох вселился в Ноттингэм. Убить его,
Иль завтра он размножится и тысячами народит чудовищ.
Клянемся воевать! Клянемся ненавидеть!

Рабочие. Клянемся ненавидеть!

Джон Уайбл.

Когда Молох склубится в своей черной крови,
Хозяин Урэ не посмеет больше
Приковывать нас к новым дьявольским отродьям.
Машине смерть!
Война тирану Пару!
Машине смерть!
Война тирану Пару!

Рабочие. Машине смерть!
Война тирану Пару!

Входят Джимми и Нед Луд. Рабочие испуганно оборачиваются к Джимми.

Нед Луд. Товарищ наш из Ноттингэма. Путешествовал последние года.

Джимми приветствует рабочих.

Нед Луд *(Джону Уайблу)*. Решили?

Джон Уайбл. Решили.

Подходит Джимми.

Джимми. Вы что-нибудь решили?

Джон Уайбл. Сегодня в ночь разрушим мы машину.

Джимми. Безумцы вы.

Джон Уайбл. И ты машиною подкуплен?

Джимми. Дайте мне час все высказать свободно.

Джон Уайбл. Зачем? И полчаса не можем подарить.

Нед Луд. Нет, нужно выслушать его.

Все. Выслушать его!

Джимми. Вы перепуганы видом машины. Отчаянье вас охватило. Машина кажется вам богом, демоном, проклятые лапы которого когтят человеческие души. Демоном, который впрягает вас в свое ярмо, вяжет вас, дробит в куски... обесценивает вашу работу, коверкает вас.

Альберт. Так и есть.

Джимми. Есть другие враги, более могущественные, чем это сооружение из железа, винтов, проволоки и дерева, которое называется машиной.

Джон Уайбл. Он издевается над нами?

Чарли. Пусть замолчит он.

Нед Луд. Мы разрешили ему свободно высказаться.

Джимми. В вас самих живет ваш враг. Он охватил ваши души. И дышет в вашей крови... Он душу вашу превращает в глухонемой камень.

Джон Уайбл. Поп!

Чарли. Мы ведь не в церкви, послушай, ты.

Альберт. Ты говоришь мужчинам, а не бабам.

Нед Луд. Мы дали ему час, чтобы он высказался свободно.

Джимми. Братья, всмотритесь в себя. Тупо и безрадостно, без отдыха живете вы. Знаете ли вы еще, что существуют леса?.. Темные, таинственные леса, которые пробуждают в человеке дремлющие в нем живые ключи... Леса звенящей тишины... Леса раздумья... Леса радости и танцев... Что для вас труд?.. Действительно ли вы занимаетесь ткацким трудом, как свободные люди? Разве была для вас ваша работа радостным творческим делом?.. Ваша работа делала вас рабами заработка и нужды... Посмотрите на своих детей... измученные работой, больные, в десять лет они уже еле ходят, как старики...

Джон Уайбл. Нищета, разве наша вина?

Джимми *(могуче)*. Ваша вина в том, что вы не соединялись в рабочий союз. Что вы не живете в единении, что вы не участвуете в постройке храма справедливости. Смерть между вас. Скорчившись, она сидит в ваших усталых глазах. Она обременяет ваши шаги, которые без отдыха отяжелели. Она умертвила смех и радость. И все же, в вас жива мечта. Мечта о стране чудес. Мечта о стране справедливости... о стране соединенных работой общин, о стране соединенного работой народа... о стране соединенного работой человечества... о стране творящего радостного труда... Объединяйтесь, братья! Начинайте. Не я, и я, и я. Нет, мир и ты, и мы, и я. Пожелайте общности всего народа и вы ее добьетесь... О, ваша душа раскроет могучие, обессиленные крылья. Земля снова будет для вас лоном

силы. И тиран — машина, побежденная духом трудящегося человечества станет вашим орудием, вашим слугой.

Нед Луд *(тихо)*. Станет нашим орудием.

Джимми. Подумайте, если-б вы только раз сделали то, что нужно. Подумайте, если-б вы работали только восемь часов вместо шестнадцати... Машина была бы вашим помощником, а не врагом, и ваши дети росли бы свободными от ига, в светлых школах, на горах. Нужда хватает вас за горло. Вы едва дышете. Сберитесь с силами! Боритесь! Вперед! В дорогу! Что сгнило, должно рассыпаться прахом, не толжно тлеть. Начинайте, братья! Соединяйтесь в союз трудящихся!

Тишина.

Джон Уайбл. Я слышу слова, слова, слова. Нам, рабочим, соединяться? Мы исключены из парламента. Не имеем избирательного права. Избирательное право имеет только тот, кто приумножает капитал.

Джимми. Дело идет о большем, чем избирательное право. Трудящимся землю, а не паразитам! Лорды управляют Англией. Для черни нет места в высоком собрании. Они ведут войны, чтобы увеличивать прибыль и порабощать чужие народы. И называют свои разбойничьи войны войною за благо народа. Но кто исходит кровью за страну? Мамона?

Рабочие. Нет. Мы, всегда мы.

Джимми. Трудящиеся Англии подготовляют борьбу. В Лондоне мы основали тайный союз, который должен охватить всех рабочих королевства. Во многих городах уже начинает двигаться проснувшийся поток воли. Объединение наш вождь, а не машина. Человек должен быть вождем, а не машина.

Артур. Чеее...ловек до..олжен быть в..ождем, а не ма...машина...

Джимми. Готовы вы протянуть руку вашим братьям?

Рабочие. Готовы, мы готовы.

Джимми. Борьба тяжела и требует терпенья, братья. Борьба тяжелее, чем вы можете предвидеть. Вы должны возобновить работу у машины. Старую ношу должны вы нести еще не мало дней... Ваших жен, ваших детей вы еще будете видеть голодными, слушать их жалобы, их проклятья.

Рабочие. Мы готовы!

Нед Луд, Выбираем тебя вождем!

Джимми. Каждый служит народу, каждый служит общему делу, каждый является вождем.

Рабочие. Каждый служит народу. Каждый служит делу.

Рабочие в восторге окружают Джимми. Поднимают его на свои плечи и уносят.
Джон Уайбл остается один.

Джон Уайбл.

С восторгом понесли вы на плечах этого беглого ирландца.
Едва час был он здесь, и вырвал руководство из моих рук.
Эти глупые ослы хотят господствовать на земле и завоевать рай!
Только дураки могут в это верить. Не я!

Занавес.

Восхождение.

Из последних сил рвались к выси.
Неслися
Крики презрительные:—«Напрасно!
Высот не достигнуть!
Погибнуть
Вам там
Суждено!»
Ветер яро трепал стяг красный.
«Напрасно! Напра-а-сно!»—
Казалось, пел он.
Село
Солнце багряное, землю окутав
мраком.

Пели мятели злобно
Мотив надгробный
Поднявшимся выше.
Но неугасимым маяком
В пляске мятели
Блестели, звенели
Слова: «Выше, еще выше!»
Ползли, выбиваясь из сил.
Холод вонзил
Когти острые в тело.
«Довольно! Дальше—смерть».
Смолкло. Разверзлась твердь.
Полог мрака упал.
Прошелестел,
Пролетел
В бездну.

...Звездно.
Полутьма. Полусвет.
— Нет, дальше, выше!
А там вихрь злым рассыпался
смехом
И с звенящей снежной пылью
несло эхо:
— «Напра-а-сно! Высот не
достигнуть!
Погибнуть
Вам там суждено!»
Падали. Не вставали.
А по телам оледенелых
Десятки смелых
Карабкались выше.
Светлело небо —звездная крыша.
Звезды ввысь просеялись.
Лизала неба край пурпурная
кисть.

Вскарабкались ввысь.
Тысяч не досчитались,—
Усеяли горные склоны,—
Оледенели без стона.
Смелые на вершине.
За ними — алые знамена—
Миллионы.
Солнце—в дали синей.

Сергей Селянин.

1920.

Инструктор Птахин.

(Рассказ).

Инструктировать Птахину не внове, не в первый разок, понавострился уж на этом деле. В ячейку всегда сходить интересно, только вот пешком навертывай верст семь-восемь—инда ноги заноют и энергия вся пропадет. То ли бы дело на лошади... или вон пишут в Америке—на 10 человек автомобиль... Эх-ма...

Птахин парень бойкий, но одет попросту, а не по комиссарски. Шапка на голове теплая и рожа шапочными ушами обернута. Мех на ушах заиндевел—белый. Засаленная тужурка, а под мышкой папка с бумагами, инструкциями, брошюрами, На ногах серые сапоги и правый сапог загнулся боком, подошвой вверх, как край овсяного колоба. Птахин старается его от этой привычки отвадить, то и дело топая загнувшейся стороной—не помогает.

Под ногами снег жалобно взвизгивает, в полях морозная тишина, снежная белизна, вдали белесая синь. Вокруг дороги заячьи и собачьи следы на снегу, вышивка на белоснежном полотне.

Вон на полянке в перелеске тихо и красиво, как в мраморном зале, а зелень елок—дорогой малахит. Позади мужик гонит на лошаденке порожняком. Конец гужа как язык мотается, дуга наперед свалилась и села на лошадиные уши. Мужик прилип к головяшке в дубленом желтом тулупе, черная борода смешалась с воротником из черной овчины.

— Молодец, присаживайсь! Прилипай, при-и-липай—вот так.

Птахин присел на кончик нахлесток и застыл, как грач на сучке.

— Эх, ми-илай, поде-ергивай. Да ну-ну страмость,—запел мужик.

Разговорились про жизнь, про новую власть... Сразу же и заспорили.

— А хреноваты вы большаки по стекольному-те, все у вас разваливается, деревню, напримериче, только грабитя. Налог, да налог, хлеб, да хлеб. Надысь мужики—ай, как ругались.

— Ничего не поделаешь, такое положение создалось, все нападают на Республику,—объяснил Птахин.

— Нападают, а вон тут не нападают, да все растащили,—и мужик ткнул кнутом в сторону, где на поле, около березовой рощи, крепко осели длинная красная фабрика и красивый барский дом.

— Тут ваш же брат растащил,—укорил мужика Птахин.

Мужик осердился.

— Не наш брат, а вот такие, как вы... Всегда и пронюхиваете, как бы где что намылить. Ну зачем, примериче, ты едешь?

— В вашу деревню к молодежи... Я инструктор.

— Эге... Значит, молодых смушшать. И так они у нас всю деревню заполонили—не зря, значит. Вот такие ухари настаучат. Мужиков они закатали. Бе-еды... Тпррр.

Мужик остановил лошадь. Птахин удивился.

— Друх, ты слезай... пра, слезай, потому этта на священной беседе старец Евденей нам читал, чтобы ни помогать, ни давать нонешней вла-

сти, а наипаче везти «таких» в деревню. Это самый большой грех, неотмолимой грех!

— Темен... дурак ты, дядя.

— Друх, товарищш, слезай... Напримериче, мужики увидят, что я тебя привез, так задают миня.

— Ну, и чорт с тобой! Сволота ты, дядя.

Мужик свистнул кнутом и смачно выругался:

— Ну, ну, страмость.

Птахин отряхнулся, топнул, чтоб справить сапог. Невдалеке зачернелась деревня.

* * *

В полдень уже сидел в помещении ячейки, в бывшем барском доме и разговаривал с руководителем ячейки. Тепло, уютно. По стенам повисли плакаты, газеты, портреты.

— Мужики нападают на нас. Мы, говорят, вас выгоним, выпорем. А молодежь, только небольшая часть получше-то, а остальной только бы шалопайничать, плясать, шататься. Она ни к чему не пристает. Мы же действуем здорово. У Птахина серые глаза загораются и он дает десятки советов.

— Сказать можно, а вот сделать?—охолаживает парень.

В другой комнате намеревается взвизгнуть гармоника.

— У нас здесь осенью замечательные концерты были: гармонь и двое пастухов на рожках. Ну, и наяривали ловко. Теперь мы и для ячейки гармонь купили—все-таки музыка, веселее. Каждый вечер собираемся, газеты читаем, иногда книжки, репетиции устраиваем. Хорошо, радостно, весело. А в деревне мужики спят, охают, путаются.

Долго рассказывает парень.

* * *

А вечером спектакль (день праздничный). Быстро, привычно готовятся к спектаклю: девушки превращаются в настоящих баб, старух, ребята—в мужиков, стариков. Ярко, ярко размазываются рожи, ребята привязывают бороды, приклеивают усы и, глядясь в зеркало, хохочут задорно, заливчато. Восторгаются своими костюмами. На них сейчас будут глядеть, хвалить и хаять их игру и потом, по окончании, хлопать. Настроение радостное.

— Ну, сейчас и сыгронем, мы актеры то заправские. Вот, товарищ Птахин, погляди—удивишься!

— Пора, пожалуй, митинг открывать, все готово. Долго проговоришь?—спрашивает секретарь ячейки.

— Этак с час, не больше. Иди открывай.

Птахин потянулся, зевнул, как перед привычным, надоевшим делом. Кто то из членов протянул: «вот, видно, сказонет». За занавесом секретарь ячейки кричит:—товарищи-и, сейчас сделает доклад прибывший инструктор товарищ.

Из угла посыпалось—цып, цып, цып, цып! Зал захохотал. Птахин плюнул и расстроился. Вышел за занавес: в зале шумно; смеются, взвизгивают, разговаривают.

— Товарищи, я вам скажу о текущем моменте... Неслыханной борьбой, страшными усилиями мы добились мира. Посмотрим на международное положение...

Шумели, взвизгивали, разговаривали. Птахину казалось, что над публикой в аршин толщины броня невнимания. Хочется говорить складно, ясно, громко, а тут как нарочно на язык лезут: «хм, гм, как сказать, значит, значит», вообще вся словесная сорная трава. В публике одному парню в рожу хлопнулась тряпка. Все захохотали. Парень связал из пальцев кулак, поднял и завыл:—я те вот зафиксирую! Птахину и то сделалось смешно. В углу два мужика, пришедшие посмотреть на спектакль, на весь зал рассуждают: —В пастухи бы нам этова орателя. Другой не соглашается: —Нне... куды... не справит. В подпаски еще туды—сюды.

Птахина охватывает злость, апатия, не хочется говорить, как нарочно, голос свой не нравится—визжит, еще больше раздражает. Скорее бы кончить... к чорту, да и с докладом-то. Для такой публики стоит говорить. И еще более от этого путается.

Наконец, подбирает все знакомые лозунги и кидает в публику.

— Я кончил,—провозгласил Птахин.

— Ну, кончил и спасибо, отваливай,—пискнуло в публике. Залились смешком.

Из правого угла, как теплой водой плеснули хлопками.

— Здорово откатал,—хвалили, встречая, ребята.

— Ну, ребята, сейчас начнем спектакль!

* * *

Круг танцующих тесный, потный, безмолвный—огромный клубок. Птахин сидит в углу, одну ногу перевязал другой и любуется весельем и восторгается волшебным действием гармошки. А еще любуется вот чем. Всех задорнее пляшет одна девушка. На ней белая кофточка, пепловое платье постатно этак на ней сидит. Лицо—ну, что за личико! Глазки ласковые, носик аккуратненький, ноздри так и играют, губы так и переливаются, как две красные ленточки. А ногами семерит, семерит, подробит, топнет, поднимет ножку, да так в воздухе и поведет—все равно, что распишется.

— Эх, вот бы познакомиться, чорт возьми,—мелькнуло у Птахина. Хоть бы понарядней был. Новую бы рубашку надеть, а рубашку белую, с черными головастиками, брюки бы «клеш» серые, штиблеты. Танцевать не умею, а то бы сейчас ее пригласил.

— Ишь ведь как вышивает. А ты вот тут сиди—гимнастерка затасканная, штаны бурые и сапог загнулся.

Все-таки от скуки написал записочку, ведь как никак, а «вы-ыступал».

«Хорошо бы с Вами, дорогая незнакомка, пройтись, побеседовать. Напишите в ответ что нибудь».

Смотрел внимательно за ней, как она удивленно приняла записку, читала, бросилась писать ответ. Получил записочку:

«Вы просите писать, но что писать не знаю,
Позвольте вам сказать, что я вас уважаю».

Удивился и просветлел. Чорт возьми, да и стихом написано, не сама-ли сочинила?

Играли «по за городу».

— Гранька, запевай,—крикнула ей какая то девушка.

«Гр-а-аня»—как красиво и звучно ее зовут. «Гра-аня», еще раз протянул и чуть не запел. А она всех громче выводила: «В саде мята, рожь не жата, не кошеная трава». К Граньки ному голосу чутко прислушивался, налюбовался вволю и черкнул: «Жду в коридоре. Выходите одетая».

* * *

Стоял в коридоре, дожидался, а сердце... сами знаете, в такие минуты как оно трепыхается. Выбежала, на ходу надевая пальто, огляделась, подлетела к Птахину и щебетнула: «Вон вы где, а я то вас ищу». Просто, ласково, задушевно. Вышли на улицу. Ночь темная, небо серое, тихо, тихо, только и слышно, как сапоги снег пережевывают. Брели воробьиными шагами, путаясь в темноте, точно в тулупе из черных овчин, с серым воротником—небом. Птахин начал чувствительный разговор.

— А вы, Граня, хорошо поете, спойте сейчас.

Граня огляделась вокруг и робко съежилась:

— Знаете, страшно... глядите темно, темно и тихо.

— Вы тихонько, для меня.

Долго ломалась, но запела:

Все васильки, васильки,
Много мелькало их в поле...

Голосок заиграл, а в глазах Птахина темнота расцветала васильками, ландышами, и среди цветущего раздолья стоял главный цветок—Граня. И такую красивую девушку, представьте себе, можно встретить в деревне. Вот, где драгоценности залеживаются. Только она, оказывается, не деревенская, а дочь служащего с ближней фабрики.

Птахина за сердце так и дернуло: на такой девушке и жениться не худо, хоть сейчас...

Граня перестала петь и засмеялась.

Хорошо, очень хорошо, всю бы ночь слушать. Вдруг отчего то вспомнилось, что правый сапог стороной загнулся. Топнул, чтобы справить... Граня взвизгнула и засмеялась: ай, упали?

Птахин покраснел (хорошо, что не видно):

— Нет, так, поскользнулся...

Долго он в темноте плутали.

* * *

Сидел в часы занятий в комнате Укома и работал. Читал газеты, просматривал инструкции, но... в глазах милая, ласковая Граня, такая аккуратная, красивая, да бойкая, Темнота расцветала васильками, ландышами и образом Грани. Казалось, что газеты со страниц кукиш кажут, а инструкции засиненные бумажки. Когда то снова ее придется увидеть? А то все равно, что с мужиком: отвез версты две, а потом—друх, слезай.

Не итти-ли опять туда в ячейку, к Гране? Опять погуляем, поговорим, она споет. Размечтался и затянул легонько:

Все васильки, васильки,
Много мелькало...

Секретарь Укома, пыхтя над циркуляром, указывая тринадцатое практическое мероприятие, остановился на слове, «договоритесь» и крикнул:

— Ты что, Птаха, распелась?

— Что, что... я говорю надо чаще инструктировать Бугровскую ячейку... Сидим здесь и пишем бумажки, туда и не заглянем, а там дельные-то люди только и нужны. Я был, так вв-о-о-о как просили опять приходить!

Мих. Шошин.

Петька.

Рассказ.

Записывались просто: незнакомый молодой рабочий в черной, смятой как блин фуражке, сдвинутой на затылок, с серым острым лицом (папироска в углу рта) вписывал в синюю ученическую тетрадь имена тех, кто приходил.

— Фамилия?—отрывисто спросил он, когда Петька с сильно бьющимся сердцем, застенчивый, смущеньем связанный по рукам и ногам, очутился перед его столом. Петька ждал, что его прогонят: «куда, паршивец, лезешь? Молоко на губах, а тоже...»

— Петр Клоков, почти прошептал он.

— С какой фабрики?—опять спросил рабочий, не поднимая от тетради глаз.

Петька сказал.

— Номер винтовки?

— Чего?—спросил Петька, не понимая вопроса.

Но рабочему ответил солдат, стоявший у груды винтовок, сваленных на полу здесь же у стола; он проговорил длинный номер и сунул Петьке винтовку в руки.

— Иди к тому столу,—показал он рукой в глубину комнаты, где у длинного стола, накрытого черной клеенкой, толпились рабочие уже с винтовками в руках. Петька, широко улыбаясь, крепко держа винтовку обеими руками, пошел. Он не чувствовал ни рук, ни ног, словно они были ватными, и плыл в тумане.

Ему дали какую то бумажку, патронные сумки из холста, пачки патронов, ременный пояс, а потом молодой солдат, бойкий и веселый, что то говорил ему о затворе, о том, как надо держать винтовку, брал винтовку из его рук, щелкал затвором и все спрашивал:

— Понял, товарищ?

— Понял,—невнятно отвечал ему Петька, хотя от волнения не понимал ни одного слова.

В углу комнаты, у окна рабочие рассматривали только что полученные винтовки, заряжали их, гремели затворами, подпоясывались новыми желтыми солдатскими ремнями, прилаживали сумки с патронами и сговаривались, кому и с кем итти.

В большой комнате было холодновато, дымно и сыро. Пахло махоркой.

— Ага, и Клоков с нами,—весело сказал низенький безусый рабочий, когда Петька подошел к окну:—записался?

Петька маслом растекся—широкой улыбкой.

— Записался.

— Постой, постой, товарищ,—вдруг живо и насмешливо отозвался другой рабочий с широким лицом, по которому через всю щеку и подбородок шла белая полоса—старый шрам:—ты же ведь в эс-эрах ходил. Как же теперь то?

Петька вспыхнул малиной, будто его поймали в краже.

— А правда, зачем же ты записался?—спросил первый рабочий.

Все рабочие, что стояли у окна, смеясь смотрели на Петьку. Петька задохнулся.

— Нет... Я больше не хочу... с ними...

И вдруг сразу выпалил:

— Ну их к чорту! Они к буржуям подмазываются.

Рабочие засмеялись. Низенький безусый энергично кивнул головой и хлопнул ладонью Петьку по плечу.

— Верно, товарищ. Теперь рабочие должны итти с большевиками.

Все заговорили шумно, задвигались, и Петька незаметно отошел в сторону, оглянулся. У самого окна мастер Леонтий Петрович перебирал пачки патронов. Он аккуратно, как вообще делал все, клал патроны в сумку и говорил, ни к кому не обращаясь.

— Раз на улице баррикады, то мы незамедлительно должны решить, по какую сторону этих баррикад мы стоим. Иль по эту сторону, или по ту. В середке да в сторонке теперь стоять нельзя. А к буржуям мы не пойдем. Значит, и говорить много не надо. Бери винтовку и иди бить юнкеров и студентов.

— И эс-эров еще,—добавил кто то насмешливо.

— Что ж, если достойны, их тоже не надо миловать.

— Правильно. Поглядим теперь, чья возьмет.

— Да уж и глядеть то нечего: мы победим. Это бессомненно.

Петька был рад, что на него не смотрят. Он прислонил винтовку к стене и начал подпоясываться и прилаживать патронные сумки. От нетерпенья у него дрожали руки.

А комната наполнялась народом. Входили новые группы рабочих. Говорили громко, нервно, будто подбадривали себя, смеялись необычным отрывистым смехом без веселости, а двигались по комнате как то толчками. Три солдата, называвшие себя инструкторами, составляли из рабочих взводы красной гвардии, отсчитывали по двенадцать человек и назначали к ним старшего. Петьку причислили во взвод Леонтия Петровича, который здесь же, в комнате, попытался поставить свою гвардию в ряд, и, сдерживая улыбку, сказал:

— Ну, товарищи, у меня команды слушаться. Чтоб все в порядке было. Иначе... Строго, товарищи. Идемте.

Все, подтягиваясь, шумно вышли на улицу. От дверей клуба по тротуару тянулась длинная очередь желающих записаться в красную гвардию. Это пришли рабочие с фабрик и заводов, что за заставой. Среди их черных засаленных курток в очереди резко выделялись синие новенькие шинели трамвайных кондукторов. Около дверей на тротуаре и даже на мостовой уже стояла большая толпа женщин и пожилых рабочих, пришедших сюда поглядеть, как «наши пойдут воевать». Смеялись, перебрасывались веселыми шутками, грызли семечки, и все были спокойны и беззлобны. Только молодая женщина с бледным, меловым лицом, до самых глаз закрытым черным потрепанным платком, в шубейке с плешивым воротником, кричала, стоя у самой очереди:

— Вернись, Овдонька. Богом прошу, вернись. Гляди-ка, какой гвардеец нашелся! Чорт конопатый. Слышишь, Овдонька? Домой иди!

А Овдонька—уже пожилой рабочий с рыжей свороченной на бок бородкой—злобно искоса смотрел на женщину и, не покидая очереди, вполголоса ругался:

— Цыц, стерва. Убью.

Было видно, что он стыдится за свою жену: вот у других жены не пришли сюда ругаться.

— Иди домой, пока я тебе не поправил затылок,—грозил он.

— А я говорю, не пойду без тебя. Детей бросил и на-ка, гвардейцем захотел быть. Мурло! Ежели с тобой что случится, я то как буду? Куда с ребятишками пойду? Ты об этом подумал?

— Пшла вон. Исколошмачу!—ругался Овдонька.

Толпа с удовольствием слушала перебранку. Но женщины сочувственно и немного насмешливо поддерживали женщину.

— Конечно, какая уж тут гвардия, ежели двое детей.

— Записываться должны молодые.

— Знамо, надо молодым. Пущай они идут.

Высокая властная старуха с суровым лицом вела к штабу за рукав парня лет восемнадцати, у которого в руках была винтовка, а у пояса холщевые сумки с патронами.

— Иди, сейчас же отдай все назад,—сердито говорила она:—я тебе покажу гвардию!

Парень шел, опустив голову, красный от стыда и сердито бормотал:

— Все одно убегу. Не сейчас—ужо убегу.

А старуха, дергая его за рукав, грозила:

— Я те убегу! Ты у меня свету не взвидишь. Вояка какой отыскался.

И, обернувшись к толпе, бросила мельком:

— Дело то без дураков обойдется.

Петька испугался: ведь и его могут так. Придет мать, увидит,—она, пожалуй, тоже хорошую гвардию задаст. Он испуганно стал осматривать толпу. Но матери, слава богу, не было. Две знакомые барышни смотрели на него и чему то смеялись. Петька, будто не замечая их подтянул ремень и громко сказал:

— Ну, товарищи, скорее.

Взводы смешались. Пошли просто толпой человек в пятьдесят. Леонтий Петрович попытался было установить порядок, но потом махнул рукой:

— Сойдет.

* * *

Шли срединой улицы—шумной и веселой гурьбой. А на тротуарах стояли густые толпы народа и хмуро смотрели на них. Петька все еще боялся, что его увидит мать и заставит вернуться, но когда прошли Кудрино и вышли на Садовую, он успокоился и пошел уже весело, словно его кто подбадривал. Везде было полно народу. Еще никогда Москва не казалась такой многолюдной, как в первый день гражданской войны. Шумно носились грузовые автомобили с солдатами и рабочими, точно вазы с качающимися цветами. Слышались крики ура, отрывочное нестройное пение и выстрелы, выстрелы со всех сторон.

Петька, сдвинув шапку на затылок, шел смело с самым решительным видом. Когда проезжали автомобили с солдатами, он кричал ура, срывал с головы свою обтрепанную серую шапченку и отчаянно махал ею. И туго подпоясанный ремнем, подтянутый, взволнованный, он будто плыл в толпе: так легко было ему итти.

И толпа, и улицы, и эти крики ура, и сам он,—все это было таким новым, и все так диковинно изменилось, что Петьке хотелось и петь, и смеяться от радости, хотелось сорвать винтовку и долго стрелять в воздух.

Вооруженные солдаты и рабочие собирались на Скобелевской площади у дома генерал-губернатора—старого, с желтым строгим фасадом. В доме был революционный штаб. Солдаты и рабочие с винтовками в руках пробирались через узкую дверь, заполняли чопорные комнаты, черно-серой массой толклись в белом зале и на широкой с золочеными перилами лестнице, громко разговаривали, курили. Острый табачный дым стоял сизым облаком над толпой по всем комнатам.

Петька впервые был в этом большом всегда таинственном доме, где жили только князья, графы и очень важные генералы. Он с наивным удивлением смотрел на высокие лепные потолки, на зеркала во всю стену, на белые колонны огромного зала и с гордостью думал:

— Наша взяла...

И радовался: теперь будет о чем рассказать матери.

Высокий человек в теплом с барашковым воротником пальто, но без шапки, с длинными волосами, растрепанными и повисшими, как темная спутанная кудель, поднявшись на стул, надрывно кричал тенорком:

— Тише, товарищи. Нужно заслон в Камергерском.

И еще кричал что то, чего Петька не разобрал..

Рабочие заговорили шумно, заволновались

— На Камергерский, товарищи. Держись!

И толкаясь, группами начали уходить, и на ходу щелкали затворами винтовок. Петька потерял в толпе и Леонтия Петровича, и товарищей с Пресни и с незнакомыми пошел на улицу.

Выстрелы внизу Тверской гремели беспрерывно. По соседству с домом генерал-губернатора стояли часовые, предупреждавшие рабочих и солдат, идущих вниз по Тверской:

— Цепью, товарищи. Осторожно.

Солдаты и рабочие пригибались на ходу, прятались за выступы стен шли гусем один за другим. Мостовая была пуста, что после шумных и людных улиц тревожило. Здесь уже ходила жуть.

У Петьки запрыгало сердце и сперло в груди. Он крепко, обеими руками вцепился в винтовку, готовый каждую минуту выстрелить, и шел за другими, приседая и останавливаясь, как все, бессознательно подражая им в движениях, и даже в манере итти.

— Пэк-пэк! Тррах!—гремели выстрелы совсем близко. Что то резко щелкало в камни мостовой.

— Летают, голубки,—засмеялся солдат, шедший впереди.

Петька оробел.

— А что это?—спросил он.

Солдат насмешливо, мельком глянул на него.

— Что? Канфета. Подставляй рот и лови.

Петька смущенно засмеялся.

— Ничего, не робей, брат. Пойдешь на войну, не то увидишь.

Один по одному все перебегали от выступа к выступу и собрались на углу Камергерского, где уже стояла небольшая кучка рабочих и солдат, прячась за угольный красный дом со старой проржавленной голубой вывеской: „Виноторговля." Здесь воздух был полон свиста.

Рабочие были все незнакомые. Петьке хотелось поговорить с ними, расспросить, где сидят враги, но он робел.

Желание выстрелить из винтовки захватило его с новой силой; но и здесь никто не стрелял, а одному стрелять было боязно: вдруг заругают?! Все стояли молча, нерешительно переступали с ноги на ногу, пощелкивали сапогами, словно всем было холодно; у всех были серые лица с пепельными губами.

Румяный Петька с живыми быстрыми глазами тянул к себе глаза всех. Ах, как ему хотелось выстрелить. Но никто не стреляет... Только на углу Долгоруковского (соседнего) переулка, ниже по Тверской, толпились солдаты и среди них резко выделялись черные фигуры рабочих; они стреляли вниз к Охотному. Петька не утерпел:

— А отсюда стрелять нельзя?—

— В кого же ты будешь стрелять тут? Тут не в кого. Иди вон на тот угол, угрюмо ответил высокий солдат с поднятым воротником шинели в серой шапке, глубоко надвинутой на уши.

— А страшно итти туда?

— Ты попробуй.

Солдат лениво потоптался, помолчал и вдруг оживился:

— Айда-ка, товарищ, вместе. Я вперед, а ты за мной, Вместе то веселее. Только берегись. Стрелять будут, брякайся на землю.

У Петьки забилось сердце и по спине побежали мурашки, но он храбро ответил:

— Что-ж, идем.

— Зря вы лезете,—лениво сказал кто то сзади.

— Ну вот еще, скажет тоже,—сердито отозвался солдат,—идем.

Он поглубже надвинул шапку, поправил винтовку, подтянулся и быстро побежал вдоль стен по тротуару, низко прибегаясь на бегу. Петька бросился за ним. Один дом пробежали, другой. Где то щелкнул выстрел, и окно над головой солдата печально звякнуло. Солдат прыжками бросился к зеленому крыльцу аптеки и здесь присел. Петька точно подкинутый пружиной, метнулся за солдатом и присел рядом с ним. Солдат тяжело дышал.

— Откуда это?—тревожно спросил Петька.

— А чорт их знает. Должно, с крыши.

— А ведь могут убить.

Солдат хмуро, мельком взглянул на парня, и в этот момент Петька заметил, что солдат дрожит, как в ознобе, а лицо позеленело, и глаза странно расширились и посветлели. Стало жутко. Едва разжимая челюсти, сквозь зубы солдат сказал:

— Убить могут... это как пить дать. Того и гляди.

Оба, крепко прижавшись к камням крыльца, сидели минут пять. Солдат все дрожал и сквозь зубы ругал кого то.

Между тем, стрельба стихла. Не стреляли даже в Охотном. Солдат поднялся на ноги и осторожно начал осматривать крыши домов, потом рванулся, прыжком выскочил из за крыльца и побежал через улицу. Петька, не помня себя, почти не сознавая, что делает, побежал тоже. Сверху нервно и беспорядочно затрещали выстрелы. Вокруг защелкало. Солдат, бежавший впереди, неловко споткнулся, выронил винтовку и, громко выругавшись, грохнулся на мостовую. Петька успел заметить, что солдат смаху ударился головой о камни, и его серая шапка отлетела вперед.

— А...А...Скорей!—кричали с угла.

Петька перебежал улицу, спрятался за угол и только тогда оглянулся. Солдат лежал все там же, где упал, а кругом него по камням мостовой щелкали пули и подскакивали изредка кусочки земли, поднятые ими...

— Готов,—отрывисто говорили солдаты, стоявшие за углом:—нужно лезть было чертям.

Они сердито смотрели на Петьку, будто он был виновником смерти солдата, и ворчливо ругались. А Петька бледный, задохшийся, оглушенный стоял у стены. Он так испугался, что готов был бросить винтовку и по-ребячьи заплакать. Но удержался. И так стоял долго, судорожно отдуваясь. Он вдруг вспомнил, как солдат заскорузлой большой рукой надвигал на уши шапку и деловито поправлял винтовку.

Сверху, с Тверской, приехал автомобиль со студентами-санитарами и подобрал убитого. Быстро положили его на носилки, собрались уезжать, но с угла им кто то крикнул:

— Шапку то, шапку возьмите.

Шапку забыли. Вдруг всем показалось, что шапка для убитого необходима.

— Шапку, шапку возьмите,—кричали все.

— Возьмите шапку!—истерично крикнул Петька:—Шапку!..

Студент-санитар соскочил с автомобиля, поднял шапку и положил ее на носилки рядом с головой убитого.

Теперь было все в порядке.

Автомобиль уехал и стало почему-то немного легче на душе. На том месте, где лежал убитый, камни потемнели и стояла пугающая красная лужа во впадинах. Не хотелось туда смотреть, но тянуло подойти ближе и посмотреть пристально...

— Эх, крови то сколько,—сказал сумрачно рабочий в темной, сильно потертой кожаной куртке и с рыжим теплым шарфом на шее:—теперь полетела душа в рай.

Рабочий потрогал шарф рукой, подумал и тихонько сказал на свои мысли:

— Да. Так-то вот.

Все молчали. И каждый думал о чем-то своем, и прятал глаза от других.

— В рай на самый край,—пробормотал рабочий с рыжим шарфом и скрипуче, нехорошо засмеялся.

— В рай, не в рай, а вообще-то, братцы, дело не того... табак. Бьют по настоящему, подлецы.

— И откуда это?

— Должно, с крыши, с гостиницы. Там их тьма засела.

— А можа, от Воскресенских ворот?

— Нет, это с крыши,—подтвердил Петька:—я видел, с крыши.

Все с любопытством посмотрели на него: паренек то случайно не лежит рядом с мертвым солдатом.

— Ну что, товарищ, чай у тебя душа в пятках?—спросил рабочий, говоривший о рае:—пожалуй, теперь тебе иголку надо?

— Какую иголку? Зачем?—удивился Петька.

— Иголку настоящую. Душу выковыривать из пяток.

В толпе коротко засмеялись. Петька сразу покраснел, и у него стал такой сконфуженный вид, что пожилой усатый солдат угрюмо сказал ему:

— Зря ты, парень, полез сюда.

— Почему же зря? Разве я не такой же гражданин, как, например, вы? Это даже странно,—запальчиво, обидевшись, чисто по-мальчишески выпалил Петька.

Солдат промолчал, и молча, пренебрежительно сплюнул в сторону.

— Тьфу...

Потом опять угрюмо глянул на Петьку.

— Бить, брат, тебя некому. Вот, что скажу.

Но тут за Петьку вступился высокий худой рабочий в темной шапке, надвинутой на самые глаза.

— Ну, что ты его смущаешь? Пошел и пошел. И хорошо сделал. Чем он хуже нас с тобой?

Рабочий говорил громко, бодро и, чтобы согреться, подпрыгивал, нервно хлопал руками, а винтовку перекинул через плечо.

Вдруг в конце переулка, там, ближе к университету, началась сильная стрельба. Здесь все встрепенулись. Петька нервно прошелся взад и вперед по тротуару, подошел к самому углу и, вытянув шею, глянул к Охотному.

Отсюда уже было видно и Охотный, и Воскресенскую площадь, и часовню Иверской, и дальше через Воскресенские ворота уголки Красной площади. Все было пусто. Ни людей, ни экипажей. И эта пустота особенно пугала. Всегда, даже в глухую ночь, здесь был народ. Теперь же никого. Под Воскресенскими воротами и ближе сюда из за углов стреляли из винтовок, и пули с резким зиканьем летели мимо, били в мостовую и в забор большого строящегося дома.

В Охотном ряду, за углом, мелькнула какая то фигура. Петька взял винтовку к плечу. Фигура скрылась. Но Петька, всем существом чувствуя, что ему можно выстрелить и что его за это никто не накажет, прижал к плечу винтовку и нажал спуск.

Винтовка резко толкнула в плечо. В ушах загремело и запищало. Солдаты все столпились к углу.

— Кого бил?—спросили они.

— А там студент, кажись...

— Смотри, не убей частного какого. Здесь много шляющих.

Из за угла опять высунулась фигура в серой шинели и—тр-рах!—раздался выстрел. Над головой Петьки что то глухо стукнуло, кусок штукатурки скакнул на тротуар и покатился, рассыпаясь на мелкие части. Облачко тонкой белой пыли повисло в воздухе. Все отшатнулись.

— Вот, мать честная,—удивленно сказал Петька и засмеялся.

— Ах-они...—вдруг громко на всю улицу закричал молоденький юркий солдат:—Они этак?!

И, ругаясь, начал торопливо стрелять по улице. Два других солдата тоже подскочили к нему и один с колена, а другой стоя, упорно, будто по наступающему неприятелю, стреляли в улицу. Петька весь загорелся. Он выскочил из за угла на мостовую и, стоя открыто, стрелял. Никого нигде не было видно, но и солдаты, и Петька, и пятеро рабочих—все усердно, сосредоточенно стреляли, пересыпая выстрелы ругней. Из за угла напротив тоже показались солдаты и тоже раздались выстрелы.

Сумашедшая стрельба продолжалась минуты две. Петька видел, что никого нет, стрелять не нужно, что их выстрелы попадают или на мостовую, или в стены домов, где, может быть, сидят свои же люди. Но возбужденный, продолжал стрелять. Стрелял по улице, потом по крышам, не целясь, не задумываясь, надо ли стрелять.

От выстрелов у него заныло плечо. Ладонь правой руки покраснела, натертая шишечкой затвора. А пока отсюда стреляли, в Охотном было тихо.

— А, может быть, они ушли оттуда?—спросил Петька.

— Како ушли. Там. Сейчас вон в угольный дом стреляют.

— А там наши?

— Ну да. Сидят наши.

И вдруг, как бы подтверждая этот ответ, из окон красного дома на дальнем углу затрещали частые выстрелы.

— Вишь? Это наши,—подтвердил солдат.

Из Охотного донесся отчаянный крик. Солдаты и рабочие прислушались. Крик опять повторился.

— Ранили кого-то,—оживленно сказал Петька.

— Должно быть. Кричит. Не хочет умирать...

— Юнкеря должно.

— Видать по всему, что юнкеря. Кричит, как резаная свинья,—сказал юркий солдат и нехорошо засмеялся.

Он заискивающе посмотрел на всех, словно искал сочувствия. Но все промолчали.

— Стойте-ка, о чем это кричат?

За углом кричали надрывно. Все стали слушать, вытянув шеи. Но ничего нельзя было разобрать. Петька опять вышел из за угла, присмотрелся и, подняв винтовку, стал стрелять. Теперь он уже стрелял спокойно, целясь, уже не боялся, что его остановят. Сначала выстрелил в дымовую трубу, хорошо видневшуюся на фоне серого неба, потом в большой электрический фонарь, висевший на столбе на соседнем углу. Фонарь после выстрела качнулся.

— Попал!—с удовольствием подумал Петька.

Передохнув немного, он опять принялся стрелять. Разбил большое зеркальное стекло в галантерейном магазине, стрелял в угол красного дома, с удовольствием наблюдая, как там после каждого выстрела, отлетала кусками штукатурка и клубилась пыль. Потом целился в вывески, в мозаичные большие картины на стенах гостинницы «Националь».

И ему было приятно, когда он видел, что его пули разбивают огромные зеркальные стекла, разрушают стены, рвут железные вывески.

— Бу-ух!..—вдруг ахнуло за домами и сразу резко свистнуло где то около, как показалось, рядом.

Петька рванулся от неожиданности. Он увидел, как на дальнем углу обвалилась, будто плеснулась на мостовую стена красного дома. Солдаты и рабочие, а вслед за ними и Петька, кучей бросились бежать от угла по переулку, не понимая, что случилось. Но потом задержались, останавливались по одному.

— Из пушек бьют!—крикнули с противоположного угла:—Держись, товарищи.

— Бу-ух!—ахнул новый выстрел.

Все опять дрогнули, но оправились быстро и, словно второй выстрел успокоил, пошли назад к углу.

Винтовочные выстрелы в Охотном загремели резко и часто.

— Наступают! Идут!..—крикнул кто-то из окон.

Тревога захватила всех. С угла напротив человек пять солдат побежали вверх по Тверской. За ними, громко стуча сапогами, бежали рабочие. Оставшиеся начали часто, пачками бить по улице без цели. Из кучки, где был Петька, убежало человек десять. Осталось четверо. Петь-

ка, дрожа и задыхаясь, ждал, когда покажутся враги. На дальнем углу закричали резко. Из за дома, прямо на мостовую, выбежали люди в серых и синих шинелях и, стоя открыто, начали стрелять по улице и в тот угол, за которым прятался Петька.

— Вот они! — крикнул Петька:—Идут!

Все, грохоча сапогами, побежали от углов по переулку. Петька за ними. Едва он повернулся и увидел, что все, сломя голову, бегут,—он сжался от ужаса, и острые мурашки запрыгали по его спине. Выстрелы позади сразу стали резкими, пугающими, и показалось: вот-вот кто то подскочит сзади, выстрелит ему в спину. Ему! Потому что другие бегут впереди, а он самый последний. Ему! В спину! Он втянул голову в плечи, наддал, чуть согнулся, и зайцем-зайцем вперед, стараясь перегнать кого нибудь, чтобы тот, другой, был последним, а не он, Петька; чтобы не в него, а в другого попала пуля. Ветер в ушах свистел, а сердце точно барабан. Но теперь в спину стрельнут другим, задним. Ффууу!..

Каменное крыльцо, за ним ворота—проходной двор, и все, толкая плечами один другого, бежали двором.

И Петька—резвые ноженьки—уже впереди всех.

— Сто-ой!!.

Крик, словно выстрел.

— Сто-ой, сволочь!

Петьке в лицо и другим в лицо матрос сунул винтовку. Черная дырочка—страшная перед глазами. Петька отшатнулся, прыгнул к стене.

— Вояки, чорт вас. Назад! Убью!

У матроса лицо безумное: рот на бок, глаза как пятаки.

И страшные ругательства с хрипотцой (что особенно страшно) всем на голову:

— Трусы! Рвань! Назад! Перестреляю всех!

И все будто в стену уперлись. Остановились, растерянно оглядываясь.

— Назад! За мной!

Саженными прыжками матрос побежал через двор. Через двор проходной назад к углу, к Тверской. Первый побежал за ним Петька. Ему стыдно было, что струсил он.

— Ура! Бей! — в ярости закричал он, словно хотел погасить стыд.

И, не сознавая, яростно выкрикивал ругательства. Он видел только как вились ленты—два хвостика сплетающихся у затылка—на шапке матроса и метались у башмаков раструбы его черных брюк.

Вот угол. Матрос прыжком на мостовой:—трах!—выстрелил. Петька подскочил к нему рядом и едва приложился, выстрелил в кучу народа, что виднелась на дальнем углу, в Охотном. Оба—матрос и Петька—стояли открыто, прямо на мостовой, стреляли в перегонки, яростно. У Петьки ходнем ходили руки. С угла словно ветром всех смело. Не видно никого. Но матрос, страшно ругавшийся при каждом выстреле, вдруг закачался, захлебнулся, открытым ртом ловил воздух и, сделав два шага к углу, упал на тротуар, щекою в грязь, и задергался в судорогах. Петька скакнул за угол.

— И этого убили,—закричал он навстречу бежавшим сюда солдатам и рабочим:—убили...

Те остановились и нерешительно, издали смотрели на матроса. Петька подошел к ним: страшно было оставаться одному.

— Ага... Храбрился то он больно,—сказал рабочий с рыжим шарфом:—Вояки, говорит. Вот теперь тебе и повоюй.

Все столпились на самом углу, хмурились. Матрос лежал на боку, лицом к переулку, беспомощно разбросав руки и ноги. И тут только Петька успел рассмотреть его. Молодой, с маленькими черными усиками, волосы скобкой. Из открытого рта текла тоненькая струйка темной крови; виднелись зубы, покрытые пузырчатой красной слюной; и рот казался страшным, до смерти пугающим. Глаза были полуоткрыты и в них виднелись невылившиеся слезы. И все лицо было напряжено: словно матрос хотел вздохнуть полной грудью:

— Ох-хох...

И не мог.

С жутким любопытством смотрел Петька в его мертвое пугающее лицо. Народу к углу подходило все больше. Смотрели на матроса молча, не стреляли, и почему то каждый прятал свои глаза от другого. Кто то робко сказал:

— Убрать бы его.

И все разом оживились.

— Конечно, убрать надо. Убрать.

И задвигались, словно обрадовались, что нашли дело. Два солдата выскочили на тротуар, схватили убитого за руки и волоком затащили за угол, а отсюда понесли уже на руках. Петька поднял его шапку с черными лентами, на которых было написано «Тральщик», и понес было вслед за матросом. Но потом положил ее убитому на грудь и вернулся к углу. На том месте, где лежал матрос, валялась винтовка, из которой тот стрелял, и всюду около—золотистые гильзы патронов.

— Вот, что делают, буржуи проклятые!—злобно бросил рабочий.

Другой подхватил:

— Душить всех подряд надо.

Все хмурились. Лица у всех посерели, исказились. Только Петька смотрел на всех беззлобно, с удивлением. С ним происходило странное: ему всюду мерещился пугающий, открытый, окровавленный рот убитого матроса. Вон вдали провал разбитого окна—черный и страшный. Это рот. Черное окно подвала, черная подворотня вон у того серого дома... Рот, всюду рот открытый и страшный. И чудились там зубы, покрытые липкой кровавой слюной. По спине бегала дрожь и не хотелось смотреть туда. Непонятная тревога вдруг охватила Петьку. Вот где то около ходила опасность. А где? Неизвестно. Бросить бы винтовку и поскорей выбраться отсюда домой.

Рабочие и солдаты перебрасывались тяжелыми каменными словами. Стрельба теперь велась лениво. Кругом было гулко, тихо, и в тишине выстрелы перекатывались, как дальний гром. Петька заметил, что в доме

напротив все окна занавешены. А одна штора шевелится. Ему чудилось, что там кто то сидит злой... Выстрел, другой, тишина. Еще выстрел, тишина. Слыхать, стреляют где то на Лубянке.

Вдруг в тишине ухо поймало глухое шипение и фырк.

— Стой, ребята, кажись автомобиль?—встрепенулся юркий солдат и, взяв винтовку наперевес, поспешно подошел к самому углу и украдкой выглянул туда, к Охотному.

Все стали присушиваться. Шум становился яснее.

— Верно: автомобиль. А ну-ка, поглядим...

И все сразу оживились, сгрудились на самом углу, приготовив винтовки.

Из за угла Охотного вышел грузовой автомобиль, на котором стоя и сидя ехали вооруженные люди в синих и серых шинелях. Винтовки беспорядочно торчали во все стороны. Ползучая ваза: винтовки, головы, руки, синие и серые шинели—точно цветы. Он полз к другому углу, хотел скрыться.

Петька, рабочие и солдаты торопливо, наседая один на другого, прицелились, залпом выстрелили в него. Автомобиль дернулся и остановился; из машины брызнула белая струя; на нем судорожно заметались люди.

— А-а-а!..—торжествующе заревел нечеловеческий голос рядом с Петькой.

И рев толкнул всех. Солдаты и рабочие выскочили на мостовую и, стоя здесь кучами, не думая об опасности, начали стрелять по автомобилю. Из за соседнего угла прибежали еще солдаты, еще рабочие. Все стреляли с судорожным азартом. Петька видел, как там люди клубками падали на мостовую, на дно автомобиля, судорожно метались, стараясь прятаться за колеса и за борта; видел, как летели щепки, отбитые от деревянных бортов автомобиля. И острая неиспытанная радость душила его.

— Бей их! Лупи!—орали здесь около.

— Бей!—орал Петька, уже не чувствуя себя, и стрелял без передышки, едва успевая заряжать.

Прошла, может быть, только минута,—автомобиль стоял разбитый и никто уже не шевелился ни на нем, ни около него.

— Ого-го,—торжествовали здесь:—это здорово, ни один не ушел.

Хохотали, двигались порывисто. Подмигивали задорно, упоенные победой. С любопытством смотрели на автомобиль... Тихо, мертво. Просто!..

Огневое схлынуло, и Петьке опять почудилось, что разбитое окно вон в том доме, похоже на открытый мертвый рот.

А все смотрели—ждали, что будет дальше. Из-за угла из-за красного дома—высунулся белый флаг с широким красным крестом, закачался на палке,—вверх-вниз, верх-вниз, продвинулся над тротуаром, и показалась рука в кожаном рукаве—рука держала флаг, махала. Так долго, может быть, целую минуту, рука махала. Из за угла вышла девушка в кожаной куртке—на рукаве рдеет крест—и голова в белой косынке. Она пошла к автомобилю открыто, и несла флаг над головой. Вот положила его на разбитый борт, пошла вокруг, нагибаясь к колесам, у которых

лежали спутанные кучи—будто мешки. Девушка от одной кучи к другой наклонялась, трогала их рукою и обходила медленно, и молча.

А здесь—затаив дыхание—напряженно смотрели на нее рабочие, солдаты, Петька.

Девушка что то крикнула, махнула рукой. Из за угла плывущим шагом вышли двое солдат с повязками на рукавах—к автомобилю. Над чем то наклонились, потом один подставил спину, другой поднял неуклюжий мешок в шинели, внизу болтались сапоги, и положил первому на спину. Так начали они носить убитых...

Поднимали их с земли, вытаскивали из автомобиля, клали на спину и, сгибаясь, тащили за угол...

И каждый раз, когда там поднимали труп, здесь радовались:

— Несу-ут! Еще несут! Это вот та-ак! Это вот по нашему.

— Гляди, гляди—это студент.

— Ого, а это офицер.

— Ка-ко-ой длинный.

— Ого-го, восьмого понесли.

— За одного нашего десять ихних.

— Урра!

Петька приплясывал.

Но унесли последний труп. Автомобиль стоял как раз на перекрестке, разбитый. И погасла здесь радость.

— Тррах!

Это на дальнем углу выстрелили. И сразу здесь на всех лицах мелькнуло упорство и напряженность. Все защелкали затворами, задвигались. К углу подошел торопливо солдат с черненькой острой бородкой. Он сказал торопливо:

— Сейчас наступление, товарищи, готовься.

— Наступление,—проговорил про себя Петька:—наступление.

Под ложечкой у него задрожало. Он заюркал туда-сюда,—искал места, где бы стать, так как думал, что наступление—обязательно итти рядами.

— Наши обходят дворами. Как начнется стрельба, мы...

Но не договорил: там, на углу, сразу закипела стрельба. Солдат метнулся в улицу, и тротуаром, не оглядываясь, побежал к Охотному. Петька дрогнул, заревел «ура» и за ним. И в раз перегнал. Один впереди всех, сломя голову, бежал, а навстречу ему неслось горячее—может быть, воздух, может быть, пули,—и ветер визжал в ушах...

Остановился он только на углу, у красного дома, и видел, как вниз по Моховой бежали синие и серые шинели, и три раза успел им выстрелить вслед.

Взволнованный и торжествующий, он взобрался на крыльцо охотнорядской часовни, чтобы оттуда лучше и подальше видеть. Охотный ряд, Театральная площадь и улица вдали, все было пусто. Из за лавочек начали выползать люди—больше мальчишек,—и темной массой затолпились на углах. Они с любопытством, точно на диковинку, смотрели на солдат и рабочих, рассматривали расстрелянный залитый кровью автомобиль,

стоявший на перекрестке. Мальчишки отдирали щепки от бортов, собирали гильзы патронов. Потом толпа смешалась с вооруженными солдатами и рабочими. Три мальчугана лет по десяти остановились перед Петькой и с завистью смотрели на него.

— Дай пострелять,—попросил один.

Петьку жестоко оскорбила такая просьба.

— Уйди!—грозно крикнул он на мальчугана и, прислонившись к каменному парапету часовни и держа винтовку на перевес, решительно и сердито закричал:

— Частные которые, расходись! Стрелять буду!

И выстрелил вверх.

Толпа шарахнулась. Даже солдаты и рабочие, что с винтовками, дрогнули и метнулись.

— Расходись, расходись!—раздались тревожные крики.

В одну минуту ветер смел толпу. Было видно, как перепуганные люди мечутся между лавками, прячутся... Солдаты и рабочие сгрудились около угла Национальной гостинницы. Петька один остался на крыльце часовни. Кругом никого. Свои вон на углу, за разбитым автомобилем. Он вдруг сердцем почувствовал, что здесь он один. Стало страшно. Казалось, из за часовни выскочит кто-то злой и убьет. Под шапкой у него шевельнулись волосы. Побледнев, он соскочил с крыльца и через дорогу, мимо автомобиля, бросился туда к углу, к рабочим. По дороге споткнулся. Это еще больше усилило страх.

— Держись!—смеясь крикнули на углу.

Задыхающийся, добежал он до рабочих. Его страх передался и другим: здесь все стояли, судорожно сжимая винтовки, готовые каждую минуту дать отпор. Но прошла минута и напряжение исчезло.

— Кажись, сами себя напугали,—сказал чей то насмешливый голос:—здесь никого нет.

— Есть—отозвался Петька.

— Где?

Петька и сам не знал, где враги, но махнул рукой куда то.

— Там.

Он чувствовал, как тревога вдруг захватила его. Почему то опять захотелось бросить винтовку и поскорее уйти домой, на Пресню, но теперь чувство было настойчивее. Стало тоскливо, холодно, и по телу забегали мурашки.

Вдруг где то близко, за углом, ахнул резкий выстрел. Рабочие и солдаты шарахнулись к стене. Петька испуганно метнулся за ними, стараясь спрятаться за кого нибудь. Предчувствие чего то ужасного до боли сжало сердце.

— Уйти бы отсюда, подумал он.

Выстрелы не повторились. Рабочие и солдаты, стоявшие у стены, вздохнули свободнее, зашевелились.

Чтобы подбодрить себя, Петька поднял винтовку и выстрелил вверх. Потом еще. За ним стали стрелять солдаты. Стреляли в окна соседних домов, в крыши, где, казалось, засел невидимый враг. И, стреляя, все

опять вышли на угол, на перекресток. Петька забрался на старое место, на крыльцо часовни, и оттуда стрелял в здание Национальной гостинницы, целился в окна, на которых висели прекрасные гардины, а в глубине виднелись блестящие люстры и темная пышная мебель. Выстрелы немного успокоили его, подбодрили. Он с наслаждением разбил пулями все фонари у крыльца гостинницы, сделанные из матового резного стекла, разбил графин, стоявший на столе, там внутри, перед окном.

Потом стрельба сама собой прекратилась. Солдаты и рабочие собрались у часовни и, мирно переговариваясь, стояли, курили, забыв об опасности. И опять, словно тараканы сквозь щели, к ним подошли один по одному мальчишки из охотнорядских лавченок, пришло несколько мужчин, и кругом зачернела толпа. Мальчуганы, как собаченки, шныряли в толпе, собирали расстрелянные гильзы. Стало покойнее. Но чувство неопределенной тоски не оставляло Петьку. Он знал сердцем, что опасность где то здесь, близко, рядом. Но где?

Стрельба шла все время около университета и у Кремля. Ни юнкеров, ни студентов не было видно.

Но Петька, беспокойно оглядываясь, все искал, откуда опасность.

— Идут юнкаря!—вдруг резко крикнул из за часовни детский голос.

И в тот же момент кругом часовни и на улице грянули частые выстрелы. Толпа завыла, заметалась. Мальчишки падали на землю, бежали, на четвереньках, ползли к лавкам. Дрожа всем телом, Петька попытался, приседая, пробежать к углу Тверской, но едва выбежал из-за часовни, как попал под выстрелы. Он увидел, что из ворот соседних домов по одиночке и группами бегут юнкера и студенты с винтовками на перевес и что на всех соседних крышах виднеются фигуры людей с винтовками. Петьке казалось, что все, кто засел на крышах, целят прямо в него. Он метнулся назад, на крыльцо часовни, под защиту стены. На бегу юнкера и студенты в упор стреляли в солдат и рабочих. У самого угла часовни, на грязных, покрытых осенней слякотью плитах тротуара, уже лежало несколько человек, судорожно корчившихся и кричавших, а рядом с ними валялись брошенные винтовки. Несколько солдат плотно прижались к стенам часовни и стреляли в юнкеров. А те цепью бежали прямо на них. Вот они вскочили на самое крыльцо, где судорожно метались растерявшиеся солдаты и рабочие. Петька будто в полудреме видел, как юнкера штыками с размаха тыкали солдат, а те дико выли и хрипели и руками пытались ловить штыки, или сами стреляли в юнкеров на расстоянии двух шагов.

Забыв, что можно стрелять и сопротивляться, Петька прижался к стене и крепко уперся в холодные камни, словно хотел вдавиться в них. Широкими от ужаса глазами он смотрел на юнкеров, которые около него расстреливали мечущихся солдат и рабочих, и ждал, замерев. Два юнкера пробежали совсем близко. Один на бегу вскинул винтовку и прицелился в голову Петьке. Петька ясно увидел его темные круглые глаза. Блеснул яркий огонь. Но выстрела Петька не услышал.

Александр Яковлев.

Это все было так.

Посвящается июльской стачке и расстрелу рабочих на Пороховом мосту 10 Августа 1915 года.

Рано утром, когда солнце еще не показывалось, а только начинал розоветь горизонт на востоке, раздались, перегоняя один другого, точно соперничая, звуки фабричных свистков. Они забирались во все уголки жилищ людей,—далеко за черту города и близлежащих деревень.

Чиновники всякой масти, купцы, торговцы, попы, вся армия белоручек, проживающих близко к фабрикам, посылали всякие проклятья этим звукам, нарушающим их сладкий сон на заре.

Люди фабричного труда нервно вскакивали с своих жестких постелей и торопливо начинали собираться на фабрику.

Свистки свистели на разные голоса—один пронзительно долго резал воздух, другой точно захлебывался от злобы, третий гудел ровно, спокойно. Один из них особенно гудел зычно, густо волнуясь в звуках, как колокол набата. Этот свисток был на фабрике хозяина, безвыездно жившего за границей, прожигавшего на прелести заграничной жизни большие прибыли, которые ловко выколачивал усердный заведующий, вместе с рабочими, по свисткам направлявшимися в фабрику. Он встречал их во дворе прибауточками: «Поживее, поживее, милый, поторапливайся; без труда не вынешь и рыбку из пруда. Великое дело труд. Я вот уж в садике своем поработал».

Свисток этой фабрики всегда начинал свою песню призыва к труду когда кончали ее другие, покрывая их своей октавой, а из домов уже начинали выскакивать торопливо рабочие, стягиваясь пестреющими лентами к фабрикам.

Из фабричных спален-казарм с угрюмыми лицами шли в рваном платье, в калишках или просто босиком, замызганные краской, пухом, фабричной грязью рабочие. Темными, землисто-желтыми лицами, с чадом угара в голове от жизни и злой думы о ней, наполнялись ткацкие корпуса, ситцепечатные, плюсовки, лабораторки, сушилки с 40° жаром, с удушливым запахом красок и пыли. В отделениях бегали уже с сердитыми, озлобленными лицами мастера. В воздухе корпусов слышались крики фабричной команды, отборная ругань на все манеры, язвительные пошлые замечания женщинам на фабричном жаргоне.

— Свиньи, скоты, лентяи!—скрепляя в разнообразных видах матерью, слышалось первое, основное, утреннее приветствие рабочим от начальников, старших всех рангов службы.

— За ворота!.. Прогоню!..—как резкий сухой звук выстрела, раздавался грозный крик мастера новичку на фабрике — Петру или Ивану из деревни. Неповоротлив он еще, без сноровки опустил с плеча на пол тяжелый шестипудовый медный вал с узором для печати.

Но это грозное предупреждение делалось часто более для внушения другим. Не этому новичку Петру, так кому-нибудь другому, но каждый день, час это слово висит в воздухе.

Тихо в это время делается в корпусе: люди жмутся все к месту работы, не в дело хватаются, за что попало под руку, лишь бы показать свои движения. Слово «за ворота» будит у них в мыслях еще более тяжелые образы жизни завтра.

Табельщики бегают с книжками штрафов за опоздание.

— Матрена, третий день по пять минут опаздываешь!—гривенник,— заявляет табельщик сшивалке в ситцепечатной.

— С детьми замешкалась, Иван Семеныч, грудной у меня, — оправдывается Матрена.

— Рассказывай,—с усами грудной-то,— не обращал внимания табельщик на Матрену, женщину с больным чахлым лицом от бессонных ночей, — измучилась она, выжимая пустую грудь ребенку за ночь.

Иван Семеныч уже идет дальше, записывая на ходу гривенники.

— Дьявол!..— слышится вслед ему злой шопот Матрены, а к ней уже подскочил другой.

— Ну, чего глазами хлопаешь, на гулянку что ли пришла, аль об Иване вспомнила? — кричит пристав, имеющий большой штат в своем распоряжении Матрен, и нахально окидывая ее глазами.

Четыре часа утра. Все на местах, полно в корпусах рабочей силой: мужской, женской, детской.

Дрогнули станки, машины, раздался целый рой звуков. Скользя зашипели ремни, забегали челноки, защелкали гонки, застучали станки, машины, человеческий голос тонул в этой музыке звуков.

Вон к своей поручнице подбегает ткачиха и что-то кричит ей на ухо. Та качает головой в ответ и показывает с печалью в глазах на основу, которая начинает рваться. От этой беды в работе много бессонных ночей. Без числа, с горя, влетит подзатыльников детишкам, с мужем делается она скупа в разговоре. Как червяк гложет сердце тоска, забота,— заработок мал будет, да отрежут еще от него штрафами за нечистоту в работе.

Молчаливы у станков ткачихи, приступив к работе. Лица серьезны. Но вот, пробрались в корпус утренние лучи солнца, ударили в большие окна с частыми переплетами рам, как в тюрьме. Косые полосы золотистой пыли пронизали весь корпус, заиграли зайчики на станках, скользнули по бледно-желтым лицам ткачей. Они внесли им жизнь, бодрость. Все больше и оживленнее стали переговаривать они на ухо друг с другом, делать понятные им жесты в разговоре.

В этот день, к обеду, в корпусах фабрики особенно росло волнение и оживление в рабочих массах.

Империалистическая война разгоралась жарко.

В городе день ото дня росли слухи, что хлеба мало, говорили, что его стало трудно закупить, цены росли на хлеб не по дням, а по часам. Торговцы потирали от удовольствия руки:—сегодня рубль, завтра два возьмем,— шептал на ухо крупный туз своему заборщику, мелкому лавочнику, торжественно улыбаясь. Призрак голода веял уже над рабочими...

В конце длинной ленты ткацких станков, у выхода из корпуса в коридор, работала ткачиха Ариша.

Основа у нее, как никогда, сегодня рвется, напутало, а она часто подбегает к окну, посматривая на виднеющуюся дверь курилки для рабочих на дворе фабрики, бегает в уборную, прислушиваясь к разговорам ткачих.

Женская уборная в ткацкой — это единственное помещение, которое служило летом для обмена свободной мыслью женщин — здесь обсуждались все вопросы о тяготе в работе жизни.

К концу томительного дня в уборную всегда сходилось много ткачих. Ариша непременно в это время слушала внимательно разговоры, вмешивалась в них, чутко вскрывала причины тяжелых условий жизни и все ее нарывы; настойчиво, каждый день, говорила о борьбе за новую жизнь.

Ее часто многие ругали за непонятную им ее удаль, резкое обличение рабского примирения с жизнью, не любили ее за прямое, всегда просто выраженное слово в защиту достоинства рабочего человека, особенно рабочей женщины во всей ее жизни. Но многие и любили ее за верный, смелый ответ, протест всем администраторам, начальникам в фабрике.

Ариша особенно была не уравновешена духом. То ее лицо угрюмо, раздражительно, звучит нотка пессимизма в голосе, сердито посылает всех «к чорту». Слово «к чорту» она часто произносит в спокойном и расстроенном состоянии духа, чем еще больше окрашивается ее решительность характера.

То она черезчур добродушна, мягка, с тенью задумчивости в глазах. Это отражалось и на ее внешнем виде: то идет она на фабрику в подтыркнутой небрежно плохонькой юбченке, низко повязанная платком, надев какую-то старую куцавейку, в пальтишке, точно не с ее плеча. Подвязанные крепко чем-то вроде кушака, пряди волос выбились из-под низко опущенного платка,— старуха, да и только... Другой раз оденется не без кокетства в чистое, свеженькое платье, сшитое со вкусом, скромно и изящно.

— Ну вас к чорту, идолы! Издохнете, как и ваш благодетель, — досадливо махая рукой, кричала Ариша подмастерьям, старожилам ткачам, клянчившим чуть не каждый день у молодого хозяина награду.

Молодой хозяин туго поддавался просьбам на подачки. Невзрачный на вид, маленького роста, хилый, как скелет, он был резкая противоположность здоровой, очень высокой фигуре отца, от вида безцветных глаз которого, тупого взгляда, широкой спины у всех сверху донизу холодело сердце, тряслись поджилки. Отец, с объявлением торжественно Россией войны Германии, с отчаяния удавился,— испугался, пукнули капиталы, вложенные в германских банках.

Торжественно справив похороны отца, умевшего держать в строгом, рабском повиновении умы рабочих и своих слуг, первых подарками за отчаянное долголетнее усердие в работе, серебряной ложкой, часами с надписью; вторых всякими благами, завершая хорошей подачкой денежной награды,— молодой капиталист, вкусив вплотную хитрое построение жизни капитала, начинал широкую реформацию в методах эксплоатации рабочих, концентрации богатств и управления производством.

— Вот и гляди, на Талку вместе с нами ходил во время забастовки в пятом году, а какой жесткий?

— Мал, да удал! — рассуждали подмастерья, пришедшие «с носом» из конторы от молодого хозяина.

— Черти меднолобые, еще не этого дождетесь! — ругалась сердито Ариша, — метлой всех погонит за выслугу лет!

— Трепло, перестань, не суй носа, где тебя не спрашивают! — кричал подмастерье, имевший знак отличия за усердную долголетнюю работу.

Забитые жизнью, без искорки света, ткачи старожилы на все корки ругали Аришу. Некоторые боязливо озирались, другие с улыбкой удовольствия в лице слушали жесткие слова правды Ариши.

Сегодня с завтрака в уборной много скопилось ткачих.

В курилку на дворе как никогда торопливо бегают рабочие, свертывая на ходу цигарку.

Арише видно в окно, как из двери курилки густо вылетает сизый дым цигарок.

— Василий пошел, — сказала она, увидев из приготовительной товарища по политической работе в массах, направлявшегося в курилку.

— Смелова, в табельную пожалуйте! — насмешливо крикнул, неожиданно подскочив к Арише, мальчишка — рассыльный из табельной.

— У, чертенок! — досадливо махнула рукой Ариша на мальчишку, недовольная прерванным наблюдением.

— За коим чортом? — сердито крикнула она мальчишке, сынишке пристава, из семьи которого хозяин фабриковал доморощенный штат приспешников всякой марки в службе.

— Узнаешь там, иди, требуют,—сказал мальчишка, схватил у Ариши из ящика на полу испорченную початку, с озорством в улыбке, сделал лихо выкрутас ногой, припляснул в присядку у ее станка и стремглав побежал из корпуса.

— Дьяволенок! — нервно останавливая станок, сказала Ариша, набросила на плечи платок и быстро пошла своей всегда торопливой походкой.

От ее поручницы, дальше, по длинной ленте станков, быстро пронеслось оживление.

Кого другого бы вызывали, понятно, но Аришу, пожалуй, есть что-то другое. Лица ткачей говорили, что они решали этот вопрос. На ухо своей поручнице солдатка Алена кричала:

— Не к добру! Симка, сводница проклятая, получив новую пару за доносы директору, на горло лезет всем. Вчера про Арину говорила, пошабашивши, дорогой:—Влетит, говорит, ей скоро, языком треплет много ненужного.

Арише в табельной заявили, что ей директором приказано расчет выдать.

— За что?—спросила она отрывисто, гордо у табельщика. В глазах сверкнул огонек.

— Не знаем мы за что, поди справься у самого, если хочешь!

Она быстро повернулась, вышла из табельной и направилась в кабинет директора.

— Узнаешь за что, дотрепалась! Выше лба уши не растут! Держи язык за зубами!—сказал, ехидно ухмыльнувшись ей вслед, табельщик.

Директор, не обращая внимания, что вошла Ариша, сидел за столом, задом к двери, плотно развалившись в мягком кресле.

— За что мне расчет назначен сегодня, позвольте узнать? — спросила она, без тени смущения в голосе. Глаза ее блестели, рука нервно перебирала пальцами кончик ситцевого фартука.

— Расче...т? — как будто с удивлением протянул директор, обертываясь к ней лицом.—А, это вы Смелова? Да, да, вас нужно удалить с фабрики. Вы нарушаете спокойствие умов вашей повседневной пропагандой. Об этом мне известно... Подбиваете рабочих на бесцельное выступление, за это и платитесь.

— Ха, ха, ха! Прекрасно!.. — с иронией в голосе сказала Ариша, точно набирая сил или оценивая в промелькнувшей мысли вопрос, нужно ли дальше говорить с ним, бросить в лицо в данный момент жесткие слова ему, этому утонченно-вежливому, с одной университетской скамьи с молодым хозяином, его дружку, недоучке, новому, особенно вычурному, бесчеловечному администратору, с усердием проводившему в угоду хозяину новые методы эксплоатации рабочих. Эксплоатацию, произвол, он развивал до последней крайности и мелочи. Сотни зараз выбрасывались за ворота с рублем в месяц пособия или просто без всего, без разбору, с знаками отличия от старого хозяина,—серебряными ложками, часами и без этого, все, у кого устали зорко смотреть глаза, ослабли энергично двигаться руки. Он не брезговал всякими видами доносов, шпионажа от кого угодно, благосклонно смотрел на цинизм, разврат подчиненных ему начальников, поборы их даже женским телом, поощрая вербовку на работу молодых работниц. Вы может быть не поверите? Но это правда. Он не выносил вида селедки, луку, которые приносили ткачи на завтрак. Они принуждены были остерегаться это есть в фабрике и прятали за пазуху, в карман, боясь положить эти продукты на окошко и получить за это штраф во имя свободного насаждения гигиены образованным директором.

Нервнее перебирала Ариша кончик своего фартука в минуту короткого молчания. Плечи передернулись судорожно и, устремив глаза в лицо директора, она вызывающе сказала:

— Вы хотите предотвратить удалением одного человека волнение умов... О, как же вы близоруки, господин директор. Нет силы остановить волнение измученных, задавленных жизнью рабочих. Бессильны вы. То, что произошло за это время там и здесь, во имя накопления богатств, которым вы служите, не поправить вам!—говорила она с жестами укора, волнуясь все больше в голосе.

Директор смотрел на нее небрежно.

— Идите, идите отсюда. Я не хочу слышать вашу проповедь,—сказал он, иронически улыбаясь. — Вы этим не достигнете улучшения жизни, шаг ошибочный. То, что Россия несет страшные пораженья от разгильдяйства власти, я не отрицаю. Но вашей преступной пропагандой вы несете окончательную смерть славе и могуществу России. Нужно терпеть до конца.

— Терпеть!..— раздраженно вскричала Ариша, пронизывая еще настойчивее его глазами.

— Наглецы!... до каких-же пор это терпеть? Конец старой власти не за горами, не страшен будет бой с тем, кому вы служите. Он настроил на земле всякой мерзости, вся слава России жестокая, кровавая. Где, я спрашиваю вас,—человеческие права, достоинство, радость в жизни рабочих? Все отнято... пошлость, грабеж, издевательство кругом. Труд, наука, искусство, жизнь, все, все в его руках липких, кровавых, хищных! Неужели вы еще мыслите, что царство ваше долголетне?—сделав шаг вперед, не спуская глаз с директора, крикнула строго Ариша.—Нет! завтра вы должны расчитать десятки, сотни рабочих, таких-же, как я, но вы этим волненье умов не успокоите, нас много и мы будем беспощадны к вам в бою, помните!..

Директор стремительно вскочил с кресла, бледный, с поддергивающимися мускулами в лице, хватаясь за звонок на столе.

— Подите вон!—или я приму другие меры,—глухим решительным тоном сказал он.

В растворенное окно вдруг раздался гул массы голосов рабочих. Изо всех отделений выходили толпами рабочие, направляясь к конторе.

— К управе, товарищи!—там скорее сговоримся, как дальше жить, —доносились крики из толпы в окно директора, с стихающим шумом паровых машин, станков.

— Слышите?... Это голод стучится! Предовратите волненье чем? Пулей, казацкой плетью? ха, ха, ха!—иронически, с пролетарским презрением в лице захохотала Ариша и выбежала из кабинета директора.

II.

Двор был полон рабочими. У конторы стоял хозяин, окруженный высшей администрацией фабрики, во главе с полицейским фабричным надзирателем. Вся мелкая фабричная знать,—мастера, помощники, конторщики смотрели с любопытством из окон корпусов. Они были немые, трусливые, слепые, в первом ветерке назревающей большой революционной бури.

— Надо устроить лабазы с харчами при фабрике, покуда не приняло других размеров волненье этих дикарей, подстрекаемых проклятыми краснофлажниками,— сказал молодому хозяину его родня, пайщик в предприятии, директор-распорядитель, ворочая большими белками глаз из-под очков в золотой оправе.

— Да, этот вопрос надо сейчас обсудить,—ответил молодой хозяин и вскочил в экипаж.

— В управу,—крикнул он кучеру и рысак быстро понесся со двора.

То и дело по центральной улице города раздавался стук ног рысаков о мостовую. Это фабриканты города Иваново-Вознесенска, перегоняя один другого, ехали в Управу.

К вечеру на улицах фабричного района стали появляться группы рабочих, шедших с площади.

Один на вопросы обывателя, стремившегося узнать, что происходит на площади, сердито отвечал:—Поди, сходи, да послушай! Другие вступали в разговор.

— Да разве дадут они помощь так? Не делом просят, ничего хорошего не выйдет... Про войну говорят не дело, барыши фабрикантов от войны подсчитывают, царскую власть задевают.

— Да, война тут не при чем и барыши тоже. Силой ничего не возьмешь. Знаете басню: медведь дуги гнул?—говорил, сплевывая часто губами, азартно махая рукой, человек, стоявший в кучке рассуждающих у харчевой лавки, домогавшийся стать ткацким мастером.

Он посвящал все свободное от работы время игре в карты. Выиграл двугривенный и кум королю—его постоянная прибаутка. Под забором, в чуланчике, на пролет всю ночь и день прямо с фабрики с дачкой, и со свистком опять на фабрику с игры.

— А наша Аришка на всю площадь орет: только борьбой мы улучшим свое положение, товарищи, на подачки проклятых эксплоататоров нечего надеяться!—говорила про Аришу, широко улыбаясь, стоявшая в группе ткачиха, жена подмастерья.

— Дела... хи, хи, хи!—поглаживая широкую светлую лысину, ехидно ухмыляясь, сказал лавочник, подошедший послушать новости.

— Чего теперь ждать-то?—Вот опять лавки начнут громить, как в пятом году!—хлопая часто ресницами глаз, прожевывая что-то в набитом рте, протараторила жена лавочника, с румяным лицом, пухлыми щеками, с сеткой темных кровяных жилок на щеках, точно вымазанных клюквой.

— Молчи, дура баба!—огрызнулся на нее лавочник, досадливо махнул рукой.—Без тебя знают они, что делать.

III.

Три дня на площади перед Управой, как море волновалась рабочая масса, носились грозные крики: хлеба, хлеба!

— Повлияю... говорил губернатор.—Торговцы сбавят цену на хлеб, фабриканты прибавят жалованье, вставайте на работу...

Результаты влияния в третий день стачки частью стали известны: цены на хлеб были понижены.

На четвертый день свистки точно отчаяннее свистели на фабриках, в ворота вливались шумно рабочие. Стачка кончилась.

В корпусах мастера, пристава, табельщики, торжественно улыбаясь, захлебываясь от удовольствия, громко во всех уголках, где был рабочий, говорили:—Вот это милость, хорошо...

— Фабриканты решили открыть при фабриках потребиловку, не надеются на совесть торговцев. И харчи будут дешевле и прибыль будет у рабочего от этой потребиловки.

— Затрещит, Единение-то Сила, ха, ха, ха!

— Давно бы так надо...

Но влияние губернатора было еще не все, оно пошло дальше. О прибаве заработной платы на фабриках не было ни гу-гу, но вскоре после

этой стачки, девятого августа, в рабочих массах пронеслась тревога. В курилке, в женской уборной полно. По корпусам вместо работ идут оживленные возбужденно друг с другом переговоры, и у всех, везде одно на языке:

— Арестовали сегодня ночью много...

— За дело, раскуривая цигарку, говорил внушительно патриот наград, подмастерье.

Администрация по отделениям бегает обеспокоенная. Она громко рассуждает, подходя к рабочим:

— Арестовали не напрасно... Немец всем работает... Не зря кричали—долой войну!.. Знают, кого арестовать...

На другой день, 10 августа, в фабриках паровые не шумели, станки, машины стояли без людей, безмолвно. Злые, недовольные, медленным шагом, рассуждая жарко друг с другом, расходились не в урочное время с фабрики домой администрация и редкие кучки рабочих,—патриотов войны до победы и хозяйских наград.

Они шли, останавливались и опять медленно двигались. Их собралась порядочная толпа на базарной площади. Галдели на все лады о немецком шпионе, а в это время мимо них, точно связанные друг с другом, слитые, шли, твердо шагая, черной колонной рабочие с механического завода. Они ничего не говорили. Черные, закопченные их лица были глубоко серьезны, задумчивы. У них стоял один вопрос в уме: Чем ответят? Что-то будет? У некоторых были обнажены головы. Позабыл про шапку—не до этого было. Порыв, стремление увекло волной их с завода на площадь.

А на площади уже бушевала сплоченная сила рабочих. Все грознее, суровей и громче разносился гул голосов,—освободить, кто арестован! Идем к тюрьме!

Вечерние тени стали ложиться на землю, а требования все неслись тверже и решительней, настойчивее стремилась рабочая масса к тюрьме.

На улицах фабричного района августовский вечер в этот день наполнен был какой-то жутью, немой тишиной. С площади изредка возвращались рабочие, торопливо проходившие по двое, трое.

В сумерках мелькали белые платки женских голов, темные силуэты мужчин.

Но вот стемнело. Между темными облаками в небе, в клочках чистого воздуха горели звезды. Луна то бросала полно свои холодные, бледные лучи на землю, сгущая тени на ней, то скрывалась в облаках.

Вдруг раздались два голоса торопливо шедших рабочих. Из их возбужденно-отрывочных слов в разговоре можно было узнать окончательные результаты ответа, на требование рабочих.

— Насилу выбрался... верст десять дал крюку... через заборы, где попало... изорвался, как дьявол!..

— Не ожидали, что этим встретят... взаправду стреляли, есть, кажется, много убитых и раненых, ответил второй первому.

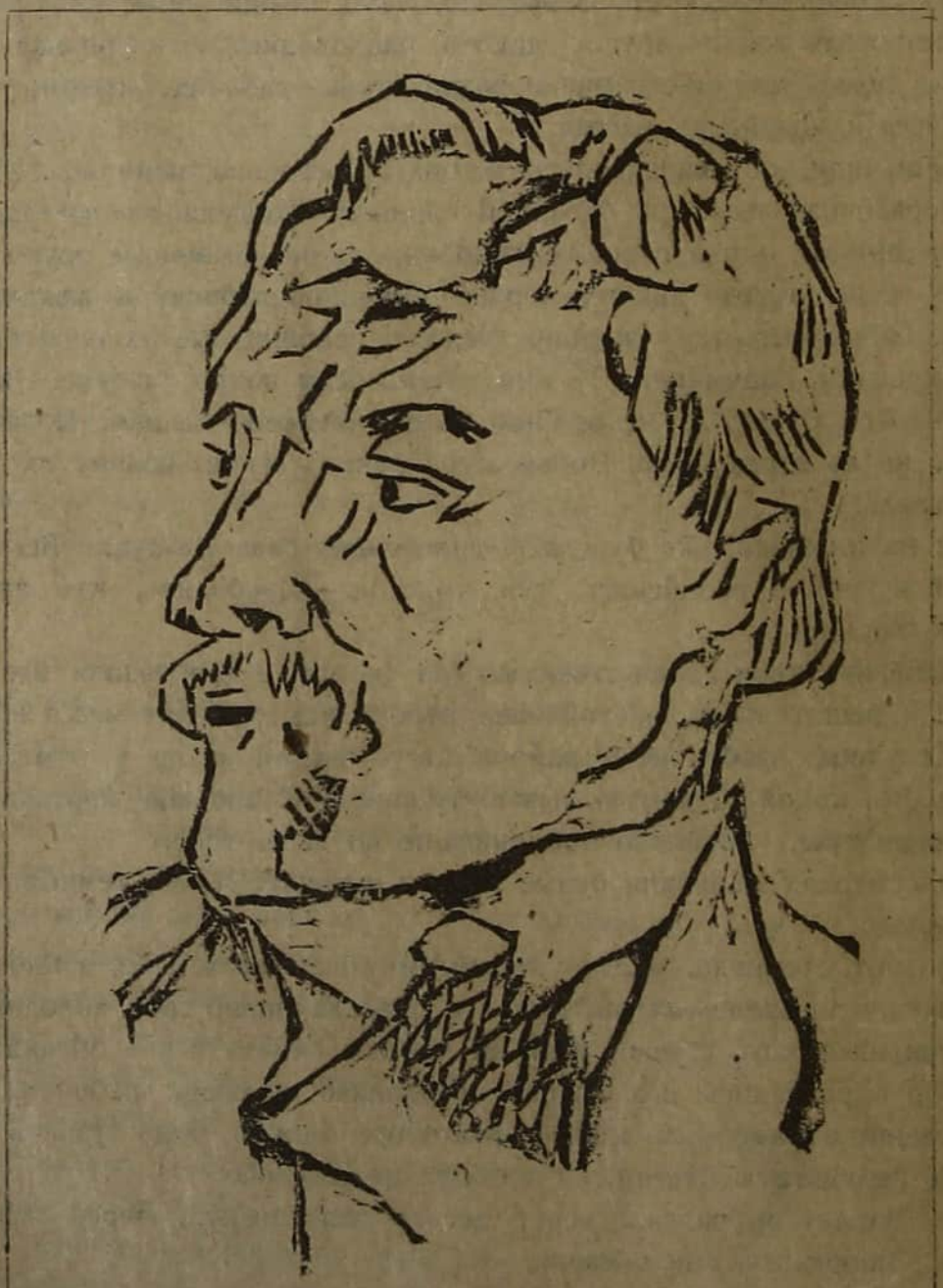
От этих слов скрывается надолго в черные облака луна. Жуть и темь ночи 10 августа стала острее.

Расстреливали там, на фронте, и здесь, в тылу, и все одних и тех-же, рабочих и крестьян. Но за что? В чьих интересах? Теперь это узнал широко весь мир труда.

Пройдет сто лет, жизнь развернется великой красотой от нового творчества людей.

В то время будут казаться людям страшной сказкой наши дни жизни и борьбы за новый мир, и чудным великим подвигом смелая борьба с капиталом рабочего класса, руководимого в борьбе его авангардом,— коммунистической партией большевиков.

К. Завьялов.



К. А. Завьялов.

Моя краткая автобиография.

Родился я в 1883 г. 17 июля, в городе Иваново-Вознесенске. Дедушка мой был резчиком на ситценабивной фабрике купца Лопатина. Мой отец пошел по этому-же ремеслу, но уже работал не резчиком, а граверем на стали, так как в это время ситценабивное производство почти упало, а развивались большие фабрики ситцепечатные. Резчика сменил гравер, набойщика—раклист на машине. Отец работал на фабрике Зубкова, на фабрике Ив. Гарелина, а все последнее время до смерти, у Петра Дербенева.

Мать была из крестьянского сословия, села Калачева, Шуйского уезда, Владимирской губернии.

Отец пил много вина, до одурения. Пьяный был буйного характера, а трезвый нем, как рыба. Служил он пять лет на солдатской службе и с вбитой на этой службе ему в голову любовью к отечеству, рабство его души дополняло свойство проклятого египетского труда, которое завершалось вычурным, утонченным гнетом мастеров, которые следили за гравером, выбивая из него энергию в работе так, чтоб его голова не ворочалась, не поднималась от станка с лупой, а руки все время ковыряли и ковыряли на светлом, блестящем стальном валике узоры рисунка.

Мать говорит, что не было мне года от рожденья, как я раз вывалился из окна на улицу, она схватила за ногу и не дала упасть. Нога была выдернута и осталась без всякого действия. Детство было тяжелое. Семья у отца была к 14 летнему моему возрасту 5 челов., я был старший. Вместо детской резвости, широкого общения с ребятами, с миром природы, я до 14 лет усиленно с утра до вечера качал за веревку привешенную к потолку люльку. Сидишь другой раз с пьяным отцом. Зима, морозно, отец выгнал мать из дома на улицу... Поводит он дико, бессмысленно глазами, цинично ругается, в руках повизгивает гармоника. Пьянеет все больше, гармоника вываливается из рук, голова склоняется на стол, улитый вином, с объедками селедки. «Приведи, господи, прежде конца покаяться, приведи, господи, с чистым покаянием помереть»,—бормочет он, засыпая, склонившись на стол. Со страхом я пробираюсь в кухню к окну, стучу, давая знак матери, что отец уснул. Такие сцены были после каждой получки жалованья, после могарычей и когда отец запивал от трудного рисунка или от обиды на своего мастера.

Сначала я ползал на коленках с подшитой кожей на штанах, потом начал ходить на костылях. Это положение заставило меня меньше пользоваться жизнью, а больше наблюдать все ее мелочи в окружающей меня обстановке: я чувствовал, что точно каждая щепочка, травинка, цветок говорит со мной. Вся моя радость в первых годах моего детства, это были летние дни, проводимые исключительно во дворе у дома. Отец не любил, когда я был на улице. Подолгу я заглядывался на вечерние гонки голубей с голубятен. Трепещут они белыми, сизыми, черными крыльями, кувыркаются, играя в воздухе, сходятся в большую стаю и теряются в вечерней синеве неба. Засматривался я подолгу на расцветшую одинокую

на дворе яблоню. Вся она убиралась весной белорозовыми лепестками, как живые они пестрели в молодой зелени, нарядна она, а недавно была такая неприветливая, некрасивая, с голыми кривыми ветвями.

С большим терпением я чистил самовар по приказанию матери, стараясь вывести все пятнышки и, торжествуя, любовался его блеском. И дальше следил и следил за всем, что было доступно моему наблюдению. Такими хорошими, интересными казались мне чумазые литейщики с завода, снаряжающие рыбные снасти на соседнем дворе. С такой любовью они с цигаркой во рту строгали удильники. Вьются они в их руках, длинные, белые. Со страхом в душе следил за матерью, которая перед приходом отца в обед, хоронила бабушку, ее мать, на чердаке, на время прихода отца. Отец не любил тещу свою и всегда, пьяный, колотил мать, вспоминая тещу.

Зимой круг моих наблюдений был меньше, чаще приходилось качать колыбель, посматривая на разрисованные морозом окна. Но и здесь воображение разыгрывалось. Казалось, что мороз нарисовал тут фигуры людей, деревья, кустарники. Разноцветные искры на стеклах так играли, когда зажигал их зимний луч солнца. Рука немела от качанья, опуская невольно веревку; мечта росла... раздавался плач из колыбели. «О чем думаешь, забыл свое дело!»—кричала мать, стирая ворох грязного белья с семьи. Торопливо хватался я опять за веревку, начиная снова укачивать ребенка. Семи лет, качая колыбель, я начал под руководством матери учиться читать по складам. Качал колыбель и водил деревянной указкой по азбуке, другой раз со слезами на глазах складывал по складам буки, аз, ба.

Но когда выучился читать, для меня открылся другой мир. Книжку за книжкой отец приносил с фабрики, выпросив у кого нибудь почитать мне. Мать на базаре другой раз купит в размалеванной обложке сказку и я с жадностью читал. По несколько раз я перечитывал: «Чем люди живы», «Кавказский пленник», «Князь Серебряный», «Стенька Разин». Нравился мне сапожник у Толстого, распевающий весной за работой у окна в подвале песни, не смотря, что жизнь тяжелая. Комната его в подвале, но хороша душа и сердце сапожника, только непонятно было, как это ангел слетел к нему с неба, делая заказ на башмаки. Торжествовал я за Костылина—«Кавказский пленник», который убежал из аула от горцев из плена. Нравилось мне описание дремучего леса, жизнь лесника в нем, и встреча его с князем Серебряным. Захватывала воображение широкая Волга, удаль Стеньки Разина, который разгуливал по ней и уничтожал злых бояр.

И во сне мне снились расписные челны, княжна, которую Стенька Разин бросает в Волгу.

В такой обстановке жизни стал складываться у меня духовный мир, вырабатываться мой характер. Чем больше я стал приглядываться к жизни, мыслить, тем сильнее стала расти жгучая злость к людям, которые высказывали ко мне жалость, соболезнуя о моем положении калеки.

«Маятся будет век-то свой, плохо, никому не нужен. Ну, да меньше забот, Ивановна, ни нарядами, ни гуляньем не надоест он тебе. Хорошую няньку послал тебе бог, все-таки свой человек с малыми ребятами».

Мать вторила им и всегда говорила мне: «у тебя жизнь будет другая. Об этом тебе нельзя думать, это нельзя просить по твоему положению».

Отец пьяный, маршируя с ухватом, вспоминая солдатскую службу, кричал: «в сапожники отдадим!»

Широко разливалась у меня горечь в душе от этих слов и росли порывы все сильнее чем нибудь доказать, что я могу что-то делать работать.

За два года до смерти отца, только 12 лет, меня отдали в школу при детском приюте М. А. Гарелиной. Ходить зимой я не мог в школу, барахтаясь другой раз в снегу с костылем, а стал жить по зимам при школе, ночуя в каморке сторожа.

Вино отца доканало, он заболел скоротечной чахоткой. Глухо кашляет, лицо желтое, глаза ярко блестящи, за год до смерти перестал пить вино, курить табак, а месяца за два перед смертью его расчитали на фабрике. Вручили на руки за две недели вперед и предложили итти на все четыре стороны, поправлять свое здоровье.

Весна. Солнышко весело играет, отец, как тень, бродит по двору. С утра веселый, улыбается, в обед, как загудят свистки на фабриках, делается мрачным. Они напоминали ему страшное завтра, еще острее надвигающуюся нужду большой его семьи. Я еще не сознавал, что скоро наступит развязка с жизнью у отца. Не помню, за месяц-ли, меньше-ли до его смерти я кончил ученье в начальной школе и с торжеством разложил перед отцом большой лист с золотыми буквами и в голубом переплете евангелие. На том и на другом было написано: «За успехи в учении и благонравное поведение».

— Молодец!—сказал тихо отец, улыбнувшись. Успехи, это хорошо, а о поведении говорить не надо. Еще бы его у тебя не было при твоем положении.

Не было еще горечи такой, как в этот раз у меня на сердце. Не пьяный уже отец, а опять говорит: мое положение ручательством должно быть в поведении.

Что это такое за положение? Мне нельзя, значит, опять чувствовать себя работником, быть свободным, пользоваться всем, что делают другие мои сверстники в жизни.

— На фабрику надо попросить тебя, учись моему мастерству, твое положение поможет лучше других выучиться, помощником будешь семье,— глухо сказал он и ушел от меня.

Раз утром мать, возбужденная позвала всех ребят к постели отца. Отец, то широко открывал блестящие глаза, обводя пристальным взором нас, то закрывал их. «Отходит»,—сказала мать и сунула мне евангелие, заставив читать. Я читал, ничего не понимая, посматривая на отца и на плачущую мать. Маленькая сестренка смеялась, держась за подол матери, остальные пугливо жались около нее

В это время, когда я читал евангелие над умирающим отцом, на фабриках и заводах, в силу построенных законов, миллионы людей в разных формах труда отдавали все силы, энергию; десятки тысяч умирали, как и мой отец, от чахотки, изувеченные машиной, выброшенные на улицу, с до полна выбранной силой и над ними читали отходные по внушению сильных, что нам отпустятся грехи, совершенные в страдной жизни, дарованной нам богом. На места наших отцов на фабрики шли дети.

— Пошел! Кричали отцы и матери.—Пошел! Не унывай, тяни! В могиле отдохнем.

— По пятнадцатому году после смерти отца я поступил на фабрику Ив. Гарелина учиться в гравера на стали. Выдали мне книжку с обозначением жалованья 15 копеек в день. И когда я получил первую получку за две недели 1 р. 60 к. и принес матери на содержание всей семьи, я только тут почувствовал, что мое положение ерунда, я могу работать и помогать семье вместо умершего отца.

По обряду уже, как следует, седой как лунь старик пунктоградчик, староста по могарычам, предложил мне их поставить, что я и исполнил. С плачем заставил мать занять у кого-то три рубля на могарычи мастеровым.

Рьяно принялся я учиться всем премудростям этого египетского, нудного мастерства. Весь душевный мир заполнился одной мечтой—научиться работать и выбиться из нужды. Медлительное крохоборство для улучшения материального положения семьи заполняло и затушевывало все в жизни.

В 1905 г. шестимесячная стачка текстильщиков в Иваново-Вознесенске сделала перелом в моем мировоззрении. Оборвалось сердце, что-то давило, гнело, с грустью я слушал вести, долетавшие в граверную из фабрики об агитации черной сотни и ее действиях. В мастерской все притихли еще больше, когда услышали, что произошло избиение депутатов и у нас на фабрике.

Неистово расправлялся, особенно, смазывальщик из слесарной, низкого росту, полный как кубышка, Печкин.

Избили тов. Белокурова.

Через несколько дней после этого, с малетирной машины, стоявшей около верстака, где я работал, высокий рыжеватый вертельщик прибежал утром возбужденный и начинает рассказывать:—сейчас я видел на станции, как разорвали еврейку.

Это было убийство тов. Генкиной.

Реакция гуляла. Но ласточки свободы чувствовались в жизни. На перебой мы раскупали жадно новую революционную литературу из открывшегося книжного магазина в доме Бурылина, на углу Галкинского переулка.

Я наложил полный ящик в мастерской разных брошюр. Помню, как в вечерний чай читал я вслух мастеровым брошюрку: «Митрошкино жертвоприношение» и плакал. Увлекаясь новой литературой, я читал вслух своим соседям и из за работы. Мастер вызвал меня в каморку и

заявил: «тебе нужно поменьше говорить и прекратить чтение, при твоем положении тебе плохо будет, если уволят тебя».

Проклятое «положение» опять мне поставили на вид. Я задумался над этим, саднила мысль: «я не могу итти колоть дрова, работать другую работу, если меня уволят».

Привязанный только к фабрике и дому, я в силу своего физического недостатка, никуда не мог ходить. И только с жгучим интересом слушал разговор рабочих по вечерам, что говорили они о Талке, куда каждый день шумно, большими толпами ходили рабочие. Стачка подходила к концу. Я услыхал, что мастеровые из граверной собираются иногда в фабрике. и решил сходить, узнать, что там говорят.

У них шло уже волнение, часть из них советовала встать на работу.

Напрявляясь с фабрики домой, с смутным колебанием в душе и какой-то досадой на то, что это дело нехорошее встать сейчас на работу, я столкнулся в своей улице с депутатом нашей фабрики тов. Н. Ананьевым.

Он схватил меня за горло и отрывисто спросил: «Куда ходил? Предатели»... и пошел от меня прочь.

Представление о борьбе, хотя смутное, у меня уже было. В граверной мастерской было несколько членов партии большевиков и меньшевики. Я читал прокламации и беллетристику «Донской речи».

После этого случая в душе сделалось тяжело, мысли роились разнообразные, но чтобы проявить что активное, пугала моя беспомощность.

Атмосфера стачечной борьбы накалялась. Разразился погром голодными рабочими лавок, искусно вызванный провокационным путем. Казаки, красные околыши, горячее участие принимали в растаскивании из лавок товаров. Всю ночь грозно шумели массы рабочих, на темном небе пылали зарева от сжигаемых дач фабрикантов. Всю ночь я бродил по улицам. Утром рабочих начали пороть у лавок нагайками казаки с красными и желтыми околышами.

Я стремился, как бы убраться домой, но положение менялось все в худшую сторону. В переулке, около лавки Грошева, казаки слезли с лошадей, построились в шеренгу и стали угрожающе наводить винтовки на рассыпавшихся по переулку рабочих. Через крышу лавки в казаков летели осколки кирпичей.

Тов. Казанский, депутат, кажется, с фабрики Полушина, отделившись от толпы, с энтузиазмом распахнул на груди красную рубашку и закричал им: «стреляйте!» С гиком носились казаки. Около дома Шагурина, на Мельничной улице, недалеко от моего дома, они сгрудили бежавших рабочих и неистово ударили в нагайки.

Стачка кончалась, на фабриках и у фабрик шли митинги. На горке у весов, против фабрики Гарелина, тов. Н. Жиделев упорно призывал рабочих организовываться в профессиональные союзы.

Состояние моего духа все более революционизировалось. С жаждой я читал газеты и первый раз решился платить взносы на поддержку партии, взялся награвировать медную печать для боевой дружины—но какой, не знал тогда еще. После уже узнал, что это для эс-эров, которые начали впоследствии совершать экспроприации.

Октябрьский царский манифест свобод... Сколько было подъему, что-то новое, сильное, радостное загорелось в душе.

И за этим черные, страшные дни...

Стихия погрома черной сотни дико гуляла по городу. Жизнь потекла опять нудная, мещанская. Не пришлось связаться с хорошим товарищем, в граверной осталось несколько кадетов и меньшевистских элементов. Материальная нужда семьи ставила все новые требования.

Но вот на земле разразился ужасный кровавый вихрь. Развернулась, широко захватив весь мир, империалистическая война с ее махровыми цветами. Как выстрелы зазвучали жгучие, особенно в конце войны, смутно мелькающие в буржуазной печати речи в государственной думе социал демократов и, наконец, февральская революция, она переломила мою жизнь круто в другую сторону.

В апреле 1917 г., не помню какого дня, я ушел из граверной представителем в фабричный комитет.

Вскоре после этого, через несколько дней вступил в члены Р. К. П. (большевиков) и больше в граверную не возвращался, позабыв даже взять свой инструмент из мастерской, который так и сгинул.

Дни борьбы, новой невиданной работы, все переживания 1917, 18, 19, 20 г.г. останутся для меня навсегда лучшим, дорогим памятником всей моей жизни. Это были дни, в которые, после налетавшей иногда мимолетной грусти за результаты борьбы, росла горячая вера в победу рабочего класса, каждый день сильнее прояснялся горизонт мысли, росло классовое сознание.

В июле 1917 г. в фабричный комитет наш, зашел старый партийный работник А. Киселев, теперь председатель малого Совнаркома. «Товарищи! Рабочую печать, надо нам организовать. Давайте материал, пишите, кто как умеет статьи, заметки, стихи, не стесняйтесь. Как ребенок расколачивает себе нос в кровь, когда учится ходит, так и мы научимся все делать,»—сказал он. Эти слова были сказаны так просто и таким тоном, что в душе у меня вспыхнуло стремление сделать это.

За всю свою жизнь ни разу не пользуясь пером, чтоб излагать свою мысль, кроме переписки в детстве интересующих меня стихотворений, я исписал несколько листов бумаги и написал статью: «Думы пролетария», которая и помещена была в начавшей издаваться газете «Известия Ив.-Вознесенского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» от 16 июля 1917 г.

Когда я читал свои мысли в печати, это был большой для меня праздник. Мне казалось в это время, что все смеялось, ликовало вокруг меня. Хотелось крикнуть громко: как хороша новая жизнь! Усиленная работа в организациях не давала мне дальше возможности уделить время на эту работу. С другой стороны было очень тяжело строить свои мысли, имея самые элементарные только познания, полученные в начальной школе. Научили прекрасно в школе, где нужно ставить букву ять и после каких шипящих букв не пишется ы, а пишется и, и т. д. В этом заключались главные познания. После целого ряда продолжавшихся затем моих

письменных упражнений, за которые я лихорадочно брался каждую свободную минуту, засиживаясь до поздней ночи, была напечатана в феврале 18 г. в газете «Рабочий Город», другая статья: «Впечатления работы последних дней в фабричном ком. т-ва Ив. Гарелина». Это окрылило меня новой силой.

Но после присутствия на первой Всероссийской конференции Пролеткульта 15 сент. 1918 г. передо мной открылся новый мир культурных вопросов.

Песни революции, пролетарских поэтов, призывы к культурному творчеству, жгучие, яркие, полные веры в творческие силы многоликой трудовой массы захватывали, развивали порыв, мечту. В развивающейся борьбе жизни открывалось столько все нового и нового, что невольно росло еще большее стремление показать и сказать об этом.

Но выявить это в литературной форме до сих пор не удается. Грустишь и думаешь: надо-ли мучиться напрасно?.. Без овладения техникой грамоты, ничего не получится...

За все время моей литературной работы получило место в печати дальше следующее: «Рабочий Край»—статья «Первое Мая», помещенная в день его празднования в 1921 г., рассказы: «Фабричный праздник», «Новый хозяин»; журнал «Труд», издание Губпрофсовета—статья «Создание пролетарской культуры в условиях НЭП», рассказы: «За пособием», «Первые дни февральской революции в Ив.-Вознесенске»; в газете «Рабочая Жизнь»—рассказ «Из окна вагона», в журнале «Известия Губкома Р. К. П.»—статья «Задачи Пролеткульта» и статья, посвященная празднованию трехлетнего юбилея союза текстильщиков «Трехлетний юбилей», помещенная в газете «Рабочий Край» 23 июня 1920 г.

Об искусстве и публицистике.

Чем должен быть писатель-художник?

«Он должен быть прежде всего талантлив», отвечают писатели.

«Он должен организовывать сознание и направлять волю коллектива так, чтобы мы пришли к разрешению стоящей пред нами исторической задачи с наибольшей экономией сил и с наибольшей скоростью»—отвечает марксистская мысль.

Писатели протестуют. Им кажется, что такой взгляд есть покушение на их свободу, стремление навязать им задачи, посторонние искусству.

Странный спор! Ведь одно не противоречит другому.

Мне хочется высказать несколько мыслей по адресу тех, кто так боится общественной и политической роли искусства.

1. Талант я ценю не меньше, чем сторонники «чистого» искусства. Без таланта писатель никому не нужен. Я скажу больше: только талантливое художественное произведение действительно организует сознание и волю коллектива.

2. Но писатель или поэт организует не так, как ученый или публицист. Чем менее он хочет быть тенденциозным, чем более следует он свободному вдохновению, тем сильнее его воздействие на общество.

3. Как воздействует писатель, об этом прекрасно сказал Оскар Уайльд. Поэт смотрит на мир теми или другими глазами и этими глазами заставляет смотреть других. Он не проповедует, не агитирует (иначе он плохой поэт), и тем не менее его творения всегда направляют. Когда Бальмонт поет о солнце, вы видите в нем явление, побуждающее вас петь и ликовать. Когда Герасимов поет о солнце, вы видите в нем огромную силу, которая может быть использована в интересах индустрии. И тот, и другой настоящие свободные поэты. Ни тот, ни другой не думали вас учить чему бы то ни было. И тот, и другой, однако, бессознательно, быть может против своей воли, оказываются самыми могучими агитаторами, потому что воздействуют на самые первичные элементы человеческого сознания—чувства и настроения. Один расслабляет волю и побуждает к созерцанию, он идеолог праздных, сытых. Другой—идеолог пролетариата, проясняет и углубляет сознание тех, кто чувствует себя властителем сил природы, кто привык преобразовывать и подчинять своей воле природу при помощи труда и знания. Поэтому художественная литература всегда говорит группе, в классовом обществе классу, но никогда всем.

4. А как же так называемые «вечные» «мировые» произведения? Общепризнанные писатели? А Данте? Шекспир? Гомер?

Таких произведений никогда не было и таких писателей тоже. Только наше невежество, только ложная наука и традиция заставляют нас верить в существование общепризнанных писателей и произведений.

В течение всех средних веков, нескольких сот лет, католическое духовенство истребляло всех Гомеров и Софоклов, как вреднейших и грубейших поэтов. В эпоху господства французского классицизма самые образованные и утонченные эстеты не читали Шекспира, считали его трагедии оскорблением всех эстетических законов. В наши дни эту же мысль высказал великий писатель земли русской, написавший гениальную книгу об искусстве Лев Толстой, объявивший Шекспира недоразумением, а поклонение ему—плодом заблуждения. Новалиса и иенских романтиков у нас презирали в 60-ые годы, а накануне революции усердно возрождали, переводили, изучали и прославляли.

Поэтам, конечно, ничего не стоит сказать, что Толстой был великий писатель, но плохой критик, или что миллионы образованных французов в течение полутора веков рождались без художественного вкуса. Но ведь это не научные суждения, а обывательская болтовня.

Для марксистской мысли эти необъяснимые явления естественны и понятны.

Шекспир—гениальнейший поэт эпохи возрождения, эпохи формирования торговой, городской культуры, а вместе с тем и образования больших государств, монархий, столь нужных растущей буржуазии. Правда Толстого—это правда деревни. Это—мораль и мироощущение, возникшие на земле, в силу сотрясения барской усадьбы и преклонения ее перед

мужицкой избой. Толстой ненавидит городскую цивилизацию. Шекспир и Толстой—величайшие идеологи двух противоположных начал, рожденных двумя противоположными экономическими факторами, действовавшими на всем протяжении новой истории. Борьба этих двух гигантов слова—только художественное выражение борьбы скрытых за ними материальных сил.

6. Публицистическую критику укоряют в том, что она навязывает художникам свои взгляды.

Но поэты не замечают, что другой критики (если только иметь в виду творческие критические силы) никогда не существовало. Не только Писарев, Добролюбов, Чернышевский, так называемые критики-публицисты, но и так называемые критики-эстеты Аполлон Григорьев и Айхенвальд, или критики-формалисты и мастера, как Андрей Белый и Вячеслав Иванов, и Гончаров («Миллион терзаний»), и Достоевский (речь о Пушкине), и все прославленные западно-европейские критики Лессин, Буало, Сен-Бев только и делали, что навязывали авторам свои взгляды. Разве академичный классический Буало одной фразой своего «Поэтического искусства» («Изучайте двор и город») не выразил соотношение реальных экономических сил в такой, казалось бы, далекой от экономики области как теория поэзии? И разве вся его «Поэтика» не была точной формулировкой вкусов придворной аристократии и примыкавших к ней сливок буржуазии («Двор и город»).

«Серапиновы братья» недавно опубликовали ряд деклараций, в которых отстаивают идею внеклассового и аполитического искусства. В одном из этих манифестов даровитый молодой беллетрист Л. Лунц между прочим говорит: «Виктор Шкловский—Серапинов брат был и есть. А другой «брат» —сибирский красный партизан, а третий—защищавший Петроград против Юденича. Все они прекрасно уживаются друг с другом... Мы все верим, что искусство реально, живет своей особой жизнью, независимо от того, откуда оно берет свой материал, поэтому мы «братья».

Л. Лунц хочет этим сказать: «мы разных политических убеждений и настроений, но мы братья, потому что мы все писатели».

Л. Лунц не заметил, что доказал как раз противоположную мысль. Дело в том, что быть в разных партиях (в особенности так неустойчиво и в политическом смысле мало сознательно, как это бывает с поэтами) еще не значит не иметь общей платформы, в более глубоком и тонком смысле этого слова. Я утверждаю, что «братья» такую платформу имеют, что манифесты—идеология определенной общественной группы. И выражена эта платформа в словах: «искусство живет своей особой жизнью». Разве провозгласить политический индиферентизм не значит уже иметь политическую платформу, разве это не значит быть идеологом определенного общественного класса? Еще Плеханов доказал, что писатели, провозглашающие бесцельность и безобщественность искусства, в сущности тоже проводят определенную общественную идею. «Чистое искусство» всегда знаменует тот факт, что есть общественные группы, которым по их социальному положению необходимо уйти от общественных интересов, и «чистое искусство» оказывается далеко не чистым выражением их душевного состояния.

И если «братья» думают, что все писатели—братья, то они ошибаются. Лучшее доказательство—тот же Лунц отворачивается от пролетарских писателей и уверяет, что все они, кроме двух, «очистившихся от откровенной идеологии», плохие писатели. Выходит, что не все писатели—братья. Вот пролетарских в число «братьев» принять нельзя. Для того, чтобы кому нибудь из них попасть в заповедное табу братьев-писателей, необходимо предварительно очиститься от «откровенной идеологии». Оказывается, что идеология весьма даже разделяет писателей.

Правда, Лунц отворачивается от пролетарских писателей и не принимает их в число братьев потому, что они плохие писатели, а не потому, что они пролетарские. Но, во-первых, странно, что двое, очистившиеся от своих пролетарских предрассудков, сразу оказались хорошими писателями. А во-вторых, кто же сомневался в том, что его групповая точка зрения, есть единственная точка зрения, соответствующая законам истины и красоты? Ведь и Толстой отверг Шекспира за то, что он плохой поэт, не заметив, что причина не в эстетике, а в идеологии.

Я знаю одного левого художника, который изумлялся совершенно искренно, если при нем называли талантливым какого нибудь реалиста (будь-то сам Репин). Он ни на минуту не сомневался в том, что отвергает всех не во имя платформы, а во имя интересов чистого искусства, непреложных законов красоты.

Художнику трудно понять, что за борьбой стилей, художественных приемов и школ скрывается борьба идеологии, а еще глубже борьба классов. Но исследователю это ясно.

И слава богу, что «братья» страстны и даже пристрастны, что им не удается выдержать патриархально-идиллического тона общего мира и согласия всех писателей.

8. Литература не идиллия и поэзия не небесная посланница, как думал Шеллинг. Художественное произведение—оружие, и чем вдохновеннее и свободнее вылилось оно из души поэта, тем более грозным и действительным оружием оно является. «Шопот, робкое дыханье, трели соловья»—оружие в борьбе классов, материал цементирующий сознание одного класса и ослабляющий сопротивление другого.

Если позволено цитировать самого себя, то я приведу здесь соображения, уже высказанные мною однажды в печати.

Представим себе на минуту одну из тех картинок салонно-усадебной жизни, которых так живо изображал Тургенев. Барышни-институтки, приехавшая из Петербурга военная и чиновная молодежь, слушают чтение нового стихотворения Фета. Но вот «несут на блюдечке варенье», или вообще за каким-нибудь столом появляются слуги. Правда, и без фетовского стихотворения это были два различных мира, четко сознававшие разделяющую их пропасть. Но можно ли сомневаться в том, что оно служит новым орудием, расширяющим и углубляющим эту пропасть? Одним оно напомнило, что они люди высшего типа, что им доступны утонченные переживания, недоступные этим ворвавшимся из другого мира чуждым элементам, что есть струны души, на дрожание которых звучат ответ-

ным дрожанием душевные струны только людей определенного круга. Другим это стихотворение дало сильнее почувствовать, что в господских причудах скрыт какой то непонятный смысл, и при том, вероятно. высшего порядка, потому что и власти, и закон, и церковь, и сознание окружающих, и вообще весь уклад жизни, весь строй мысли, все моральные представления,—все имеет целью оберегание этих причуд.

Невинный стих: «шопот, робкое дыханье» оказывается самым действенным оружием именно потому, что он невинен, именно потому, что поэт на свободе спел о настроениях, посетивших его под пение соловья. Он—этот невинный стих-магнит быстро обрастает опилками железа, но не притягивает к себе деревянных стружек.

9. Нам остается ответить еще на один вопрос. Что делать с произведениями, высокохудожественными, но отражающими идеологию нам враждебную? Сжечь ли все произведения Киплинга, из которых иные проникнуты империалистическими тенденциями, но дают детям минуты художественного наслаждения и развивают их художественный вкус? Уничтожить ли Чехова, великого художника, в творениях которого есть сильный налет идеализации дурных сторон русской интеллигенции, ее дряблости, сантиментальности и враждебной революционному сознанию бесплодной мечтательности дурного тона?

Такой вопрос поставил один из современных беллетристов.

Отвечаю. Ни Киплинга, ни Чехова сжигать не следует, как не следует сжигать Иоанна Златоуста и отцов церкви, нам совершенно чуждых. Использовать художественное произведение целесообразно—это дело педагога или руководителя клуба.

Киплинга можно без страха и без вреда дать одним детям. Его нужно скрыть от других, и его можно с известными руководящими указаниями или с купюрами предоставить для чтения третьим. Всякий, кому приходилось соприкасаться с детьми, прекрасно знает, что выбор чтения для детей—вопрос чрезвычайно сложный. То же и о Чехове. Многие активные рабочие сами зевают на представлении «Дяди Вани». «Чего они поют, когда столько дела кругом»?—я сам слышал подобные замечания. Многие смотрят с интересом, даже бывают захвачены, но все-таки для них это чужое, как Отелло, убивающий Дездемону, или Шейлок, требующий мяса своего конкурента. Но есть и такие рабочие, которые весьма тронуты интеллигентской дряблостью. Им лучше пока не показывать Чехова, а уже если показывать, то в противовес читать лекции, показывать им героев великой силы духа с высоко развитым чувством коллектива, хотя бы «Принца Гамбургского». Пролетариат не ребенок, он отберет сам, что нужно. Важно только, чтобы мы скорее создали творения, говорящие его инстинкту, приводящие его к осознанию своей исторической миссии.

Спросить—нужно ли сжечь Чехова—это все равно, что спросить брусиловского солдата, нужно ли сжечь превосходное оружие, которым располагала армия Гинденбурга. Его не нужно сжигать. Им нужно овладеть.

П. С. Коган.

Международное обозрение

(Вехи за год).

Узел „репараций".

«Репарации»—это «возмещения», т. е. дань, которую побежденная Германия должна выплачивать победителям: Франции, Бельгии, Англии. Казалось бы, чего проще: Германия разоружена, сила на стороне «союзников», из которых Франция довела свои вооружения до таких размеров, как будто ей предстоит война со всей остальной Европой. А тем не менее—«репарации» это какой-то запутанный узел европейской политики, в котором бессильны разобраться самые талантливые буржуазные министры. Вопрос о «репарациях» не сходит с порядка дня бесчисленных министерских заседаний в Германии, Англии, Франции, Италии, Бельгии, обсуждается чуть не каждые два месяца на совещаниях премьеров (первых министров) «союзных стран», на конференциях банкиров, о нем пишутся бесчисленные статьи в газетах и даже толстые книги выдающихся буржуазных экономистов.

В чем же дело? *Германия просто не в силах выплатить возложенную на нее чудовищную контрибуцию.* Если до войны годовой доход Германии исчислялся в 43 миллиарда марок, то сейчас он, конечно, во много раз меньше: помимо расстройства, вызванного войной, ведь «союзники» отняли у Германии торговый флот, все ее капиталы, помещенные заграницей, отобрали 83% железа, 1/3 угля и 15% хлеба. После всего этого грабежа, вывоза вагонов, паровозов, молочных коров и т. п. французы в декабре 1919 г. предъявили требование на уплату 375 миллиардов золотых марок (любопытная подробность: в Версальском договоре сумма «репараций» намеренно не оговорена...) Эта сумма примерно на 75 миллиардов больше всего национального богатства Германии перед войной (1913 г.)

В мае 1921 г. французы на Лондонской конференции согласились на 132 миллиарда золотых марок, при чем годичные платежи были установлены от 2-х до 6-и миллиардов марок золотом, отчасти наличными деньгами, отчасти товарами. Новая сумма «репараций» тоже не маленькая: она составляет больше половины национального достояния Франции до войны (около 250 миллиардов марок). А как влияют даже частичные платежи «репараций» на германские финансы, показывают следующие факты: после выплаты первого миллиарда, доллар, стоивший в мае 1921 г. 27 марок, к январю 1922 г. стоил уже больше 200 марок. В январе 1922 г. в Каннах (где между прочим решено было пригласить Сов. Россию в Геную) союзники уже опять пересматривали «репарационный» вопрос. Ллойд-Джордж заявил, что развал Германии—это развал мирового хозяйства, что Англия заинтересована в платежеспособности Германии как покупателя. Англия обещала Франции гарантию ее границ на 10 лет, но потребовала сокращения германских платежей в 1922 г. до 720 мил. зол. марок деньгами и 1450 мил.—товарами. Во Франции это вызвало бурю негодования, падение министерства Бриана (как соглашательского и в

«русском» вопросе) и замену его Пуанкаре. Все же в марте Франция пошли на требуемые Англией уступки.

Вскоре после Генуэзской конференции вопрос о германских платежах обсуждался на собрании таких сведущих лиц, как комитет банкиров под председательством американского финансового короля Моргана. Банкиры заявили, что Германия не наладит своего финансового хозяйства до тех пор, пока репарационные платежи не будут настолько уменьшены, что сделается фактически возможной их уплата. До тех пор не может быть речи и о международном займе для Германии.

После этого решения и вызванного внутренней борьбой в Германии убийства министра иностранных дел Ратенау доллар с 200 марок в январе подскачил до 2000 марок.

Угроза финансового банкротства Германии толкала союзников на уступки в двух направлениях: замена платежей наличными деньгами товарными платежами и предоставление Германии отсрочки (моратория). Падение курса германской марки, а следовательно необычайное удешевление германских товаров на заграничных рынках вызвало серьезное опасения и в Англии, и во Франции. Последняя должна была пойти по пути урегулирования германского ввоза, введя его в такое русло, чтобы он не угрожал своей конкуренцией французской промышленности (договор Стиннес—Люберзак о поставках германской промышленности для восстановления разрушенных областей Франции). Но, конечно, ни Англия, ни Франция не могут уничтожить коренного противоречия: для того, чтобы платить деньгами или товарами, Германия должна производить товары в таком огромном количестве (при их дешевизне), что они грозили бы затопить рынки прочих капиталистических стран.

Остается другой путь—путь отсрочки платежей и попытки финансового оздоровления Германии путем займов и т. д. Роль «спасителя» хочет взять на себя крупнейший капиталист Германии Стиннес (заключивший уже упомянутый договор с Люберзаком). Он требует передачи частному капиталу госуд. предприятий, железных дорог и т. п., требует, чтобы в течение десятка лет германские рабочие работали не 8, а 10 часов (кстати напомнить, что их заработная плата в среднем составляет около $^1/_3$ довоенной). На этих условиях германские капиталисты согласны устроить внутренний заем около 1 миллиарда марок (из них 500 мил. даст Германский Банк, который не принадлежит государству). В этих предложениях суть германской ноты от 13 ноября, требующей моратория. Нота была послана коалиционным правительством Вирта (социал-демократы плюс другие мелко-буржуазные партии). Программа этой ноты требует других людей—ныне вместо Вирта выступает уже правительство крупного капитала во главе с Куно (Директор Гамбургского Американского О-ва).

Но «союзники», которые фактически уже предоставили Германии мораторий, раздираемы внутренними противоречиями. На этот раз Пуанкаре, нажим которого на Германию так же выдохся, как и Бриана, пытается продлить существование своего министерства подливанием нового масла на волны шовинистической стихии. На последнем совещании

премьеров в Лондоне он требовал оккупации Рурской области, богатой каменным углем для обеспечения платежей. Англия, представленная на этот раз не Ллойд-Джорджем, который был сшиблен натиском турецкой национальной армии на Востоке, а очень уравновешенным, бесцветным консерватором Бонар-Лоу, все же не пошла на удовлетворение французских требований. Нота Германии от 13 ноября единодушно отвергнута. Вопрос в целом висит в воздухе. На 2-е января назначена новая конференция. Европейская пресса полна сообщений о предстоящем вмешательстве Америки, что, конечно, очень сомнительно.

Итоги за год разрешения репарационного вопроса во всяком случае плачевные: Германия платит незначительную часть репараций (если не считать содержания оккупационных войск, что стоит сотни миллионов марок золотом, и натуральных платежей), курс германской марки уже дошел до 8—9 тысяч за доллар. «Расцвет германской промышленности только видимый. Фактически большинство предприятий поедает накопленные прежде капиталы». (Из доклада министра финансов Гермеса в бюджетной комиссии рейхстага).

Развал хозяйственного организма Германии не вливает новых сил в народное хозяйство Франции, а английская торговля сильно терпит от неурядицы в Средней Европе.

Красный клин.

Европейский капитализм после военного времени загнан в тупик. Центр тяжести мирового капитализма перенесен в Америку. Средняя Европа в развалинах. А на Востоке упорно отстаивает свое существование Красный клин буржуазного поля—Советская Россия.

Может быть, разбитая параличем, больная—капиталистическая Европа и нашла бы в себе внутренние целительные силы, если бы прежняя империалистическая «волюшка»—полновластное хозяйничанье в странах Востока и в необъятной России, богатой хлебом и сырьем. Но власть на Востоке поколебалась, а Красный клин не поддается обработке прежними способами. Отсюда невозможность восстановления Европы, как целого хозяйственного организма, а тем более восстановления мирового хозяйственного товарооборота.

Тем не менее, мечта об исцеляющем прикосновении к российскому чернозему жива в душах буржуазных политиков. У германского писателя Гауптмана есть пьеса «Бедный Генрих», герой который неизлечимо больной, согласно средневековой легенде, исцеляется посредством вливания крови молодой невинной девушки.

По этому рецепту дряхлеющий капитализм не раз обновлялся, делая прыжок в глубь неизведанных стран Азии, Африки и Америки,

Но теперь весь мир поделен, пришла собачья старость капитализма, и меньше всего Советская Россия, несущая ростки новой жизни, склонна на самопожертвование гауптмановской героини во имя спасения европейского капитализма.

На этой почве некоторых иллюзий со стороны буржуазных политиков Европы разыгрались драматические сцены Генуи и Гааги.

Правда, голод в России окрылил мировую буржуазию новыми надеждами на скорое падение Советской власти. Но умный Ллойд-Джордж все же запомнил, что пророчества на этот счет много раз не оправдывались; поэтому сочиненные им в январе 22 Каннские резолюции с приглашением бо́льшевиков в Геную говорили о равноправии различных «систем собственности», почему и были приняты «за основу» нашей хотя и не дипломированной, но достаточно навострившейся дипломатией. Капиталистические дирижеры Генуи были уверены, что Советская власть после деклараций для «очистки коммунистической совести» пойдет на кабальную сделку. В этом была основная ошибка Ллойд-Джорджа, и главный политический выигрыш Советской дипломатии. Тем не менее, заправилы Генуи еще надеялись, что в Гааге, без лишних свидетелей, в «деловой обстановке», при спущенных шторах, большевики все же капитулируют. Ошиблись они и на этот раз, и теперь, пожалуй, на долго изжили свои иллюзии исцеления за счет России.

Шла ли Россия в Геную и в Гаагу исключительно с декларативными целями, для политических демонстраций и т. п.? Это, конечно, неверно. У России была своя положительная программа. Она добивалась кредитов —требовала около 3 миллиардов золотом на помощь сельскому хозяйству, транспорту, промышленности, на проведение денежной реформы и т. д. Под этим условием Советская Россия согласна была на признание довоенных долгов и на значительные компенсации иностранцам, бывшим частным собственникам в России, в форме концессий, долгосрочной аренды и т. п.

Большинство же союзников, как выяснилось в Гааге, отклоняло займы и требовало полной «реституции» т. е. восстановления в правах частных собственников иностранцев. Россия на это не могла пойти. В самом деле, по данным вышедшей в этом году книги профессора Оля, общая сумма иностранных капиталов, вложенных в предприятия России к январю 1917 г., составляла около 2.250 миллионов золотых рублей. Из них на обработку металлов падало около 400 мил., на горную промышленность 830 мил., на текстильную около 200 мил., на банки 237 мил. на городские предприятия 260 мил. и т. д. При этом французские капиталы стоят на первом месте—33% общей суммы, английские 22%, бельгийские 14% и т. д. Отсюда вытекает чрезвычайная заинтересованность франко-бельгийского капитала и относительная английского (главным образом, в нефтяных предприятиях).

Уступка Сов. России в вопросе о восстановлении прав частных собственников означала бы фактически отказ от $^2/_3$ нашей тяжелой индустрии (нефти, угля, металло-обрабатывающей промышленности). К этому экономическому соображению наша делегация могла прибавить еще другое —не менее веское: эта иностранная частная собственность является военной добычей пролетарского государства, завоеванной в кровавых боях гражданской войны и интервенции. Сов. Россия победила, и сознанием этой победы проникнута вся ее внешняя политика 1922 г. начиная с Генуи и Гааги.

Гаага, так же как Генуя, кончилась в ничью, в смысле экономических достижений, ибо обедневшей Европе нечего дать Сов. России. А за одно «признание» почтенной Лиги Наций Республика Советов не склонна платить спекулянтскую цену. «Без иностранного кредита мы пройдем расстояние, отделяющее нас от эпохи экономического благополучия на пассажирском (может быть товарном) поезде. С иностранным кредитом—на курьерском. За скорость мы готовы платить. Но если курьерский поезд заставляет себя слишком долго ждать и берет бешеную плату—Россия предпочтет сесть в теплушку». (Б. Штейн. Гаагская конференция).

Как бы то ни было, Гаага и Генуя означали выход Советской России на широкую дорогу мировой политики. Это факт совершенно неоспоримый. Ни один важный международный вопрос теперь не может решаться без участия Сов. России. Заседающая сейчас Лозаннская конференция является живым примером, как нельзя лучше поясняющим нашу мысль.

Освобождающийся Восток.

Борьба народов Востока за свое освобождение имеет первый победоносный этап в своей истории. Это разгром греческой армии в Анатолии, возвращение турок в Европу (Восточная Фракия с гор. Адрианополем) и подход их к столице—Константинополю. Быстрым ударом кемалистская армия свела на нет все хитросплетения империалистов, известные под названием Севрского договора 1920 г. сопровождавшегося оккупацией Константинополя англичанами.

Севрский договор означал фактический раздел остатков турецких владений в Азии: у нее были отняты Сирия—для Франции, Мессопотамия—для Англии, Смирна с областью для Греции. Константинополь перешел «под контроль союзников», т. е. фактически был передан англичанам.

Организовавшееся в Вост. Анатолии правительство Кемаля сумело увлечь за собой широкие массы крестьянства, интеллигенции и военшины. Но борьба его с греческой армией, поддерживаемой англичанами, шла с переменным успехом: осенью 1921 г. турки были на волоске от полного разгрома: ведь у них не хватало вооружения, пушек, патронов, крестьянство жаждало мира после непрерывных 9 лет войны (с 1912 г. с Балканской войны). Тем не менее организующая роль национально-революционного правительства оказалась очень значительной, техническая помощь подоспела из различных источников (как это ни странно, тут сошлась рука Парижа и Москвы)—в результате блестящая победа кемалистского оружия над греками и над англичанами.

Конечно, удар пришелся не только по греческому королю Константину, которого выгнали из его страны вместе с его прихвостнями. В Англии в несколько дней рухнул кабинет Ллойд-Джорджа (существовавший с 1915 года). Причина в том, что от разгрома греков очень солоно пришлось капиталистической Англии. Дело не только в захвате Константинополя и других областей—тут дело запахло моссульской нефтью. Этот жирный кусок Франция и Англия делили между собой тайком еще в 1916 г. Тогда он достался Франции. В 1920 г. в Сан-Ремо Франция со-

гласилась только на 25% моссульской нефти, а остальные 75% уступила Англии за поддержку в вопросе о взыскании германских репараций.

И вот теперь этот нефтяной кус опять ставится под вопрос. Были о нем разговоры уже на Генуэзской конференции, будут, несомненно, на Лозаннской конференции.

Правда, еще до Лозанны Англия постаралась обезопасить себя в этом отношении, организовав на границах Моссульской области так называемое Курдское государство с неким разбойничьим князьком Махмудом, состоящим на жалованьи у англичан. Все же разговор о нефти придется вести более или менее откровенный, в особенности, если в нем примет участие Америка.

Помимо вопросов территориальных (о Зап. Фракии и т. д.) на Лозаннской конференции основными вопросами будут «капитуляции», проливы и о национальных меньшинствах. В вопросе о «капитуляциях», т. е. особых привилегиях для иностранцев, турки будут решительнее всего добиваться их уничтожения, в вопросах о проливах и национальных меньшинствах, турки пойдут на уступки.

Дело в том, что на конференции ввиду присутствия «опасной» российской делегации, «союзники» выступают единым фронтом под командой Англии. В вопросе о капитуляциях, об уплате долгов и т. п. Франция будет целиком поддерживать англичан, так как ей принадлежит большая часть вложенных в Турцию иностранных капиталов, жел. дорог и т. п.

Таким образом, рухнет легенда о Франции, друге турецкого народа. Роль же России, целиком порвавшей с политикой царизма и отстаивающей права на жизнь всех угнетенных народов, станет ясной и очевидной, как никогда.

Этот факт не исключает анти-русских выходок со стороны турецких государственных деятелей, заигрывающих с буржуазным Западом. Но все такого рода выходки будут дорого стоить турецкому народу. Чем больше будет несогласованности в турецкой и русской политике, тем больше уступок придется сделать туркам, тем сильнее будут урезаны плоды их блестящих военных побед. Несомненно, внутри-турецкие противоречия между поповски-крепостническим крылом и прогрессивно-националистической партией турецкой буржуазии сильно обострятся; это уже имело место при свержении бывшего султана, увезенного англичанами, и провозглашении выборности халифата [1]). Во всяком случае, мнение советской политики от этого нисколько не меняется, ибо Сов. Россия делает ставку не на ту или другую правительственную клику, а на победоносное, национально-революционное движение, которое восторжествует, несмотря на мелкие или крупные измены тех или других лиц и даже партий.

Факт на лицо: никогда за последние годы после ряда неудачных войн (Триполитанская с Италией, Балканская и мировая) Турция не имела столько возможностей возродиться как самостоятельное государство, как теперь, когда она выступает победительницей на Лозаннской конференции.

[1]) Халиф—глава всего мусульманства; до сих пор был связан со званием турецкого султана.

Гулкое эхо от турецких побед раздалось и в Персии, и в Индии, и в Египте, и в Аравии. Колеблется почва под колониальным могуществом европейских хищников. Великолепнее всех это сознает председатель Лозаннской конференции, матерой империалист Керзон (быв. вице-король Индии). Сильно нервничает этот всегда выдержанный господин, мертвая хватка которого известна многим угнетенным народам. И недаром: если удастся застращать турок, то не надолго. Подоспеют новые резервы с Востока.

Рост противоречий. Война и мир.

Мы так подробно останавливались на этих «трех китах»—германском, русском и восточном вопросах—потому, что то или другое разрешение этих вопросов имеет мировое значение, оказывает огромное влияние на выявление «спасительных» возможностей для гибнущего европейского капитализма. «Восстановление Европы», о котором пишутся целые тома буржуазными профессорами, упирается и в русский, и германский, и восточный, до сих пор нераспутанные узлы. Но если Россия может ждать и будет сама распутывать свой революционный клубок, то о Германии и Востоке этого сказать нельзя, они ежечасно грозят опрокинуть все планы европейских властителей мира и углубить и без того существующие противоречия в их среде. Мы уже отметили англо-французские расхождения и в вопросе о германских репарациях, и на Ближнем Востоке.

Существует еще один момент, разделяющий «союзников» и выводящий на авансцену Соединенные Штаты Америки, как всеобщего кредитора. Это вопрос о международных долгах (как результат мировой войны). «Союзники» должны Америке около 10 миллиардов долларов (в том числе Англия должна 4 миллиарда, Франция около 3 миллиардов, Италия 1.700 миллионов и т. д.). Проценты по этим долгам превышают 1 миллиард в год. С другой стороны европейские «союзники» задолжали Англии около 9 миллиардов долларов (в том числе Франция около 3 миллиардов, Италия около $2^1/_2$ миллиардов и т. д.). Франции же больше всего должна Россия, а уплата стоит под знаком большого вопроса.

Таким образом, самое благоприятное положение Америки, которая стала мировым денежным мешком. На все увещания о необходимости скостить межсоюзные долги во имя «восстановления Европы», американцы либо отмалчиваются, либо отвечают недвусмысленным отказом.

Англия могла бы платить свой долг Америке, если бы ей заплатили Франция, Италия и др. Хуже всех положение Франции и Италии.

Это особенно ясно выявилось после опубликования известной ноты английского министра Бальфура от 1-го сентября. В этой ноте Англия заявила, что откажется от претензии к союзникам только в случае общего решения о долгах и возмещениях и при отказе Америки от ее претензий. Нота эта, конечно, вызвала резкие протесты не только во Франции, но и в Америке. Американские политики указывали, что Англия *может платить*, в то время, когда для Франции это почти невозможно.

На этой почве наметилось новое франко-американское сближение,

на подобие того, как это имело место по вопросу о вооружениях на Вашингтонской конференции (конец 1921 г.).

Исключительно хорошее экономическое положение Америки диктует ей позицию невмешательства до поры до времени в запутанные дела обнищавшей Европы. Этим, разумеется, совершенно не исключается закулисная активность американского капитала в вопросах нефти и в Генуе, и в Лозанне, а также сильное давление в вопросах Восточной политики, в особенности Дальне-Восточной (под давлением Америки, Япония очистила Владивосток и китайский порт Циндао).

Таким образом, 1922 год не дал ничего положительного в смысле урегулирования отношения различных государств (если не считать более или менее наладившихся отношений между Россией и Германией на основе Раппальского договора, заключенного в дни Генуи) и приближения к правильному разрешению экономических вопросов, поставленных перед расстроенным, отчасти развалившимся хозяйством европейских стран.

Внутри-политическая жизнь этих стран также мало способствовала экономическому оздоровлению: ожесточенная политическая борьба, продолжающаяся гражданская война в Ирландии, министерская чехарда (Англия, Германия, Италия, намечается во Франции), волны фашизма, представляющего попытку черным клином вышибить красный коммунистический клин, дезорганизация «нормального» буржуазного управления, политические убийства (в Германии, Польше)—все эти явления говорят о том, что буржуазные возницы загнали свою повозку в тупик. Выбраться из него могут только люди с другими горизонтами, с другими навыками. Эта новая сила медленно, но неуклонно растет, имя ей—Коммунистический Интернационал.

Беспомощное барахтанье буржуазных и социал-демократических политиков особенно ярко сказалось на недавно заседавшем Гаагском Конгрессе мира. В эпоху нового нарастания мировых противоречий на Дальнем и Ближнем Востоке, когда несколько месяцев тому назад появление турок у стен Константинополя чуть было не вызвало новой Балканской, а может быть и Европейской войны, в это время в Гааге собрались представители буржуазных пацифистов (миротворцев) и соглашательских профсоюзов не для активной борьбы с опасностью новых войн, а для составления еще одной пустой резолюции. Эти господа Жуо, Томасы, Герлахи и К° против «ужасных» предложений большевиков Радека и Лозовского, так-таки пробравшихся на это «благочестивое» собрание. Ведь коммунисты предложили отказаться от защиты буржуазного отечества, вести антимилитаристскую пропаганду в войсках и объявить всеобщую забастовку в случае войны. На такую действенную борьбу за мир, социал-патриоты не пошли.

Тем не менее, они, с Вандервельде во главе, продолжают вопить о «красном империализме» Республики Советов, которая на Московской конференции по разоружению предложила своим соседям—Польше, Латвии, Эстонии, Финляндии и др.—сокращение армии *в четыре раза*. Дипло-

маты эти маленьких, но чванных «держав» поступили в духе гаагских миротворцев—предложили «моральное» разоружение... т. е. сладенькие слова для прикрытия гнусных дел.

Рост мировых противоречий заметен на глаз. Создавшаяся в результате мировой войны группировка «великих держав» непрочна, регулируемое ею равновесие неустойчивое. Мы, несомненно, стояли бы уже накануне новых империалистических войн, если бы не красный призрак коммунизма, леденящий кровь в жилах буржуазных политиков, заставляющий их от времени до времени демонстрировать недолговечное единство своего фронта—против фронта Красной России, освобождающегося Востока и наростающего мирового коммунистического движения. Быть иль не быть новой войне—этот вопрос зависит от того, как скоро победит рабочая революция.

А. Сольский.

Письма с Запада.

Комитеты пролетарского объединения—будущие Советы.

Разложение капиталистического хозяйства в Западной Европе идет гигантскими шагами вперед. Если еще недавно почти везде усердно говорилось про консолидацию капитализма, если вся буржуазная печать обрабатывала систематически общественное мнение всего мира в этом направлении и хвасталась самыми ничтожными случайными успехами, то сейчас события последних дней свидетельствуют о как раз обратном. Перед нашими глазами происходит полнейшее банкротство огромной капиталистически развитой страны. Это банкротство Германии.

Ни в одной стране всего мира не открылась действительная сущность так называемой «консолидации» капитализма так ярко, так убедительно, как именно здесь.

Финансовой капитал во всем мире и прежде всего в Германии приступил к «консолидации» своего производственного аппарата как раз задним умом. Только сейчас становится всем понятно, что крупный капитал «консолидируется» путем *приспособления к той экономической разрухе, которую внесла война в мировое хозяйство.* Другими словами, крупный капитал равно ничего не сделал, да и не мог сделать, в экономической действительности после войны для улучшения положения своего хозяйства. И то обстоятельство, что финансовая буржуазия приспособилась к разлагаемой экономической почве, тяжело отзывается на хозяйстве. Разруха растет, уровень жизни рабочих неудержимо падает, об'единение средних слоев углубляется, кучка пиратов посредством своего аппарата и банки концентрируют в своих руках все богатство народа.

Нет сомнения, что такое положение все больше революционизирует широкие массы пролетариата и средних слоев. Европейский пролетариат находится накануне крупных боев, которые вспыхнут уже этой зимой.

Везде в крупных капиталистических странах пролетариат неудержимо рвется в бой. Рабочий класс после тяжелых поражений во всех странах убеждается все больше и больше, что лозунг «единого фронта» является насущной необходимостью и верным залогом победной борьбы с капиталом.

Единый пролетарский фронт становится именно сейчас, в тяжелый момент капиталистического наступления, единственным маяком мрачных сумерек капиталистической реакции.

Социал-шовинисты всех мастей и оттенков относятся к идее единого фронта исключительно с точки зрения своего непосредственного интереса, т. к. они тесно связаны с буржуазией, и боятся потерять свое привиллегированное положение в коалиционном правительстве. Очень интересно то обстоятельство, что буржуазия с самого возникновения идеи единого фронта насторожилась, ибо она всегда раньше узнает, откуда грозит опасность ее классовому господству. Она прекрасно знает, что если рабочие говорят про единый фронт, то в сущности этого вопроса лежит действительный бой всех рабочих без различия политических убеждений, бой для обороны, который может сделаться боем наступательным.

Итак, единый фронт сделался в настоящее время боевым лозунгом всего мирового пролетариата и он будет осуществлен и через головы рабочих «вождей», которые классовой борьбы боятся также, как их хозяева —буржуазия.

Но недостаточно, чтобы рабочие были убеждены в необходимости создания единого фронта, недостаточно, чтобы об этой готовности было открыто заявлено на соединенных митингах всех социалистических партий, —*нужно приступить к созданию таких органов, которые бы непосредственно занимались задачей создания единого фронта*, которые бы фактически руководили общим боем пролетариата, которые бы путем непосредственной связи с пролетарскими массами отыскивали наилучшие методы оборонного боя.

И действительно организация таких органов уже становится фактом в Чехословакии. Уж то обстоятельство, что рабочие массы не доверяют эти органы боя рукам амстердамцев свидетельствует о том, что прежде всего в глубинах пролетарских масс закоренено недоверие к амстердамцам, которые на каждом шагу готовят измену рабочим и кроме того, что рабочие серьезно относятся к задачам этих органов.

В настоящее время в Чехословакии во многих местах почти стихийно создались такие комитеты путем выборов непосредственно на фабриках, заводах, железных дорогах и поместьях.

Дальнейшая работа в этом направлении все ширится и всякому мало мальски развитому рабочему ясно, что здесь вопрос касается не только создания органов боя во время единого фронта. *Русскому рабочему, который знает сущность своих Советов, сразу будет понятно, что здесь в зародыше создаются будущие Советы рабочих и крестьянских депутатов.* И создаютсл именно во время решительной схватки труда с капиталом, создаются как органы боя широких рабочих масс.

Когда коммунисты в Западной Европе непосредственно после войны бросили дозунг «вся власть Советам», тогда этот лозунг передового авангарда рабочего класса не был осмыслен до всех последствий всем рабочим классом. Тогда во многих странах рабочие ожидали всяких «чудес» от буржуазно-демократической власти, тогда не было в массах боевого духа, который бы мог решительным ударом сокрушить диктатуру буржуазии, прикрытую маской буржуазного демократизма.

В наше время, после кровавой действительности капиталистической «консолидации» рабочие массы убедились в невозможности мирового, решения своего векового спора с капиталом и, зная хорошо возрождение буржуазного государственного аппарата насилия, который, между прочим, достиг невиданных размеров, приступают к созданию своих чисто пролетарских боевых органов, которые должны постепенно сделаться аппаратами *второй* государственной власти в пути капиталистического государства, должны разложить единый фронт буржуазии, должны создать двоевластие, т. е. другими словами, должны внести полнейший хаос в государственный аппарат буржуазии, который и является началом борьбы за власть.

В настоящее время комитеты этого пролетарского объединения должны фактически руководить всеми выступлениями рабочих, должны отыскать слабые места в буржуазных позициях, вражескую артиллерию, пулеметные гнезда, словом, должны сделаться революционными штабами пролетариата.

Кроме того эти комитеты должны заняться строгим учетом революционных сил и объединением в один центральный орган—Съезд комитетов, должны непосредственно влиять на ход боев во всей Республике.

Так обстоит дело в одной стране—в Чехословакской стране так наз. «полупобедителей».

Единый фронт везде становится фактом и рабочие массы ревниво оберегают это боевое средство, ибо знают, что година решающих боев близится.

ПРАГА 12/X—22 года *Г. Бейчек.*

Страницы прошлого.

Мои воспоминания о дне 10-го августа.

История рабочего движения в Иваново-Вознесенске будет иметь траурную страницу, в которой будет сказано, что 10-го августа 1915 года в 8 часов вечера на Приказном мосту слуги царя-последыша стреляли в толпу рабочих.

Рабочие и работницы Ив.-Вознесенска полили своей трудовой кровью площадь пред Приказным мостом, 25 человек лежало на месте убитыми и несколько десятков тяжело ранеными. Количество всех раненых установить точно не представляется возможным. Те раненые, которые могли уйти, старались сохранить в тайне свою рану, от боязни быть арестованными.

В организации, которая руководила этим выступлением, я не состоял. Не один я, а и много старых товарищей стояли в стороне от этой организации. Мы были глубоко убеждены в том, что тут есть паршивая свинья, откормленная в жандармской охранке. Но когда началось выступление рабочих 10-го августа, то быть в стороне посторонним зрителем и смотреть, как совершаются эти события, я не мог, а принял активное участие в событиях этого исторического дня.

Подходя к объяснению о событиях 10-го августа, я вернусь несколько назад, чтобы установить ту причину, которая создала эти события.

У всех нас еще в памяти сохранилось, что накануне объявления войны в 1914 году, в Петербурге совершались грандиозные события. Рабочие Питера бастовали в количестве 250 тысяч человек, на улицах Петербурга шла вооруженная борьба рабочих с полицией, трамваи опрокидывались, из них строились баррикады. Наш район—как-то: Родники, Вичуга и другие места, были охвачены забастовкой текстильщиков. Ив.-Вознесенск так же был накануне выступления. Рабочая газета «Правда» широко распространялась на фабриках и заводах. Рабочие читали эту газету и совместно обсуждали прочитанное. Помню тот вечер, когда мы вдвоем с товарищем пошли на станцию, чтобы получить вечернюю газету, с желаньем узнать, как развертываются события в Петербурге. В газете бросились в глаза крупные буквы «Накануне войны», а на другой день мы уже видим общую мобилизацию. Последняя обезглавила органы пролетарского организма.

Партийная группировка была парализована. Рабочая печать закрыта. Буржуазные газеты кричали во всю о защите отечества. «Все должно быть отдано во имя войны». Но не только одни буржуазные писаки провозглашали эти лозунги, а кроме их мы видим отца русской социал-демократии Г. В. Плеханова. Он говорил тоже, что в интересах русского пролетариата—разбить немецкий бронированный кулак. С разгромом немецкого империализма наступит разгром бесправия. Все одно и то же мы слышали отовсюду. А что говорила улица нашего города?—Патриотические манифестации и гимн «Боже, царя храни».

Не то было в стенах фабрик и заводов. Среди рабочих о войне говорили одно: за что мы воюем и какие последствия нас ждут впереди? На эти вопросы давали правильный ответ более сознательные товарищи. Когда наша русская армия одерживала победу на фронте, то наша улица оглашалась криком «Боже, царя храни». А нам, рабочим, вспоминалась печальная картина 1905 года 22 октября. Тогда с этим гимном растаптывали головы наших товарищей на мостовых нашего города. Отсюда ясно, что мы были настроены не на защиту отечества, а наоборот, сознательно не хотели успехов нашему царизму на фронте. С самого начала войны мы были взглядов чисто пораженческих, но в таком хаосе мы не знали, что нам делать и с чего начать. Собирались небольшими кружками, спорили, обсуждали и тем дело кончалось.

Но вот, в конце октября 1914 года яркий свет революционного солнца рассеял на короткое время эту пошлую темную ночь.

Приехал в Ив.-Вознесенск Ф. Н. Самойлов, член государственной думы 4-го созыва. Он еще до войны заболел и лечиться уехал в Швейцарию. Объявление войны застигло его в Швейцарии. Возвратясь из заграницы в Петербург, он приехал в Ив.-Вознесенск. Мы знали, что тов. Самойлов нам скажет много нового и наши надежды, конечно, оправдались.

Не забуду я тот день. Это был день праздничный, воскресенье. Моросил небольшой, но холодный дождик, а мы двое с тов. Виноградовым шли за город на доклад тов. Самойлова. Собрание было назначено в лесу под селом Борогодским. На собрание пришло 15 человек. Мы расположились под большой сосной, которая своими гигантскими крыльями закрывала нас, как клуха закрывает своих цыплят. Мы с большой жадностью слушали доклад тов. Самойлова. Он говорил, что когда началась война, то в Швейцарии также было устроено нелегальное собрание в лесу русских эмигрантов.

Был В. И. Ленин. Вопросы обсуждения были следующие: отношение к войне и наши задачи. По отношению к войне наша платформа вполне определилась. Не поддержка войны, а нашим лозунгом должно быть «долой империалистическую войну». Отсюда ясно, что сила исторических законов выдвигает против империалистической войны гражданскую войну и вторым нашим лозунгом будет «да здравствует гражданская война». Далее, говорит тов. Самойлов, в настоящее время организации с.-д. не существует. 2-ой Интернационал развалился, вожди 2-го Интернационала изменили интересам рабочего класса. Лозунг их—не солидарность международного пролетариата, а наоборот, защита своего отечества каждого государства в отдельности.

Так же и у нас в России не существует центрального комитета нашей партии, и теперь наша задача состоит в том, чтобы создать руководящий центр партии, а для этого в Петербурге собирается Всероссийская конференция. Инициативным ядром этой конференции является фракция большевиков, членов государственной думы 4-го созыва.

От имени своего собрания мы избираем на Всероссийскую конференцию Ив. Ал. Воронина. На этом же собрании очень резко выделялась

езнакомая для нас фигура. Этот человек своей внешностью очень по-одил на ярмарочного цыгана. Жилет на нем был с глухим воротом, се-ебряная цепь растянулась по его животу, на ногах лакированные сапоги, зъерошенная черная бороденка, горбатый нос, из под картуза выделялись ерные и крупно кудрявые волосы.

Эта несимпатичная фигура во время доклада товарища Самойлова ень часто вмешивалась со своими дополнениями и с пояснениями к окладу, а мы испытывали к нему все большее отвращение.

Этот человек был той паршивой свиньей, о которой мы упоминали начале этой статьи. Эта откормленная жандармской охранкой свинья ыл Тихоныч или Чугунов. Этот Чугунов играл главную провокационную оль в событиях 10-го августа 1915 года. Когда товарищ Воронин поехал Петербург на конференцию, то за собой имел длинный хвост из сви-арника Чугунова. Когда собралась конференция, то она в полном составе ыла арестована и вся была упрятана в далекую Сибирь.

После этого, т. е. ареста фракции большевиков—членов государ-венной думы и всех участников конференции, на революционном гар-изоне сгустилась непроглядная тьма. А война делала свое разрушитель-ое дело. Положение рабочего класса все более и более с каждым днем удшалось.

Заработная плата понижалась, цены на продукты первой необходи-ости с неимоверной быстротой увеличивались. В мае месяце 15 года о положение дошло до того, что рабочие без всяких агитаторов или, к говорили наши враги, без подстрекателей, как один человек, кончили аботу и дружной лавиной двинулись на площадь к Городской Управе. ебованье было одно—хлеба и хлеба, голодные работать не можем.

В Иваново приехал губернатор и забастовку скоро ликвидировали, тому что удовлетворили частью требования рабочих.

Губернатором были установлены твердые цены на хлеб и рабочим лали надбавку к жалованью. Фабриканты уплатили рабочим за время бастовки, которая кончилась успешно для ивановских пролетариев.

После этой удачной забастовки рабочие еще смелее подняли свои овы и сознательная вера укреплялась в широких рабочих массах в что они своими дружными выступлениями и борьбой могут добиться олько твердых цен на хлеб, но очень многого. Такое настроение в роких рабочих массах охранке нужно было уничтожить, во что бы то стало. И здесь, в этой области, ведется работа Чугунова.

Я как и раньше, так же и теперь глубоко убежден, что это было . Я бывал много раз на массовках в лесу, собираемых Чугуновым. из старых партийных работников бывал там, тот не мог доверять унову. В подтверждение всего сказанного приведу два факта из двух массовок.

Была массовка по Шуйскому тракту. Мы были с тов. Виноградовым, да собрание было открыто, говорил какой то молодой человек, а мы и в толпе. К нам подходит Чугунов и отзывает нас с Виноградовым сторону, спрашивает наши адреса. На наш вопрос, для чего это нужно,

Чугунов отвечает нам без всякого замедления и быстро: «вы, старые партийные работники нам будете очень полезны, так как у нас скоро будет созвана конференция и будут обсуждаться очень серьезные вопросы, даже о выступлении. При обсуждении таких вопросов нам и приходится приглашать старых работников.»

Мы не были членами такой «партии» и от таких любезностей отказались. Он не только к нам подходил с таким предложением, а везде, даже на улицах, разыскивал старых товарищей и делал такие предложения и в свою очередь получал категорический отказ. Другой случай. Была массовка в Кохме, на которой было около 3 тыс. человек. Мы на эту массовку пришли с тов. Скороходовым. В то время Чугунов держал громовую речь перед собравшимися и призывал к вооруженному восстанию. Говорил, что ждать нам нечего, а нужно начинать. Солдаты, которые расположены у нас в городе, будут с нами, ибо с ними имеются связи. После речи Чугунова выступил тов. Скороходов, который и поставил этот вопрос в серьезном смысле, между прочим, говоря так, что вот Чугунов призывает к вооруженному восстанию в одном нашем городе и возлагает на это большие надежды. Для меня, говорит Скороходов, это является детской наивностью близорукостью. Дальше Скороходов указывает, при каких условиях мы можем расчитывать на успех вооруженного восстания, иначе мы должны его удерживать, если бы оно и проявлялось. Допустим себе такую мысль, продолжает Скороходов.

Если бы у нас в Иванове завтра все фабрики забастовали и солдаты соединились бы с рабочими, а в Петрограде и в Москве тишь, да благодать, то что бы мы тогда стали делать? Получилось бы то, что были бы пролито столько крови, что волосы на голове поседеют, если останешься живым.

Чугунов отвечает тов. Скороходову, называет его сторонником Милюкова и плехановцем, а один из рабочих трясет мужжавеловой палкой и кричит по адресу Скороходова—«негодяй!»

Эти приводимые мной факты не являются моей выдумкой, а действительно были. Дело в том, что у рабочих в то время был сильный революционный под'ем, как это и было указано выше. Но беда была в том, что среди рабочих не было сознательных и хорошо выдержанных в революционном закале руководителей. Тогда были молодые с пылким порывом в борьбе товарищи, а старые испытанные товарищи были на фронте. Поэтому прохвост Чугунов нашел благоприятную почву в этой среде и сумел вести за собой рабочих и во имя интересов самодержавного насилия пролил кровь рабочих.

Еще 8-го августа в лесу, на массовке, было постановлено начать выступление, но еще более содействовал скорейшему выступлению арест многих товарищей, в особенности на фабрике Грязнова. В их числе был арестован тов. Кадыков М. Н. Грязновская фабрика первая вышла. Я в это время работал на фабрике Полушина. 10 августа я должен был приступить к работе с 1 часу дня и пошел из дома на фабрику. В 12 часов дня, дойдя до фабрики Ив. Гарелина, встречаюсь с Окутиным, который мне сообщил

го Грязновская фабрика вышла, а он, Окутин, идет сообщить товарищам
фабрику Гарелина. Подошел я к фабрике Полушина и нигде никого не
жу. Только в калитке ворот фабрики стоят двое фабричных городовых.
мотрю, от фабрики Маракушева идет надзиратель, отзывает городовых от
литки и делает им какой-то наказ. Затем вижу, как по дороге от реального
илища, группа в количестве человек 30 быстро двигается к фабрике,
надзирателю толпы этой не видно: угол каменного забора скрывает.
огда толпа вышла из-за угла, надзиратель выхватывает револьвер из ко-
ура и несколько шагов делает навстречу толпы, угрожает револьвером и
омко кричит: «Не смей итти сюда, иначе буду стрелять». Из толпы вы-
ляется молодой человек, распахнул полы своего пиджака и обращается
надзирателю со словами:

«Ты что, нашей крови хочешь? В мою грудь, стреляй, негодяй! Мне
е равно, меня не сегодня, так завтра мобилизуют, не здесь, так там, на
ронте, мне пулю дадут, так пусть я здесь умру, стреляй, негодяй!»

Ближе подходит к надзирателю, который пятится. Из толпы поле-
ли в надзирателя камни. Он ударяется в бегство к Маракушевской фабри-
, а в спину ему летят камни. Бежавши упал, но скоро вскочил и мог
рыться во двор фабрики. После этого подошли к фабрике, а рабо-
е все вышли за ворота. Дальше вышли фабрики: Маракушева, Буры-
на и Дербенева, и улица пред фабриками была запружена народом.
и таком бушующем море толпы, хотя бы ты и сознавал, что это вы-
упление бесполезно, но в силу той психологии, которая создается в
лпе, пришлось принять активное участие и врываться в фабрики и за-
ды, вызывать рабочих на улицу. Вот, когда я вошел в модельную мастер-
ую в механическом заводе Анонимного О-ва, то меня встретил старый
варищ по партии Рязанов, который работал на этом заводе модельщи-
м. Обратился ко мне со словами: «что вы делаете, хорошее дело или
охое?» Я ему ответил: «я думаю хорошее дело, а если бы знал, что
охое, то я делать бы не стал. Но рассуждать теперь поздно, а смотри,
заводом бушует толпа, кончайте работу и идемте на улицу». Рабочие
шли и отправились к Успенскому кладбищу на митинг. От Успенского
адбища, в 7 часов, пришли на площадь. Выступал пред толпой как у
пенского собора, а также и на площади тов. Зиновьев, рабочий с фабри-
И. Гарелина. Требование предъявлено было полициймейстеру об осво-
ждении товарищей, арестованных накануне забастовки. Когда на это
ебование получили решительный отказ, товарищ Зиновьев обращается
толпе со словами: «Товарищи, правительство не хочет удовлетворить
ше требование, а мы его заставим удовлетворить силою, идем же к
рьме и освободим товарищей силой!»

Товарищ Зиновьев пошел впереди толпы и все с площади направи-
ь через Приказной мост к тюрьме. Против Покровских номеров (теперь
помещается губрозыск) стояли солдаты. Как только сошли с Приказ-
го моста передние ряды рабочих, солдаты ружья взяли на перевес. То-
ищ Зиновьев снял с головы шляпу и обратился с речью к толпе и
датам, тут и грянул роковой выстрел, за ним другой и третий. Грудь

товарища Зиновьева была пробита четырьмя пулями. Товарищ Зиновьев с верой в лучшее будущее погиб героически за интересы рабочего класса, но враги, в лице Чугунова, вели всех по ложному пути. Проклятье им, подлецам! А эти молодые герои, как товарищ Зиновьев, являются молодыми борцами и вечная память в наших сердцах будет хранима о них.

И. Косарев.

Не побеждены, а только отступили.

Реакция свирепствовала, пущены были в ход все средства черной сотни против рабочих. 28 октября 1905 года Иваново-Вознесенск был полностью в руках черной сотни. Под руководством главарей черной сотни город был украшен трехцветными национальными флагами. Хоругвеносцы носили портрет царя. Все граждане города, по приказу главарей заговора, пришили на груди белые ленточки. Рабочие ходили несколько дней тому назад с красными ленточкамии на реку Талку и эти рабочие избивались. Видя, что дело принимает серьезный оборот и что среди рабочих не стало видно вождей, издававших приказы о собрании, по отсутствию прокламаций, рабочим доподлинно стало известно, что они побеждены. Им ничего не оставалось делать, как молча снова стоять за станками после длительной и упорной экономической борьбы. Под сильный шум станков они проклинали фабрикантов, которые не прибавили и гроша медного, а дерзко ответили на требования локаутом, пороли нагайкой, устроили в городе погром, где попало вождям рабочего движения и были большие жертвы этого погрома. Они вспоминали, пуская станок, что говорил им вождь и любимец, Е. В. Дунаев, о их беспросветной нужде и о их полном бесправии, а они ему аплодировали, носили его на руках. Рабочий знал, что там в городе творится что то неладное, идет какое то ему непонятное движение, к которому примкнула вся богатая часть города. Полиция с жандармами под руководством полициймейстера Кожеловского с фабрикантом Н. Зубковым во главе известных погромщиков Кашина, Шахнина, Ардасова, Мужжавлевых и многих других, и по сие время здравствующих. Буржуазия, напуганная красными ткачами, их грозным голосом и справедливыми требованиями, заставила всех врагов организоваться. Эта черная сотня организовала самодержавно-монархическую партию «Союз Русского Народа», в лице председателя Бабанина и других. Их было тогда в этих союзах много, ибо под влиянием полкуша, черного страшного террора, они насильно записывали простаков из рабочих.

Руководители черной сотни были уверены, что все рабочие будут на их стороне и будут помогать в выдаче главарей движения и рабочих, сочувствующих делу освобождения рабочего класса. Для этой цели они на площади устраивали митинги; площадь, где они собирались, теперь никем не вспоминается, это Покровский Собор.

Памятно это время. Где Кашин? С портретом царя он призывал всех, кому «дорог батюшко царь», об'единиться вокруг его портрета, стоять за веру царя и отечество. На этом собрании было до 3000 человек. Многие

истерички на призыв оратора кричали: «смерть красным тряпичникам, умрем за старую веру» Но их было 3000, а где те 80,000 ткачей. которые посещали речку Талку? Рабочие в собор не пришли не только потому, что они боялись «Шохнинско-Ардасовской дубинки», а еще и потому, что все же это не их было дело. Они поняли, что капиталисты их враги, и рабочим еще с ними придется бороться, как только они немного поправятся. Трехмесячная стачка привела рабочих к полной голодовке, многие рабочие собирали милостыню и бежали по деревням. Темные рабочие клялись. что они никогда больше на стачку не пойдут. Зиму рабочие провели молча за своими станками. Они были нейтральны. Но на этом, само собой разумеется ход исторических событий не остановился. Борьба не окончилась, рабочие баталионы не разбиты, а лишь отступили снова на свои старые позиции. С этого времени начинает зарождаться в среде рабочих крепкая организация. Зимой 5-го года под руководством вновь прибывших свежих молодых сил из Сибири и других ссыльных губерний зародились пропагандистские кружки на фабриках Фокина, Грязнова, Гандурина, на литейном заводе Лепешкина и много других. Тут же, не медля ни одного дня были собраны товарищи, участвовавшие в стачке, и организовался Городской Комитет. Главными представителями Комитета были: Киселев, Бубнов и много других, была организована пропагандистская Коллегия. Главный штаб находился у неизвестного для нас героя того времени О. Куренева. К концу марта месяца 1906 года связь с фабричными рабочими была вполне налажена и прокламации раздавались открыто. Полиция неистоствовала и шныряла каждую ночь в подозрительных местах, аресты ничуть не помогали. Талка снова приковывает к себе рабочих, где начинаем с наступлением весны собираться. В это время в организации видна была заминка в определении взгляда на революцию. Одни говорили, что нужно лозунги выдвигать чисто экономического характера и с тем итти к рабочим. Другие доказывали, что дунаевская проповедь после совершившагося погрома и реакции устарела и нужно приучить рабочих к борьбе политической, направлять всю силу агитации к свержению самодержавия и к выступлению рабочих в демонстрациях. 1-го мая 1906 года было отпраздновано в лесу, где участвовали масса рабочих и вся организация. Таким образом, мы видим, прошло только полгода, а рабочие уже снова зашевелились и взялись за неоконченную борьбу. В рядах же наших врагов дело начинает распадаться. Они успокоились тем, что в декабре Московское восстание было подавлено и по их мнению самодержавие устояло. Экспедиция Мина и Римона, а также избиение Шушских крестьян на Кавказе вынушило им послать царю лично приветственную телеграмму и стяг от ивановских граждан. К этому времени образовались партии октябристов и кадетов. Дело черной сотни распалось, из их рядов стали уходить не только запуганные рабочие, но и другие слои местной буржуазии. Начала сь классовая борьба в лице политических партий тех времен. Рабочий робко смотрел на эту борьбу, ему непонятны были их цели и задачи. Социал-Демократическая партия того времени сделала свое дело, использовав все возможности для ознакомления рабочих с политикой правительства.

Поражение на Дальнем Востоке при Цусиме и Мукдене, расстрелы рабочих 9-го января в Петербурге и в других городах раскрыли глаза рабочим, которые вспомнили ораторов, говоривших на Талке о свержении самодержавия, которых они плохо слушали, требуя снова Дунаева говорить об экономической борьбе. Они только теперь поняли, что враги их не одни капиталисты, которые их угнетали, а и самодержавие, которое им помогает, пуская в ход нагайки и пули. Они узнали, что при царской власти ни одно требование рабочих удовлетворено быть не может, и активная часть это поняла, а благодаря ей и все остальные товарищи.

6-ой год можно смело назвать годом негодования против царской власти и годом лозунгов: «Долой самодержавие»», «Да здравствует Демократическая Республика». Рабочие были уже слегка знакомы с программой Р.С.Д.Р.П. и чего она хочет для рабочих. Они твердо запомнили, что без оружия бороться невозможно. Винтовка, баррикады, тесная сплоченность поможет рабочему завоевать намеченные с того времени свободы. К этому нужно прибавить невыносимый тяжелый труд на фабриках, стало еще тяжелее, фабриканты себя чувствовали победителями, кризис разростался, появилась массовая безработица и те ткачи, которые в 5-м году ругали своих передовых товарищей, только через полгода сознали свою вину. Им на это отвечал рабочий сознательный, сочувствующий социал-демократии, что мол раскусили, поняли, что это были за люди, которых вы срамили? И ткачи, склонив голову, задумывались над теми депутатами, которых они послали защищать их кровные интересы, которые поплатились своей жизнью, сидят в тюрьме и многие высланы. Но рабочие не долго ждали, к ним снова пришли товарищи, свежие силы, которые готовы были защищать их интересы, какой бы цены это ни стоило. Недовольство нарастало, агитация достигла своих вершин и выразилась в бойкоте выборов в 1-ю Государственную Думу. «Не пошлем своих представителей в Царскую Думу!» Вот, что ответили ивановские ткачи своим врагам. Это, я бы сказал, завоевание для того времени слишком велико. Завоевание было делом Социал-Демократической Партии. Рабочие идут снова за своими руководителями. Ивановская черная рать снова видит самодержавие в опасности. Но мер уже никаких не принимает и не может помочь, кроме как служением благодарственных молебнов, крестных ходов, словом, свалили всю защиту царя на бога и на полицейского. По их мнению эти спасут их падение. Красная опасность утихнет сама собой, и действительно, слуги капитала: жандарм, поп и полицейский, делали свое дело, не спали ночи, ходили в облавы, рылись в пролетарских избенках, вылавливая все противозаконное, вплоть до из'ятия старого «Владимирца» (газеты). Звон колоколов заглушал стон рабочих, придавал праздничное настроение в городе. В противоположном лагере среди ответственных передовых рабочих кипела борьба. Была уверенность в том, что революция не кончена. Борьба продолжается. Агитация принимает вид легальной борьбы, ввиде выступления на фабриках по вечерам ораторов на политические темы. Все буржуазные открытые собрания сопровождались выступлением на них Социал-Демократической Партии, в лице того или иного

дельного оратора. Выступление в нашем городе Петра Струве не осталось без ответа, а была дана ему настоящая отповедь. Разгон первой Думы, появление выборгского воззвания кадетской партии нам еще больше помогает раз'яснить рабочим смысл классовой борьбы и рост рабочего класса в этой борьбе. Рабочий постепенно втягивается в политику. В 1906 году в проводах во 2-ю Гос. Думу по призыву депутата Социал-Демократической Партии, принимает участие весь рабочий класс города, все фабрики и заводы остановились и вокзальная площадь была запружена рабочими. Тут можно было видеть народ на крышах, на тумбочках, на вагонах, словом там, где можно хоть краем уха слышать речи ораторов. И напрасно другой наводил ухо в сторону депутата Жиделева, он его не мог слышать. Полиция бездействовала, да и что было делать с 20000 толпой?

Город замер, опустел. Рабочие на станции провожают депутата в Думу, вручают ему наказ защищать их интересы. «Долой самодержавие», кричат ораторы один за другим. Только после, спустя несколько дней, полиция начинает сажать в тюрьму, кого она могла подсмотреть, и в первую голову выборщиков. Организация же крепла и в 1907 году, справляя 1-го мая, мы видим 7.000-ый митинг в лесу за Воробьевым. Это показывает нам рост сознательности рабочих и что борьба не закончена. Революция продолжается. Ткач снова стоит за станком и думает, но уже не о том, что происходит в городе 28-го октября и не раскаивается в том, что голодал в 1905 г. 3 месяца, а думает о том, чтобы отомстить в удобный момент своим зарвавшимся врагам. С этой думой он работал за станком 12 лет и в 1917 году выполнил эту месть и победил.

Наша борьба.

Не долго пришлось Ивановской полиции жить в покое. Если они в 1905 году громили направо и налево, от них все бежали по деревням, в леса и другие города, то 1906 год их снова озадачил,—как и каким образом бороться с крамолой? Во время предвыборной кампании в 1-ю Государственную Думу Соц.-Демократ. партия работала во всю. Крепкое ядро, состоящее из товарищей ссыльных и примкнувших к ним из местных работников, составило полный план бойкота 1-й Государст. Думы и провело его полностью в жизнь. Бойкотское настроение потому было сильно, что инициативная группа примыкала к левому крылу С.Д.Р.П. Все односторонники Ленина поддерживали решение Лондонского Съезда, на который нам удалось провести от Ивановского Комитета Партии с решающими голосами до 10-ти человек. Группа правого течения была совсем слабая и состояла из отдельных лиц, которые не смогли противопоставить и развить хоть какую-либо агитацию. С тех пор Ив.-Вознесенская организация была всегда на счету и известна Центральному Комитету Партии того времени. Ну, и жандармское управление не дремало, ему удалось многих товарищей из нашей среды купить и так ловко и умело их использовать,

что мы, участники этой мрачной эпохи, об их провокаторской деятельности узнали только в 1915 году, как например, целиком провал Ивановской организации Чугуновым К. Т., остальные агенты: Серов-Сергеев, Семен Степанов известны стали в 1917 году, и к великому сожалению были избраны в президиум 1-го Городского Совета г. Ив.-Вознесенска 2-го марта, т. е. они были опознаны, когда мы произвели арест всего жандармского управления в ночь на 3-е марта. Тогда мы поняли, что это были за личности, можно было жалеть, плакать; но поздно. Дело провокаторов было сделано, печальнее всего это то, что Лызлов, жандармский ротмистр, сжег много секретных бумаг и, быть может, картина для нас была бы ужасна, но более ясна. Эту тайну мрачных стен каземата и жандармского застенка Лызлов от нас скрыл, а огонь очистил тех, кои, быть может, и по сие время здравствуют в нашей свободной стране. Понятно, раз удалось полиции так глубоко пустить корни в Ив.-Вознесенскую организацию, заручившись агентами, которые были близки к Городскому Комитету, работать нам было тяжело.

Конспиративные квартиры существовали не более недели, аресты продолжались каждую ночь в разных концах города, если они были на 50% неудачны, все же в достаточной мере мешали работать. Каждый товарищ имел по две клички и деловые собрания происходили в лесах в самой чаще и с таким расчетом, чтобы этот лес давал возможность спокойнее проводить собрания и выгодное отступление в глубь леса; с усталостью и временем не считались. Благодаря такой бдительности ока охранки, через нашу организацию прошло масса передовых товарищей и здесь в городе арестовывались и больше уже не возвращались в Иваново-Вознесенск. Это товарищи революционеры, профессионалисты, не знаю, удастся ли нам в настоящее время восстановить их фамилии и кто они такие. Правда прежде любопытные старались узнать, а вот рабочие их просто называли в то время: Химик, Буква, Новый, Степан, Геннадий, Юрий, Михаил, Семен, Константин, Ольга, Наум и т. д. всех не перечтешь Все они, как нам известно, уходили в Сибирь и там, быть может, погибали

Я лично стараюсь увидать их на съездах в Москве или хоть прочесть кое что про этих героев, но этого мне часто не удается сделать. Благодаря старой конспирации и провокации, мы многое потеряли. История дореволюционного движения, несомненно, будет неполна. Все материалы и протоколы 1906 года погибли и сожжены, или, быть может, по сию пору хранятся у лиц не нашего полета, ведь в большинстве случаев конспиративные квартиры были в домах передовой либеральной интеллигенции того доброго времени.

Таким образом, пропадали все материалы профессионалов. Арестовывались целые квартиры при захвате ораторов на митингах, как это было во время протеста против суда Социал-Демократической Фракции и нашего деп. 2-ой Государственной Думы Н. А. Жиделева.

При аресте на митингах в 1906 году при ф-ке больш. Дмитриевской М-ры быв. Фокина у тов. Степана, по профессии учителя, и Геннадия был обыск, и они уже больше на свои квартиры не возвращались. Но несмотря

на аресты, организация жила, у нас были тоже кое какие связи вплоть до «Ивановского Листка»(газ. того времени черной сотни, где мы добывали шрифт, который давал нам при известных условиях возможность выпустить большую газету). Если конспиративные квартиры проваливали, то собирались в школах и под конец в зданиях Профсоюза, на подмогу приходила Кооперация, где устанавливали пароль, свидания, адреса. Не брезговали кладбищами, где легко передать из корзины литературу, а уже там и в лес, в означенные места, главное, лишь-бы не заметили. В то время использовали всякий материал, включительно до распространения Выборгского воззвания, где легко доказывали бесплодность работы вместе с самодержавием. Покупали кадетскую литературу, но вели борьбу с кадетами. Им мы говорили, что Дума не освободит закрепощенную Россию без революции, что борьба на Губернских Избирательных Собраниях этим отводила глаза рабочих и крестьян. Звали на баррикады, ну, конечно, за это платили нам тюрьмой и ссылкой, в лучшем случае гнали с ф-к и заводов. Черный список был у каждого заведующего фабрикой. Словом, мы не брезговали ничем, лишь-бы поднять среди рабочих мысль о свержении самодержавия, охотно шли на экономические стачки. В то время ничего не стоило заставить рабочих выйти с фабрики на борьбу за увеличение заработка и за уменьшение рабочего дня.

На митингах в 1906 году речи оканчивались возгласами «долой самодержавие, долой думу». Это у рабочих вызывало одобрение и аплодисменты. Но это дорого стоило нашей организации. После ареста депутатов С.-Д. втородумцев, красные ткачи великолепно поняли, что без оружия и баррикад не-завоюют тех свобод, какие нужны рабочему классу. С этого времени нужно отметить и то обстоятельство, что проповедь октябристов и кадетов среди ф-к и заводов прекратилась раз навсегда. Рабочие шли за своей рабочей партией. Недаром тов. Морозов из Кохмы называл ее маткой, партией всех партий. То же самое можно сказать и об остальных партиях того времени, левее кадетов, которые не могут похвастаться своей популярностью среди рабочих.

Вот почему Ив.-Вознесенскую губернию называют передовой губернией, а ивановских рабочих красными ткачами. Они не видали побед, вплоть до 17-го года. С 1905 г. было сплошное угнетение, насмешка над рабочими, все стачки срывались самым постыдным образом. Рабочие голодали, а нам враги говорили, что рабочие не с нами, что нас единицы. На Московском совещании 12-го мая 17-го года, фабриканты не пошли на уступки, образовали черный блок, грозили локаутом Иваново-Вознесенскому району, они нам доказывали, что наш стачечный комитет не сумеет вызвать на улицу рабочих и соединиться, но не смотря на это мы им грозили взятием ф-к в свои руки, а они хохотали во весь зал, в особенности их вожди, как Невядомский. И что же мы видели? Стачка разразилась по всей губернии, фабрикантские вожди были арестованы. Это было первое.

Тучи назревающей социалистической бури. Красный ткач, ранее не знавший побед в течении 12 лет, теперь является сам хозяином ф-к и заводов, и если он теперь еще не особенно хорошо управляет, но все же

заметно дело быстро улучшается. Здесь мы видим красных спецов из рабочих, которые многие уже ф-ки пустили не хуже, чем старые хозяева. Поживем, пустим и замороженные, наладим транспорт, тяжелую индустрию. Пожелаем же Красным Ткачам счастливого пути, а старым хозяевам вечная память.

В. Кузнецов. (Крестьянин).

Талка.

Это было в бурные дни 905 года. Я тогда был еще подростком и с любопытством присматривался ко всему, что происходило в окружающем меня мире. Многое я не понимал, многое казалось мне просто забавным, и я вместе с моими сверстниками в своей жизни по своему воспринимал и отражал все это. Особенно большое влияние производили тогда на нас революционные песни. Столько в них было силы чувства, так ярко выраженного в бодром напеве, что до смысла слов мы и не доискивались; нас без остатка пленял мотив. Мы ими увлекались так, что пели их во всеуслышание, открыто. Каждый вечер собирались мы углу Б...кой улицы и устраивали бесплатный концерт из репертуара рабочего подполья. Мы знали наизусть все революционные песни; эсдековские и эсеровские поэты нашли в нас самых ярых своих исполнителей. Нигде революционная поэзия, вероятно, не имела такого крупного успеха, как в нашей среде. Нужно сказать, что в слушателях у нас недостатка не было. Нас с радостью и удовольствием слушало все окрестное население, которое почти целиком состояло из рабочих. Правда, были у нас враги, но таких находилось немного: один рабочий черносотенец и местный торговец, имевший на углу этой улицы бакалейную лавку. Руганью и угрозами они иногда пытались затушить в нас огонь революционной поэзии, но это им плохо удавалось. Будучи прогнаны с одного места улицы, мы переходили на другое и снова запевали любимую «Смело, товарищи, в ногу» или «Вихри враждебные». Правда, угрозы, высказываемые последней, по адресу царского правительства, были настолько недвусмысленны, что мы, не смотря на всю нашу любовь к революционной поэзии, всегда пели ее с некоторой боязнью, пугливо оглядываясь по сторонам, желая убедиться, нет ли по близости казаков. Были у нас из местного населения враги и другого сорта, но вражда их относилась не столько к нам, сколько к нашему чрезмерному увлечению пением. Враги эти были женщины. Увлекшись своим искусством, мы иногда продолжали петь до поздней ночи, и вот тогда из домов, близ которых мы упражняли свои голоса, на улицу, в одном нижнем белье, выходили женщины и принимались зело ругаться. Злоба их была нам вполне понятна; рано утром им надо было вставать «на заработку», а мы своим пением мешали им спать, поэтому мы с ними не спорили и, не докончив начатой песни, уходили в другой конец улицы. Там, конечно, повторялась такая же история и после двух-трех таких женских вылазок, мы, побежденные, расходились по домам. К числу других наших любимых развлечений того времени надо отнести хождение на Талку. Каждый день соби-

рались мы партией на улице и, сговорившись, потихоньку от больших, уходили на Талку. Место это в то время поистине было веселое. Большие толпы рабочих, с красными знаменами, на которых были написаны разные революционные лозунги и названия фабрик, собирались на Талке, чтобы обсуждать свое положение. Борьба Иваново-Вознесенского пролетариата с своими эксплоататорами была едва ли не беспримерной в истории рабочего движения России и поэтому требовалось много выдержки и согласованности, чтобы довести ее до конца, а потому-то и собрание на Талке всех бастующих рабочих являлось делом насущно-необходимым. Рабочие пополняли там свой революционный энтузиазм, набирались мужества для дальнейшей борьбы и от своих руководителей научались, как нужно вести эту борьбу, чтобы избежать грубых тактических ошибок. Что ошибки эти были возможны, это ясно было видно из речей руководителей. Я сам слышал, как один оратор призывал рабочих не грабить, не бить, не ломать, а спокойно дожидаться того момента, когда фабриканты пойдут на уступки. Очевидно, царское правительство, заинтересованное в скорейшем прекращении забастовки, через своих агентов черносотенцев старалось провокаторски вызвать несознательных рабочих на безпорядки и эксцессы, дабы, придравшись к этому, арестовать рабочих вождей и применить к бастующим насильственные меры воздействия. От таких необдуманных действий нужно было рабочих удержать, к этому и сводились речи ораторов. Из всех руководителей рабочего движения того времени наибольшей популярностью как среди рабочих, так и среди нас, подростков, пользовался товарищ Дунаев. Это был действительно герой рабочего квартала. Может быть, там были еще и другие герои, менее популярные, хотя не менее полезные, но наш детский мир в то время не знал больше никого. Самой большой гордостью для нас считалось получить кличку «Дунаев» или за свои поступки услышать от товарищей фразу: «ты совсем, как Дунаев». Коренной смысл происходящих событий был нам мало понятен, а бессонные ночи наших родителей из-за все увеличивающейся нужды и неизвестного страшного будущего были нам совершенно неизвестны. Мы были дети и по детски все жизненные явления рассматривали в радостном розовом свете. Но, должно быть, и детской идиллии бывает конец, должно быть, ясная лазурь и детского неба не всегда бывает безоблачна, и там иногда вместо легких перистых облаков радости заходят черные тучи печали. Это однажды и случилось.

Утром одного дня, мы, по обыкновению, собравшись все вместе на улице, стали сговариваться о том, как бы сегодня сходить на Талку, но с самого начала соглашение как то не давалось; некоторым в этот день просто почему-то не хотелось итти, другим почему либо нельзя было надолго отлучиться из дому. Наконец, после долгих споров и уговариваний не желавших итти товарищей, соглашение было достигнуто, и мы гурьбой направились по направлению к Талке. Мы не прошли и половины дороги, как навстречу нам стали попадаться торопливо бегущие рабочие. Все они были чем-то взволнованы и, озираясь пугливо по сторонам, старались поскорее скрыться в свои квартиры. Около фабрики Н. Гарелина, мы встре-

тили одного знакомого рабочего и от него узнали, что на Талке сегодня разыгрывается ужасная драма. Царское правительство, не видя конца продолжающейся забастовки и боясь, как бы твердая воля рабочих в этой борьбе труда и капитала не оказалась в конце концов победительницей и не заставила капиталистов пойти на крупные экономические уступки, решило вмешаться в эту борьбу и силой оружия заставить непокорных рабочих сдаться на милость своих эксплоататоров. Путей, ведущих к осуществлению этой цели могло быть, конечно, несколько, но самый действительный, очевидно, был тот, который давал бы царскому правительству возможность одним ударом организованную рабочую массу превратить в дезорганизованную бессильную толпу, но так как очагом рабочей организации и центром революционного энтузиазма действительно являлась Талка, то нельзя было серьезно расчитывать на поражение Ивановского пролетариата, не ликвидировав так или иначе Талки, этой Мекки рабочего движения. Поэтому главные силы реакции решили направить свой жестокий удар сначала сюда, чтобы, дезорганизовав и терроризовав рабочую массу, приняться за расправу и над вождями рабочего класса. С помощью продажных рук астраханских казаков, которые среди рабочего населения города славились своей преданностью царскому правительству и ненавистью по отношению к рабочим, оно жестоко расправилось с бастующим пролетариатом. В описываемый мною день рабочие, мирно собравшиеся на Талке, зверски избивались пьяными казаками и расстреливались, как куропатки. Жестокость их, говорят, доходила до того, что они избивали даже детей, купавшихся в Талке. Все это мы узнали гораздо позже, в самый же момент встречи с рабочим, сообщившим нам эту печальную весть, мы не видели еще ничего страшного и поэтому, хотя на Талку и не пошли, но решили пройти в город и посмотреть, что там делается. Путь нам лежал через бульвар Садовой улицы, на котором впервые показались нам ласточки талкинской драмы; здесь, под тенью липовых дерев, отдыхали от пережитых ужасов легко раненые рабочие. Около каждого из них группировались небольшие кучки любопытных и с молчаливой серьезностью слушали печальный рассказ о только что совершенном злодействе. Один рабочий, раненый в руку, рассказывал, что ему удалось спастись только тем, что он забрался на дерево. Вид несчастных рабочих с белыми повязками на пораненых местах, сквозь которые выступали пятна крови (им была уже оказана первая медицинская помощь), и страшные рассказы о жестокостях рассвирепевших казаков так напугали нас, что мы отказались от нашей затеи посмотреть, что делается в городе и, отыскав в числе раненых одну знакомую женщину «политиканку», как звали ее у нас на улице, вместе с ней возвратились домой. По дороге она рассказала нам, что много товарищей осталось навеки на месте ужасного злодейства, но что товарищ Дунаев спасся. Это сообщение немного ободрило нас, но все же вечером этого дня мы песен не пели. Драма, разыгравшаяся на Талке в 905 году, заставила даже и нас, подростков, серьезнее отнестись к окружающим событиям. Многое из того, что в окружающей нас жизни казалось нам непонятным и странным, сделилось понятно и ясно, и сама жизнь с того

времени получила другое значение и смысл. Можно смело сказать, что Талка для многих из нас, по крайней мере впоследствии, имела серьезное воспитательное значение; благодаря ей, многое в социалистическом учении оказалось объяснено гораздо ясней, чем это было сделано в брошюрах политических писателей... Через несколько дней после события, происшедшего на Талке, когда впечатление страха немного улеглось, обитатели рабочего поселка заметили, что в темные осенние вечера мы с особенной любовью поем грустную песнь «Вы жертвою пали».

Иван Бедный.

Памяти В. Я. Степанова.

Три года прошло, как уже мы не видим в своих рядах Василия Яковлевича Степанова. 2-го марта 1917 г. он был избран депутатом в Городской Совет рабочими ф-ки Гандурина. 3-го марта, при первых же выборах в президиум Совета, имя В. Я. громко раздалось по залу. Он был избран т. председателя Городского Совета.

В первый же день он сразу заставил обратить на себя внимание. Все его предложения принимались единогласно. В нем кипела кровь революционера, жил в нем дух беспощадной борьбы с врагами рабочего класса. Когда произошла операция ареста деятелей старого порядка (полицеймейстера, жандармского ротмистра и других), он настаивал на более широком круге лиц, кои должны быть, по его выражению, посажены в пролетарскую кутузку именем власти Советов. Он принимал участие в организации гражданской милиции.

В первые дни Февральской революции охрану города взяли сами рабочие. Подчас проникали и нежелательные элементы. Вот тут-то и важно было придать этой охране организованный характер и умело подобрать кадр руководителей. Это и сделал т. Степанов.

Он был избран Советом в комиссию по организации комитета общественной безопасности города Иваново-Вознесенска, в то же время и сам был избран в этот комитет от Городского Совета в числе 15 человек. Но прошло два дня, как он первый заметил, что с уходом из Городского Совета 15-ти товарищей, Совет ослабнет. Нужно было послать в комитет безопасности не столь видных товарищей, а самых сильных возвратить снова в Совет. В конце марта месяца 1917 года он был избран председателем Городского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

Съездивши в Москву, ознакомившись с Московским Советом и его делами, он тотчас же все новые порядки вводил у себя в городе.

Первоначально Совет находился в здании городской управы, был стеснен помещением и не мог развернуть работы. Тов. Степанов в апреле 1917 г. переводит Совет в д. б. Генералова, на Напалковской ул., который теперь по праву называется его именем.

На новом месте мы видим совершенно новую конструкцию всех отделов. Т. Степанов сам всюду принимает участие в выработке инструкций и разного рода положений. Здесь мы видим впервые молодого пролетар-

ского юриста. Он мало обращался к спецам, сам целыми ночами сидел над выработкой первых наших законов на местах, пользуясь обычным пролетарским правом и революционным правосознанием.

Первым центром культурно-просветительной работы был клуб рабочих, который помещался на углу Пятницкой улицы (точное его название было, кажется, «Клуб Рабочий»). В организации его В. Я. Степанов принимал очень деятельное участие. Политпросветительную работу здесь вели М. А. Чернов, Д. А. Фурманов и др. Закипели кружки по политэкономии. Было выписано много газет, журналов, устраивались развлечения и т. д.

Главная забота т. Степанова в городской работе была направлена на продовольственный вопрос, в разрешении которого он принимал деятельное участие. Если взять работу 1917 г. до августа по организации Городского Совета, то, несомненно, вся она легла на плечи несменяемого председателя Совета, молодого коммуниста т. Степанова. Жалко было ему расстаться с этой работой, в августе месяце 1917 г., когда его назначили членом городской управы. При распределении обязанностей ему выпала на долю работа по продовольствию, в то время эта была трудная работа. Тов. Степанов к тому же неустанно вел организацию профессиональных союзов города Иваново-Вознесенска.

Весной и летом 1917 года шла работа по организации профсоюзов: 1) ткачей, 2) ситце-печатников и 3) металлистов. В. Я. Степанов входил в организационную тройку, куда кроме него входили т.т. Смирнов (Малков) и Иванов. В средине лета 1917 г. эти союзы слились в союз текстилей.

Тов. Степанов также боролся с тогдашними главарями кооперации. Его мечта была создать в городе потребительскую коммуну, уничтожить потребительские о-ва фабрикантов и заводчиков. «Почин», «Самопомощь» и мн. др. буржуазные кооперативные лавочки. Этой цели он достиг, при его участии был выработан устав, выработано единое правление и образовался «Единый Рабочий Кооператив».

Когда т. Степанов был назначен заместителем городского головы, перед ним стало раззоренное городское хозяйство, которое поправить в то время было почти невозможно, и все же он выдвигал один проект за другим.

Интересно отметить одно обстоятельство. Никогда, ни в каких случаях он не мог соглашаться с большинством мнений и проводил с упорством свои предложения, не отступая ни на одну ноту от них. Можно смело сказать, В. Я. того времени был одним из лучших и способных организаторов. И как администратор, был незаменим. В городской управе, при старых спецах, держал себя так свободно, как будто бы он был 10 лет земским деятелем, и все с ним считались, даже иные спрашивали, не студент ли он, и не верили, что он рабочий с низшим образованием. Проводя собрание Думы, он вел себя корректно, сдержанно и с достоинством. Не было ни одного заседания, где можно было бы спецам-стародумцам к чему либо придраться. Помимо думской работы принимал участие буквально во всех комиссиях и совещаниях. Куда ни придешь, всюду т. Степанов председательствует. Был любимцем рабочих. Привлекал к себе всякого, заставлял противников уважать себя.

Работая в управе, он не оставлял работу партийную, просиживал целые ночи напролет в комитете партии. Принимал участие в организации фабричных комитетов и страховых органов. В то же время он был солдат Революции, имел тесную связь с полковым комитетом, где один за другим отражал удары своих противников и в полемике был незаменим, пускал убийственную критику и едко ядовитые сатиры, заставляя иногда совсем умолкнуть противников и проводил свои предложения единогласно.

В ноябре месяце 1917 г. т. Степанов при изыскании средств на содержание Совета накладывает контрибуцию на фабрикантов и заводчиков в миллион рублей золотом.

Во все демонстрации, какие только происходили в 1917 и 1918 г.г., его видели в шинели с винтовкой в руках в самых первых рядах. Красная гвардия могла гордиться этим солдатом Революции и ее организатором.

В начале 1918 г. он посвятил себя всецело делу продовольствия. Он стал первым спецем этого дела, занимаясь выработкой карточной системы, организацией районов продовольствия, уличных комитетов, районных управ. Наступление Колчака и Деникина на сердце России его сильно тревожило и много раз просился он добровольцем в Красную Армию, но его в порядке партийной дисциплины не отпускали, как незаменимого работника.

Несмотря на это, он в свободное от занятий время, во дворе ф-ки Дербенева обучался военному делу—стрельбе. Говорил: «меня не удержат, все равно уйду, там работа, а не здесь». «Если там не победим, то здесь нам грош цена. Нужно дать врагам такой удар, от которого бы они не оправились и тогда здесь мы все создадим. Мы здесь должны оставить столько товарищей, чтобы лишь продержаться до нашего прихода».

Вот пламенные слова молодого революционера нашего рабочего края.

Весь 1918 год он работает по организации продовольствия в нашем городе, под конец на посту губпродкомиссара, по устройству распределителей. чайных, столовых, наседая всей своей силой на беспощадный в то время голод. Многие товарищи того времени не выдержали, покончили самоубийством, но В. Я., вечно жизнерадостный, с улыбкой на устах, с верой шел вперед твердой своей поступью, ободряя падающих духом товарищей.

Тов. Степанов принимал участие в местной прессе «Ивановских Известиях» *).

В октябре 1919 года с первой партией ответработников он пошел добровольно на фронт веселый, с улыбочкой. Он укреплял боевой отряд острыми шутками. 70 человек—это были только ответственные работники губернии, всех же мобилизованных в октябре 1919 года от губернии было 450 чел. Степанов вел всю организационную работу по этой мобилизации и сам отправился во главе отряда из 250 человек.

Помню, он говорил: «приехавши с фронта, займусь учением и тогда можно будет еще сильнее ринуться в бой, но не с Колчаком, а с разрухой и темнотой народной».

---

*) Под «Ивановскими Известиями» тов. Кузнецов разумеет «Известия» Иваново-Вознесенского Совета, которые выходили в 1917 году.

Этот самородный талант дала нам Революция. Молодой, 20-ти с небольшим лет, он умел так работать, учить и бороться и, наконец, погибнуть за торжество коммунизма и за дело рабочего класса, на поле брани с заядлыми врагами народа.

Унесла смерть одного из честных и отважных героев нашего края. Мы потеряли человека, который обладал задатками богатого таланта, способного выдвинуться на всероссийскую арену.

Проклятие врагам нового мира!

Вечная память дорогому товарищу Василию Яковлевичу!

Твои начинания в нашем крае проводятся в жизнь!

Крепнет тот камень, который ты воздвигал.

Мы исполним последние слова погибшего борца, доведем дело Революции до конца. Поднимем пожар Революции во всем Мире.

Твой прах далеко от нас, он на полях сражений, но твой дух витает над нами и в нас, то дух Мировой Пролетарской Революции.

В. Кузнецов.

Красный дессант.

Ранней осенью 1920 года на Азовском побережье высадился врангелевский дессант и быстро стал продвигаться вглубь Кубанской области.

В двадцатых числах августа неприятель стоял всего в 40—50-ти верстах от областного центра Екатеринодара. В эти дни на Кубань приехал Троцкий. Был принят целый ряд срочных мер. В числе этих мер—посылка красного дессанта по рекам Кубани и Протоке к неприятелю в тыл верст на 150 от Екатеринодара, к станице Новонижестиблеевской, где находился тогда штаб генерала Улагая, командовавшего белым дессантом. Начальником красного дессанта был назначен тов. Ковтюх; комиссаром назначили меня. Нашей задачей было—нанести неприятелю внезапный стремительный удар в тылу, вырвать у него инициативу наступления, произвести панику, разрушить все планы...

Операция удалась.

Теперь, в вспоминании, этот редкий в военной истории пример речного рейда (по характеристике Штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии) кажется мне каким то полуфантастическим событием. Взявшись описать его в художественной форме, я оставляю в то же время самую канву событий, их последовательное развитие, даже их детали нетронутыми; передаю настоящую действительность. Да и нужды нет что либо добавлять и придумывать; в истории гражданской войны бывали такие «чудеса», что кроме участников их все принимают за сказку.

Одним из таких «чудес» я считаю и нашу удачную прогулку по неприятельскому тылу.

На Кубани у пристани стояли три парохода: «Илья Пророк», «Благодетель» и «Гайдамак». Пароходишки дрянные, старые, на ходу тяжелые: от силы протаскивались по 7 по 8 верст в час. На этих пароходах и на 4 баржах должен был отправиться в неприятельский тыл наш красный дессант.

Целый день, до вечера на берегу царило необыкновенное оживление: за несколько часов надо было собрать живую силу, вооружиться, запастись продовольствием, что можно—починить.

Подъезжали автомобили, скакали кавалеристы, подвозили артиллерию и отчаянно галдели с нею на песчаном скате; гремя и дребежжа врывались в говорливую сутолоку военные повозки: с хлебом, фуражем, со снарядами; по чьей то неслышной

команде подбегали кучки красноармейцев, живо взваливали на спины тугие мешки и, согнувшись дугой—качались на речных подмостках и пропадали в зияющих темных дырах пароходов... Ящики со снарядами брали по двое, а те, что потяжеле, и по четверо: тихо снимали, тихо несли, тихо опускали на землю: такова была команда—«снарядов не бросать». Ну, за то уж над хлебными караваями потешились вволю: их, словно кочаны капусты, перебрасывали «по рукам», стараясь друг дружку загнать, опередить в ловкости и быстроте, метали ими словно крошечными резиновыми мячиками, а иной раз эти мячики давали здоровенного тумака зазевавшемуся ротозею и через его голову проскальзывали в открытые руки дальнего соседа, ждавшего с хитрой, лукавой усмешкой.

Одному такому ротозею, стоявшему на подмостках над водой— сбили фуражку прямо в реку, дружно хохотали, острили:

— Эка буря поднялась, одежду рвет,—кричит один. —Плыви скорей,. что смотришь?—горланил другой, а третий, показывая на лодку, смеется:

— Эй, ударь веслами, попытай счастья...

И после этого случая ребята поснимали шапки: те, что были на берегу, бросили их на землю, а стоявшие на подмостках и близко к воде—пихали за пазуху, за пояса.

Погрузка продолжалась. Подходили новые команды оживленными стройными рядами, а потом расплывались, пропадали в толпе—и эти новые—также начинали бегать, таскать, браниться, хохотать... С инструментами в руках и на плечах, готовая работать,—прошла рабочая артель и, пошучивая, пересмеиваясь с красноармейцами, исчезла в прожорливую пасть парохода... Вездесущие торговки продавали на берегу спелые, сочные арбузы; мальчишки, юркие и горлопанистые, шныряли повсюду и распевали «Иру-Яву рассыпную»; шпалерами стояла в отдалении бездельничающая публика, недоуменно смотрела на все эти приготовления, выспрашивала, высматривала, вынюхивала, а потом разносила по городу вздорные сведения и слухи, выдавая их за то, что рассмотрено было «своими собственными глазами». Были тут, как это водится, и шпионы, но даже и они не могли проникнуть в тайну таких по виду шумных, открытых—и в то же время совершенно секретных приготовлений: что за суда, кого, зачем и куда они везут—этого не знал никто. Тайну мы не раскрывали целикам даже командному составу, даже ответственным работникам.

Конспирация в нашем деле была абсолютно необходима. Тайну надо было хранить крепко, ибо, выпорхнув в Екатеринодаре—она через несколько часов опустилась бы в Улагаевском штабе.

За время гражданской войны белое казачество отлично приучилось поддерживать свой казачий «узун кулак» (Так называется у киргиз Семиречья обычай—всякое важное событие немедленно передавать от кишлака к кишлаку *). Получил киргиз весть—вскакивает на коня, мчится по равнинам, пробирается по горным тропкам- и в результате за короткое, сравнительно, время вся пустыня и дикая округа—оповещена). Если бы Улагай заранее узнал про красный десант—всей операции нашей была бы грош цена: приготовиться к встрече и обезвредить нас не стоило бы ему ровным счетом никаких трудов: речные мины, десятка полтора пулеметов в камыши, да два три орудия, взявшие нас на картечь—вот и могила дессанту: в узкой реке трудно было бы спастись и отстоять себя победоносно.

Тайна была соблюдена.

Вопросы любопытных разбивались о мычание незнающих—и тайна оставалась тайною. А бойцы—эти даже и не любопытствовали: разве только какой нибудь курносый или веснушчатый пулеметчик Коцюбенко толкнет локтем соседа и молвит:—На подмогу, а?

— Известно, не против своих, оборвет его недовольный сосед. На этом разговор и кончался.

---

*) Селение.

Красноармейцы были набраны молодец к молодцу: добровольцы, члены профессиональных союзов, комсомольцы, партийно-мобилизованные,— словом, такие ребята, с которыми можно было начинать любое дело. Всего набралось 800 штыков, 90 сабель, десяток пулеметов, да артиллеристы около маклеровского взвода и двух легких полевых орудий. Отряд небольшой, но ядреный.

После обеда, часам к четырем, все уже было готово к отплытию; втащили последние ящики снарядов, загнали автомобили, завели усталых взмыленных коней.

Дожидались, не подойдут ли медикаменты, но с этим добром в подобных случаях уж, видимо, конец всегда один: не подошли.

И ехать пришлось, можно сказать, с совершенно пустяковыми запасами. На баржи, на пароходы втащили мы подмостки, побросали грязные, мокрые канаты... Бабы закатывали в мешки непроданные арбузы, взваливали на плечи и уходили. А вслед им красноармейцы посылали недвусмысленные восьмиэтажные ласки... Берег пустел, зеваки расходились... На баржах, где навалены были седла, мешки, канаты, сено, арбузы, солдатские сумки—во всех вероятных и невероятных позах расположились бойцы: грудно, шумно, весело.

На одной барже, у самого борта, свесив ноги, сидел Ганька, профессией наборщик, из комсомола. Ему 18 лет. Лицо у Ганьки хорошее, чистое, а глаза светлые и умные. Он хорошо умеет играть на гитаре, легок на ноги, отлично пляшет и поет—звучно, широко и свободно. Ганьку из комсомола хотели направить в студию,—развивать свои таланты,—да тут вот приплыл Улагай—не до ученья, надо итти воевать. Он даже и не раздумывал над тем—итти ему или остаться. Когда в комсомоле объявили набор добровольцев—он записался одним из первых и ни на секунду не знал колебания, наоборот, всеми чувствами, мыслями и волей вдруг напрягся на единую цель и жил теперь, как наэкзальтированный ожиданием чрезвычайных, удивительных событий. Он на фронте еще не бывал никогда и представлял этот фронт совершенно фантастически.

Ганька молчал, плевал на воду, и любовался, как крошечные рыбки подскакивали и глотали его белую творожистую слюну.

Позади Ганьки на корточках, в неприличной позе, сидел матрос Леонтий Щеткин. Глаза как у совы: круглые водянистые, когда надо добрые, когда жестокие. Острижен наголо; широкая открытая грудь загорела как медный таз. Щеткин молча озирается кругом, пускает залпами махорочный дым, долбит кулаком себе по колену...

Около самых его ног на кучке сена покоилась черная кудрявая голова Танчука—лихого наездника, большого охотника до женского полу, красивого бледнолицаго белоруса. Самым дорогим существом на этой барже был для Танчука его легкий конь, именем «Юсь».

Отчего он назвал его «Юсь»—и сам объяснить не мог, но уж верно потому, что когда Танчук произносил часто «Юсь—юсь—юсь»—получался свист и это ему нравилось: он начинал прихлопывать, притопывать и высвистывать плясовую. Дважды раненый—«Юсь» неоднократно спасал и жизнь своему бледнолицему седоку и уносил его даже от быстроногих казацких коней.

Танчук лежал с открытыми глазами, глодал арбузную корку, сопел и отплевывал в сторону.

Рядом стоял эскадронный, по фамилии Чобот—высокий, мускулистый, могучий. Полуголодное бродяжничество из города в город, из конца в конец по широкой Руси; нескладная семейная жизнь,—ничто не убило в нем бодрого духа, какого то ясного, торжественного отношения к жизни. Казалось, будто у этого человека никогда не было и нет ни несчастий, ни горя; будто у него одна сплошная радость, которая так открыто льется на волю в его словах, в его движениях, в его манере обращаться с людьми и в том, как легко и весело берется он за всякое дело.

Чобот стоял, чему то улыбался—верно своим мыслям, и смотрел вверх по Кубани...

Тут же был веснушчатый, желторотый Коцюбенко. Жиденький маленький—он словно врастал в землю и становился еще меньше, когда начинал что нибудь гово-

ить своим глухим могильным голосом. Бедняга болен был сифилисом. Лечился, но ало, плохо, неисправно. Страшная болезнь подбирала его под себя, готовилась удуить. Коцюбенко это знал и когда был один—становился мрачен, тосклив и задумив. А на людях—все торошился во всем и всех перекричать, но как то незлобно—и а это никто не обижался. Когда он силился «громыхнуть», как острил про него тромный Чобот—все невольно притихали, а на лицах появлялась терпеливая, снихолительная улыбка.

— Ишь, чорт, не балуй,—крикнул Танчук, увидев, как Юсь прицеливался укуить соседа-мерина. Юсь остановился, словно вдумываясь в то, что услышал, дернул за, три раза теплыми, шелковистыми ушами и отвернулся от мерина.

— То-то,—объявил торжественно Танчук.

— А што «то-то»?—спросил усмешливо Чобот.

— Не видишь,—слово понимает.

— Ну, вижу: стоит, как стоял—поддразнивал Чобот.

— Грызть хотел, ерыга...

— Все чего нибудь хотят,—философски брякнул Щеткин.

На минуту все замолкли.

— Товарищи,—обернулся к ним Ганька—а верно, что лошадь привыкает к хояину и понимает, што он ей говорит, правда, а?

— Так вон, хоть бы сичас,—начал было Танчук.

— Ясно,—прогремел Чобот, перебивая его.—Иной скажешь, дескать, посторись, а она как жмякнет копытом на ногу... Все понимает, да еще как...

— Нет, товарищи, понимает,—глухо вдвинулся Коцюбенко,— только кормить адо. Ты кормишь, тебя и понимает. И слушает одного тебя. У отца вороной жереец—одного его подпускал, а соседу Антипу руку прогрыз, мясо вырвал... Один отец одил—с ним как ягненок.

— Кто кормит, тот любит,—поддержал его Ганька...—А любовь все понимает. оди-ка пни лошадь ни за што, думаешь, не обидится? Как же... сразу поймет... А олку потрепли,—замрет, ждет, что станут еще трепать... Все, братец, понимает.

Непременно так,—поддержал и Танчук.

По берегу шла девушка в розовом платке; она смотрела на баржи и кого то, идимо, искала.

— Аи, Дуня-Груня, крикнул Чобот, не видишь что ли? Девушка улыбнулась и ошла дальше...

— Хоть платочек на дорогу подари,—смеялся он.

— И глядеть то не хочет,—ввернул Щеткин.

— Тебя видит, пугается...—бросил Чобот.

— Сам то хорош, кобыла березовая...

Этого не вынес даже Чобот и рассмеялся.

Рассмеялись все.

— Ганька,—оборотился к нему Коцюбенко,—а хочешь гармошку принесу—петь дешь?

— Чего же не петь—буду,—согласился Ганька.

Коцюбенко пропал среди мешков и коней и скоро воротился с гармонью. Сел бревно и, как полагается, минуту или две пробовал голоса, тянул ноты, мурлыкал о-то про себя, брал всевозможные аккорды.

— Ну, што?—вытянулся он, вопросом к Ганьке.

— Што хочешь... Давай—«Из-за острова на стержень»...

— На стрежень, поправил Ганька.

— Только помогать—один не стану...

— Начинай,—согласились разом Чобот и Танчук.

Ганька запел. Сначала тихо, будто пробуя и принаравливаясь, потом громче, омче, громче...

Он уже поднялся на ноги, лицом обернулся к реке и пел не людям—волнам бани.

Гармошка подыгрывала плохо—Коцюбенко почти совсем не умел на ней играть, но это дела не портило: пока Ганька запевал—Коцюбенко притихал, вслушиваясь в серебряный Ганькин голос, а когда он хотел дать гармошке ход—было уже поздно: ребята подхватывали громовыми голосами вторую половину куплета и не давали Коцюбенко проявить себя, как следует. Уже вся баржа пригрудила к певцам и слилась с ними в общей песне... Ганька заканчивал и повторял первый куплет:

«Из за острова на стрежень,
На простор речной волны...

Бурею вырвались грудные сильные голоса:

«Выплывают расписные
Стеньки Разина челны...»

В эту минуту певцов качнуло в сторону. Пароходы—незаметно, безшумно, без свистков снялись с места, отчалили от берега, потянули за собой баржи...

Словно огромные речные чудовища длинною лентою потянулись суда. Было в этом зрелище что то одновременно и торжественное и жуткое: отряд уплывал в неприятельский тыл.

Этого никто не знал, но уже чувствовали и понимали все по характеру стремительных сборов, что предстоит что то значительное и очень важное. Беззаботная веселость, царившая по баржам и пароходам, пока они стояли недвижно у берега, уступила теперь свое место какому-то трезво-напряженному и сосредоточенному состоянию. Это не была ни трусость, ни растерянность, ни малодушие—это была непроизвольная психологическая подготовка к грядущему серьезному делу. Во взглядах коротких и полных мыслью; в движениях—быстрых и нервных; в речах—обрывистых и сжатых; во всем уже чувствовалось нечто новое, чего совершенно не было, пока стояли у берега; это состояние нарастало прогрессивно—по мере продвижения, и принимало все более и более определенные формы мучительного ожидания. На пароходах, где в общем и целом про операцию знали больше, чем на баржах, все повысыпали на верхние палубы и, показывая в разные стороны, определяли,—где находится теперь неприятель, где проходят дороги и тропы...

Кубань кружилась и вилась между зелеными берегами. Вот уже миновали Корниловскую могилу—крошечный холмик на самом берегу. Все знакомые, такие славные, исторические места! Эти берега сплошь политы кровью; здесь каждую пядь земли отбивали с боем у царских генералов наши красные полки.

Дальше, все дальше плывет отряд.

Широкими темными пятнами раскинулись в отдалении станицы; лесу нет, к ним идут просторные, теперь уже пустые, сжатые поля.

Кое-где трава особенно сочна и зелена—это болота; порою встречаются камышевые заросли, но здесь их еще не много—они будут дальше, в завтрашнюю ночь; изредка блеснет свинцовое лоно лимана—вокруг него ютятся, как пасынки, мелкие корявые, уродливые кустарники.

Все ниже и ниже опускается темная августовская ночь. Вот уже и берега пропали, вместо них остались по краям какие то однообразные, смутные полосы: ни трав, ни камышей, ни кустарника, не видно ничего. Медленно движется караван судов. Передом, как собаченка перед сердитым хозяином, юлит и кружится во все стороны моторная лодка: ей дана задача все видеть, все слышать, знать все, что ожидает нас впереди, а главным образом высматривать—нет ли попрятанных мин. Нечего сказать, приятная задача: наскочить на такую мину, взлететь в поднебесье и разлететься ради спасенья сзади идущих больших судов.

Эта первая ночь еще не грозила большими опасностями: надо было к утру добраться до станицы Славянской, что верстах в 70—80 от Екатеринодара, если считать по воде. В Славянской наши берега, следовательно, до самой станицы должны быть тоже наши. Впрочем это последнее предположение может быть и ошибочным: неприятель, отлично зная места, все потаенные дорожки и камышевые тропы,—часто заскакивал в наши тылы и оказывался там, где его совсем не ожидали. Так мог он и теперь—заскочить на эти берега, мимо которых мы проплывали. Но тихо: ни

стрельбы, ни шума. Только слышны всплески волн под колесами парохода, да изредка конь заржет, обиженный беспокойным соседом.

Опустели палубы пароходов--люди спустились по каютам. Сидели молча, говорить не располагало. Иные дремали, просыпаясь при каждом толчке, при каждом звуке; иные сидели, упершись взорами в темные стекла, курили одну папиросу-цыгарку за другой.

На баржах тоже тихо: притулились к седлам, на мешки, на повозки, чаще—прижавшись друг к другуспят красные бойцы.

Сопят и храпят в перегонки; закрывши глаза, чрезвычайно странно послушать этот своеобразный концерт. Что то фырчет и хрипит внутри пароходов, но так сдержанно, так тихо, что едва ли слышно на берегу.

Все дальше и дальше плывет наш красный караван.

Когда густая мгла и туманная завеса стали подыматься от земли, а на востоке чуть забрежила заря—мы подплыли к Славянской.

У самой станции, над рекою—огромный железнодорожный мост. Его взорвали белые, когда видели, что положение их безнадежно. Чудовище рухнуло в воду, но крайние пролеты устояли и под углом накренили средний пролет, лежавший на дне. Под этими крайними пролетами и надо было провести наши суда. Задача нелегкая, ибо река здесь обмелела до невероятности. Работы хватило до самого вечера: вымеривали, выщупывали, проверяли каждый шаг. Наконец, все готово к отплытию. Разместились новые бойцы (теперь уже всех набиралось около 1½ тысяч человек), которых забрали из Славянской, погрузили кое что из припасов—и снова в путь. Десант разбили на три эшелона. Во главе каждого поставили на время пути своего начальника: разъяснили, что предстоит за путь, чего можно ночью ожидать.

Лишь только смерклось—так же тихо и безшумно, как вчера, отчалили от берега тяжелые пароходы. В станице никто не заметил отхода: весь день и до последнего момента она была оцеплена войсками: ни в станицу, ни из нее никого никуда не пускали. Тайна и здесь была сохранена.

Тайна спасла жизнь красному дессанту.

От Славянской до Новонижестиблеевской, где стоял Улагаевский штаб, по Протоке считается верст 70. Ехать надо целую ночь. Время было расчитано так, чтобы к месту высадки попасть на рассвете, в тумане, когда все еще погружено в глубокий сон. Врага застать надо было врасплох.

Эту последнюю мучительную ночь—никогда не забыть участникам похода. Пока ехали до Славянской—здесь все-таки были свои места, сюда неприятель мог и не проникнуть. А вот теперь, за Славянской—там всюду кишат среди лиманов и плавней, по зарослям и камышам, которыми укутаны мокрые низкие берега,—там всюду кишат вражьи дозоры и разъезды. Положение чрезвычайное. В таком положении и меры принимать надо тоже какие-то особенные.

Перед тем; как отплыть пароходам, на берегу собрались в кучку руководители отряда и совещались о необходимых мерах предосторожности. Тут был начальник, Ковтюх, имя которого так неразрывно связано с Таманской армией. Эту многострадальную армию среди гор и ущелий он выводил в 1918-19 году из неприятельского кольца. Кубань, а особенно Тамань — отлично знает и помнит командира Епифана Ковтюха. Сын небогатаго казака из станицы Полтавской,—он за время гражданской войны потерял и все то немногое, что имел: хату белые сожгли до тла, а имущество разграбили начисто. Всю революцию Ковтюх под ружьем. Немало заслуг у него позади. Да вот и теперь: Кубань в опасности, надо кому то кинуться в самое пекло пробраться во вражий тыл, надо проделать не только смелую—почти безумную операцию. Кого же выбрать?—Епифана Ковтюха. У него атлетическая, коренастая фигура, широкая грудь. Большие рыжие усы словно для того лишь и созданы, чтобы он их щипал и крутил, когда обдумывает дело. А в тревожной обстановке он все время полон мыслями. И в эти минуты уже не говорит—командует. Зорки серые светлые глаза; чуток слухом, крепок, силен и ловок Ковтюх. Он из тех, которым суждено остаться в памяти народной легендарными героями. Вокруг его имени уже складыва-

ются были и небылицы, его имя присоединяют красные таманцы ко всяким большим событиям. Стоит Ковтюх на берегу и машинально, сам того не замечая, все дергает и дергает широкий ус.

С ним рядом стоит первый, ближайший, лучший помощник—Ковалев. Ему перекосило в контузии лицо, на сторону своротило скулу, оттянуло верхнюю губу. Не запомнить Ковалеву—сколько раз побывал в боях, сколько раз ходил в атаку. Даже не подсчитает точно и того—сколько раз был поранен: не то 12, не то 15. Я не знаю—есть ли у него живое место, куда не шлепнулась бы пуля, не ударился бы осколок снаряда, или взметнувшаяся земля. И как только выжил человек—не понять. Худой, нездоровый, с бледным измученным лицом, обрамленным чудной шелковистой бородой, он представляет собою образец истинного воина по своей постоянной готовности к любому, самому рискованному делу, по своей дисциплинированности, по личному мужеству и благородству. Числясь в полной отставке, он никак не мог оставаться вне боевой обстановки и теперь направлялся с нами совершенно добровольно на опасное дело.

Я видел его потом в бою—такой же тихий, ровный, как всегда. Самое большое дело он совершал с неизменным спокойствием и докладывал об этом деле, как о пустяке, не стоющем внимания. Таких Ковалевых—чуть заметных, но подлинных и благородных героев—много в Красной Армии. Но они всегда скромны, о себе молчат, на глаза к начальству не лезут—и остаются в тени.

Ковалев тоже героическая личность, но ему суждено оставаться больше в тени, чем на свету.

Против Ковалева—командир артиллерии Кульберг. Я ближе узнал его лишь потом в горячем бою, когда у нас все было поставлено на карту; такому хладнокровию, такой настойчивости можно позавидовать: кремень—не человек. А посмотреть—сложно козел в шинели, да и голос как козлиный: дрожит, дребежжит, рассыпается горохом.

Стояло еще 2-3 командира. Совещались недолго. В основном все решено и придуманно было еще днем.

— Позовите Кондру, говорит Ковтюх

— Кондра.... Кондра.... Кондра.... Покатилось из уст в уста.

Быстрой твердой поступью подходит Кондра:

— Явился, что прикажете?

Любо посмотреть на бравого молодца: глаза горят отвагой, а рука то и дело опускается на эфес кривой, чеченской шашки. На самом затылке мохнатая белая шапка: открылся чистый высокий лоб, еще яснее стали ясные, быстрые глаза.

— Слушай Кондра, сказал Ковтюх. Ты должен знать, что дело, на которое идем—опасное дело. По плавням белые. Куда ни глянь—в камышах, по луговинам, над лиманами—у них везде стоят, разъезжают дозоры... Знаешь ты эти места?

— Ну кто же их знает, как не я?—осклабился Кондра,—До самого Ачуева, до моря—тут все болота, все дорожки знакомые... Ходил, знаю.....

А знаешь, так вот что—молвил Ковтюх,—нам некогда медлить. Суда готовы плыть. Надо взять тебе десятка три-четыре лучших из ребят, самых смелых, да и место знающих—взять их с собой и—фью.... (Ковтюх свистнул и пальцем указал куда-то неопределенно вперед)

— Понимаю.....

— А понимаешь—и толковать больше не будем.

— Возьмешь погоны офицерские, кокарды, светлые пуговицы: у меня все заготовлено..... А, ну!—обратился он к одному из стоявших.

Тот мигом к пароходу и скоро вернулся с небольшим узелком.

— Бери, подал Ковтюх Кондре узелок.... Только живо: разукрашиваться будете не здесь, когда отъедете. Выдели надежного—он поедет по новому берегу: дашь ему человек десяток,—тут не так опасно. А сам направо. Оглядывайся, не проморгай. Коли что неладно—знаешь наши сигналы.

— Держись ближе самого берега.....

— Понимаю.....

— Так запомни: ежели не очистишь берегов—нам назад не возвращаться.....

— Так точно..... Можно итти?.....

— Иди..... Да живо.....

Кондра также быстро, как и подходил—исчез на барже. Скоро стали сводить коней. Потом сбились в кучу. Потолковали с минуту, разбились на две партии..... И видно было, как быстрою рысью поехал Кондра, а за ним человек 25 бойцов.

В другую сторону отделилась группа человек в 15 и во главе ее узнал Я. Чобота: могучий, широкий, как богатырь, сидел он на рослом вороном коне. А рядом сним Ганька—худенький, гибкий, как тополевый сучок. Со всех судов смотрели молча красноармейцы вслед удалявшимся товарищам; не спрашивали, не допытывались—все было понятно и так; не было ни шуток, ни смеха.

Отъехал Кондра версты полторы, спешился со своими ребятами и говорит:

— Вот тут разбирайте, кому что придется, только с чинами не спорить—и подал им узелок.

Ребята развязали его, извлекли оттуда белогвардейские наряды—погоны, кокарды, пуговки, ленты—а через пять минут отряда не узнать.

Сам Кондра оборотился полковником и когда надувал губы—делался смешон и неловок, словно павлин в вороньих перьях.

Тьма еще не проглотила вечерние сумерки, но дорожку различать можно было лишь с трудом. Сели снова на коней, тронулись.

— Хлопцы, внушал Кондра, ни курить, ни кашлять громко не надо—будто нас вовсе нет.....

Ехали в тишине. Чуть слышно хлюпали по влажной и топкой земле привычные кони. Лишь только они начинали вязнуть—и вправо и влево отъезжали всадники, выискивали где крепче, где настоящая дорога.... Так ехали час, два, три.. Никто не попадался навстречу; в камышах и по плавням—никаких признаков жизни. Черным густым мраком закутались равнины; над болотами—тяжелый седой туман. Вот навстречу донеслись какие-то странные звуки, которых не было до сих пор: так гудит иной раз телефонная проволока, а может быть, это где нибудь вдалеке падает ручей..... Кондра остановился, остановились и все. Он повернул ухо в ту сторону, откуда доносились звуки, и различил теперь ясно гомон человеческой речи.....

— Приготовиться!—отдана была тихая команда.

Руки упали на шашки. Продолжали медленно подвигаться вперед..... Было уже отчетливо видны силуэты шести всадников—они ехали прямо на Кондру.

— Кто едет, раздалось оттуда?

— Стой, скомандовал Кондра—какой части?

— Алексеевцы..... А вы какой?

— Комендантская команда от Казановича.....

Всадники подъехали. Увидели погоны Кондры и почтительно дернулись под козырек.

— Разъезд, спросил Кондра?

— Так точно, разъезд..... Только—кто же тут ночью пойдет?

— Никого нет, сами проехали добрых 15 верст. В это время наши всадники уже сомкнулись кольцом вокруг неприятельского разъезда.....

Еще несколько вопросов ответов; узнали, что дальше едет новый дозор. Примолкли. Тишина была на одно мгновение: Кондра гикнул—и вдруг сверкнули шашки. Через пять минут все было окончено.

Ехали дальше—и с новым дозором был тот же конец... Так за ночь изрубил мужественный Кондра шесть неприятельских дозоров и не дал уйти ни одному человеку.

Чоботу тоже встретились два дозора—судьба их была одинокова; только со вторым дозором чуть не приключилась беда: под раненым белым всадников рванулся конь и едва не унес его: пришлось в догонку послать ему пулю: она сняла беглеца на землю.

Этот выстрел Чобота мы слышали с парохода и насторожились: предполагали, что завязывается перестрелка, что дозору удалось уйти, что враг примет живо какие то новые меры.....

Тихо один за другим, плывут эшелоны судов.....

Мы все стоим на верхней палубе и ждем.....

Ждем от этой сырой болотной тишины—тревогу, сигналы Кондры или Чобота. Но нет, ничего не слышно: на берегах могильное, мертвое спокойствие. И вот целую ночь, всю ночь до утра—мы дежурили на верхних палубах. Все чудилось, что в камышах кто то передвигается, что лязгает оружие, слышен даже глухой и сдержанный шопот-разговор. Здесь близко берега и можно рассмотреть мутное, колыхающееся поле прибрежных камышей.

— Как будто что то.... Начинал один из нас, присматриваясь во мглу, на берег и указывая соседу.

— А нет, отвечал тот, пустое.....

Но потом, всмотревшись пристальнее, продолжал:

— А, впрочем..... Да. Да.... Как будто и в самом деле.... Ты вот про то, что колышутся как штыки?.....

— Да, про них.... Всмотрись..... Только что это—и здесь, смотри—и здесь и дальше все те же штыки.....

— Э, да ведь это все камыши волнуются.....

И отводили взоры от берега, но только мгновение, а потом опять—опять штыки, глухой и тихий разговор, стальное лязганье.... Ночь полна страшных шорохов и звуков..... Каждый из них напряженному слуху представлялся близкой опасностью... Также и взору, напряженному до крайности, полны опасностями призраки мучительной ночи..... Каждый силится остаться спокойным, но спокойствия нет. Можно сохранить покойное лицо, и голос, и движения, но мысль бьется лихорадочно, чувствительность обострена до крайности. Рассуждали о том, что надо делать, если вдруг из камышей откроется пулеметный огонь. А можно ведь ожидать и большего: там сумеют подкатить орудия и возьмут нас на картечь..... Что делать тогда?

Предполагали разное. Только ясно было каждому, что тогда уж надежды на спасение мало: в узкой реке не повернуться неуклюжим судам, а итти вперед—значит еще дальше просовывать голову в мертвую петлю. Но что же делать?

Соглашались на том, что быстро надо причалить к берегу, сбросить подмостки и вступить в бой.....

(Продолжение следует).

Д. Фурманов.

В крае ткачей.

Крестьянские настроения.

За период кампании перевыборов в Советы (ноябрь-декабрь) широко всколыхнулась крестьянская масса по губернии.

Перевыборы Советов всегда являются хорошим средством для определения настроений населения. Отчеты представителей власти перед самыми низшими выборными ячейками—сельскими собраниями и вплоть до высшей—губернского съезда Советов вовлекают в обсуждение вопросов Советской жизни как самую гущу крестьянского населения, так и ее более культурные верхушки. Дополненные личными наблюдениями за время объезда 20 волостей перевыборы дают точную картину крестьянских настроений.

Крестьяне крепко сжились с Советской властью. Это—факт, который уже не подлежит никакому сомнению. Ни на одном сельском собрании, ни на одном съезде не было случая, когда кто либо из крестьян отнесся несочувственно к Советской власти. Везде проявлялось к ней чисто любовное отношение, как к чему то родному, близкому, добытому своими трудами. Пожалуй, это факт, установленный еще прошлыми годами. Нынешний год выявил другую, еще более интересную сторону, крестьянство столь же близко сжилось с коммунистической партией. Сельские собрания и последующие съезды в волостях, уездах и губернии были полны заявлениями крестьян о том, что только под руководством коммунистической партии крестьянство может сохранить добытое раскрепощение, то же самое в отношениях крестьян с рабочими. Часто наблюдавшейся на предыдущих съездах неприязни крестьян к рабочим не осталось и следа. Вот несколько выступлений, взятых на память.

Коротков (крестьянин Ново-Воскресенской волости, Юрьевецкого уезда): «крестьяне Юрьевецкого уезда через своих представителей на съезде горячо приветствуют съезд Советов и коммунистическую партию. Прошло то время, когда крестьянство смотрело на рабочих и коммунистическую партию, как на своих недругов. Крестьянство своей преданностью и средствами поможет восстановлению промышленности и рука об руку с рабочим классом залечит раны, нанесенные войной»...

Курочкин (крест. Кинешемского уезда). «До сих пор между рабочими и крестьянами существовал антагонизм. Далеко живя от города, я все время наблюдал это печальное явление. Всякий знает, что, главным образом, рабочий класс сделал великие завоевания, которыми воспользовались крестьяне, имея возможность пахать там, где кто хочет и столько, сколько хочет. Но, к великому сожалению, крестьянство, в виду неорганизованности и косности было совершенно чуждо своему брату рабочему. Наш искренний призыв к общей работе на общее благо, на могучий и крепкий союз рабочих и крестьян».

Два приведенных выступления можно было бы продолжить сотней других свидетельствующих о тех же настроениях среди крестьянства. Из близости с Советской властью вытекала беспощадная критика со стороны крестьян работы ее отдельных органов. Равнодушию не было места ни на одном съезде.

Многочисленные выступления вскрыли значительный подъем культурного уровня и редко наблюдавшуюся в прежние годы деловитость крестьян.

Мужик хорошо ознакомлен с основными мероприятиями Советской власти как в области внешней, так и внутренней политики. Он знает о результатах Генуи и Гааги, о Лозаннской конференции, о договоре с Германией; осведомлен о размерах неурожая прошлого года и государственной помощи пострадавшим крестьянам, о достигнутом улучшении в промышленности, о финансовом положении государства, о работах сессии В. Ц. И. К. и особенно о земельном кодексе.

Внешняя политика Советской власти, направленная к сохранению мира, встречается крестьянином весьма сочувственно. Но как только заходит речь об уступках со стороны Советской республики иностранным капиталистам: признание долгов, концессии и пр.—мужик настораживается; требуются дополнительные доводы, чтобы его убедить в правильности торгового расчета Советской власти во взаимо-

отношениях с капиталистическими государствами. После длительных рассуждений составляется впечатление, как будто мужик убежден. Впечатление ложное: во время общего молчания кто нибудь из крестьян, вздохнув, заявит: «а все таки лучше бы без капиталистов—оберут Россию», и из рядов общее сочувствие: «да уж так то, сподручнее будет. Сами справимся».

Вопросы сельского хозяйства, по понятным причинам, в наибольшей степени интересуют крестьян. Земельный кодекс встречен весьма сочувственно. «Вот теперь будет порядок», общий отзыв: «только бы землемеров и агрономов побольше».

Земельные дела, действительно, чрезвычайно запутаны. По недавно сведенной статистике преступности по губернии, на преступность вследствие земельных тяжб падает порядочный процент.

Из земельного кодекса крестьянство особенно интересуется порядком осуществления свободы выбора форм землепользования.

Агрономическая помощь поставлена в деревне весьма плохо; на это было общее сетование крестьян. От былого равнодушия, а подчас и неприязни, к агроному в гуще крестьянской не осталось и следа. Агронома, как и всякого другого культурного человека, помогающего своими знаниями деревне, крестьянин весьма ценит. Теперь не приходится его убеждать в ценности агрономической политики: он сам ее требует в наибольших размерах.

Деловито-хозяйское отношение проявляет крестьянство по отношению к лесному хозяйству. Безобразное ведение этой важнейшей отрасли народного хозяйства республики заставляет крестьян болеть душой за леса. Преимущества республиканских интересов перед личными в этом вопросе в сознании крестьян выступают довольно ясно. Многие сельские собрания и волостные съезды, в целях очистки засоренных лесов, выносили постановления о воспрещении отпуска леса крестьянам с заменой его отпуском валежника.

Близко наблюдая порядки в лесном хозяйстве, крестьяне дали ряд ценных практических указаний к исправлению недостатков. Соответствующим органам советской власти их необходимо учесть в своей деятельности.

При большой тяге к культурной жизни деревня бедна как культурными силами, так и средствами. Новая экономическая политика с этой стороны жестоко потрепала деревню: сократилась сеть школ, совершенно ликвидированы целые области полит.-просветительной работы: ликвидация неграмотности, избы-читальни и пр. Это «сокращательное», правда, вызванное объективными условиями, направление вызвало резкий отпор со стороны крестьян. Не было ни одного уездного съезда, где крестьяне в своих выступлениях не фиксировали бы необходимость отдать средства на развитие народного образования, хотя бы в ущерб остальным отраслям работы. Ценность грамотности мужик вполне осознал и в этой области предстоит большая работа, чтобы не оставить жажду знаний крестьян без удовлетворения. Неся культуру из города в деревню, можно много достигнуть в укреплении союза между ними.

Резкое изменение в настроении крестьян, в сравнении с прошлыми годами, необходимо отнести за счет перехода Советской республики к новой экономической политике. Последняя дала удовлетворение желанию крестьянина, как собственника, распоряжаться излишками своего хозяйства. Душа товаро-производителя, крепко сидящая в крестьянине, удовлетворена. Упоенный предоставленной ему возможностью накопления, крестьянин сейчас мирится с тяжелыми государственными повинностями, слабо реагируя на них. В 22 году можно было ожидать резкой оппозиции крестьянства в нашей губернии из за тяжелого продналогового обложения. Последнее характеризуется следующими цифрами. В 21 году по губернии было начислено продналога 900000 рж. ед.; в 22 году 1.489.000; между тем урожай предыдущего года исчислялся в 45 п. с десятины; 22 года—35 пуд. с десятины. Продналог в 22 году берет у крестьян 28—30 проц. урожая. В среднем по губ. на едока остается хлеба 5—6 пуд. на год, в которые входят недоимки по семенной ссуде, промысловый сбор, корм скоту. В таких условиях жалобы на тяжесть обложения не носили массового характера. Выгоды, полученные крестьянством от новой экономич. политики, заставляют его сейчас мириться с подобным положением.

С дальнейшим развитием новой экономической политики необходима будет тенденция к расслоению деревни: будет расти кулак, перед которым не стоят препятствия к накоплению. Советская власть не может предоставить ему безграничного роста: путем своей налоговой политики она будет срезать его «сверхизлишки». Поэтому в кулаке необходимо возродится оппозиция. Единичные случаи этой кулацкой оппозиции наблюдались и в закончившуюся перевыборную кампанию (Михалевская вол); замечательно, что это волость полна зажиточных отрубников. Кулак сейчас бессилен: среднее, тем более бедное крестьянство за ним не идут. Поэтому он молчит и делает лишь одиночные вылазки, пробуя, насколько своей идеологией он может объединить под своим руководством массы крестьянства. Его пробные лозунги: недостаточное участие крестьянства в управлении республикой, противопоставление деревни городу в тяжести налогового обложения и как практический из первого лозунга вывод—вытеснение рабочих коммунистов из волисполкомов, в надежде, что волисполкомы попадут в руки кулаков. Я повторяю, что в настоящую перевыборную кампанию это были лишь пробные вылазки, нащупывание, может быть бессознательное, почвы под ногами. На этот раз кулак получил полное поражение. Дальнейшее всецело зависит от уменья рабочего класса заставить пойти за собой и в будущем крестьянские массы.

М. Чернов.

Промышленность и положение рабочих.

В декабре месяце было занято рабочих и служащих на фабриках и заводах по губернии:

текстильщиков	57927
металлистов	882
транспортных рабочих (без ж.-д.)	128
пищевиков	96
кожевников	3611
деревообделочников	57
химиков	205

Заработная плата рабочих и служащих по отдельным союзам за декабрь месяц составляла (по 1 разр. 17 разр. тар. сетки):

Союз текстилей	от	83,2 р.	до	133,6 р. д. 23 года.
„ совработников	„	55,16	„	185,81 „
„ металлистов	„	89,19	„	103,95 „
„ строит. рабоч.				100,17 „
„ транспортных				81,58 „
„ пищевиков	„	103,95	„	116,86 „
„ горнорабочих	„			103,95 „
„ кожевников	„	116,86	„	150,35 „
„ всемедикосан.	„	59,46	„	103,45 „
„ коммун. рабочих				89,19 „
„ деревообделоч.	„	103,95		116,86 „
„ нарсвязи				72 „
„ всерабземлес	„	75	„	103,95 „
„ союз просвещ.	„	66,8	„	10,4 „
		(по не всем уездам)		
„ нарпитания	„	22,29	„	150,35 „
„ химиков	„	80,3	„	103,95 „
„ всерабис				59,46 „

В декабре ясно наметились затруднения в сбыте продукции текстильных фабрик. Повидимому, в ближайшие месяцы промышленность будет переживать депрессию, размеры которой трудно предугадать. Первые затруднения отразились на своевременности выплаты заработной платы за декабрь. Текстильным трестом заработная плата выплачена со сначительным запозданием против коллективного договора; часть платы выплачена продукцией фабрик.

Хлопком текстильные фабрики губернии обеспечены по отдельным объединениям от 2 до 6 месяц. Топливом—снабжены полностью на год. Безработных, зарегистрированных биржей труда, в декабре числилось 18880, из которых: мужч. 5677; женщ. 11612; подростков 1601; квалифицированных 13084; чернор. 3796. Положение безработных весьма тяжелое, так как общественных работ, за отсутствием средств, для них не организовано.

Торговля.

Губсоюз Потребительских О-в за декабрь месяц сделал оборот на 750.000 руб. д. 23 г.—Иванов.-Воз. ЕПО сделал оборот за декабрь месяц на 1.844.470 руб. д. 23 г. —И. В. Г. У. М. сделал оборот за то же время 1.877.591 руб. д. 23 г.

Книжные новости.

„На новых путях“.

Итоги новой экономической политики 1921—1922 г. Издание Совета Труда и Обороны 1923 г.

Более чем годовый опыт новой экономической политики нуждается в серьезном изучении. Материалов к этому имеется порядочное количество: отчеты местных Губэкосо, материалы центральных Наркоматов и пр. Правда, они трудно поддаются систематизации, а следовательно и изучению, вследствие отсутствия однородности формы между ними; тем более нужно было скорее заняться подведением итогов по ним. Эту задачу и поставил себе Совет Труда и Обороны, который для этой цели образовал специальную комиссию, а последняя привлекла к разработке материалов ряд видных специалистов.

Результатом работ комиссии и является ряд сборников, объединенных общим названием: «На новых путях». Сборники состоят из трех выпусков, посвященных: I—торговле; II—финансам; III—промышленности.

Выпуск I.—ТОРГОВЛЯ.

Ряд отдельных статей, помещенных в выпуске, дают характеристику ряда явлений из области торговли: движение товарных цен, развитие внешней торговли, развитие торговли: государственной, кооперативной и частной; кредитование торговли и пр.

Наша внешняя торговля, в сравнении с довоенным временем, рисуется в следующих цифрах.

Привоз на 1 душу населения:		
1904—13 г.	5,90 руб.	100%
1921 г.	2,08 „	35,3%
1922 г. (без груза помгол)	2,52 „	42,4%
ВЫВОЗ:		
1910 г.	9 руб.	100%
1922 г.	0,4 руб.	4,4%

Цифры привоза и вывоза получены путем умножения количества на цены 1913 года.

Если принять во внимание повышение цен импортных товаров на 25%, а экспортных на 78%, то получится, что мы ввозим на душу на 4,12 руб., а вывозим на 0,7 руб. Ввоз составит 70% довоенной величины, а вывоз 7,7%, т. е. в 9 раз меньше, чем ввоз. Явление чрезвычайно неблагоприятное для республики: мы ввозим на $^2/_3$ за счет золотого фонда. За последний год наблюдалось заметное улучшение в области расчетного баланса: рост ввоза был незначителен—мы ввозим за первое полугодие 22 года на 152 м. руб. вместо 120 м. за 1 полугодие 21 года, вывоз наоборот возрос, составляя—2,6 м. руб. за 1 пол. 21 г., 10,3 м. руб., за 2 полуг. 21 г. и 24,8 м. руб., за 1 полуг. 22 г. Цифры, характеризующие отношение между государственной, кооперативной и частной торговлей, свидетельствуют о преобладании государственного вида торговли над прочими (по размерам оборотов).

Торговые обороты органов В. С. Н. Х.

1. Покупка.

	Госуд. учреж.	Кооперат.	Частные
Январь 22 г.	54,6	19	26,4 %
Апрель	74,1	4,2	21,7 %
Август	76,6	1,0	22,4 %

2. Продажа.

Январь 22 г.	58,5	26,1	15,4 %
Апрель	66,8	9,5	23,7 %
Август	59,5	7,3	33,2 %

К сожалению, нет торговых оборотов по всей стране, что едва ли скоро удастся свести. В выпуске имеется лишь характеристика отдельных районов и городов. Развитие торговли быстро развивало и кредит; кредитование торговли рисуется следующей таблицей:

	В довоен. руб.	В %
На 1 августа 22 г.	3.133.168	100%
» 1 сентября »	5.349.025	170,7
» 1 октября »	8.146.904	259,9

3/4 объема кредита остается за госуд. банком.

Интересной статьей является: И. Ходоров «К характеристике капиталов и оборотов торговых предприятий», представляющей из себя попытку подвергнуть обработке и свести итоги по балансам ряда трестов и синдикатов. Статья вскрывает убожество состояния нашей промышленности со стороны постановки правильного учета и отчетности.

Выпуск II.—ФИНАНСОВЫЙ.

Выпуск в отдельных статьях характеризует отдельные стороны финансового хозяйства республики: бюджеты Р. С. Ф. С. Р. за время революции, местные средства, налоговую политику, денежное обращение, кредит.

В деле кредитных операций значительный перевес принадлежит госуд. банку — 98%. Постоянных средств банком привлечено немного: на 1 окт.—26% баланса: «государ. банк преимущественно является аппаратом по распределению эмиссии». Банк обслуживает преимущественно госуд. предприятия. Первоначально кредит носил исключительно подтоварный характер; лишь с лета нынешнего года наблюдается переход к вексельному. Операции госбанка для него самого были явно убыточны: его основной капитал реально сократился за янв.—окт. в 12-15 раз. Статьи, посвященные налог. работе и местным средствам, подтверждают хотя и медленный, но переход к покрытию расходов за счет налоговых поступлений. Ряд цифр, приводимых в сборнике, был опубликован прежде и сам по себе не представляет интереса. Интерес имеют лишь методы подхода к тем или иным исчислениям.

Выпуск. III.—ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Вводная статья дает цифры роста нашего производства за последний год в сравнении с предыдущим. Добыча повысилась: угля на 24 проц., нефти на 20 проц., выплавлено чугуна больше на 41 проц., произведено железа и стали больше на 90 проц., прокатка готового металла увеличилась на 66 проц., выработано суровья больше на 243 проц., пряжи на 180 проц., произведено шерстяных тканей больше на 32 проц., льняной ткани на 82 проц. Значительно увеличилась нагрузка предприятий. В области производства вполне определенное улучшение.

Совсем иначе обстоит дело с торговой деятельностью нашей крупной промышленности. 1922 год дал крупный убыток, объясняемый как субъективными причинами —нашим неуменьем торговать, так, главным образом, в силу объективных обстоятельств: недостатка оборотных средств и низкой платежеспособности населения. Недостаток оборотных средств исчисляется в 300 м. золотых рублей. Рынок не принимал товар по себестоимости, в результате чего он продавал дешевле затрат на производство. В конце концов это привело к резкому сокращению реальных ценностей, как сырья, так и готовых изделий. Вот несколько примеров из сборника:

	Хлопок		Ткани	
	на фабриках	на местах	суровые	готовые
На 1/I 20 г.	350.000 п.	8 м. п.	483 м. ар.	430 м. ар.
» 1/I 21 г.	1.450.000	6	147	90
» 1/I 22 г.	3.746.000	2.8	—	—
» 1/VIII 22 г.	1.800.000	2.7	190 м. ар.	65 м. ар.

Тоже по шерсти, по льну, нефтяным запасам и пр. В сборнике помещена статья т. Киселева, А. С., посвященная критике систем калькуляции себестоимости

изделий, практикующихся в различных хозяйственных объединениях и дающих оригинальный проект калькуляции. Кроме этого, имеется ряд других статей, практикующих о различных сторонах промышленной жизни.

По поводу всех трех выпусков необходимо указать, что они дают богатый материал для характеристики итогов новой экон. политики.

Общие недостатки: сомнительность цифр, как взятых по результатам ведомственных отчетов и спешно составлявшихся тоже больше по ведомств. докладам и отчетам Губэкосо; отсутствие литературной связи между отдельными статьями; невозможность поверки данных отдельных авторов между собою. Составляется впечатление (повидимому, так и было), что был дан ряд заданий отдельным лицам написать статьи. Статьи были написаны, механически печатались одна за другой в сборниках; комиссия каждый выпуск от себя снабдила введением и получились три большие по размерам книги.

Ю. Т.

Как 2-ой Интернационал пускал кровь германскому пролетариату.

Густав Носке. *Записки о германской революции*. (От восстания в Киле до заговора Каппа).

В своей книге Носке сам приводит следующую характеристику, данную ему органом независимых с.-д. «Фрейгат» 13 декабря 1919 г.:

„Народ, который протендует на звание культурной нации, который на место старого сгнившего режима хочет создать новую свободную государственную форму, не может мириться с тем, чтобы такой человек, как Носке, которого моральная нечистоплотность уступает разве только безпринципности, которого руки обагрены не только кровью матросов, но и пролетариев, чтобы такой человек заседал в республиканском правительстве“.

Когда читаешь эту книгу, написанную буквально кровью,—кровью германских рабочих,—минутами кажется, что это произведение одного из наших отечественных белогвардейских генералов, ведавших контр-разведкой у Деникина или Колчака, или «специалист» по усмирениям, вроде знаменитого сибирского Анненкова. И когда в процессе чтения наталкиваешься на упоминание Носке о соц.-демократах большинства, как о своей партии, сразу словно кнутом ударяет по сознанию воспоминание о том, что Носке вышел из рабочей среды, что он один из вождей второго интернационала, претендующего на руководство рабочим движением.

От начала до конца вся книжка Носке сплошной обвинительный акт против германских соглашателей, а стало быть, против всего 2-го интернационала, поскольку германская социал.-демократия составляет становой хребет этого международного объединения «рабочих». Начиная с первой страницы, где Носке говорит, что «немецкая социал-демократия была против *подобной* революции», т.-е. ноябрьской германской революции, демократической революции, направленной против кайзера, и кончая последней страницей, где, говоря о белогвардейском восстании Каппа-Лютвица, Носке заявляет: «В состоянии нервного потрясения часть пролетариата ухватилась за крайние, радикальные воззрения, которые негодны для практической политики», от начала до конца записки Носке—рассказ о том, как германская соц.-демократия в лице Носке и его товарищей по правительству—Эберта и Шейдемана,—душила во славу буржуазии германский пролетариат, топила в кровавой волне его стремление разорвать оболочку капиталистического отношения.

Нужно быть ренегатом, предателем своего класса, чтобы с таким откровенным цинизмом рассказывать о подавлении малейшего желания использовать революцию со стороны рабочих и солдат, подавлении жестоком, грубом, холодно расчитанном (В этом отношении записки П. Н. Милюкова о русской революции написаны куда

более сдержанно). Ни одного слова понимания или оправдания не только рабочих или спартаковцев—коммунистов, но и теперешних товарищей по партии независимых с.-д., а за то тон Носке сразу меняется на ласковый, как только речь заходит о контр-революционных генералах, о капиталистах и т. д. Революционная пролетарская Германия для него „сумашедший дом"; идеи рабочего класса для него „безумная пропаганда", другое дело, когда он говорит о контр-революционном генерале Лютвице, восставшем на правительство Носке во имя старого режима—здесь он—министр, разогнавший солдатские советы—он только «частенько поглядывал на этого старого генерала не без недоумения по поводу занимаемого места» а «его политические воззрения, которые он часто высказывал мне, были, по меньшей мере, удивительно наивны». А наивность генерала Лютвица заключалась в том, что он хотел защищать интересы буржуазии лучше, чем Носке!

Всю оценку книги Носке, а вместе с тем и роли германской социал-демократии, нельзя дать в краткой заметке. Но эта книга говорит за себя. Всякий сознательный рабочий может взять и читать ее. Без большого раздумья для него станет ясно, какова роль соглашательских партий в революции (если только он—как сказано выше—под влиянием чтения не забудет, что Носке член германской с.-д. партии), целый ряд мест в книге наведет любого рабочего на размышления, как важно иметь во главе революционного рабочего движения хорошо организованную, крепкую и спаянную партию, вроде большевиков.

Чрезвычайно полезно, чтобы книжка Носке имела распространение в рабочей среде.

Книжка имеется в нашем губернском книжном складе.

В. Павлов.

Профессор А. А. Сидоров. Искусство книги. *Из-во „Дом печати". М. 1922.*

Эта небольшая, чисто и красиво изданная книжечка написана одним из лучших знатоков техники книжного и типографского дела. Кто читает журнал «Печать и революция», того, наверное, привлекали статьи Сидорова о русской графике и о новых достижениях и эстетизме искусства книги. Еще так недавно большинство книг выходило неряшливыми, мало-красивыми, с однотипными обложками, обыкновенными шрифтами и однообразными полосами. Лишь лет десять тому назад книга привлекла внимание и интерес художников. Дм. Митрохин, Соломонов, Нарбут, Чехонин, Билибин, Бенуа, Бакст, Фалилеев. Аркштам, Лео, Тырса, Фаворский, Добужинский и мн. другие художники увлеклись искусством книги и довели в последнее время художественную и иллюстративную сторону книги до небывало-интересных достижений. Русская книга теперь поражает своей изумительной внешностью. Витрины книжных магазинов переливают всевозможными рисунками, знаками, алфавитом. И не даром на выставке во Флоренции русские издания были признаны первыми по внешности.

Ныне, помимо наборщика и метранпажа, неотъемлемым творцом внешности книги является и художник.

«Искусство книги» Сидорова предусматривает все три стороны работы по внешности изданий. В ней найдет ценные указания и печатник, и наборщик, она же дает и интересные замечания по поводу обложек лучших современных графиков, а также и по вопросу об иллюстративной стороне изданий. Все это рассматривается автором в историческом освещении, в связи с историей развития искусства книги.

Помимо рядового читателя, с этой книгой особенно нужно знакомить типографских работников, которым часто не хватает знаний и об эстетике книги, и о достижениях в области графики.

Мих. Сокольников.

Б. И. Горев. Бакунин. Его жизнь, деятельность и учение. Издание 2-е, исправленное и дополненное. *Книгоиздательское т-во „Основа". Иваново-Вознесенск. 1922.*

За последние годы из всех революционеров прошлого Бакунин привлекает наибольшее внимание исследователей и читающей публики. Этот пламенный, могучий человек, появляющийся сегодня в Германии, завтра в Англии, через день в Италии, и всюду зажигающий, бурный и неуравновешенный, встает из прошлого какой-то громадой, безусловно интересным и оригинальным, независимым борцом. Этому человеку посвятили капитальные исследования Ю. Стеклов и В. Полонский, которых, как марксистов, личность Бакунина особенно интересует в связи с его ролью в истории революционного движения на Западе.

Работа Горева, пользующегося тоже марксистским методом, вышла еще в 1919 году и в настоящем издании она лишь дополнена новыми биографическими данными и характеристикой позднейшего бакунизма с кратким указанием „на судьбы европейского революционного синдикализма и русского анархизма эпохи советской власти".

В противоположность упомянутым работам—исследованиям Стеклова и Полонского, книга Горева расчитана на самую широкую читающую массу. Написана она просто, популярно, научно и в то же время увлекательно, и в этом ее интерес и смысл появления. Как и в других своих работах („Материализм—философия пролетариата", „Огюст Бланки" и т. д.), Горев здесь широко применяет марксистский метод и очень отчетливо оттеняет положительное значение Бакунина от отрицательного. А Бакунин как раз был таким революционером, который одной рукой вел к революции, другой—отдалял от нее.

Вне сомнения, книжка Горева очень ценный вклад в литературу и о Бакунине, и вообще об истории революционного движения на Западе.

Издана книга не по провинциальному, на редкость хорошо: четкий шрифт, удачная, красивая верстка, интересная обложка и прекрасная бумага. Техника печатного дела совершенствуется и в провинции. Ивановская губерния своими изданиями уже давно может гордиться.

Мих. Сокольников.

Издатель: **Ив.-Возн. книг. Т-во „ОСНОВА".**
Редактор: **Редакционная коллегия.**

Иваново-Вознесенский

Губернский Союз Производительных Кооперативов и их объединений („КУСТАРЬСОЮЗ“)

ул. Степанова (б. Напалковская) д. б. Беген.

КУСТАРЬСОЮЗ ПОКУПАЕТ:

1. Всевозможное сырье и подсобные материалы для производств — сапого-валяльного, овчинно-шубного, обработки пушнины, деревообделочного, железообрабатывающего, прядильно-ткацкого, вязального и изделий из волоса.

2. Готовые изделия кустарных артелей и кустарей одиночек всех видов обработки.

ПРОДАЕТ оптом и в розницу через свои магазины в Иванове, Кинешме и Шуе готовые изделия указанных производств.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на изделия из сырья заказчика или из сырья Союза при условии авансирования.

ВЕДЕТ ЛЕСОЗАГОТОВКУ лесных материалов по заказам и самостоятельно.

ПРИНИМАЕТ НА КОМИССИЮ — кустарные изделия всех отраслей кустарного труда.

ПРОДАЖА ПРОИЗВОДИТСЯ
ЗА ДЕНЬГИ
И ПУТЕМ ТОВАРООБМЕНА.

Справки в Торговом Отделе Союза и в Отделениях Союза — в Шуе, Кинешме и Юрьевце.

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЕ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

„ПРОМТОРГ“

гор. Иваново-Вознесенск, 1-ая Ильинская улица.

Телефоны: Правления и Производственного Отдела 2-53.
Коммерческого Отдела 2-73 и 71. .. .. ..

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

1) МОСКВА, Софийка 17. .. ..

2) На Нижегородской ярмарке Гостиный двор 21-22 линия.

Промторг имеет в своем ведении:

ситценабивные, красильные, отделочные, ткацкие и прядильные хлопчато-бумажные фабрики, металлообрабатывающие и деревообделочные заводы, льнопрядильные и льно-ткацкие фабрики, заводы сухой перегонки дерева, бумагоделательные, картонные и фибровые фабрики, овчинношубные, кожевенные и сапоговалявные заводы, а также различные вспомогательные производства для текстильной промышленности.

Промторг предлагает за наличный расчет и в товарообмен изделия своих предприятий:

1) Хлопчатобумажные и полушерстяные мануфактурные товары—ситец, сатин, ластик, бязь, одежный товар, кастор, сукно разных цветов, вату и мешечную ткань. ПРИНИМАЕТ в переработку хлопчатобумажную пряжу на суровье и суровье на мануфактуру.

2) Уксусную эссенцию и кислоту, метиловый спирт, смолу древесную, желтую кровяную соль (синькали).

3) Бумагу и картон разных сортов, фибру и фибровые изделия.

4) Полушубки, валенки, войлока и шерстяные трикотажные изделия.

5) Выполняет заказы на чугунное, медное литье и железные изделия для оборудования текстильных, бумагоделательных и др. предприятий, изготовляет текстильные машины и сельско-хозяйственные орудия.

ПОКУПАЕТ:

основные и вспомогательные материалы для всех предприятий, находящихся в ведении Промторга.

ПРАВЛЕНИЕ.

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

Рождественская улица. Телефон № 66.

Принимает подписку на золотой 6% Государственный выигрышный заем и принимает билеты выигрышного займа на хранение.

Отделением производятся следующие операции:

I. 1) Открытие целевых производственных кредитов на определенные начинания (финансирование). 2) Открытие кредитов до востребования (онколь) под обеспечение. 3) Срочные ссуды под залог. 4) Учет векселей и долговых обязательств. 5) Покупку и продажу товаров по поручениям. 6) Покупку и продажу драгоценных металлов, иностранных ценных бумаг, тратт, девиз, продажу и прием на хранение облигаций 6% выигрышного займа со взиманием за хранение комиссионного вознаграждения в размере 1/4% номинальной стоимости облигации независимо от срока, но не свыше года. 7) Аккредитивы под документы на отправленные товары. 8) Переводы и и кредитивы внутри Республики и за-границей, где имеются учреждения банка или его корреспонденты. 9) Коммиссионные операции по инкассированию векселей, обязательств, иностранных тратт, товарных и всякого рода других документов и ценностей. 10) Прием и выдачу денежных вкладов.

Денежные вклады принимаются: а) на текущий счет; б) на определенный срок (срочные вклады); в) бессрочные вклады в банкнотах и соврублях.

По текущим счетам и вкладам в банкнотах уплачиваются проценты: по бессрочным вкладам (с предуведомлением) и на срок до 3-х месяцев—6 проц. годовых, на срок от 3-х до 6-ти месяцев—7 проц. годовых и на срок от 6-ти мес. до 1 года—8 проц. годовых, по текущим счетам в червонцах 4 проц. годовых.

Под вкладные билеты может быть выдана ссуда в размере 80 проц. курсовой стоимости вклада.

II. Принимает банковые билеты к обмену на совзнаки по курсу, а равно принимает по курсу и в причитающиеся банку платежи в соврублях.

а) Принимает банковые билеты по переводным и комиссионным операциям с выплатой банковыми же билетами в городах: Минске, Харькове, Екатеринбурге, Симферополе, Казани, Москве, Петрограде, Ново-Николаевске, Ростове на/Д., Архангельске, Астрахани, Иркутске, Новороссийске, Одессе, Севастополе и Нижнем-Новгороде, а в прочих местах или банковыми билетами или, в случае их отсутствия в кассе учреждения Банка, совзнаками по курсу.

б) Принимает от клиентов поручения на покупку и продажу банковых билетов.

Ив.-Возн. Государств. Универс. Магазин. ИВГУМ

ПРАВЛЕНИЕ:
гор. Ив.-Вознесенск,
Никольская ул.,
дом б. Рябушинских.
Телеф. № 1-29.

ИВГУМ ИВГУМ

ПРОИЗВОДИТ ОПТОВО-РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ:

Продуктов продовольствия, предметов домашнего обихода и широкого потребления.

В 10-ти Розничных магазинах

ИМЕЕТСЯ

!!! ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ !!!

ВСЕГДА свежие и доброкачественные товары

ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ.

На Социалистич. ул. открыта булочная и хлебопекарня (в д. б. Сарычева).

!!! ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ !!!

На днях открывается на Социалист. у.

ДЕЖУРНЫЙ МАГАЗИН

Торговля с 7-ми до 11-ти час. вечера.

КООПЕРАТИВАМ, ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМ и ГОСОРГАНАМ САМЫЕ ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ.

ИВГУМ ПРИНИМАЕТ от Госорганов, за умеренное вознаграждение, комиссионные поручения, как по сбыту, так и по покупке необходимых для коммитентов товаров и предметов.

ИВГУМ ИМЕЕТ: а) свои отделения в уездах губернии;
б) уполномоченных на левобережной и правобережной Украине, в Тамбове, Саратове, Царицинской губернии, Ростове на Дону и Москве.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Иваново-Вознесенского
Губпрофсовета и Губотдела В.П.С. Текстильщиков

ТРУД

Журнал является руководящим органом профдвижения в нашей губернии, широко освещая основные вопросы профработы, жизнь и деятельность профсоюзов, фабрик и заводов. В журнале помещается оффициальный материал по законодательству о труде, циркуляры и распоряжения высших союзных органов губернии.

Журнал необходим для всякой союзной ячейки, для всякого сознательного члена профсоюза нашей губернии. ....

Всероссийский Угольный Синдикат „УГЛЕСИНДИКАТ“

является единственным правомочным органом по торговле продукцией государственных каменноугольных предприятий.

ПРАВЛЕНИЕ СИНДИКАТА ПОМЕЩАЕТСЯ В МОСКВЕ, МЯСНИЦКАЯ, 20.

Телефон для справок и телефонограмм—1-15-72. Телеграфный адрес: „Углесиндикат“, Москва.

ОТДЕЛЕНИЯ:

1. ХАРЬКОВ
2. ПЕТРОГРАД
3. АРХАНГЕЛЬСК
4. Ново-Николаевск
5. ЕКАТЕРИНБУРГ
6. РОСТОВ н/Д
7. ТУЛА
8. МОСКВА

Председатель Правления Синдиката—БИТКЕР Г. С. тел. 2-72-05
Зам. Председателя Правления—ВОСКРЕСЕНСКИЙ В. Н. „ 1-62-67

Члены Правления:
МАТРОЗОВ И. И. „ 1-41-98
КУЛЬЧИЦКИЙ Г. В. „ 65-27
КАЦМАН А. А. „ 65-27
ПЕТРОВ Е. М. „ 1-62-67
ЧЕКИН А. П. —

Управляющий Делами—ГРАНАТ М. А. „ 22-97
Заведующий Торговым Отделом—ГИАЦИНТОВ Н. П. „ 22-47

Текущий счет в Правлении Государственного Банка № 751
„ „ в Московск. Конторе Государст. Банка № 487
„ „ в Промышленном Банке № 31.

БОЛЬШАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

Рабочий Край

Орган Иваново-Вознесенского Губерн. и Гор. Советов Раб., Красноарм. и Крест. Депутатов и Губкома Р. К. П.

Каждый рабочий и крестьянин должен подписаться на газету, в которой

1) всегда последние новости;
2) специальный отдел **Рабочая Жизнь;**
3) специальный отдел **Крестьянские Дела;**
4) оригинальные статьи по вопросам политики, промышленности, сельского хозяйства;
5) стихи, фельетон.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: Февраль . . . . . 10 руб.
Февраль и март . . . . . 20 руб.

Подписка принимается во всех почтовых учреждениях губернии, а также в фабр.-завод. комитетах.

Фабрикомам, при условии подписки сразу не менее 20 экз. скидка 10%. **Об'явления принимаются по цене за строку нонпарель:**

Официальные извещения государственных и партийных учреждений сплошным набором . 5 руб.

Об'явления частн. учреждений и лиц . . . . 6 руб.

Разовые об'явления о пропаже документов, приискании места и т. д. . . . . 5 руб.

На первой странице плата двойная. От частных лиц на первую страницу об'явления не принимаются.

РЕДАКЦИЯ и КОНТОРА

Иваново-Вознесенск, Михайловская ул., (дом бывш. Гандурина)

ТЕЛЕФОН № 2-40.

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЕ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„ОСНОВА“

Общественно-Литературный Ежемесячник

ТКАЧ

В журнале печатаются стихотворения и художественная проза, статьи по вопросам политики-хозяйства-общественности, новейшей литературы, искусства и науки, критико-библиографические обзоры, книжные новости и литературная хроника.

ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

1. **Международное обозрение,** новости иностранной жизни.
2. **Внутри Советской Республики:** политика, экономика, финансы; советские будни в городе и деревне; провинциальные очерки и корреспонденции из глухих углов; по фабрикам—заводам; новая школа.
3. **Литература, наука, искусство.**
4. **Минувшие дни:** история красных фронтов в статьях, очерках и воспоминаниях красных бойцов.
5. **В крае ткачей:** старое, прошлое и настоящее положение Иваново-Вознесенской губ.; история революционного движения в крае; роль красных ткачей в гражданскую войну.
6. **Книжные новости,** рецензии и библиография.

В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: Н. Аблов, М. Артамонов, Н. Бажанов, А. Баркова, Д. Бедный, А. Бубнов, Н. Бухарин, И. Вардин, Е. Вихирев, С. Городецкий, В. Деготь, Н. Евреинов, И. Жижин, К. Завьялов, В. Иванов, проф. П. Коган, И. Коротков, М. Коротков, В. Либединский, И. Майоров, А. Неверов, Н. Никитин, В. Павлов, проф. Н. Н. Песков, Е. Преображенский, А. Серафимович, С. Селянин, Д. Семеновский, М. Сокольников, А. Сольц, Л. Сосновский, Ф. Сулковский, М. Чернов и мн. др.

Журнал выходит ежемесячно
книжками от 5-ти до 7 печатных листов.

ПРИНИМАЮТЯ ОБЪЯВЛЕНЯ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Михайловская ул. дом быв. Гандурина, телефон 2-40.
КОНТОРЫ: уг. Советской и ул. Батурина, д. быв. Бурылина, тел 1-66.

г. ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК.

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ Т-ВО

„ОСНОВА“

Иваново-Вознесенск, уг. Советской и ул. Батурина, д. б. Бурылина, к. 14.

Вышли в свет:

ФР. ЭНГЕЛЬС.

Развитие социализма от утопии к науке. Перевод В. И. Засулич. (Распрод.)

Б. И. ГОРЕВ.

Бакунин. 2-е исправленное и дополненное издание.

Н. РЫБКИН.

Учебник тригонометрии и собрание задач, под редакц. проф. А. Я. Хинчина.

«ТКАЧ».

Новый общественно-литературный журнал, № 1.

Печатаются:

Сборник, посвященный октябрьской революции.

Сборник, памяти А. Н. ОСТРОВСКОГО (к столетию со дня рождения), под редакцией проф. П. С. Когана.

ЭРНСТ ТОЛЛЕР. Разрушители машин. Драма из времен луддистского движения в Англии, в 5 актах с прологом, пер. С. М. Городецкого.

Р. Б.-П. Ц. № 17. 1-я Госуд. типо-литография. Тираж 3500 экз.

ТКАЧ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ

№ 2

ЕВРАЛЬ 1923

ОСНОВА
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК.

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

Стихотворения — **Дм. Семеновского, Сераф. Огурцова, Е. Вихрева, Мих. Артамонова** . . . 1—14

Эрнст Толлер.—Разрушители машин, драма 15

Ив. Майоров. —Заречье, отрывок из повести 49

Дм. Семеновский.—В Ярославле, очерк 63

Мих. Шошин. — Карандашом с натуры 80

Автобиография Мих. Шошина, рабочего-писателя . . . 84

Виктор Орлик.—Налет на типографию,—восп. боевика 85

В. Смирнов (М-в).—Профессинальное и стачечное движение в Ив.-Вознесенском районе в 1906—1910 г. г. 89

Дм. Фурманов.—Красный десант,—из боевых восп. . 99

Г. Биткер.—Восп. о Е. А. Дунаеве 106

И. Козлов.—От тюрьмы к исправ.-трудов. школе, статья 108

НОВЫЕ КНИГИ. — рецензии **И. С., Вл. П., И. М., Н. А., NN** 124

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЕ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„ОСНОВА“

Общественно-Литературный Ежемесячник

ТКАЧ

В журнале печатаются стихотворения и художественная проза, статьи по вопросам политики-хозяйства-общественности, новейшей литературы, искусства и науки, критико-библиографические обзоры, книжные новости и литературная хроника.

ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

1. **Международное обозрение,** новости иностранной жизни.
2. **Внутри Советской Республики:** политика, экономика, финансы; советские будни в городе и деревне; провинциальные очерки и корреспонденции из глухих углов; по фабрикам—заводам; новая школа.
3. **Литература, наука, искусство.**
4. **Минувшие дни:** история красных фронтов в статьях, очерках и воспоминаниях красных бойцов.
5. **В крае ткачей:** старое, прошлое и настоящее положение Иваново-Вознесенской губ.; история революционного движения в крае; роль красных ткачей в гражданскую войну.
6. **Книжные новости,** рецензии и библиография.

В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: Н. Аблов, М. Артамонов, Н. Бажанов, А. Баркова, Д. Бедный, А. Бубнов, Н. Бухарин, И. Вардин, Е. Вихирев, С. Городецкий, В. Деготь, Н. Евреинов, И. Жижин, К. Завьялов, В. Иванов, проф. П. Коган, И. Коротков, М. Коротков, В. Либединский, И. Майоров, А. Неверов, Н. Никитин, В. Павлов, проф. Н. Н. Песков, Е. Преображенский, А. Серафимович, С. Селянин, Д. Семеновский, М. Сокольников, А. Сольц, Л. Сосновский, Ф. Сулковский, М. Чернов и мн. др.

Журнал выходит ежемесячно
книжками от 5-ти до 7 печатных листов.

ПРИНИМАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Михайловская ул. дом быв. Гандурина, телефон 2-40.
КОНТОРЫ: уг. Советской и ул. Батурина, д. быв. Бурылина, тел 1-66.

г. ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК.

БОЛЬШАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

Рабочий Край

Орган Иваново-Вознесенского Губерн. и Гор. Советов Раб., Красноарм. и Крест. Депутатов и Губкома Р. К. П.

Каждый рабочий и крестьянин должен подписаться на газету, в которой

1) всегда последние новости;
2) специальный отдел—**Рабочая Жизнь;**
3) специальный отдел—**Крестьянские Дела;**
4) оригинальные статьи по вопросам политики, промышленности, сельского хозяйства;
5) стихи, фельетон.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: { Февраль . . . . . 10 руб.
Февраль и март . . . . . 20 руб.

Подписка принимается во всех почтовых учреждениях губернии, а также в фабр.-завод. комитетах.

Фабрикомам, при условии подписки сразу не менее 20 экз. скидка 10%. **Об'явления принимаются по цене за строку нонпарель:**

Официальные извещения государственных и партийных учреждений сплошным набором . 5 руб.

Об'явления частн. учреждений и лиц . . . . 6 руб.

Разовые об'явления о пропаже документов, приискании места и т. д. . . . . 5 руб.

На первой странице плата двойная. От частных лиц на первую страницу об'явления не принимаются.

РЕДАКЦИЯ и КОНТОРА

Иваново-Вознесенск, Михайловская ул., (дом бывш. Гандурина).

ТЕЛЕФОН № 2-40.

ТКАЧ

Ежемесячный общественно-
литературный журнал

№ 2 ФЕВРАЛЬ 1923

СТИХОТВОРЕНИЯ.

Дм. Семеховский.

Фабрика.

О, фабрика, рабочий улей,
Очаг работы хоровой;
В твоем многоголосом гуле
Кипит неугомонный рой.

По вечерам, в часы дремоты,
В часы безглазой темноты,
Ячейки окон, словно соты,
Янтарным светом залиты.

Стремительным свистящим паром
Твои клокочут корпуса;
В кипеньи, в дрожи, в гуле яром
Чуть слышны наши голоса.

О, фабрика, бетонный поезд,
Я шлю привет твоим огням;
В косматых тучах дыма кроясь,
Ты мчишь рабочих к светлым дням!

Серафим Дгурцов.

Пастух.

Цветных полей ржаное сусло
Просторы зелено сочат,
Когда восток румяно устлан
Половиками кумача.

Червонным золотом колосья
Поют в дыханьи вечеров;
В зеленокудрых рощах рос я,
Со стадом дремлющих коров.

За соловьиною тоскою,
В пожаре солнечных стропил,
Звенел березовой клюкою,
Когда в просторы уходил.

Как сердце солнечное радо,
Когда в лазурь звенит земля...
Люблю брести с веселым стадом
По незабудковым полям.

Серафим Дгурцов.

Гульбище пасхальное.

Пылают кумачем цветистые рубашки,
День золотой улыбками цветист;
Тальянкой звонкою бахвалится Ивашка,
В лазури звон малиновый повис.

Хмелеют парни жгучей самогонкой
Во имя праздничка Спасителя Христа,
В пунцовые, медовые уста,
Целуют девок бешено и звонко.

Земля гудит весенним перезвоном,
Лазурь, как бисер, солнечно чиста;
Поет, звенит тальянка на прогоне,
Во имя праздничка Спасителя Христа.

Как мак цветут, алеют сарафаны,
Горят задором девичьи глаза;
В уста течет хмельная бирюза,
А парни бьют граненые стаканы.

Ефим Вихрев.

* * *

Какие песни мы поем?
Какой восторг кидаем с кручи
Огнем излучин?
Какие нити дружно вьем?
Кого зовем?
Куда? Откуда?
— Мы жаждем чуда!
Чуда, чуда!
Огня, рассвета, мятежа!
И солнц, пылающих в грядущем!
Наш молот крепко мыслью сжат
И горн поет о счастьи сущем.

* * *

Эх! Кричать бы, что есть мочи!
Неудержно рвутся песни.
Грудь восторгов буйных хочет,
Хочет ярко в муках треснуть.
Эх! Всплесну до звезд руками...
Крикну клич... Но сердцу жутко.
Кто то тихими устами
Говорит: «Ведь ты малютка».

Я ведь только мальчик шалый.
Песни—это только лепет.
Руки—венчик алый-алый.
Глаз лучи—искринки в небе.

Мих. Артамохов.

Осиновый Вражек.

(Поэма о продналоге).

I.

Вдоль деревни Осиновый Вражек,
Где весной да осенью разливается вода,
Путь для городского жителя довольно-таки тяжек,
Потому что такой грязи не видал он никогда.

По дороге идут два коммуниста от Губкома,
Да высокий, как телефон, агроном,
Им тоже дорога такая не совсем знакома
И идут они грязью напролом.

Попойдут—попойдут, да почертыхаются:
Как это только люди тут могут жить?
Барахтаются в грязи, а не догадаются
Мостовую у села починить.

Говорят и о «совке—гамме»:
Ведь вот, чорт возьми, гадость то была!
Кишмя кишела над хлебными полями
И сколько хлеба у крестьян пожрала...

— Эй, бабы, как тут к ссыпному пункту пробраться
Да председатель Исполкома где?
Так, значит, туда вон к загуменникам подаваться?
Хорошо.—И пошли опять по грязи, да по воде.

Вот и ссыпной.
Целой стеной
Стоят мужики,
А вдоль дорог
Телега к телеге,
Телега с телегой
И на каждой из них
Продналог.

Каждый сдать привез,
Тут и рожь и овес,
Золотистый ячмень
Трудовых деревень,
Словно золота слитки—
Пшеница.
И, стоя на канавке дорог,
Говорят мужики про налог,
Что такой-то налог
Не годится:
Тяжеленек, брат,
Нас не в тот рязряд
Записали,
Потому что червяк
Подточил поля
И не так то уж много
Собрали.
Надо-б, значит, того...
Поубавить его.

Как телефонный столб, корячится агроном,
Да двое от Губкома, пониже—
Глядят на воза с зерном
И подходят ближе.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте...
Поснимали фуражки.
Пощупали в мешках золотое зерно.
Бабы топили печи в Осиновом Вражке
И галки летели с поля на гумно,
Где раздавалась молотьба цепами.
И рябины роняли рубиновый лист,
И рдяные грозди рябины пучками
Качались на деревьях под ветровой свист.
Над лесом горели блеклые краски
Лист червонный палисадник озолотил.
Стояла деревня в лимонно-желтой опояске
Блеклого леса, который ее охватил.

И на пункт пошел агроном,
А за ним и жиденькие коммунисты.
Кипела работа кругом
И, надо сказать, довольно таки-чисто.
Подавали мешки, отдавали,
Подносили и новые клали,
По сусекам, в ларях и подвале
Золотое зерно высыпали;

Подавали мешки, отдавали,
Наливное зерно высыпали.

Всюду слышался шум, голоса:
— Подавай на веса!
Подноси, подавай!
Отходи, не мешай!
Рокотали в сусеках, подвале.
Отходи, подходи.
Эй, давай,
Подавай!
На весы клади,
Подходи.
Налетай.
Отходи!
Эй, давай—подавай!
Эй клади!
Выгребай—давай, подходи!

— Надо-бы сход собрать,—говорит агроном,—
Да поговорить с вами, тов. крестьяне,
О посеве, да о прочем таком,
А главное—о совке гамме.
Ведь заведется же такая дрянь
Все поля сожрет, да погложет.
Главное землю глубже тарань
Каждый на сколько может.
Ее, брат, молебном нет, не унять,
Против нее не избавит кадило!
Надо, так сказать, репрессии предпринять,
Да так, чтобы крепко было.

Говорил, говорил, агроном,
Показывал разные таблицы,
А мужики стояли кругом,
Да почесывали поясницы.
— Оно, конечно, как ежели говорить на чистоту...
Только нельзя ли как на счет продналогу сбавку?
Потому что сильно ударило по хребту,
А ты нам говоришь про разную «самму-гавку».

Тут уж выступили два коммуниста,
Хотя и жидковаты собой, да крепки изнутра,—
Уж так то они были речисты,
Право слово, говорить мастера.

Слушали, слушали крестьяне грудой,
Да и взмолились: некогда нам,
Возьмите хоть еще по пуду,
Только, пожалуйста, распустите по домам!

Так вот оно дело то какое,
Каждый сам про это скажет—
И было оно нигде нибудь,
А в деревне Осиновый Вражек.

II.

Проходил агроном по избам,—
Что ни дом—медвежья берлога.
— Свету бы надо, ребята, вам,
Живете-то больно убого!
Вот подождите, пришлю ловкача...
И начал, и начал с плеча,
Да так говорил,
Да так уморил,
Живете, мол, вроде крота,
В темноте
В духоте,
Смехота...
Посмеялись над ним:
И речист!
Не иначе—и он коммунист.

Хвать, неделька прошла,
И другая пошла.
Попросохла дорога
В Осиновом Вражке.
Снова, видим, идут
Какие-то тут
И значки на фуражке.
— Ну, дождались, беда...
Да сюда ли? Сюда!

Глядь, и эти на сход
Собирают народ.

Так и так. Так и так.
Ты бедняк. Я бедняк.
У тебя ни копья.
У меня ни копья.
...Правильно!
...Правильно!
Нет, не правильно,—
Если вместе сойдемся, так сила!
Нет ли мельницы тут?
Где река, где пруд?

А реченка и впрямь проходила
За деревней в Осиновом Вражке,
Да такая плохая,
По летам высыхая,
Перейдешь—не замочишь и ляшки.

Постоял. Постоял.
Палкой померял.
В книжке чего-то похерил.
Хорошо, говорит, мужики,
Будет и этой реки.

Ну, и понес.
И пошел, и пошел...
Да такой пример отколол:
Тут, говорит, столбы,
И тут столбы,
А через эти столбы
До каждой избы
Свет проведем.
Ну, не чудак ли он?
Как вы, говорит, герои,
Сдали налог вдвое
Против нормы,
Так этим героям
Возьмем и настроим.

Пробежало дней пять.
Вдруг тревога опять:
— Телеграмма!
Присылать лошадей,
Да велят поскорей
В город прямо.

Заскрипели телеги.
Затарахтели телеги
В поля,
В ковылья,
Где горит золотая,
Налитая земля.

Н—но ка, сивка, трогай
Тореной дорогой.
С горки на горку
Трогай. Трогай!
Ну—ка, сивка, вваливай
В перелесок палевый,
Поскорей, родная,
Ноги переваливай!

В городе дали машину,
Смотки, ремни.
Все нагрузили
И снова сказали: гони.
Гони, погоняй,
Поторапливайся!

Вот и сова в Осиновом Вражке.
Все гнедки, да пегашки.

Вырыли крестьяне столбы
Против каждой избы,
Проволоку по столбам
Протянули по избам,
По избам,
По избам по хлевам,
По амбарам,
Закромам,
По дорожке, по гумну,
Ну, и ну!

Инженер все посвистывал,
Чертежи перелистывал.
Да у новой плотины
Ставили трубины
Колеса привинчивал,—
Вот от этих от самых колес
Дела-то и началось!
И чудно же было нам.
Пели парни по избам:
«Ай, да на! ай, да ну!
Провод с мельницы тяну!
Ай, да на, ай, да, ну!
Дотяну ли? Дотяну!»

Дело близко к Покрову,
Видим сон мы наяву:
Засветилось, чорт возьми,
По домам.
По избам,
По амбарам, закромам,
Да такое это дело
Непривиданное нам.
Запылали огоньки
Вдоль Осиновки реки.

Эрхст Толлер.

РАЗРУШИТЕЛИ МАШИН.

Драма из времен Лудистского движения в Англии. В пяти актах с прологом.

Написана зимой 1920—21 г. в крепостной тюрьме Нидершененфельд.

Английским товарищам, в особенности *Марте Партлэй*, сестре ткачихе в Ланкашире, *Вильфреду Веллоку*, товарищу и борцу.

Перевод С. М. Городецкого.

Третий акт.

ПЕРВАЯ СЦЕНА.

Комната на вилле Урэ.

Генри. Я просил позвать вас. Будем говорить без обиняков. Вы знаете нового агитатора?

Джон Уайбл. Да, господин Коббет.

Генри. Знаете как его зовут?

Джон Уайбл. Джимми Кобб...

Генри. Ладно. Мне говорили, что у вас были с ним раздоры, разногласия?

Джон Уайбл. Да как сказать...

Генри. Без масок. Я знаю вашу роль. Слышите. Я знаю вашу роль во всех подробностях. Мне не нужно было звать вас, Уайбл... Я мог бы достигнуть этого проще: притащить вас сюда... в оковах... в оковах.

Джон Уайбл. Это еще нужно доказать.

Генри. Ах, оставим ненужные уверения. Мы оба от этого ничего не выиграем. Пойдем в открытую. Мой брат должен оставить Ноттингэм. Даю на это двадцать четыре часа сроку. Урэ не должен знать, кто агитатор. Я могу вам дать только краткий срок для размышления. Вы будете довольны наградой.

Джон Уайбл. Идем в открытую. Я... я... согласен.

Генри. Как вы этого достигнете, ваше дело.

Джон Уайбл. Опасная игра.

Генри. У вас план есть?

Джон Уайбл. Все-таки сломать машину... незаметно дать ему понять, что мы это делаем... и тогда он должен оставить Ноттингэм.

Генри. Ваше дело. Меня это не касается.

Джон Уайбл. Могу я поговорить с господином Урэ?

Генри. Это необходимо?

Джон Уайбл. Да.

Генри. Подождите.

Генри Коббет оставляет комнату.

Джон Уайбл *(один)*. Мразь! Я гожусь в управляющие не хуже, чем этот проныра Генри. Этот сброд не посмеет смеяться. К чорту я перешел уже черту, но все же то, что остается, может стать жирным блюдом. Моей спине нужно мягкое кресло. Она имеет человеческое право на жир... на жирную человечность.

Входит Урэ.

Урэ. Ткач, Джон Уайбл.

Джон Уайбл. К вашим услугам, господин Урэ.

Урэ. Хотите работы?

Джон Уайбл. Я хотел... я работал в мануфактуре господина Урэ двенадцать лет...

Урэ. Я не могу считаться с отдельными лицами. Всякий должен подчиниться национальной индустрии. Я так же, как и вы.

Джон Уайбл. Я пришел не за работой.

Урэ. А зачем?

Джон Уайбл. За тем, что я не хочу, чтобы... людей натравляли друг на друга, потому что я так долго ел свой хлеб у господина Урэ.

Урэ. Короче. В чем дело?

Джон Уайбл. Дело в том, что готовится бунт... Дело в том, что хотят разрушить машины...

Урэ. Прошу, садитесь. Сигару. Я прошу ясно изложить все подробности.

Джон Уайбл. Чужой агитатор из Лондона в Ноттингэме. Никто не знает его имени... коммунист... один из тайного союза рабочих... он возбуждает рабочих, чтобы они ломали машины... он обещал им оружие. Должна пролиться кровь.

Урэ. И для вас существует граница, за которую вы не переходите. Вы меня радуете, Уйбл. Живая взаимная связь между фабрикантами и рабочими не сказка. Я знал это. Труд цементирует.

Джон Уайбл. Я сделаю то, что прикажет господин Урэ.

Урэ. Собственно немного. Я не боюсь разгрома машин. Наоборот. В теперешние времена факт разрушения машин мог-бы усилить наши позиции. Это открыло-бы, наконец, глаза мягкому правительству. Матери-

альные потери уравновесились-бы перспективой порядка в будущем. Гм... вы понимаете меня... вы будете докладывать мне о каждом происшествии.

Джон Уйабл. Да, господин Урэ.

Урэ *(пишет на куске бумаги несколько строк)*. Вот, отдайте это кассиру.

Джон Уайбл. Слушаю-с, господин Урэ.

В комнату вбегает маленькая дочка Урэ. Прижимается к Урэ. Убегает опять.

Урэ. Да, Уайбл, вот говорят о пропасти между фабрикантами и рабочими. Вздор. Например: любовь к детям. Есть тут разница? Когда наши дети больны, мы чувствуем страдания малюток, как свои собственные. Вы также, как и я. Добрый день, Уайбл.

Урэ оставляет комнату.

Джон Уайбл *(один)*. Ты... ты кровопийца. Один голодает, другой заставляет голодать... есть тут разница. Одному ребенку надоели сладости, другому ребенку белый хлеб недостижимая сказка... есть тут разница. Все это мразь. Здесь как и там. Все мразь. И если ты думаешь, Урэ, что я попадусь в твою ловушку, как вошь на твое . . . . . брюхо... Ба, ба, я предатель. Ерунда. Пролетариат нужно подгонять кнутом из жил. Кровью называется кнут, который отрывает их от ленивого сна.

Джон Уайбл покидает комнату.

Занавес.

ВТОРАЯ СЦЕНА.

Грязная, мусорная улица. Перед коттэджем Джона Уайбла. Большей частью одноэтажные дома.

Джимми. На фабрике работают штрейкбрехеры.

Джон Уайбл. Я знаю это.

Джимми. Мы не должны этого допускать.

Джон Уайбл. Ты проповедовал терпение. Вы хотите работать на машинах, вы сегодня вели переговоры с Урэ... проси его, чтобы он отправил чужих рабочих домой.

Джимми. Именно потому, что мы еще ведем переговоры, штрейкбрехеры не должны работать. Мы должны стать у фабричных ворот, когда они пойдут на работу.

Джон Уайбл. Мы должны напасть на них на фабрике. И тех, кому удастся удрать, загнать как зайцев по домам.

Джимми. Зачем нападать на людей, если можно их переубедить? Это бессознательные рабочие, впавшие в заблуждение.

Джон Уайбл. Это было-бы делом, настоящим делом.

Джимми. Разве всякое дело является алтарем, заставляющим благоговейно склоняться человеческие колени? Бессмысленное дело—дурман для трусов и дураков.

Джон Уайбл. Нам нужны поражения. Только глубочайшая нищета раздавит бунтовщиков. Дай им жиру, дай им водки, и они ..... на сознательность и будут валяться в корыте, как нажравшиеся свиньи.

Джимми. Нищета рождает бунтовщиков. Но дай нищете разрастись так, чтобы она каждого взяла за горло... чтоб никто не знал, где достать кусок хлеба и где приклонить голову... думаешь ли ты, что тогда люди будут бунтовщиками? Потребуй от них солидарности, верности, добровольных жертв, преданности, отказа от личных выгод—и они будут издеваться над тобой. Они станут добычей любого шарлатана, который сумеет облечь в красивые слова их жадные желания. Они станут ляндскнехтами, наемниками собачьей своры каждого генерала, который пообещает им добычу.

Джон Уайбл. Нужно их науськать, как диких псов. Кровью называется тот кнут, который вырвет их из ленивого сна.

Джимми. Как ты презрительно говоришь о рабочих, которых ты хочешь освободить. Как полыхают твои глаза хищной злобой. Можно подумать, что ты не освобождать рабочих хочешь, а за себя отомстить. Кто вызывает низкие силы и темные инстинкты масс, того раздавит их буря. Сегодня он раздувает ураган, сегодня он вождь, завтра он будет смолот каменным дождем слепых разъяренных страстей, завтра он будет тысячу раз оплеванным предателем.

Джон Уайбл. Я не умею читать книги... Кто лучше понимает рабочий народ, мы это увидим. Рабочий народ думает и чувствует иначе, чем ты... Итак, мы должны собраться сегодня перед полуденной сменой у фабричных ворот.

Джимми. Это было бы хорошо.

Джон Уайбл. Невозможно во-время созвать товарищей.

Джимми. Мне кажется...

Джон Уайбл. Невозможно. До завтрашнего дня у нас есть время. Я хочу созвать друзей завтра вечером у фабрики раньше, чем начнется ночная смена... Посмотрим, долго ли рабочие будут итти за тобой.

Джон Уайбл уходит. Старый Рипер быстро выходит из дома.

Старый Рипер. У тебя есть немного времени для меня, Джимми? Моя жизнь длится уже восемьдесят лет... и она не была ценна, несмотря на тяжелую работу... и старый Рипер не хотел бы воскреснуть для новой жизни... Старый Рипер хотел бы стать землей... английской луговой землей... Пусть из его тела вырастут цветы... Пусть его травой кормятся овцы... и ключ будет журчать радостно, как молодая козочка... но раньше, чем они опустят старого Рипера в могилу, он хотел бы знать одно... к чему жизнь, Джимми? Как здесь все бесцельно и бессмысленно...

Джимми. Ты знаешь, зачем растет вот это дерево, зачем оно весной выгоняет свою листву, а осенью никнет и обнажается? Ты спрашиваешь о цели... ты спрашиваешь о смысле... я существую... ты существуешь... мы существуем... Вот и все, старик, что мы можем наблюдать... смысл жизни дает человек.

Старый Рипер. Ты веришь в царство божие... в царство мира?..

Джимми. Я борюсь, как если-б верил в него.

Старый Рипер. Скажи мне, где найти бога?

Джимми. Я его не ощущал, твоя преданность, быть может, найдет его.

Старый Рипер. Ты ведь борешься против бога?

Джимми. Я борюсь, как если-б я верил в бога.

Старый Рипер. Он с ума сошел, ха-ха-ха. Он борется против машины и не знает, где бог. В твоей голове не все ладно, Джимми. Ты плохо кончишь, Джимми.

Джимми улыбаясь уходит. Человек с четырехколесной тачкой, по прозванию «Луи с тачкой» идет по дороге.

Старый Рипер. Эй, милый человек с тачкой, скажи, где я найду бога? Я помогу тебе возить тачку.

Человек с тачкой *(сердито)*. Я не человек. Я городской служащий и зовусь Луи. Я мусорщик города Ноттингэма. Это не тачка. Тачка имеет только два колеса. Это четырехколесная телега. Всю жизнь таскал я тачку. Наконец, получил я телегу. И теперь ты смеешь называть мою телегу тачкой!

Старый Рипер. Речь идет не о тачке, друг, речь идет о боге.

Человек с тачкой. Какое дело мне до бога? Ищи его и найдешь. Речь идет о телеге, которую ты называешь тачкой. Тачкой, тачкой, тачкой называет он мою четырехколесную телегу!

Старый Рипер. Я хотел помочь тебе возить ее.

Человек с тачкой. Хороша помощь. Смотреть на успех других завистливыми глазами. Тачка, тачка, тачка. Не хватает только, чтоб ты назвал мою телегу машиной.

Старый Рипер. Ее-то я и ищу. Ее-то я и ищу!

Человек с тачкой уходит. Ощупью идет слепой, ведомый глухонемым.

Старый Рипер. Эй, брат слепой, скажи, где найти мне бога?

Слепой. Я его не слышу. Спроси вожака.

Старый Рипер. Эй, брат, скажи, где найти мне бога?

Глухонемой делает жест непонимания. Слепой смеется.

Старый Рипер. Чего ты блеешь?

Слепой. Он глухонемой, и не видит его.

Старый Рипер. Слепой не слышит его. Глухой не видит его... У меня пара хороших глаз и пара хороших ушей, и я не могу найти его.

Сцена затемняется.

ТРЕТЬЯ СЦЕНА.

Ранние сумерки. Контуры домов неясны. Эта сцена проходит мелькая, как призрак.

Джон Уайбл. В два часа. Чего ты пугаешься?

Альберт *(трепеща)*. Машина...

Джон Уайбл. Джимми подкуплен?

Альберт. Подкуплен машиной.

Джон Уайбл. Альберт, если-б мы больше сделали, чем разгон штрейкбрехеров? Если-б мы начали борьбу, борьбу против нашего врага, борьбу против машины?

Альберт *(на распев)*. Наше спасение. Наше освобождение... осво...-бо...ждение...

Джон Уайбл. Ты мне поможешь?

Альберт. Я отдал бы кровь свою. Но Джимми одурачил рабочих.

Джон Уайбл. Ха. Его красивая болтовня возбудила их чувства на одну ночь. Они уже снова ропщут на условия Урэ, они уже сомневаются, что Джимми действует честно и уже шепчут друг другу о ловушке и капкане. Пусть они увидят машину — и речи Джимми развеются, как шелуха. Женщины делают свое дело. Держись женщин, Альберт. Джимми сегодня не будет на фабрике. Он думает, что мы соберемся завтра к ночи.

Альберт. Женщины идут сначала первыми, потом становятся последними. Но, Нед Луд? У меня был когда-то пес, он вцепился в шею молодой козе. Я должен был его убить. Он не отпускал. Таков и Нед Луд.

Джон Уайбл. Ты знаешь, что Генри Коббет брат Джимми?

Альберт. Ты мне сегодня за обедом расскажи это. Но Джимми не живет у него.

Джон Уайбл. Что из того? Нед Луда мы заполучим. И если Нед Луд будет с нами, — берегись, Джимми!

Альберт. О, боже, боже.

Джон Уайбл. Что с тобой?

Альберт *(полон тоски)*. Кто-то вблизи нас, кто-то нас подслушивает, машина вблизи нас.

Джон Уайбл. Чорт возьми, ты заставляешь мурашки пробегать по телу. Мужество! Помоги мне в эту ночь. Мы выйдем победителями.

Сцена затемняется.

ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА.

Площадь перед виллой Урэ. Высокая стена ограждает парк. В середине главные ворота, в стороне калитка.

Первый мальчик. Я ее видел.

Первая девочка. Я тоже.

Второй мальчик. И я.

Первый мальчик. Она блестит, как чистое золото.

Вторая девочка. Господь бог ее послал.

Первый мальчик. Ты дура.

Второй мальчик. Пастор говорит, что ее ангелы принесли на землю.

Первый мальчик. Сначала поработай день и ночь над ней, потом и господа благодари.

Второй мальчик. Старый ткацкий станок некрасивая вещь.

Первый мальчик. Я радуюсь машине.

Третий мальчик. Идем в сарай. Если отец меня увидит, засадит за ножной станок.

Первый мальчик. У нас ведь стачка. К станку тебе итти не надо.

Третий мальчик. Сказать тебе что-то? Мой отец тоже работает сегодня.

Первая девочка. Твой тоже?

Первый мальчик. Они не стоят друг за друга. Фуй. Идем в сарай.

Дети уходят. Толпа оборванных женщин движется к стене.

Женщины. Мы не хотим машины! Мы не хотим машины!

Тишина.

Первая женщина. Как деревянные чурбаны молчат эти люди... Если бы охотничья собака лаяла здесь, ей бы скорей открыли. Я должна была продать последнюю мебель, кровать. Как пиявка присосался ко мне лавочник. На этой кровати спали сын, дочь, ночлежник, отец, муж и я. Ей богу, я не знаю, кто меня иной раз ночью обнимает. Пришлось заложить эту кровать.

Вторая женщина *(кричит в сторону дома)*. Эй, вы, господа... Отвечайте. Мы просим вас, мы ведь не воры, которые приходят ночью, чтобы вас обокрасть. Мы пришли белым днем. Мы только просим, мы умоляем.

Тишина. Балконная дверь отворяется. Выходит управляющий Генри Коббет.

Женщины. Мы не хотим машины! Мы не хотим машины!

Управляющий. Машина стоит в полной готовности. Бросьте бессмысленную стачку, и завтра у вас будет хлеб. Я получу столько дешевых рук, сколько мне нужно. И не плохих.

Женщины. Все ли будут приняты обратно?

Управляющий. Мы сожалеем об этом, но большинство мужчин должно быть уволено. Но все ваши дети будут приняты, 3-х и 4-х летние тоже. И молодые ловкие женщины. Будьте благоразумны, женщины. Деликатность производства требует особенной тонкости пальцев.

Первая женщина. Господин, дорогой господин, уберите машину из города. Вы не даете умереть с голоду ни одному голубю, ни одной козе. Вы хороший господин. Вы зимой ставите воробьям корм. Вы делаете домики для дятлов. Мы только люди, господин. Но ради Христа, сжальтесь над нами... На жизнь не хватит, если только молодые женщины и дети будут работать... Дьявол хочет искусить вас и прислал вам машину. Господин, добрый господин, уберите машину из города.

Женщины. Господин, добрый господин, уберите машину из города!

Управляющий. Мы исполняем свой национальный долг на службе Англии. Конечно, машина вытесняет мужчин, но лишь на короткое время. Почему? Я дам вам цифры. Мы будем производить товар на больших фабриках. Результат: товар на 50% станет дешевле. На 50%! Вы знаете, что это значит? Сегодня вы должны платить за погребение господину пастору 4 шиллинга. За кусок земли, скажем, в 2 метра длиной, в 1 метр шириной 6 шиллингов. Вообразите, что пришел час радостной вести: господин пастор требует только 2 шиллинга. Земное жилище стоит только 3 шиллинга. Разве вы не спокойнее стали бы умирать, зная, что ваша семья потеряет вместо недельного заработка только половину его? И как радостным галопом понесетесь вы в дешевую могилу, также помчатся галопом покупатели к дешевому товару. Еще один хороший результат: обращение товаров увеличивается, спрос повышается. Товаров! — кричат потребители. Товаров! — воют сирены торговых кораблей. Товаров! — скрежещут железные дороги. Товаров, товаров, товаров! — отсюда вывод: старые фабрики не в состоянии удовлетворить потребностям народов. Новые фабрики, могучие фабрики, колоссальные фабрики откроют свои ворота безработным. В Англии нет столько безработных, сколько могут эти гигантские пасти фабрик пожрать, пожрать, пожрать... Имейте терпение, женщины. Мой личный совет: все, кто сегодня не получит работы, пусть вернется на землю. Если бы дело шло по нашей воле! милые женщины... Но спрос в Европе теперь приостановился. Европа в долгах со времени великих войн. Вы, англичанки, патриотки, должны понять, что наше отечество не может кредитовать, т.-е. давать в долг национальные богатства обанкротившимся должникам. Отечество выше всего.

Управляющий уходит в дом. Тишина. Изумление.

Протяжный вой женщин. Долой машину!

Тишина.

Протяжный вой женщин. Долой машину!

Из садовой калитки выскальзывает Мэри. Испуганно останавливается. Хочет убежать. Несколько женщин бросаются на нее. Тянут ее в разные стороны. Говорят на перебой.

Первая женщина. Ты откуда?

Вторая женщина. В постели Коббета изменяла нашим мужчинам?

Третья женщина. Как это хорошо!

Четвертая женщина. Ты потаскушка, валяешься в кровати хозяев. Мы же стоим и попрошайничаем... Умоляем о трех кусках хлеба.

Вторая женщина набрасывается на Мэри.

Вторая женщина. Рвите с ее тела ее пестрые наряды! Расцарапайте ей колючками рожу!

Четвертая женщина. Отстегайте ее! Отстегайте потаскушку!

Пятая женщина. Привяжите ее голую к этой лестнице! Пусть дети наплюют на нее.

Вторая женщина *(грубо хохоча)*. Ей нужно горяченького. Всадите в нее горячую кочергу.

Первая женщина. Работник для нее слишком груб, слишком неотесан; у него нет холеных рук...

Женщины *(нападают на Мэри)*. Чумная баба! Потаскуха! Постельная стерва!

Входит Нед Луд.

Нед Луд. Жена Джона Уайбла. Вы разве гиены? Оставьте ее в покое. Почему вы бьете эту женщину?

Первая женщина.

Здравствуй, Луд. Это скверная женщина.
Сквернее, чем девка публичных домов;
Мы все голодаем. По целым неделям
Ни капли горячей... Мы держимся вместе.
С трудом притащились на хилых ногах
К хозяину Урэ. Стоим и кричим,
Кричим у ворот: избавь от машины!..

Четвертая женщина.

Если-б ты, Луд, был женщиной, ты-б знал,
Что значит уродить ребенка
И наблюдать беспомощно, как с голоду он умирает;
Как это за сердце хватает!

Пятая женщина. Об этом разве может знать мужчина?

Первая женщина. Нашу нужду, мученья и заботы!

Третья женщина.

Не знаю я, ведь жена Урэ тоже мать;
Она должна бы чувствовать нашу нужду!

Вторая женщина.

Жена Урэ! Ха! Когда ей нужно что-нибудь,
Есть у ней мудрый помощник: фунт стерлингов —
Он быстро выкидыши делает нужде!

Первая женщина.

И слуга Урэ, Коббет, говорит нам:
Машина остается в Ноттингэме, большинство мужчин
И старые все женщины будут расчитаны.

Он говорит нам так, как говорят собаке, отслужившей век свой:
Вон убирайся... Он лежал вот с этой,
Женой рабочего... которой мужа
Он выбросил на улицу... Лежал с ней
... Лежал с ней в тепленькой постели.

Нед Луд отталкивает женщину.

Женщины. Отстегайте ее, отстегайте потаскушку!

Нед Луд отталкивает женщин.

Нед Луд.

Вы будете стегать ребенка,
Который жадно бросился на хлеб?
Скажи нам, Мэри, ты зачем туда ходила?

Мэри *(тихо)*.

Я так... бедна... как и они...
Я это делала... не для себя...

Нед Луд.

Как кошки дикие, вы бросились на эту самку.
Подумайте же головой, а не пупком;
Если-б вы были так красивы, как она,
Вы точно также-б поступили, как она.
Вы сами в молодости также поступали.
Завистливые вы, ревнивые трещетки.
Мери, иди. Тебе не будет ничего... Я доведу тебя домой.
(К первой женщине). Зайди ко мне, когда к тебе вернется разум.

Нед Луд и Мэри уходят.

Вторая женщина. Чтобы их чорт побрал!

Крики женщин. Смерть машине! К лавкам! Кровь иль хлеб! Смерть машине!

Женщины собираются в толпу и уходят.

Песня.

Работать, работать, работать,
Как только проснется петух;
Работать, работать, работать
Пока звезды не вспыхнут вверху.
О, лучше-б в рабынях
У турок нам быть.

Во время сцены пришел старый Рипер.

Старый Рипер. Они выбросят свое серебро на улицы и золото будут считать грязью. Ибо серебро их и золото не спасут от того... дня... тех, которые бога не боятся... ибо не насытят золотом свои души и не наполнят своего желудка. Ибо оно было соблазном для их скверны. Если бы я был наверху, я послал бы дождь манны небесной. Но тот, наверху не шевелится. Когда он шевелится? Когда трубы победы трубят о триумфе, и украшенные золотом органы поют хвалебную песнь королям и великим мира сего. Но у бедных нет органов и труб. Их жалобная песня звучит тише, чем стук детского сердца. Нужно иметь хорошие уши, чтобы расслышать

ее. Нужно прислониться очень близко к их немытой груди, чтобы расслышать ее. Я хочу хоть немного утешить женщин.

Старый Рипер берет свою палку и как будто играет на скрипке.

Первая женщина. Посмотри-ка, вон старый дурак.

Старый Рипер *(как будто в кругу танцующих женщин)*. Вы уже прекращаете танцы? Я сыграл только три такта... Как вы говорите?.. Вы должны танцевать, еле держась на ногах... Вы должны танцевать, еле держась на ногах... Так... так...

Сцена затемняется.

Четвертый акт.

ПЕРВАЯ СЦЕНА.

Комната в вилле Урэ. За конторкой работает Генри Коббет. Входит Джимми Коббет.

Генри. Ты здесь... Чего вы хотите? Уходите. Немедленно. Я позову сторожей с собачьими кнутами... Полицию, которая следит за разнузданными бродягами; королевских солдат, у которых имеются для бунтовщиков патроны и веревки в сумке.

Джимми. Доложи обо мне господину Урэ, брат.

Генри. Брат? У меня нет брата.

Джимми. Тогда доложи обо мне, как о чужом.

Генри. Нет.

Джимми. Господин Урэ обычно выслушивает каждого посетителя, который имеет сообщить что-либо важное. Неужели мне обращаться к сторожам? К слуге, к лакею, к жене Урэ, к его дочери?

Генри. Если в тебе осталась хоть часть братского чувства, уходи... Оставь Ноттингэм. Англия велика... Ты везде можешь найти себе товарищей, которые будут прислушиваться к тебе... Зачем ты хочешь мстить мне? Ведь ты хочешь мне мстить? Я помню, я тебя стегал в детстве... Это было несправедливо с моей стороны.

Джимми. Неужели боязнь потерять «почетное место» пробуждает твою совесть? Тогда ты наверное вспомнишь, что лучшие куски ты всегда оставлял себе, со мной не делился и бил меня, когда я хотел рассказать, что ты со мной делаешь. Помнишь, как ты лгал родителям, как из позорных лоскутьев лжи и клеветы сшил себе платье добродетели, детской любви и богобоязни? Ты хорошо знал портняжное искусство.

Генри. Мои подозрения оправдались. Ты вернулся, чтобы отомстить мне.

Джимми. Одно материнское лоно дало нам жизнь. Но в потоках бесконечно далеких друг от друга душ, разошлись мы... Даю тебе слово, Генри, никогда Урэ не услышит моего имени, не узнает, чей я брат. И для того, чтобы по ночам кошмары не накатывались на тебя лавиной со стремнин в долину, я даю тебе обещание: я останусь в Ноттингэме одну

или две недели. Я уйду, как только фундамент будет прочно заложен и плотники возведут постройку. Прощай, брат, кланяйся старухе, скажи ей, что я знаю, как ей тяжело.

Генри. Вот, возьми деньги... мое месячное жалованье. И уходи сегодня... Сейчас... Сию минуту...

Джимми *(отстраняет деньги)*. Меня родила англичанка и научила языку англичан. Я не знаю азбуки, по которой ты научился понимать людей. Доложи обо мне, Генри.

Генри *(колеблется)*.

Джимми. Или я сам должен стучать?

Генри. Милосердный боже!.. Я погиб, я раззорен. Если я потеряю свой кусок хлеба и мать умрет с голоду, все проклятия ее смертного часа падут на тебя.

Джимми. *(один)*. И мы — одной крови.

Входит Урэ.

Урэ. Ваше имя?

Джимми. Называйте меня «безымянным». Или называйте меня «полносрочным», как вы называете своих рабочих — полносрочными, когда они все свое время полностью, и полусрочными, когда они половину своего времени стоят послушным стадом у станков.

Урэ. Вы говорите смелым языком. Мое время слишком ограничено, чтобы выслушивать шутки. Чего хотите вы? Я из принципа истинной гуманности не даю нищим ни одного гроша. Обратитесь к пастору.

Джимми. Может быть, я все же вам не совсем незнаком. Меня называют чужеземным бунтовщиком, который учит рабочих тому, что и рабочие — люди.

Урэ. Как вы смеете?

Джимми.

Я смею! Дух не знает рабства,
Не знает подчиненья господам земли.
На сводах человечества закон бессмертный духа
Алмазными начертан письменами.
И он гласит: будь верен правде жизни.
Кто изменил идее, тот предатель собственного я.
Я говорю для тех, кто тысячами тянет лямку
И под неслыханным позором истинного слова не находит,
Хотя оно трепещет в каждой капле его крови.
Никто, господин Урэ, не имеет права
Последний хлеб красть у другого.
Не вы-ль кричали так ретиво: только труд спасет нас.
И вот сегодня гоните рабочих лучших вон!
Миллионы женщин и детей рубашки не имеют,
Чтоб наготу свою прикрыть, а вы велите
Уничтожать запасы своего сырья.
И пользуясь своею властью, как бичем,

Вы сокращаете работу
И нищенскую плату за нее.
Еще струится кровь из сердца европейских стран,
Измученных войною.
И нищета кричит, взывает из темниц отчаянья:
Здесь голодают люди, там сгнивает рис в амбарах,
Здесь не хватает угля, чтоб согреть людей,
Там громоздятся горы угля возле шахт,
И производство стало только потому,
Что так угодно гибельной системе, вами освященной.
Остановился сбыт?
Бросая массам голодающих одну копейку,
Вы жалуетесь: сбыт остановился!
Нет, вы слепцы! И потому, что вы слепцы,
Нам ясными глазами видеть мир дано.
Дайте работу людям, Урэ!
Рабочее убавьте время!
И вы дадите тысячам насущный хлеб.
Не разрушайте замыслом преступным жизнь людей,
Которые, как вы, в теснинах мира
Идут дорогой, предназначенной судьбою безымянной,
И до конца дойти должны. Убийца бога вы,
Если убьете ваших братьев!

Урэ.

Кто вы, сударь?
Об изощренном духе ваш костюм не говорит.
Бог и дела несовместимы. Бог
Прибежище людей немых и одиноких;
Они к нему в часы земных невзгод
С надеждой обращают взоры. Бог
Слишком хорош для грязи и тревоги ежедневной.
Бог — вечный чистый свет,
Сияющий над вечной человеческой нуждою
Бессмертной милостью своей.
Я опозорил бы творца благого,
Если-б низвел его к работе повседневной.
Чего хотите вы? Вы вторглись в наш спокойный
И мирный Ноттингэм. Вы факел возмущенья
Бросаете в звериный мозг людей непросвещенных,
Которых наше государство
С таким трудом содержит за решеткою порядка.
Чего хотите вы? Хотите разрушенья?
Иль вы противник набожной спокойной жизни,
Стремящейся без отдыха к тому,
Чтоб кровь пролить, поднять восстанье и зажечь вулканы,

И лаву масс низвергнуть в города и села,
Чтоб в прах испепелить основы всех людских свершений?

Джимми.

Вы факел ненависти бросили в ряды людей.
От окровавленного тела человечества вы отделили одного,
Чтоб, одинокий, он не узнавал лица своих собратьев
И нападал на них, как на врагов.
Вы нашу землю превратили в поле битвы непрестанной,
Где сильные над слабыми глумятся,
Где хитрецы позорят чистых и невинных,
Где трус убийц за деньги нанимает,
Где жертвы называют дураками, а насильников, покрытых кровью,
Героями.

Урэ.

Вы, молодой человек, опасным предались мечтам.
Вы, как слепой, идете по земле.
Жизнь зреет лишь в борьбе всех против всех.
Всегда теснит олень могучий слабого врага
И благородное потомство сильных порождает.
Кто победил, тот размножается, не побежденный.
В борьбе неудержимой интересов
Растет гармония земного мира —
Кто остается наверху, тот по естественным законам остается наверху.
Законы эти навсегда останутся нам неизвестны.
Так, только так, растет культура.

Джимми.

О, если нападете вы на слабого оленя,
Он станет сильным, защищая слабых братьев,
И с ними силою поделится своею.
Вы говорите о свободе, о полезном столкновеньи интересов,
О власти победителей господ
И о законности побед их.
Свобода всем! — кричите вы. Какая же свобода
Рабочему? Свобода смерти,
Не жизни.
Какой чудесный жребий был когда-то жребием рабов.
Их господин кормил их, защищал,
И не давал им с голоду у сточных труб валиться.
Завидным был когда-то жребий подмастерьев,
Которые с хозяином в союзе поднимали производство!
А что теперь? Свободные, мы носим на цепях
Груз голода, который все живые нити
Тысячекратно душит в нас.
Кто мы?.. Товар!.. Мы вещь!.. Нас ненавидят. Ненавидим мы.
Источникам глубоким жизни
Мы также далеки, как ткацкие станки.

Взгляните на природу. Есть там зверь или птица,
Живущий в одиночестве? Орел, парящий в высоте спокойной,
Завидел дичь. Он громким криком
Зовет других орлов, чтоб сообща
Лететь к лесной поляне, дружелюбно
Делить добычу. Сытый муравей
Голодным муравьям дает остатки пищи.
Друзей зовет на помощь жук могильный,
Чтобы слепить жилище нарожденным детям.
Негр, варвар, мирно с братьями живет
Счастливой, удивительною жизнью.
Их род не разделяет классовая пропасть.
Только свободные люди культуры глухи
К святому слову «ты», к божественному «друг за друга».

Урэ.

Я чувствую, вы верите своим словам,
Но в нашем климате царит закон, который я вам назвал, —
Порода благородных, сильных.

Джимми.

Я назову вам вечный ваш закон природы:—
Деньги. Кто имеет деньги, тот дает работу,
А кто дает работу, тот владыка масс.
Не дух рождает благородных, — деньги их рождают.
Деньги, этот Чингис-хан рабочих,
И вас, которые сейчас лишь мнили себя господами денег,
Вас превзойдет другой, вы станете безвольными рабами.
Вам путь указывают деньги. Деньги заставляют вас
Уничтожать индусов, — нежный отпрыск майских стран.
Охота за деньгами заставляет вас
В Китай и в Индию, — в сердца волшебных стран,
Нести уничтоженье, дьявольской рукой
Давая опиум и огненную воду.
Вас деньги заставляют жечь из-за наживы
Плоды святые матери земли.
И то, что вы зовете добродетелью, естественным законом сильных,
Ни что иное, как нужда в рабстве,
В которое вы сами впутались, захлестнутые преступленьем —
Вот демон ваш, который от войны
К войне вас гонит,
К войне с родною братской кровью,
К войне народов против народов,
Расы против расы,
Континента против континента;
К войне, поистине, всех против всех,
И против самого себя.

Урэ. А вы?

Джимми.

В наших сердцах предведенье живет,
Оно растет, как почка, под которой зреют чудеса.
«Ты», это «ты» преодолеет
Библейское проклятие труда,
И то, что мучит нас сейчас, позорное клеймо проклятья,
Станет опять святым одушевленным делом.

Тишина.

Урэ. Вы грезите, но я хотел бы, чтоб вы грезили со мной.
Вы свой отныне в моем доме.

Джимми. Нет!
Согласны вы рабочим дать работу?

Урэ *(опять официальным тоном)*. Вы возвращаетесь к текущим делам? Все остается, как я решил. Условия известны. Я отклоняю всякие переговоры о решениях, которые я принял после зрелого размышления. В делах должна решать целесообразность, а не чувство...

Джимми.

Я против вас борюсь. И все-таки за вас,
За ваших детей и за детей ваших детей.
На знамени моем сверкает огненное слово: справедливость.
И бог, которого вы погребли,
По нашей воле с песнопеньем,
Воскреснет в царстве утра.

Джимми уходит.

Урэ *(один)*. Глупец. Странный глупец. Верующий глупец.
Опасный глупец. Человек... Человек..,

Входит Генри.

Урэ. Человек был в моем доме. Человек...

Генри *(изумленно)*. Что вы изволите думать, господин Урэ?

Урэ *(приходя в себя)*. Строжайший надзор за этим человеком! Вполне ли обеспечено обслуживание машин?

Генри. Только что прибыла из Карлтона последняя партия согласных работать.

Уре. Можете итти!

Сцена затемняется.

ВТОРАЯ СЦЕНА.

Подвал. Комната Нед Луда. Обстановка: стол и несколько табуреток. В глубине соломенная подстилка, на которой лежат дети. Маргрэт и Нед Луд сидят у стола. У Маргрэт на руках маленький.

Маргрэт поет.

Баю, баюшки, баю,
Скоро боженька возьмет
Деточку мою.

Принесет нам гробик золотой,
Ляжет детка под землей.
Скоро боженька придет
За тобой
И за мной,
Полетим мы вместе в рай,
Баю, баюшки, бай - бай.

Маргрэт укладывает ребенка на солому и снова садится за стол.

Маргрэт. В нашем доме касса. Не допускай этого.

Нед Луд. Моя жена — злая карга. Не прогоняй мне солнца, которое, как робкий гость, прокрадывается в нашу комнату!

Мэри. Ты продолжаешь быть старым дураком. Пусть Джон Уайбл хранит деньги у себя.

Нед Луд. Боишься, что полиция сделает обыск у нас?

Маргрэт. У меня 13 детей.

Нед Луд. И у меня тоже.

Маргрэт. Посмотри на них. Только посмотри на младшего. Когда я его укладываю на вшивую солому... Бог мне прости... Но я иногда желаю, чтобы я клала его в могилу.

Нед Луд. Он родился чахоточным.

Маргрэт. Разве я виновата в этом? Вплоть до последнего часа я стояла у прялки... а потом... через три дня надзиратель прислал спросить меня, приду ли я на четвертый день. Что должна была я делать? На четвертый день утром, половина пятого, я пошла в душную мануфактуру. Должна была прясть. Весь день молоко текло у меня из груди. Когда я в девять часов уходила из мануфактуры, мое платье сочилось молоком. Я была слишком усталой, чтобы съесть хоть кусок хлеба. Раньше трех часов утра я не попадала в постель.

Нед Луд. Кто говорит о вине?

Маргрэт. Вина... вина... Мне кажется, они каждый день пригвождают нашего господа Христа ко кресту. Бог требует каждого убийцу к суду: где твой брат Авель? Когда он призовет на скамью подсудимых наших господ... Дайте отчет обо всех мужчинах, которые умерли с голоду... Дайте отчет обо всех женщинах и детях, которые умерли на улице мучений... в то время, как начальники, которые претендуют быть божьими слугами, жрали, лакали и распутничали. И мы должны были подчиняться этим обжорам, пьяницам и распутникам.

Нед Луд. Этому придет конец, говорю я.

Маргрэт. Ты крикун.

Нед Луд. Я рабочий Англии. Я не лгу.

Маргрэт. Наемники тоже рабочие. Тюремные сторожа и палачи тоже рабочие. Руками рабочих строятся виселицы. Твои глаза — пушки без картечи. Я не боюсь... Это касса рабочего союза?

Нед Луд. Ты хочешь заставить меня проболтаться?

Маргрэт. Ты ни словечка не говоришь своей жене? Я хороша для ночи. Для ухода за детьми хороша.

Первая женщина. Это значит?

Вторая женщина. Ты разве не понимаешь, что они хотят нас бросить.

Джон Уайбл. Если вы так это называете, мы вас бросаем.

Первая женщина. Ха-ха, «справедливость»! Мы боремся за справедливость! Мы не пойдем к машинам!.. никогда... никогда...

Джон Уайбл. Нужно покориться... Мы будем молиться с четками в руках.

Первая женщина. Уайбл, и красный Уайбл стал молиться, как поп. Разве у вас ни у кого нет мозгу в костях? Тряпье! Никакого не было удовольствия спать с вами ночью!

Нед Луд. Откуда гнев? Вас, женщин, поставят на работу. Нас, мужчин, ожидает тяжелая судьба.

Первая женщина. Вы будете подметать комнаты, стряпать, штопать чулки. — Благородное мужское дело.

Нед Луд. Если вы отвергаете условия Урэ, ваши дети умрут с голоду.

Вторая женщина. Пусть умирают. Я хотела-б, чтобы они никогда не родились. Разве у нас будет время для наших детей? Мы едва можем их выкармливать. Они будут расти, как кукушкино племя. Семья. Материнская любовь. Большим господам хорошо говорить. Где у нас семья? Ткацкий станок мне ближе, чем мой собственный ребенок. Что я о них знаю? Что он существует и хочет есть!

Первая женщина. Дайте нашим мужьям хлеб! — говорили мы, — иначе мы, женщины, сплотимся!

Джон Уайбл. Что вы хотите сделать?

Вторая женщина. Если вы даете жить машине и одобряете то, что слабых и больных женщин и мужчин прогоняют, то мы пойдем к Урэ и попросим: попробуйте, вместо двадцати пяти мужчин, поставить женщин. Попробуйте. Мы будем делать все, что нужно. Мы будем работать, если нужно, двадцать часов. Мы будем работать за половину платы.

Нед Луд. Фу, чорт! Вы предаете своих братьев. Вы предаете союз рабочих.

Первая женщина. Наплевать мне на союз, если мои дети грызут землю с голоду. Разве я могу петь колыбельные песни: союз, союз. Укажите выход.

Вторая женщина. Мы хотим видеть дело!

Нед Луд. Слушайтесь, Джимми. Он желает нам добра. Он говорит то, что мы все чувствуем... чего мы все хотим. Джон, я не нахожу слов. Объясни им, что нам говорил Джимми.

Джон Уайбл. Я еще мальчиком засыпал в церкви от проповедей. Вчера со мной было то же самое. И значило бы оскорблять нашего старого пастора, если-б я сравнил его поучение с поучением Джимми. Я проснулся, когда вы все вышли.

Вторая женщина. Мы не мужчины, которые сгибаются перед первым встречным проповедником.

Первая женщина. Два дня сроку вам. Вы тряпки!

Женщины уходят.

Джон Уайбл. Но Джимми говорит, что нужно подчиниться.

Нед Луд. Мы не должны предавать друг друга. Мужчины должны держаться вместе. Отдельный человек, как соломинка, которую всякий ветерок может переломить; как масса, — мы могучи.

Джон Уайбл. Знаешь новость? Двести безработных вызваны из Карлтона. Они работают на фабрике.

Нед Луд. Предатели! штрейкбрехеры!

Джон Уайбл. Я говорил с Джимми.

Нед Луд. Что он советует?

Джон Уайбл. Терпение!

Нед Луд. Терпение?

Джон Уайбл. Он не понимает, что такое честь рабочего. Хотя он и стоит за нас, но он уж не рабочий. Он умеет читать и писать, как господа.

Нед Луд. Мы должны защищаться.

Джон Уайбл. Об этом думают другие. Мы сегодня вечером соберемся у маленького сарая. Мы хотим вколотить память о себе этим черным баранам.

Нед Луд. Сегодня ночью?

Джон Уайбл. Да.

Нед Луд. Я приду.

Джон Уайбл. Вопреки Джимми?

Нед Луд. Меня зовут Нед Луд... Все ли извещены?

Джон Уайбл. Только Боб нет. Я иду к нему.

Джон Уайбл уходит. У двери оборачивается.

Джон Уайбл. Бухгалтер хозяина сказал, что Джимми там бывает, да говорил даже, что Джимми советовал поставить безработных, но этому я не верю.

Джон Уайбл уходит. Нед Луд молчит.

Маргрэт. С тех пор, как машина в городе, все как заколдовано.

Нед Луд. Что ты хочешь сказать?

Маргрэт. То, что говорят женщины, недалеко от правды.

Нед Луд *(сердито)*. Маргрэт!..

Маргрэт. Тряпки вы! Носитесь со святыми взглядами, когда ваши женщины и дети на краю могилы. Нед Луд будет чистить горшки. Я дам тебе старую нижнюю юбку. Надень ее и хнычь!

Крик грудного ребенка. Маргрэт подбегает к нему.

Маргрэт *(вдруг плача)*. Дитя мое, дитя!.. Святая матерь божия!.. дитя при последнем издыхании... умирает... от голоду... от голоду...

Нед Луд. Стоишь, как дурак, в безвыходном кругу... Тут машина, там... как ясно все казалось, когда Джимми говорил нам... Вернуться бы

на землю. Кровь больших городов, как яд в нашем теле. Большие города чужды веры... Если бы иметь землю... тогда был бы связан со своей родной землей... Мы, как прокаженные... как деревья, у которых перерублены корни и которые сопротивляются во время бури... и все-таки засыхают.

Занавес.

Пятый акт.

ПЕРВАЯ СЦЕНА.

Внутренность старого картофельного амбара. На полу солома. Джимми сидит на соломе. Пишет. Входит нищий.

Нищий. Ты здесь?

Джимми. Меня ищут?

Нищий. Напротив, друг!

Джимми. Напротив?

Нищий. Те, кто тебя мог бы искать, танцуют!

Джимми. Не загадывай мне загадок.

Нищий. Что ты тут делаешь?

Джимми. Пишу летучки.

Нищий. Я полагаю... летучки летучи, как песок. Когда они летают, они затыкают глаза и уши, но не проникают в сердце... Скажи-ка, друг... ты уверен в своих людях?

Джимми. Это люди труда.

Нищий. Но все же люди.

Джимми. Люди труда держат свое слово.

Нищий. Некоторые да... но все ли? Это вопрос. Все ли держат слово? Все ли мужественны? Все ли стойки, верны, бескорыстны? Нет. Мне кажется, ты их видишь такими, какими ты их хочешь видеть. Ты создал себе новых богов, называемых святыми людьми труда. Чистые боги, мудрые боги... совершенные боги... английские рабочие 1815 года. Ты мечтатель, друг. Вести борьбу в союзе с богами, это значит, притти к победе, как яблочный цвет приходит к яблоку. Проснись! Пойми, что ты борешься в союзе с маленькими людишками, добрыми, злыми, жадными, бескорыстными, великодушными. И все-таки попробуй. Если ты с ними завоюешь победу и они изменятся, я сниму перед тобой шапку, если она у меня будет, потому что твоя утонула. Ей тепло лежать. Кто ве видит людей, как они есть, тот не имеет права говорить о предательстве и неблагодарности, когда его не понимают и дают ему пощечины.

Джимми. Победа рабочих будет победой справедливости!

Нищий Я пережил три правительства. Все правительства обманывают народ. Одно больше, другое меньше. Которое меньше обманывает, называется хорошим.

Джимми. Ты ворчун! Ты брюзга! Ты сварливый ворчун!

Нищий. Джимми, ты учился!.. Ты аристократ!.. Все аристократы хотят управлять, хотят властвовать!.. И рабочие имеют своих аристократов. Не сердись, друг. Если даже ты хочешь управлять, ты все же можешь быть с теми, кто хорошо управляет, даже очень хорошо.

Джимми *(смеется, после паузы)*. Знаешь ли ты Джон Уайбла?

Нищий. Кривобокого Уайбла? Ты про него?

Джимми. Джона Уайбла!

Нищий. Его отец совсем споил меня! Под столом валялись! Это что-нибудь да значит! Когда он пьяный приходил домой, он бил жену и детей. Однажды Джона шваркнул об стену, как кошку. Но Джон не встал на ноги, а остался лежать. А когда встал на ноги, оказался кривобоким. Мать его повесилась, потому что от нужды украла один хлебец у булочника и должна была сесть в тюрьму. Булочник говорил, что она украла три хлебца, но кто же поверит булочнику? Он говорит также, что печет хлеб изо ржи. Но эта рожь воняет растертыми квасцами.

Джимми. Рабочие уважают Джон Уайбла?

Нищий. Он может быть властным!

Джимми. Я тебя не понимаю.

Нищий. Он может быть властным! У него хорошо подвешен язык, и однажды он бросил в управляющего камнем.

Джимми. Его ребенок калека?

Нищий. Не более калека, чем все дети ткачей. Повивальные бабки говорят, что при родах не поймешь, есть ли у этих детей кости или нет. Они как резиновые.

Джимми. О, если бы спасти детей! Святых, маленьких детей, предоставленных безжалостной судьбе! Будущее поколение подточено в костях.

Молчание.

Нищий. Джимми... друг... твои люди хотят разрушать сегодня машины!..

Джимми. Ты лжешь!..

Нищий. Потому что я говорю то, чего ты не хочешь слушать?

Джимми. Где они?

Нищий. На фабрике! Туда их созвал Джон Уайбл, чтобы напасть на штрейкбрехеров. Но я знаю эту лисицу — Уайбла.

Джимми. Прощай!

Джимми поспешно уходит.

Нищий *(кричит ему вслед)*. Друг, милый друг, поберегись!.. Если они перестанут тебе верить, они повесят тебя!.. Если они почувствуют свою неправоту, они тем скорей тебя повесят!.. Могу ли я взять твою рубашку, Джимми?.. Он не слышит... Я возьму ее... Два года хожу без рубашки... Кто носит рубашку, тот чувствует себя, как лорд.

Сцена затемняется.

ВТОРАЯ СЦЕНА.

Слабо освещенное фабричное помещение. Гигантская паровая машина и механические ткацкие станки. У ткацких станков работают дети и несколько женщин. У паровой машины двое мужчин. Симфония звучащих шумов наполняет здание. Отчетливо слышно шуршание трансмиссий. Разнообразнейшие жужжанья колеблются в воздухе. Звонкозвучное пенье быстро бегущих валов. Глухое ворчанье рычагов. Мерное, звучное щелканье челноков.

Надзиратель. Девять часов. Начинать!..

Надзиратель. Ты, чего уставилась в воздух?

Маленькая девочка. Я не могу днем спать, господин... И теперь едва могу держать открытыми глаза!..

Надзиратель бьет девочку ремнем. Без слов ребенок продолжает работать. Маленький мальчик входит в дверь.

Надзиратель. Девять часов две минуты. Ты пришел на работу на две минуты позже, чем предписывают правила! Должен записать тебя в штрафную книгу! Марш!.. Вычет из заработной платы два пенса!..

Маленький мальчик идет к своему месту.

Надзиратель *(через некоторое время)*. Девять часов девять минут. Закрыть двери!..

Женщина закрывает двери. Как только двери закрылись, снаружи стучат.

Надзиратель. Кто там?..

Голос снаружи. Мэри Анна Уоклей!

Надзиратель. Часы показывают девять часов двенадцать минут! После девяти часов и десяти минут, никто не впускается! До часу ты должна ждать за дверьми! Заношу в рубрику штрафов! Вычет половину заработка!

Голос снаружи. Ах, господин, я не совсем здорова сегодня... и потеряла так много крови... Пока шла... Я опоздала...

Надзиратель. Ты потеряла кровь должно быть по другим причинам. Впрочем, меня это не касается. Мое дело — правило. Правило! Первый параграф правил!

Шаги удаляются. Снова стук в дверь.

Надзиратель. Кто там?

Голос снаружи. Урэ!

Надзиратель. Сейчас, сию минуту, открываю!

Надзиратель открывает дверь. Входит фабрикант Урэ и его гость — правительственный чиновник. Надзиратель полон пресмыкающегося подобострастия.

Урэ. Все в порядке?

Надзиратель. Все в порядке, господин!

Урэ. Все руки заняты?

Надзиратель. Все!

Урэ *(своему гостю)*. Здесь вы видите фабрику. Агенты иностранной конкуренции называют ее бойней или домом ужаса. Демагогия любит сильные слова. Я открыто признаю: машина приучает бунтарские руки к послушанию. Слава богу — взгляните на детей, многоуважаемый. Замечаете ли вы усталость, плохое настроение? Или, быть может, дурное обращение?

Как ярко сверкают их глаза! Как они радуются легкой игре своих мускулов! Как полно наслаждаются они естественной в их возрасте подвижностью! Взгляните на ту сторону! Восхитительная быстрота, с какой эта маленькая девочка сцепляет разорвавшиеся нити! С какой радостью щеголяют все эти милые малыши своим искусством перед моим гостем! Эстетическое наслаждение! — Неправда ли?

Гость. Раздаются голоса, что заработок детей слишком низок.

Урэ. Болтовня господ, заседающих за зеленым столом, не затронутых опытом и практикой. Заработок должен быть столь низким. Низкая заработная плата есть единственное средство защиты фабрикантов от жадности родителей. Иначе они посылали бы к нам уже годовалых детей. Нет худших эксплоататоров, чем родители из рабочих. Они хищнически расходуют рабочую силу и здоровье своих детей.

Гость. Ночная работа не отзывается вредно на здоровьи?

Урэ. Никоим образом! Впрочем, и конкуренция не позволяет нам отказаться от ночной работы! Если бы мы решились на это, следствием была бы остановка предприятия.

Гость. В парламенте хотят ограничить дневную работу детей тринадцатью часами.

Урэ. Парламент, парламент! Такой закон означал бы ограничение полной свободы труда! Нужно позволить рабочему работать, сколько он хочет.

Гость. Дети имеют перерыв для еды?

Урэ. К нашему искреннему и сердечному сожалению, мы не можем установить этот порядок. Подумайте, ведь тогда пришлось бы дольше поддерживать топку под котлами и этот расход угля был бы чистым убытком.

Гость. Надзиратель — бывший рабочий?

Урэ. Да, бывший рабочий! Старательному путь открыт... поскольку он приличен, здоров, послушен и прилежен. С надзирателями из рабочих мы достигаем лучших результатов. Они быстро порывают все связи с бывшими товарищами и ассимилируются. Они добросовестны, надежны, неукоснительно строги и оказывают нам выдающиеся услуги.

Гость. Возвышающая мысль для этих людей. Когда же, вы думаете, окончится эта глупая забастовка?

Урэ. Мы можем ждать. В нашем распоряжении достаточно материала: безработные, сироты из приютов Карлтон — дети, знакомые с работой машин. В нашей черни сидит проклятый дух возмущения. Опасная романтика английских мечтателей о свободе, защищаемая самовлюбленными литераторами, ведущими эту работу. Мы желаем лучшего для наших рабочих. Они тоже носят крест. Это никогда не забывается. Мы ведь люди. А награда — неблагодарность! Высокочтимый, идемте!

Урэ и гость оставляют фабрику.

Надзиратель. Продолжать работу и не зевать! Ты пел какую песню?

Маленький мальчик. «Никогда, никогда британцы не будут рабами».

Надзиратель. Заношу тебя в штрафную книгу. Одно пение — вычет из заработка... Что я вижу? Э!..

Надзиратель идет к ткацкому станку, у которого, скорчившись, заснула маленькая девочка.

Надзиратель. Как мир кишит грехами!.. Эта штучка спит у станка!.. Э!..

Надзиратель грубо тормошит девочку. Она вскакивает и автоматически продолжает работу.

Маленькая девочка. Ах, господин, далекая дорога, ноги так изранены!

Сильный удар в дверь.

Голос снаружи. Откройте!.. Откройте!.. Толпа ткачей с палками, кольями и лопатами наступает на фабрику.

Надзиратель. Вы остаетесь у станков! *(Одному ребенку)*. Беги в ратушу! *(Другому)*. А ты, дай знать нашему инженеру!

Оба ребенка оставляют фабрику. Крики толпы прибоем катятся все ближе, ближе. В двери ломятся.

Крики. Открывайте!.. Открывайте!..

Дверь проламывается. Толпа, среди которой Нед Луд, Джон Уайбл, Чарли, Джордж, Эдвард, Альберт, Артур, — бурей врывается в зал.

Крики толпы. Вы штрейкбрехеры!.. штрейкбрехеры!.. К чорту вас! Надзиратель, ты дезертир!..

Дети и женщины, занятые у станков, боязливо отступают в угол.

Крики толпы. Это дети!.

Все. Дети!..

Крики. Чугунный человек!..

Толпа видит машину. Подавленная видом машины, она застывает в изумлении. Внезапная тишина.

Нед Луд. Так, вероятно, мелют божьи мельницы.

Быстро входит инженер.

Надзиратель. Господин инженер, господин инженер!.. О, боже!.. О, боже!.. Фабрикант меня прогонит!..

Инженер. Остановить машины!..

Машины останавливаются. Инженер вскакивает на ящик.

Инженер.

Что вы хотите делать?..
По глупости итти наперекор благому провиденью?
Вы, как рабы, толкались над станками, и подневольный труд тяжелый
Вам искривлял тела... Машина вам несет освобожденье!..
Над огнедышащею топкой дрожит котел, беременный парами.
Одно движение... и сила пущена в машину!..

Надзиратель включает машину. Со стоном, звучащим подобно стону человека, начинается работа.

Инженер.

Маховики дыханьем расправляют члены,
И быстро вертятся, шумя ритмично.

Ремни хватают передачу.
Одно движение, и перемена рам.
Одно движение, — на место стала рама!
Нет более узлов, хотя-б устали руки.
Быстро, как голуби, несутся челноки!
Катушки стукают в стремительной работе!
Движение — машина вновь застыла неподвижно!..

Надзиратель выключает машину.

Инженер.

Сотворенное духом человека,
Укрощенное духом человека.
Кто борется против машины,
Тот борется против божественного разума!
Демон Пар побежден,
И покорен законам числа.
Сила, в клещах державшая людей,
Низвергнута с трона тиранского,
И подвластна былому рабу своему — человеку.
Вы были рабами вещей,
Теперь вы хозяева, вы короли!
Последний возвышенный час мирозданья
Воздвигает свободные своды победы.
Человек стал владыкой земли!

Джон Уайбл вскакивает на подставку.

Джон Уайбл.

Вы молча смотрите, окаменели!..
Всмотритесь в пророжденье ада,
Не слушайте лакея фабриканта Урэ!..
Иль вы забыли, что Альберт вам говорил?

Чарли. Она нас связывает! Сокрушает нас!
Джордж. Она нас сковывает! Мучит нас!
Эдвард. Свободными людьми мы были!
Вильям. Мы были господами у станков!
Альберт. Мы превращали божии цветы в творенье рук своих!
Джон Уайбл. Эта собачья служба недостойна человека!
Здесь автоматов ставьте, а не бриттов!

Инженер.

Какая польза вам с машиною бороться?
Во всех английских городах, на континенте,
Она могущественную начинает жизнь;
Она — свет будущего. Торжество прогресса!

Джон Уайбл.

Кто нам советует машине подчиниться,
Тот нам добра не хочет! Думает об интересах Урэ!

Нед Луд. Не забывай о Джимми!

Джон Уайбл.

Джимми советовал терпенье и терпенье.
Это язык предателей!
Когда люди продают себя на веки,
Кто смеет им сказать — терпенье?
К чорту парламент, к чорту государство!
Бороться мы хотим против ближайшего врага!
Бороться мы хотим против машины!
Хотите-ль вы рабами стать машины?

Рабочие. Нет!..
Джон Уайбл. Рукой... ногой... винтом... клещами... рычагом?..
Рабочие. Нет!.. нет!..
Альберт. Хотим творить, как мы творили раньше!
Джон Уайбл. Тогда добьемся мы господской жизни!
Нед Луд. Мы Джимми дали наше слово!
Джон Уайбл. Джимми — предатель!
Нед Луд. Это неправда!

Джон Уайбл. Генри Коббет — мерзавец,
Который предал нас и стал холопом Урэ;
Джимми Коббет — его брат!
Крики. Да, это так! Да, это так!
Нед Луд. Генри Коббет его брат?..

Джон Уайбл. Что медлишь, или ты не хочешь
Бороться с нами?..
Если ты боишься, так иди!
Нед Луд. Бояться, мне?.. Смотри, я улыбаюсь.
Джон Уайбл. Подумай о твоей жене!
Чарли. О детях!
Джордж. О чорте!
Вилльям. О тиране Паре!
Эдвард. Наши жены борются!
Чарли. Трем лавочникам разгромили лавки!
Том. А мы болтаем!
Артур. Кто... что... делать надо?..

Джон Уайбл. Так покажи-ж нам, Луд, что с нами ты!
Вновь вспыхнет единенье. Смерть машине!

Несколько секунд резкая тишина. Нед Луд направляется к паровой машине. Инженер, надзиратель, штрейкбрехеры и дети убегают.

Нед Луд. Генри Коббет его брат?..
Смерть и смерть отродью дьявола!

Нед Луд бьет, попадает в рычаг машины. Машина приходит в движение. Станки начинают работать. Смятение. Рабочие отступают в испуге.

Чарли *(кричит)*. Исчадье ада!.. Демон!..

Артур *(после паузы)*. Я... не могу... говорить... так... как... Джон и Джимми, но... но... Артур... Артур... может взять... свою мотыгу... и не бояться... и постоять за себя... и... смело ударить!..

Артур ударяет с размаху по машине. Его затягивает маховик.

Артур *(ужасно кричит)*. Ма... ма... мать моя!..

Эдвард. Враг человека раздавил его!

Нед Луд. Враг человека утащил его к себе!

Почти все, как в летаргии. Нед Луд тоже. Тут он замечает одного рабочего, который хочет украсть медную часть. Он выходит из оцепенения.

Нед Луд *(хватает рабочего)*. Медь из кармана!.. Вор!.. Ты будешь грабить мертвого врага!.. Мы на войне, парень... на осадном положении. Грабителей расстреливают! Что ты смеешься? Разве смеешься, убивая на войне людей?.. Чертовщина нас водит за нос, братья!

Нед Луд бросается на машину и бьет по ней.

Нед Луд. Ты ведьма, дьявольское семя!

Остальные, устыдясь своего страха, бросаются с удвоенной яростью на машину и разбивают ее.

Крики. Ага, теперь вяжи меня, черный, чугунный человек! Сломай мне спину!

На дворе поднимается дикая буря, которая продолжается до конца акта. Буря захлопывает двери, лампы тухнут. Слышится прерывистый безумный смех.

Смех. Хи-гу-ха-га!.. Хи-гу-ха-га!..
Джордж. Бог всемогущий, машина смеется!
Смех. Хи-гу-ха-га!.. Хи-гу-ха-га!..
Крики. Бежать!.. бежать!..
Смех. Хи-гу-ха-га!.. Хи-гу-ха-га!..
Крики. Где дверь?.. Где дверь?..
Смех. Хи-гу-ха-га!.. Хи-гу-ха-га!..
Крики. Буря закрыла дверь!.. Буря и машина в дьявольском союзе!

Альберт *(как ясновидящий)*.

Ха-гу-ха-га!..
Я говорю вам, что машина не мертва,
Она жива, она жива, она протягивает лапы,
Людей хватает и впускает когти
В окровавленные сердца!
Хи-гу-ха-га!.. Хи-гу-ха-га!..
На мирные деревни мчится дьявольская сила,
И зачумленные дыханьем серным высохли сады.
Растет в пустыне каменной детоубийца,
Людей ведет жестокий механизм,
Безрадостно считающий удары:

Так-так, тик-так — вот утро; тик-так — вот полдень; тик-так — вот ночь.
Один из нас — рука, другой — нога, а третий — мозг,
Но нет, но нет души — она мертва!..

Все. *(в раздумьи).* Но нет, но нет души — она мертва!

Тишина.

Крик. Альберт хохочет!.. Альберт одержимый!
Духом машины одержимый!..

Альберт.

Хи-гу-ха-га!.. Хи-гу-ха-га!..
Народ восстанет на народ,
Гонимый жадной пастью алчущей железа.
Исчезнет право, нравы развратятся,
И брат будет врагом.
В конце, в конце погибель-гибель!
Против земли пойдут народы,
Убьют зверей, божественных зверей,
Убьют леса, священные леса,
И, оскверняя всеобъемлющую мать,
В конце погибнут. Гибель, гибель!

Джон Уайбл. Держите, у него безумные глаза. Он одержимый!

Крики. Убить его!.. Убить его!..

Смятение. Ловят Альберта. В темноте рабочие сталкиваются с рабочими. Альберт перебегает из одного места в другое. Смятение увеличивается.

Кричат на перебой. Альберт, Альберт!..
Сверху. Машина, машина! Хи-гу-ха-га!.. Хи-гу-ха-га!..
Крики. Не меня... не меня!..

Альберт *(сзади).* Я жертва нового, рожденного в крови,
Хи-гу-ха-га... Хи-гу-ха-га!..

Крики. Схватить его!.. Схватить его!..
Крик. Не меня... не меня!..

Альберт *(сверху).* Я не враг вам, я не враг!..
Хи-гу-ха-га!.. Хи-гу-ха-га!..

Крик. Он меня... прямо в сердце...
Меня... Джека Лоджерс, меня... не Альберта!..

Альберт *(как будто издали).* Всегда гонимый, распинаемый всегда!
Хи-гу-ха-га!.. Хи-гу-ха-га!..

Нед Луд. Светопреставление!..
Альберт *(могучим голосом).* Из глубины взываю я!..

Минутная тишина.

Джордж. На окне висит человек!..

Чарли. Рука одеревенела!.. Это Альберт!..

Нед Луд. Кто духом одержим, тот жизнь свою окончил.

Тишина. Врывается Джимми.

Джимми. Клятвопреступники!..

Крики *(бессмысленный вопль)*. Прошибите ему мозги!.. Выпустите ему кишки! Джимми!..

Джимми. Вы, вы нарушили клятву!.. В Англии растет союз, вы ударили ему в спину!..

Джон Уайбл. Ловушка твоей лицемерной речи!.. Управляющий Урэ твой брат?..

Джимми. К чему этот вопрос?

Джон Уайбл. Отвечай: да или нет?

Джимми. Да.

Крики. Предатель!.. Предатель!..

Джон Уайбл. Кто издевается над женщинами,
Твой брат или чужой?

Джимми. Мой брат, и все-таки чужой!

Джон Уайбл. Сомкнулась цепь.

Крики. Он хотел нас выдать тирану Пару. Раб дьявола, раб дьявола!

Джимми. Дайте мне объяснить.

Крики. Молчи!.. Молчи!..

Нед Луд. Я голову отдам за этого человека!

Джон Уайбл. Хотите вы оставить жить этот язык — язык предательства? Хотите вы оставить жить эти глаза — глаза предательства? Вырвите язык из его рта! Вырвите ему глаза из орбит!

Нед Луд. Предатель ты!

Сбивает Джимми ударом кулака. Джимми спокойно смотрит на него. Нед Луд в испуге отступает. Джон Уайбл подходит к Джимми и плюет в него.

Джон Уайбл. Вот тебе, если у тебя жажда. Последний глоток перед адом!

Джимми. Звери!.. Звери!..

Джимми *(приподнимаясь)*.

Товарищи!.. Казались вы свободными, а были вы рабами,
Всегда рабами. Ваших жен хозяин покупал,
И вы сносили это!.. Вы рабы!
В солдатской форме вы ура кричали.
Сносили это... Вы рабы,
И ваше дело — дело рабов,
Бунтующих рабов. Чего вы хотите?
Господствовать, как господа-рабы?
Давить, как господа-рабы?

Жить в роскоши, как господа-рабы?
Кто вас бичем в свободу вгонит,
За тем только пойдете вы, рабы!

Тишина.

Джимми.

Простите!.. Гнев кричал во мне.
Вы, бедные братья-рабы, не знали никого,
Кто научил бы вас иному. Вы боролись
Против ложного врага.
О, братья,
Если трудящиеся Англии
Отступят от своих великих целей,
Тогда трудящиеся континента,
Трудящиеся всей земли
Не создадут великого союза
Рабочих, мирового братства не воздвигнут.
Не создадут свободного союза всех народов.
Тогда, о, братья, вы останетесь рабами до конца.

Джон Уайбл. Вы все молчите, молчите, молчите. Разве вы трусы? Язык ему вон изо рта!.. Глаза долой из орбит!..

Все, кроме Джон Уайбла, бросаются на Джимми и убивают его. Джон Уайбл оборачивается. Тишина.

Нед Луд *(подходя к Джон Уайблу)*. Джон... почему... именно ты его ни разу не ударил?

Джон Уайбл. Я нанес ему первый и последний удар по темени.

Нед Луд. Ты лжешь.

Джон Уайбл. Ты сожалеешь, что он умер?

Нед Луд. Не сожалею ни о чем. Он был предателем. Только я не понимаю, почему ты держался в стороне? Ведь сначала ты кричал: язык ему вон изо рта, глаза вон из орбит.

Джон Уайбл. Глаза... вы сделали это.

Нед Луд. Ты даже ни разу не взглянул на него.

Джон Уайбл. Я... я...

Нед Луд. А... а... Теперь я понимаю... Ты трус!..

Нед Луд хватает Джона Уайбла за руку, тащит его к трупу.

Джон Уайбл *(плаксиво)*. Я... я... я не могу видеть крови, о... о... о... *(ноюще плачет)*. Что?.. что?..

Нед Луд. Что?.. что?.. Ты хотел пить кровь, и ты не можешь видеть крови!.. Кровь... и кровь... и кровь... и не можешь видеть крови. Ты кричал: убить, и не можешь убивать!.. Ты трус несчастный!.. ты... Я хотел бы тебя задушить!.. и мне противно, как будто твоя шея вся в зеленой слизи... Что мы наделали?

Нищий *(вбегает)*. Джимми!.. Вести...
Нед Луд. Джимми умер.
Нищий. Вы его убили?
Нед Луд. Да.
Нищий. Почему вы его убили?
Чарли. Его брат слуга Урэ.
Нищий. А он?
Нед Луд. Его помощник.

Нищий. Глупцы!.. Дураки!.. Слепые мешки!.. Вы убили человека, который оставил мать и брата ради вас... Пренебрег богатством... ради вас.. Но кого вы не убиваете?.. Вы — человеческий народ.

Тишина.

Джордж *(после паузы)*. Убили, и не знаем почему.
Вилльям. Убили потому, что один из нас кричал: крови!
Эдвард. Убили потому, что один из нас кричал: измена!
Нед Луд. Потому, что вон тот кричал: измена! Что мы наделали?
Джордж. Тот?
Нед Луд. Джон Уайбл.
Джордж. Где он?
Нед Луд. Вот тут, тут он стоял, Уайбл.
Вилльям. Он скрылся... В дверь шмыгнул... Удрал...
Нед Луд. Что мы наделали?
Джордж. Может быть он побежал к Урэ? Хнычет; я не убил! Против нас заговор. Он предаст собственных братьев за 30 серебренников!
Нищий. Предаст ли он вас за 30 серебренников, я не знаю, но что он вас предаст, я знаю. Он в заговоре с Урэ против вас.
Нед Луд. Что мы наделали?
Нищий. Раньше, раньше вы должны были колотить себя в грудь, господа... Почему я пришел?.. На фабрику идет полиция... Достаточно, что одного убили.

В этот момент стучат в дверь.

Нищий. Слишком поздно.
Голос офицера. Сдавайтесь!.. Фабрика окружена.

Нед Луд.

Заприте нас. Мы знаем, что мы сделали. Мы искупить хотим его убийство.
Придут другие...
Более знающие, более верующие, более мужественные, конечно.
Ваше царство уже шатается, владыки Англии!

Открывается дверь. Рабочие оставляют фабрику. Видно, как на дворе их окружает полиция. Некоторое время сцена остается пустой. Входит старый Рипер и Тэдди. Старый Рипер держит свою палку на плече, как ружье.

Старый Рипер. Бог здесь...
Тэдди. Здесь стоит машина...

Старый Рипер. Приближается развязка... Он и есть машина...
Тэдди. Дедушка, здесь лежит человек. Дедушка, это дядя Джимми.
Старый Рипер *(прицеливается)*. Пип-паф...
Тэдди. Смотри, смотри, все сломано, все сломано...
Старый Рипер *(замечает тело Джимми)*. Ура!.. ура!.. ура!..
Тэдди. Домой, мне страшно...

Старый Рипер. Дети больше не должны бояться!.. Всякому мученью конец... Я застрелил сына божия... Я сын крепостной... Сегодня вечером, при заходе небесного солнца... застрелил сына божия... вот он лежит... Наш сын лежит убитый... нужно-ж позаботиться о погребении... На кладбище... на свалку... Ах, как он лежит... Ах, как он лежит... А глаза... глаза... Ты, бедный, милый, сын божий... Отдайте честь!.. Ты, бедный бог... и я это пережил... Я выжил... Как утомительна стала жизнь... Я хочу умереть... Ах, ты бедный, добрый бог...

Старый Рипер склоняется и, плача над телом Джимми, целует его.

Старый Рипер. И я хотел бы просить отца. Он должен дать нам другого утешителя: духа истины, которого мир не может принять, потому что он не видит его и не знает его. Ах, ты бедный, добрый бог. Надо позаботиться о погребении... Нужно друг другу помогать и быть добрыми...

Сцена закрывается.

Ив. Майоров.

ЗАРЕЧЬЕ.

(Из повести „Неугасимая лампада“).

Город на высоком, обряженном садами берегу. Заречье внизу, где ржавые болотца, трясина огромного луга. Летом лужи не просыхают в кривых улицах Заречья. В городе собор, тюрьма, две гимназии, дворянский клуб, богатые магазины. В Заречье фабрики и кабаки, трактиры и лавчонки, казармы для солдат. В городе купеческие особняки, крепости фабрикантов, скворешни на чистеньких домиках мещан. Убогие, осевшие задом лачуги в Заречье, где живут фабричные и мастеровщина. Одна казенная винная лавка в городе, в Заречье девять. Мир, тишина и степенные люди в городе. В Заречье драки и матершина. Ободранные ткачи в калишках на-босу ногу, угрюмые литейщики, всегда пьяненькие слесаря, чумазые кузнецы, кровельщики, маляры, солдаты, ткачихи, босоногие ребята, собаки, куры, тощие свиньи снуют улицами шумного Заречья. Зиму и лето, весну и осень тучи дыма плавают над Заречьем. От дыма и копоти на редких деревьях листья темно-бурые, стекла в окнах мутно-заплаканные, воздух душный, проспиртованный красками. А люди серые, убогие и злые. И когда первая весенняя гроза загрохочет над городом, брызнет теплым дождем, стрельнет длинными молниями, в это время город ликует, блестя на солнце золотом церквей, изумрудом садов, вымытыми разноцветными крышами. А в Заречье пузырятся мутные лужи, потеет соседнее болото. И майским вечером город гуляет в общественном саду, где играет полковой оркестр. Там пахнет липой, сосной, березой, цветами, землей. А Заречье гремит гармониками близ пыльной чугунки.

С городом Заречье соединяется широким мостом. Двадцать лет тому назад Заречье взбунтовалось и пошло бить городские лавки. Торговцы, мещане, купечество организовали дружину, которая встретила заречных на этом мосту и разбила на-голову неприятеля. С тех пор мост зовется Ильинским — побоище было в Ильин день. В память избавления от нашествия иноплеменных купечество выстроило часовню на городском конце моста.

В часовне образ святого пророка Илии в золотом окладе, в венчике из бриллиантов. Неугасимая лампада перед образом.

За лампадой следит старик Гарька, который за полтора рубля в месяц утром и вечером оправляет светильню и подливает масла.

I.

Летний вечер. Суббота.

Воют, пронзительно визжат фабричные свистки. Как в медный таз бьет колокол полковой церкви, — всенощная. С фабрик народ разносит по улицам едкий запах пота и красок.

Павлуша у ворот своего дома наблюдает шумную улицу. Картина знакомая.

На лугу кучка рабочих. Корзины с пивом, водочные бутылки, селедка, дешевая колбаса. Сначала нальют пива, потом разбавят водкой. Пьют большими стаканами медленно, смакуя, блаженно морщась. Торжественно, словно причастие, глотают кусочки закуски. Сутулые спины распрямились. Еще пьют и начинают дружелюбный разговор, весело, спокойно. Выпили еще, и двое поцеловались крепко в знак дружбы. Двое обнялись. Трое запели хорошую, грустную песню. Прочие подхватили.

Подошла баба, которая ищет мужа. Муж досадливо отмахнулся, не переставая петь. Баба потянула за рукав. Муж погрозил кулаком, продолжая песню. Баба тянет за рукав, мешает. Муж встал, повернул бабу за плечи и провожает ударом в спину. Баба подходит снова. Тогда муж, в гневе с размаха бьет ее в лицо. Но баба настойчива. Закрывая ладонью щеку, она говорит о детях, о нужде, плачет. Это приводит мужа в бешенство. Он сбивает свою жену с ног и пинает сапогом в бока, в лицо.

Глаза Павлуши темнеют. Он похож на кошку, готовый прыгнуть на страшного мужика. Но в это время полицейский Горохов не спеша подходит с угла, где пост. Он широкой ладонью хлопнул рабочего по плечу:

— Ну, будет вам!..

Рабочий, тяжело дыша от ярости, стукнул в свою грудь кулаком. Баба виновата во всем. Песня оборвалась и все певцы, размахивая руками, вдруг закричали пьяным, надрывным криком. Они жалуются друг другу на своих баб, на нужду, мастеров, лавочников. Горохов, спиной к ним, равнодушно зевает и возвращается на свое место. А баба, запинаясь за свои ноги, побрела за ближний угол. Темными ночами воют на улице бездомные собаки. Так же воют побитые мужем бабы. На собаку похожи бабы своей преданностью хозяину. Когда на луг падут сумерки, рабочие пьяно храпят у корзин с пивом. Побитая выйдет из-за угла неслышной тенью, подойдет к мужу, сядет рядом и будет ждать, пока он проснется. И тогда поведет его домой.

Павлуша живет с ткачами. Он отлично знает, что будет говорить пьяный своей жене дома. Баба разорила пьяного харчами, обувью, одежей, народила детей и мешает отдохнуть с товарищами один раз в неделю— в субботу. Не будь жены и детей, пьяный убежал бы на край света, где нет мастеров, табельщиков и нужды. Там, в далекой стороне, привольно, свободно...

Сумерки почернели. Зажглись огни. В трактире, напротив, хрипит орган, вдали тревожно лопочет полицейский свисток, а из города плывет печальный ропот музыки в общественном саду. Слушая храп пьяных, Павлуша слушает трактирный орган, слушает полицейскую трель, смутный гул отдыхающего Заречья и музыка в саду жжет его сердце огнем. Ах, если бы эти печальные, плачущие звуки собрать, как свежую дождевую воду, наполнить ими бутылки, дать пьяным вместо пива и вина. Они поняли бы тогда, что нельзя жить в дыму и копоти Заречья, нельзя бить бабу сапогами в лицо. И уничтожили бы эти проклятые мрачные корпуса

фабрик, лачуги, трактиры, мастеров, табельщиков. А вместо Заречья выстроили бы нарядный, просторный город, в котором много зелени, цветов, радости...

Павлуша поднялся с земли и пошел к побитой бабе, которая в темноте сторожила своего мужа.

— Тетка, — сказал он шопотом.

Баба вздрогнула, повернулась к нему.

— Что надо? — спросила она хрипло.

— Ты не плачь, — пробормотал Павлуша, — мой отец тоже дрался.

— Пошел, пошел, — закричала баба, — пьяных шарить думаешь? Шляетесь, сволочи, жулики, карманники!..

II.

Павлуша сирота.

Выпивши, отец красил фабричную крышу, наклонился, чтобы намочить кисть в ведре с краской, и сорвался на асфальтовый двор. Павлуша вместе с матерью стоял у больничной койки и со страхом смотрел на покрытое сгустками крови тело отца, который шептал черными губами:

— Береги Павла... в люди выведи... Не пей, сынок...

Павла выводят в люди.

Мать отдала на обученье к маляру Захарычу. На третий день Павел вернулся домой с огромным синяком под глазом, лицо в зеленой краске.

— Ушел, — об'явил он матери, мрачно сверкнув здоровым глазом, — Захарыч пролил вареное масло и со зла бить. Кистью, по щекам. А я ему...

Павлуша выразительно тряхнул головой:

— Большой кистью, сдачи. Не дерись!

Павлуша в кузнице. Дедушка Илья дует мехами. Горно воет, бросая искры к потолку. Хозяин, Митрич, щуря ослепшие от огня глаза, чертит песком железные полоски, которые надо сварить. Второй молотобоец Спирин тихо шепчет Павлуше в темном углу:

— Подпилки новые знаешь, веревочкой связаны? Возьми ужо в карман себе!..

— Зачем? — не понимает Павлуша.

— Выпьем ужо, колбасы куплю!

Павлуша не согласен обворовывать Митрича.

— Ну, погоди ужо, — грозит Спирин и подносит к носу Павлуши огромный черный кулак.

Павлуша снова у матери.

— Прогнали. Пьяный Спирин в волосы, за подпилки. А я ему...

Павлуша грозно сдвигает темные брови:

— Рушником... сдачи!..

— Плохо дело, не уживчив парень-от с полезными людьми, — дает свое заключение о Павлуше постоялец, старый ткач Антон, при котором Павлуша рассказывал свои приключения.

— В отца характерный, — решает мать. — Куда его теперь?

Павлуша снова в ученьи и опять кому-то дает сдачи. Больше некуда итти. От нечего делать ходит в зареченскую школу и помогает матери, которая кормится постояльцами и стиркой на богатые дома. Совестно на шее матери, и он неутомимо колет дрова, носит воду с реки, таскает корзины с бельем, бегает в трактир за кипятком, моет полы. Только не слышать бы печальных вздохов матери.

А в короткий, редкий досуг, забившись в угол, он покидает Заречье. На ковре-самолете улетает в чудесные страны. В неведомой пустыне, вместе с отважными охотниками, он смело идет навстречу опасным львам. Путешествует в тропических лесах, острым топором пробивая дорогу там, где не была еще человеческая нога. Затаив дыхание, любуется диковинными пестрыми птицами, цепенеет от страха при встрече с ужасной гориллой, убивает громадную кобру. Дерзкий моряк-разбойник, он в бурю преследует купеческое судно с невольниками, которым дает свободу. И днем не слышит задорного смеха зареченских ребят, которые без устали бьются в бабки, гремят городками или запускают змей с трещеткой. А ночью ссорится с постояльцем Никифором, который не может спать при огне. ворочается на полу, стуча костлявым телом и сердито басит:

— Все книгу жрешь? Смотри, подавишься. Керосин-то ноне две копеечки, паря. Туши лампу!

III.

Старый учитель смотрел в желтый шкаф, над которым затейливая, славянскими буквами, надпись «школьная библиотека».

— Что же дать тебе?

В шкафе пять полочек, одна пустая, на другой чайная посуда, остальные заставлены книгами.

— Хочешь про Тараса Бульбу?

— Читал,—сказал Павлуша.

— Капитанскую дочку читал?

— Читал?

— Сказок не надо?

— Не надо. Путешествий бы...

— Выбирай тогда сам.

Павлуша старательно роется в книгах.

— Учишься хорошо и книгу любишь,—говорит учитель.—Мало таких в нашем Заречье. Не любят книгу в нашем Заречье.

— Может, любят, да читать некогда,—замечает Павлуша.

— Кто мешает?

— Дела мешают, нужда мешает.

— Ишь, ты... И тебе нужда мешает?

— И мне.

— Как это?

— На фабрику уйду, не до книжек будет.

— На фабрику? Зачем?

— Работать.

— Для чего работать?—недоумевает учитель.

— Кормиться надо,—поясняет Павлуша с усмешкой.—Матери одной не в силу.

— Не одобряю фабрики,—задумчиво говорит учитель.—Таланты зря закопаешь. Взыщется за это. Ученье свет, неученье тьма. Слышал пословицу?

— Знаю.

— Ну, вот и учись. Школу кончишь, в гимназию ступай.

Теперь озадачен Павлуша.

— В гимназию?—недоумевает он.—Там зареченских не учат. Там богатые.

— А ты пробейся.

— Как?

— Головой,—советует учитель.—С твоей головой любую стену прошибешь. Не пробовал?

— Не пробовал.

— Зря. Ты вот что. Приведи ко мне мать. Потолкуем. Авось, уговорим...

IV.

Учитель уговорил. Стена пробита: Павлуша четвертый год в гимназии. Перед классом ходит косматый человек в золотых очках, скандируя:

Ante, apud, ad, adwersus,
Circum, circa, citra, cis...

Класс вторит хором. Павлуша сосредоточенно следит за пчелой, которая влетела в раскрытое окно. Она бьется в верхней части окна, где стекла, и не может сообразить, что вершком—двумя ниже свобода и теплое солнце.

— Тырков!—возглашает латинист.—Что я сказал, повторите.

Павлуша молча смотрит черными глазами исподлобья на очки учителя. Очки съехали на кончик носа, могут упасть на пол.

— Что я сказал?—и мягкая ладонь резко шлепает по доске передней парты.

— Вы очки разобьете,—отвечает Павлуша.

— За дверь!—гремит латинист, взбешенный общим смехом.

Павлуша в коридоре. Здесь, затылком к стеклянной двери, он должен ожидать конца урока. Он равнодушен к своей участи. Его мысли по-прежнему заняты бестолковой пчелой. И, повернувшись лицом к классу, он упорно, сосредоточенно глядит на пленницу, которая плутает вдоль стекла. Возмущенный латинист, вращая белками, подбегает к двери, тащит Павлушу за рукав в класс, гремит над ухом:

— Я не позволю смеяться над собой!

— Пустите рукав,—спокойно замечает Павлуша и его бледное лицо темнеет.—Прошлый раз вы разорвали курточку.

У него постоянная война с косматым человеком, который ненавидит Павлушу за рыжие сапоги, брюки с бахромками на концах и независимый

характер. По мнению латиниста, бедность должна быть покорной, льстивой. Зареченский оборвыш горд, смел, загадочно-упрям, словно чувствует за собой чью-то властную поддержку. Это бесит латиниста. Он привык к повиновению даже богатых гимназистов, родителей которых уважает и боится. Истребить строптивого плохими отметками невозможно: Павлуша талантлив, прекрасно учится. Невозможно уличить даже в незначительном проступке этого молчаливого гимназиста с черными умными глазами и тонкими губами, в уголках которых высечены горькие складки. Дитя разнузданного Заречья воспитан и вежлив.

Во время перерыва, латинист громко жалуется в учительской комнате.

— Этот Тырков меня измучил.

— Что сделал Тырков?—интересуется инспектор.

Латинист беспомощно разводит руками:

— Не могу формулировать точно, но в нем что то такое... недопустимое. Например, сегодня. Я решил бегло повторить с классом грамматику. Мы вспоминаем предлоги с винительным, а Тырков смотрит в окно.

— Значит, он не знает предлогов?

— Увы, он знает предлоги.

— В чем же дело?

— Избыток самонадеянности,—поясняет латинист.—И вообще этот Тырков... вообще не того...

— А-а, Тырков!—вспоминает словесник.—Интересная личность. Господа, кстати! Тырков противник неугасимой лампады.

— Што-сс?—вздрагивает инспектор.—Противник какой лампады?

— Неугасимой. В часовне на мосту.

— Он атеист?—любопытствует инспектор.

— Не знаю. Мы беседовали только про лампаду.

— В классе?

— В классе.

— Что же Тырков сказал вам про лампаду?

— Он говорит, лампаду надо затушить,—весело объявляет словесник.

— О-о!—восклицает законоучитель и выразительно поднимает длинный палец с толстым обручальным кольцом.

— Ага, так и знал,—торжественно крякает латинист.

— Почему же Тырков желает ее затушить?—строго вопрошает инспектор.

— Лампада зажжена по случаю драки с Заречьем. А Тырков из Заречья.

— Эге!—выразительно подмигивает латинист.—О реванше Тырков не говорил?

— Да-с, неосторожная тема-с, Илья Ильич,—сухо замечает словеснику инспектор.

V.

Матери постояльцы платят по рублю в месяц. За это она печет хлебы, варит щи. В небольшой кухне холостые, соседнюю комнату занимают три пары женатых. Павлуша с матерью в коморке за печкой—два шага в ширину, три в длину.

По стенам длинные полки. На полках караваи хлеба, посуда, тараканьи табуны. Сбитые комом лоскутные одеяла и грязные подстилки на полу, где стоят постояльцы. В квартире терпкий запах табаку, ржаного хлеба, вареной капусты, лука, кислая вонь развешенных у печки портянок.

Свет общий: с каждого постояльца полфунта керосина в жестяную лампу над большим столом в кухне. По вечерам здесь собираются работающие в утренней смене. Таких на этой неделе трое. Тетка Аксинья, старая дева—с глухотой, шьет приданое. Приколов булавкой к коленке пестрый лоскут, она далеко за ухо откидывает руку с иголкой—нитка длиннее руки. Желтые волосы в косичке длиной в палец. Лысый, лобастый Осип, прозвище Ягода, на уголке стола читает библию. Рябой Никифор, медной кривой иглой для мешков, вшивает разорванный рукав пиджака.

— Слушай, ягода, Соломона,—говорит Осип Павлуше.—Слушай, голова ученая, это к тебе прописано.

Павлуша поднимает голову от книги.

— Слушай:—«и предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал—что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали и кто умножает познания, умножает скорбь». Понял, ягода, реченное пророком?—на длинных губах Осипа язвительная усмешка.

— Понял.

— Ну, значит, бросай свою книжность, ягода, в нужник,—с торжеством восклицает Осип.

— Зачем?—улыбается Павлуша.

— А затем, что это томление духа и суета сует.

— Что же ты свою библию в нужник не бросаешь?—кольнув глазами, любопытствует Павлуша.

— Господи Исусе!—ужасается мать, которая у печки готовит самовар.

— Пресвятая Богородица!—крестится тетка Аксинья, потрясенная вопросом Павлуши.

— Попал в капкан, лысый дурак,—злорадствует Никифор.

— Нет, постой, погоди,—горячится Осип.—По какому праву ты, ягода, такие кощунственные слова, а? Для чего я должон святую библию в непригожее место?

— Библия тоже книжность и, значит, томление духа и суета сует,—спокойно поясняет Павлуша.—Верно ли?

Сбитый с толку, Осип с чувством почтения смотрит на своего противника, барабанит пальцами по столу и говорит смущенно:

— Вон ты какой... да, ягода. Что-ж это? По Соломону выходит, самого Соломона по боку можно. А я думал у Соломона корни эти самые.

— Какие корни?—спрашивает Никифор.

— А что к чему лежит, и почему,—отвечает Осип, собрав морщины на огромном лбу.—Без корней человеку нельзя, ан корней то и не видно. Зацепиться не за что. Смекаешь?

— Зачитался ты, Ягода. Брось библию, не про нас писано,—советует Никифор.—Давай лучше в карты играть. Правильно, Павлуха?

Но Павлуше не до библии. Он слушает советы, которыми наделяет своего оруженосца странствующий безумец и мечтатель Дон-Кихот.

«Чтобы приобрести благорасположение населения, которым ты управляешь, ты должен в числе других вещей соблюдать следующие две: первая—быть со всеми учтивым, вторая—принять меры для снабжения в изобилии населения съестными припасами, так как нет вещи, которая более угнетала бы душу бедных людей, чем голод и нужда»...

Перед глазами Павлуши встает дымное Заречье. Голод и нужда не только людей угнетают. Зелень и цветы ушли из Заречья в город. Птица, редкий, пугливый гость Заречья, где угрюмы, хмуры улицы и убоги дома. За Ильинским мостом, в городе, не видно мрачных людей в отрепьях, которые с нужды бьют своих жен сапогом в лицо. Латинист ненавидит Павлушу за то, что он сын нужды. Откуда взялась нужда и бедные люди в Заречье?

— А ты, ягода, не знаешь, где эти самые корни?—толкает Осип Павлушу в плечо, протянув руку через стол.

— Погоди, дядя Осип. У Соломона не сказано, откуда нужда?

— Это ты к чему, ягода?

— Надо мне.

— Гм... про богатство написано как-будто, а нужды не упомню. Постой, погляжу... Вот слушай... «собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих—разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мной. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселия... И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот—все суета и томление духа и нет от них пользы под солнцем».—Беспокойный человек,—сказал Осип, отодвигая библию.—И богатство ему не-впрок. Прямо мученье мне с этим Соломоном.

— А про нужду нет?—нетерпеливо повторил Павлуша.

— Постой, поищу...

— И нечего искать, очень ясно,—перебил Никифор.—Сказано, собрал золото и серебро со всех областей. Вот тебе и нужда! У Соломона густо, в областях пусто. Грабитель ваш Соломон...

— А вот поищем,—бормотал Осип, листуя библию.—Может, сказано...

— Не надо, дядя Осип,—сказал Павлуша и сдвинув брови, торопливо ушел к себе за перегородку, в темноту.

VI.

От тяжелой работы у матери болели ноги, поясница. Плечи и руки ныли от квашней, в которых она каждый день месила хлебы ткачам. Спала плохо и во сне охала, стонала.

Лежа на коротком сундуке, Павлуша прислушивался к стонам матери, смотрел в темноту и думал о словах Никифора. Они перевернули его мысли наизнанку, перепутали, как нитки, оставили на сердце смутную тревогу, которая мешала спать.

В постоянной нужде, как муха в тенетах, бился покойный отец. Он пытался для семьи выйти в люди, неделями работал с утра до ночи, был в это время ласков, потом вдруг зверел, напивался и сильно бил мать, которую любил. Пьяный бил посуду, рвал на себе волосы и кричал:—грабители! Кто грабил отца?

Когда отец запивал, мать уходила на поденную работу. Она без устали мыла полы, стирала вороха купеческого белья, с вальком мерзла зимой у проруби, а нужда не уменьшалась. Семья сидела полуголодная, раздетая, питаясь кусочками, которые давали за работу сытые люди. Значит, и мать кто-то грабил?

Маленькая сестра Надя умерла вот на этом сундуке. Красная от жара, накрыта лохмотьями, она тоскливо смотрела горящими глазами в слезах и жалобно просила: «Дайте арбузика Христа ради». Мать тоненькими ломтиками резала репу и кормила сестру, которая давилась и выплевывала репу. Отец в кухне гневно грозил в угол кулаками и шипел:—«о, сволочи, грабители, не дают двугривенного для ребенка!»

«Нет вещи, которая более угнетала бы душу бедных людей, чем голод и нужда»,—вспомнились слова Дон-Кихота. Павлуша судорожно вздохнул. Он прекрасно знает, что такое нужда. Пугливо кланяясь мундирам с золотыми пуговицами, мать ждет директора у порога гимназической канцелярии. На ней смешная рыжая шаль, салоп соседки, она прячет под шаль красные, содранные стиркой руки. Лицо испуганное, точно у старухи Петровны, которая побирается по дворам. Павлуша рядом с матерью ждет своей участи. Тут же на стульях сидят нарядные, спокойные родители учеников из города. Они разглядывают мать, смотрят на Павлушу, шепчутся. Убежать бы отсюда в Заречье,—так неловко Павлуше в этой высокой, чистой комнате. Но вот директор. Поверх пенснэ осматривает посетителей, вежливо кланяется, иным пожимает руки, колыхая большим животом—подходит к матери и говорит, когда она пытается упасть в ноги: «с-сударыня, з-зачем униж-жаться, я не терплю». И пошевелил пальцами перед носом матери: «Лучше бы своего молодого человека вы отдали, например, в слесаря, или в лавочку, например».

Но мать настойчива. «Павлуша умный, все книжки читает и отец завещал... кланяйся, Паня, их сиятельствам». Однако, Павлуша, недвижен

и наблюдает исподлобья директора, который поверх пенснэ рассматривает мальчика таким взглядом, словно перед ним диковинная букашка. Павлуша никогда не забудет решающих слов директора: «Ну, хорошо, попытаемся придать ему человеческий образ». Опять пошевелил пальцами перед носом матери: «но чтоб зареченский дух ни-ни, в противном случае сочту долгом». Директор выразительно опустил кулак правой руки на ладонь левой.

— О-ох, ноженьки мои,—стонет мать.

— Ух,—глухо охает в кухне рябой Никифор.

— Смерть моя!—мечется во сне тетка Аксинья.

В квартире все жалуются на недуги. Нужда отняла здоровье постояльцев. У всех кривые ноги, желтые дряблые щеки, бесцветные глаза, мутные, как зареченский воздух. Дядя Осип предсказывает ненастье за два дня: шумит в ушах, ноет грудь перед ненастьем. Женатый Андрей в передней комнате кашляет так, что дребезжат стаканы в горке. Герасим часто встает к ведру с водой,—у этого палит внутри. Сбившись в кучу вроде тараканов, люди мешают друг другу, воюют с клопами, которые жалят усталые тела, а разойтись нельзя, некуда: нужда согнала двенадцать человек в одну тесную лачугу с низким, грязным потолком, трухлявыми стенами и сырым, холодным полом.

— Кабы корень этот,—бормочет Осип во сне.

— Ох, ноженьки,—шепчет мать.

— Ках, ках, ках,—надрывается Андрей, с хрипом, свистом в груди. Какая тоска!

VII.

Вечером пили чай. Павлуша на свободном конце стола бился в свои козыри с Антоном, смешливым стариком. В это время отворилась дверь и прямая, длинная фигура инспектора шагнула в кухню.

— Тырков Павел, гимназист, здесь проживает?—ударил по ушам деревянный голос.

Мать уронила в колени блюдечко с чаем, Антон поперхнулся хлебом и вытаращил наивные, добрые глаза. Павлуша встал.

— Я здесь живу,—сказал он и подал стул.

Инспектор снял шапку, повел носом.

— Гм, табак? Вы курите?

— Нет, я не курю,—ответил Павлуша хладнокровно.

— Почему же дым?—инспектор вынул платок из кармана и закрыл нос. В кухне запахло духами.

— Это постояльцы курят, ваше превосходительство,—поспешила мать, стуча зубами.—Паня мой некурящий.

— А, вы мамаша Тыркова? Оч-чень приятно.

Инспектор подал руку, взглянул на стол и нахмурился:

— Карты! Постояльцы играют?

— Это я с дедушкой Антоном,—сказал Павлуша.

— Со мной, то-исть,—пояснил старик, указывая на себя измятым в машине пальцем.—В свои козыри, ваша светлость.

Инспектор учтиво наклонил седую голову:

— Оч-чень приятно, мешать не буду.

И повернулся к матери:

— Где помещение Павла Тыркова?

Сняли лампу с кухонной стены, оставили постояльцев впотьмах, пошли за перегородку. Инспектор с трудом пролез меж сундуком и стеной, сел у столика около щелявого окна, побарабанил пальцами. Испуганные светом тараканы суетливо побежали по стене, по столу, один с перепугу упал на книжку, перевернулся на спину, забарахтал отчаянно лапками.

— Тараканы!—изумился инспектор и внушительным щелчком швырнул таракана к двери.

— Так точно, ваше превосходительство,—жалко улыбнулась мать.

— Вы поставили бы лампу, присядьте,—пригласил инспектор, показывая на сундук.

— Оа висячая, гвоздочка здесь нет, ваше превосходительство. Не извольте беспокоиться.

Мать с лампой в руках, щурясь от света, тревожно и выжидательно смотрела на гостя.

— Дай лампу, садись,—сказал хмуро Павлуша.

Мать села на сундук боком, подобрав платье, чтобы ненароком подолом не коснуться чистой шубы инспектора.

— Как же вы так, без лампы тут?—строго спросил инспектор Павлушу.—Уроки, например?

— В кухне, у нас общий свет.

— М-мм, это вредно, развлекает. М-мм, книжки! Какая это книжка?

Инспектор двумя пальцами взял верхнюю книжку из стопки книг, взглянул на обложку и поморщился:

— М-мм, такую не рекомендую. Рано и потом Чернышевский, это... это с идеями, которые... которые... м-мм...

Инспектор сделал пальцем кружок в воздухе и добавил, показывая на свой лоб:

— Вот здесь туман с таких книжек. Понимаете?

Он галантно наклонился к матери:

— Я отвечаю за своих питомцев и обязан... вы понимаете? Конечно, навещать воспитанников трудно в моем возрасте. Например, к вам из города — дистанция, а? Но долг совести и единственное желание — польза. Вы позволите эту книжку?

— Спасибо, ваше превосходительство, — растерянно пролепетала мать и робко взглянула на сына, который чуть заметно, ей понятно, сдвинул темные брови.

— Можно, Паня, книжку?

— Можно, — ледяным тоном ответил Павлуша и приклеил презрительный взгляд к лицу инспектора, который с усмешкой смотрел в его сторону.

— Покорно благодарю.

Инспектор кивнул матери головой, просмотрел остальные книги, вздохнул и поднялся.

— Ну-с, пора. Оч-чень рад познакомиться. Тесновато у вас и... и... запахи. Главное, табак. Но что поделаешь с постояльцами, не правда ли?

Светя лампой, Павлуша вышел из каморки, пятясь, за ним мать, боком, придерживая подол, потом инспектор. В кухне инспектор вдруг, как бы что нечаянно вспомнив, обратился к матери:

— А скажите, почему Тырков восстанавливает воспитанников против неугасимой лампады на мосту? Она ему мешает?

— Нет, не мешает, — с вежливой улыбкой ответил Павлуша. — Я живу в Заречье, часовня в городе.

— Па-а-азвольте, я не с вами говорю! — вспыхнул инспектор. — Мне известно, что Тырков агитирует против лампады.

— Неправда, Николай Петрович, — холодно возразил Павлуша. — Меня спрашивали товарищи, почему Заречье не любит Ильинскую часовню?

— Н-ну? Что сказал Тырков товарищам?

— Я сказал, что лампада горит в честь избиения зареченских городскими лабазниками. Это неприятно Заречью.

— А вам?

— Меня там не было, ответил Павлуша.—Там били моего покойного отца.

— И меня били, ваша светлость,—вскочил Антон из за стола.— Ох, и били же, ваша светлость. Гирьками, кистенем, прутом железным нас били городские. Вот прощупайте ебра, ваша светлость. Двух ебров нету у меня, городские выбили.

— Извините, мне некогда,—торопливо отстранился инспектор от старика, который подошел к нему и задрал подол латаной белыми заплатками синей рубахи.

— Моя обязанность предостеречь,—с печальной улыбкой обратился инспектор к матери.—При таких взглядах ваш сын рискует... понимаете?

VIII.

В обычное время, в семь часов вечера, Павлуша нажал пуговку звонка около медной дощечки, на которой вырезано:

«Архитектор Дмитрий Алексеевич КУТЕЦКИЙ».

Горничная открыла дверь, Павлуша разделся и, стуча по паркету тяжелыми сапогами, прошел в комнату, где занимался с сыном архитектора.

Гимназиста не было в комнате. На его месте сидел отец.

— Костя дома?—спросил Павлуша, здороваясь.

— А вот сейчас поговорим о Косте,—сказал архитектор и протянул золотой портсигар:—не угодно ли?

— Не курю,—поблагодарил Павлуша.—Где же Костя?

Архитектор задумчиво провел ладонью по пышной седой бороде, рассеянно посмотрел в окно и вздохнул:

— Конечно, неприятно, но что поделаешь. Интересы сына самое главное. Не правда ли?

Павлуша недоумевающе взглянул на архитектора. В чем дело?

— Вы меня, конечно, извините, но—согласитесь—в моем положении поступить иначе нельзя,—продолжал архитектор грустным тоном и,

не замечая вопросительных взглядов Павлуши.—Конечно, юность опрометчива и, так сказать, мало рассуждает. Но—согласитесь—я имею право на некоторое уважение. Не ожидал! Не ожидал, уважаемый Павел Васильич. Такой солидный, почтенный юноша и эдакое легкомыслие!

Архитектор горестно покачал головой и опять вздохнул. Павлуша спросил:

— Чье легкомыслие, Дмитрий Алексеевич?

— Ваше, Павел Васильевич,—ответил архитектор и добавил:—не ожидали?

— Не ожидал,—сознался Павлуша.

— И я не ожидал,—снова вздохнул архитектор.—Доселе думал, что мое детище заслуживает только похвалы.

— Костя хороший мальчик,—заметил Павлуша.

— Впрочем, насильно мил не будешь,—продолжал архитектор, не обращая внимания на слова Павлуши.—Но почему вы хотите непременно взорвать мое детище? Ведь, это же—согласитесь—варварство!

— Я? Взорвать ваше детище?—изумился Павлуша.

— Да, к сожалению так,—кивнул головой архитектор.—Мне это точно известно. Вот почему я решил с вами расстаться. Конечно, это неприятно, но—согласитесь—вам неудобно продолжать уроки с Костей при ваших чудовищных планах. Итак...

Архитектор встал со стула и с убитым видом сказал:

— Прощайте. Повторяю, не ожидал. Говорят, с человеком надо пуд соли съесть, чтобы его узнать. Впрочем, я отлично понимаю. Вы заречeнский. Что может быть хорошего из Заречья! Но—предупреждаю—я приму все меры к охране. Завтра же поеду к полицеймейстеру с жалобой и буду просить...

— Да кто вам сказал, что я собираюсь убить вашего сына?—перебил Павлуша сердито.—С ума что ли я сошел?

— Только этого не хватало!—воскликнул архитектор, подняв руки к потолку.—Убить мальчика за то, что он вас боготворит! Не про сына речь, сударь мой. Я говорю о часовне, которая построена мной на мосту. Чудесная часовня! Великолепная часовня!

— Опять часовня,—горько усмехнулся Павлуша.—Не везет мне с вашей часовней, Дмитрий Алексеевич.

— Потому и взорвать хотите?—холодно спросил архитектор.

Павлуша подумал и спокойно ответил:

— Не собирался. Но следовало бы взорвать.

— Это почему же?

— Потому что она построена на крови нашего Заречья.

IX.

Расставшись с архитектором, Павлуша увидел на улице его сына, который поджидал репетитора на углу. Маленький гимназист в одной курточке дрожал на холодном осеннем ветру. Смотря на Павлушу восторженными глазами, он зашептал:

— Павел Васильич, идемте скорее в переулок. Я скажу вам очень важное

— В чем дело?—спросил Павлуша, когда они вошли в темный, глухой переулок.

— Вам нужно бежать,—начал гимназист таинственно.—Вчера у нас в гостях были Сухая Пастила с женой, Кубарь и Скворешня. Скворешня рассказывал, как он был на вашей квартире. Он говорил, что вы живете вместе с каторжником, какой то старик с перебитыми ребрами... Сухая Пастила советовал папе отказать вам от уроков. Про вас будут обсуждать в педагогическом совете. А Кубарь по секрету передал сестре, что вы хотите часовню взорвать динамитом. Сонька выболтала сегодня папе и папа хотел жаловаться полиции. Ужасно рассердился. Верно, что вы хотите взорвать? Давайте вместе взрывать, а?

— Не болтай глупостей,—обрезал Павлуша.—Врет твой Кубарь.

— И вовсе Кубарь не мой,—обиделся гимназист.—Терпеть не могу мерзавца.

— Иди домой, простудишься.

— Наплевать... Павел Васильич, я за дверью слушал, как вы с папой. Возьмите меня с собой в Заречье. Я из дома убегу. Можно к вам в гости ходить?

— В гости ходи, а убегать из дома не велю,—дружески сказал Павлуша.—Ну, пора. Некогда мне. В другой раз потолкуем.

Костя обеими руками крепко сжал протянутую руку. Павлуша побрел к Заречью.

X.

Потеря урока была тяжелым ударом, но об этом он не горевал. Он привык к нужде.

Угнетала другая мысль. Очевидно, гимназическое начальство против него замышляет недоброе. Значит, прощай надежды матери на лучшую жизнь. Не для Заречья она.

Павлуша вздохнул, поднял голову и пристально взглянул в сторону Заречья.

Багрово-желтая пелена исполинским змеем раскинулась над Заречьем, которое глухо гремело машинами, стонало, охало. Тысячи фабричных огней сторожат десятки тысяч пленников багрового змея, железными цепями нужды, скованных в каменных застенках. Пленники изнемогают в смертельных объятиях безжалостного змея. Ради чего так живет Заречье?

Тусклый свет мигнул справа. Павлуша повернул голову и увидел пророка Илию в золотом окладе. Дорогие бриллианты разноцветом мерцали, зажженные огромной лампадой на толстых золотых цепях. Павлуше почудилось, что нарядный старик ухмыляется хитро в серебряную бороду. Павлуша вздрогнул и вдруг, сцепив зубы от непонятного бешенства, наклонился к мостовой, срывая ногти и кожу на пальцах начал выдирать из мостовой камни и в исступлении метать ими в лампаду, в голову старика. Потом сбежал вниз, к реке, и большими скачками скрылся в темноте.

На мосту крики прохожих, перепуганных звоном стекол. Тревожный свисток. И возбужденные голоса.

— Лампада погасла!

Дм. Семеховский.

В Ярославле.

Когда в «Рабочий Край» пришло известие о взятии Ярославля красными войсками, редактор Воронский спросил нас:

— Кто хочет поехать в Ярославль корреспондентом от нашей газеты?

Все молчали.

— Товарищ Семеновский, хотите?

Предложение было заманчиво.

Но так как я великий трус, то я подумал:

— А что, как в Ярославле не все еще утихло?

Однако, золотой июльский день так жарко горел и плавился за окошками, так убедительно звал из прокуренных комнат на волю, что страх мой пропал, растворился в этом золотом сияньи.

— Ладно, — сказал я. И прибавил:

— Только хорошо бы поехать вдвоем...

— С вами поедет Ладоха, — решил редактор.

Ладоха был молодой коммунист, имевший веселый нрав, мягкий хохлацкий выговор и шинель с погонами защитного цвета. Из-за этих погон даже вышло маленькое приключение, но о нем будет рассказано ниже. В царскую войну Ладоха был подпрапорщиком. С ним я не боялся.

Вечером я шел к Ладохе, чтобы вместе отправиться на станцию. Я уже мечтал о том, как приеду в Ярославль и там напишу стихи, которые дам в газету. Стихи начну так:

«Скажи — Ярославль — и в душе загудит
Торжественный благовест медный...»

Под стихами подпишу: «Ярославль», число, месяц и год.

Ласковый вечер нежил ивановские улицы. По бурылинским аллеям гуляли парочки. Сладко дышали зацветающие липы.

Однако, мои поэтические настроения скоро прошли. Небо заволоклось облаками. Пошел дождь. И когда мы с Ладохой, скользя по лужам, подходили к вокзалу, я горько упрекнул себя, что понадеялся на вёдро и не надел калош. Но возвращаться домой было уже поздно.

О времени отправления поезда в Ярославль на станции никто не знал. Мы запаслись терпением и стали ждать.

Утром 23 июля 1918 года к Ярославлю идет первый за все две недели осады пассажирский поезд, набитый беженцами с их имением и красноармейцами. Мы тоже едем с этим поездом.

В вагонах — хмурые лица, негромкие разговоры. Кто-то испуганно рассказывает, что в городе происходят расстрелы, что от снарядов едва ли уцелела 1/4 часть Ярославля. Слушатели ахают, вздыхают, качают головами.

В окна льется серый, пасмурный рассвет. Небо затянуто облаками. Я грустно смотрю на свои ноги в поношенных штиблетах, отвожу глаза, направляю их на бегущие мимо леса, поля, деревеньки и стараюсь думать о Ярославле.

В Нерехте пассажиры платят по рублю за пропуск до ближайшей станции. На ближайшей станции берут билеты до следующей остановки. Здесь я встречаю знакомого. Это — Васька, парень из моего родного села. На нем серая шинель и фуражка с красной лентой.

Васька сообщает, что пробирается из Ярославля домой и хвастает тем, как отрезал у убитого священника палец, чтобы снять с него золотое кольцо.

— Ну, а что теперь в Ярославле?

— Все затихло, — говорит Васька.

Мы снова едем. С билетами, выданными до следующей остановки. На этой остановке билетов не выдают. Мы показываем начальнику станции свои мандаты, но это его не трогает и он упорно твердит свое:

— Не могу... нельзя... не приказано...

Садимся в вагон и, уплатив железно-дорожной прислуге поезда соответствующую дань, благополучно едем до самого Ярославля без билетов.

Наконец, после целого ряда обойденных препятствий, мы попадаем на ярославский вокзал, запруженный пассажирами.

Весь вокзал жарко цветет от алых и пунцовых лент, нацепленных красноармейцами на каски, фуражки и рукава курток. Какая-то бесшабашная и грозная удаль захлестнула всю эту толпу. Жизнь — копейка!

Сквозь суматоху пробираемся к выходу.

Нас встречает унылое, обложенное облаками небо, мелкий, как сквозь сито, дождик сеется на разгрязненную мостовую. Все имеет самый простой будничный вид.

Мы страшно удивлены и разочарованы.

— Где же разрушения?

В самом деле, улица совершенно нетронута. Дома нисколько не пострадали. Чайные и мелкие бакалейные лавченки торгуют, как-будто не произошло ничего особенного.

От прохожих узнаем, что разрушения следует искать далее, за рекой Которослью, ближе к центру города.

Привокзальная же часть Ярославля находилась вне орудийного обстрела и потому уцелела.

— Здесь что!.. Здесь был рай, — говорит спрошенный нами человек.

— А за Которослью — ад. Да, и какой ад-от!..

У моста через Которосль стоит патруль.

Часовой просматривает наши документы и пропускает нас дальше.

Внизу на берегу Которосли, раскинув руки, лежит ничком труп. Судя по платью, это какой-нибудь мастеровой или рабочий. Его мочит дождь.

С моста видно, как на седой голове, подобно металлической каске, тускло поблескивает плешина. Вероятно, покойный пришел к реке за водой, как известно, красной артиллерией был разбит городской водопровод, разрушение которого отозвалось на жителях очень тяжело. Приходилось ходить за водой под свинцовым дождем. И часто за глоток воды осажденные платили жизнью.

Отсюда начинается разгром.

Вывороченные из земли и поваленные в грязь телефонные и телеграфные столбы.

Порванная, перепутанная проволока железной паутиной висит в воздухе, ползет по земле, вьется на трамвайных рельсах, на асфальте тротуаров. В ее причудливом кружеве путаются ноги, приходится ступать очень осторожно, чтобы не попасть ногой в проволочную петлю.

— Окоп, — указывает Ладоха на глубокую ломаную канаву.

Она прорыта перпендикулярно к тротуару, возле белого здания, вся стена которого исковыряна пулями.

Расплющенные, раздавленные, они валяются на тротуарах и сидят в глубоких гнездах расщепанных телеграфных столбов.

Ладоха подбирает эти свинцовые лепешки и кладет в карман.

— Надо показать нашим товарищам в «Рабочем Крае», — говорит он.

Я тоже нахожу измятый револьверный патрон. Ладоха, как человек компетентный в военном деле, берет у меня патрон, рассматривает его и говорит:

— От браунинга...

Потом кладет его в карман. Мне обидно. Чорт возьми, я тоже хочу иметь что-нибудь на память об Ярославле. Однако, это не ссорит нас и мы продолжаем дорогу вместе.

Разрушенные снарядами развалины местами еще дымятся. Раздробленные главы соборов, зияющие провалы в стенах зданий... Отсюда начинаются руины и тянутся на протяжении всего города.

— Товарищ, это что за фабрика? Вон там, где одни стены?

— Это не фабрика, Вахрамеевская мельница, — хмуро объясняют нам.

И снова пошатнувшиеся столбы с разорванными и перепутанными волосами проволоки, сожженные груды мусора, камней и острых осколков разорвавшихся снарядов.

У тротуара в канаве, заражая воздух смрадом, гниет труп лошади.

Спасский монастырь...

Это тот самый монастырь, в библиотеке которого когда-то был найден бесценный памятник древне-русской литературы — «Слово о полку Игореве».

От монастыря остались одни опаленные огнем стены с огромными брешами, в которые, кажется, свободно проедет запряженный тройкой экипаж.

Древние, поросшие травою и белыми цветами стены, стоявшие десятки и сотни лет, теперь расколочены, размолоты тяжелыми молотами орудийных выстрелов.

Блуждая по грудам кирпича, стекол и развороченного гремучего железа, осматриваем разрушения.

— Какой разгром!

Громадные пробоины зияют в изувеченных башнях церквей. Вдребезги разбиты стекла, размочалены оконные рамы. Снесены снарядами главы, столько лет сиявшие над Поволжьем.

На одной из них облетело все железо, решетка же главы сохранилась. Глава похожа на голый череп. В куполах зияют пробоины. На обнажившихся известковых стенах, как кровавые раны, краснеют разбитые выстрелами кирпичи.

В монастыре — четыре церкви. Из них больше всех пострадала Крестовая. Церкви подверглись обстрелу потому, что на некоторых из них находились пулеметы белогвардейцев.

На дворе грудами валяется церковная утварь: серебряные подсвечники, чаши, громадные иконы в тяжелых киотах.

Среди руин, как черные тени, бродят монастырские священники в темных рясах.

— А и сильно же разгромлен монастырь! — обращаемся мы к монаху, с лицом — булкой, чтобы завязать беседу.

— Да, — вздыхает он, — камня на камне не осталось...

— Что же, здесь, очевидно, были белогвардейцы?..

— Да, были...

— И много?..

— Нет, всего 59 человек.

— Ну, а вас не заставляли стрелять?

— Нет, у нас вся братия во время обстрела сидела по подвалам. Они пришли к нам, как разбойники, — револьверами нам угрожали. Пришли, расставили на башнях пулеметы и открыли пальбу. Ну, а мы кто куда, лишь бы жизнь спасти!..

— Много пулеметов было у них? — спрашивает Ладоха.

— Штук десять...

— А нам рассказывали, что и монахи сражались...

— Нет, где же!.. Все врут, — безмятежно смотрит в наши вопрошающие физиономии монах, — я же вам говорю, мы сидели в подвалах обители.

Голос его тих и ровен, синие глаза на пышном лице — булке невозмутимы.

Между тем, как гласила народная молва, не вся монашеская братия смиренно сидела по подвалам.

По словам очевидцев, в истории ярославского мятежа были свои Пересветы и Осляби, которые, вспомнив подвиги Троице-Сергиевских иноков, воспылали ратным духом и сражались против рабоче-крестьянских войск. Новые Пересветы и Осляби работали при белогвардейских пулеметах и потом, захваченные победителями в плен, расстреливались...

Впрочем, вопрос об участии монахов в Ярославском восстании до их пор окончательно не выяснен. Вскоре после подавления мятежа в дной из столичных газет было помещено оффициальное сообщение, в ко-ором участие духовенства в ярославском бунте отрицалось.

Моросит дождь мелкий, унылый.

Но что нам, какой-то там дождь. Я даже забыл о своих ботинках храбро ступаю по лужам, по грязи, по грудам битого кирпича и чу-унных осколков.

Мы ходим по лестницам и комнатам почтамта, который был цита-елью белогвардейцев. Рассматриваем разрушения, произведенные красной ртиллерией. Да, ярославской почте досталось. В нее попало около 30 нарядов. Разговариваем с какими-то людьми. Потом опять без устали пуждаем по улицам.

Забор.

На заборе мокнет воззвание:

«В борьбе обретешь ты право свое».

«Братья крестьяне!

«Власть большевиков-насильников в гор. Ярославле свергнута.

«Насильственным образом в октябре месяце прошлого года больше-ики захватили власть в свои руки и разогнали Всенародное Учредитель-ое Собрание. Большевики уничтожили все завоевания февральской рево-юции, отдали страну на растерзание германскому империализму, обрекли арод на голод.

«Братья крестьяне! Настал решительный час борьбы с насильниками, ахватчиками власти!

«Во многих городах Поволжья под флагом борьбы за Всенародное редительное Собрание поднялся весь народ, крестьяне, рабочие и другие ассы населения и свергли власть большевиков. В гор. Самаре уже обра-овалась стотысячная добровольческая армия. Очередь пришла подняться всему населению Ярославской губернии.

«Ярославский Губернский Комитет партии социалистов-революционе-ов призывает вас записываться в ряды Северной Добровольческой Армии и разовывать свои крестьянские отряды! Не откладывайте ни одной минуты!

«Спешите все стать на защиту родины и свободы! Нашими лозун-ами должны быть: борьба за передачу всей власти законно-избранному редительному Собранию!

«На местах должны быть восстановлены демократические Земства и ородские Думы.

«Власть насильников повсюду должна быть свергнута и заменена одлинною Общенародною властью.

«Товарищи крестьяне!

«Все на борьбу, все к оружию!

«Только завоевав единую свободную демократическую Россию, тру-овой народ может осуществить свое право на землю и волю!

«Ярославский Губернский Комитет
партии Социалистов-Революционеров».

Ладоха бережно отклеивает воззвание от забора, что ему удается без особенного труда, свертывает его и сует в карман.

Отклеивает он и висящее по соседству «Извещение № 3», которое гласит:

«В штабе имеются точные сведения о подходе к Ярославлю сильных подкреплений из регулярных войск... В уездах все больше и больше разростается восстание крестьян, по точным сведениям в 3-х уездах свергнули и свергают власть большевиков... По донесениям из волостей, в настоящее время к Ярославлю массами подходят крестьянские повстанцы»...

Много встречалось нам по дороге всевозможных белогвардейских воззваний, объявлений и приказов. Все это Ладоха снимал и совал в карманы шинели. Скоро они уже топырились от размокших клочьев испачканной клейстером бумаги. Ладоха был доволен.

— Ого, — улыбался он, — есть что привезти в Иваново!.. Урожай богатый!..

Навстречу нам попадались небольшие группы солдат. Широчайшие алые ленты, большущие пунцовые банты так и горели. Красноармейцы высматривали настоящими победителями. Но на нас они поглядывали почему-то довольно косо.

— Смотрите, — указал Ладоха, — вон везут пулемет...

Я, человек невоенный, и пулемета никогда не видал. Теперь я с интересом стал рассматривать это грозное оружие, которое тащили по мостовой два-три красноармейца.

Вдруг к нам подошел человек с решительным лицом и с красной лентой на рукаве. Молча он обнажил штык-нож и сверкнул им над Ладохой.

Не успел я как следует испугаться, как красноармеец ловко срезал Ладохины погоны, а потом сказал:

— У нас, товарищ, эти штуки не носят. Вы приезжий?

— Да, мы из Иваново-Вознесенска... от газеты... Спасибо, товарищ!..

Только тут догадался я, почему мы были мишенью подозрительных взглядов...

Группа красноармейцев ведет партию арестованных. Тут люди всяких сословий и возрастов. Есть безусые гимназисты, есть и седобородые старики, есть женщины и даже один священник в фиолетовом полукафтаньи.

— Не знаете ли, куда их ведут? — спрашивает кто-то из прохожих.

— Известно куда... в Коровники, — слышно в ответ.

Коровники — это местная тюрьма.

— Там разберут, кто чего стоит... Которых, може, отпустят, а которых за вал — и готово...

«Вал» — это местная Голгофа, место расстрелов.

— Скажите, почему это батюшку арестовали? — тревожно вопрошает прохожих какая-то барышня.

— Почему батюшку ведут?

Пожилая женщина, причитая, бежит за партией. Желтые костлявые руки ее тянутся вперед, словно пытаясь остановить арестованных, воротить их назад.

Ситцевый ее платок, горошком, сбился на сторону.

Красноармеец отгоняет бабу:

— Уйди, мать! Уйди! — замахивается он прикладом, — плохо будет!..

Встречные красноармейцы хватают женщину и уводят ее за собой. Но еще долго до наших ушей доносятся ее вопли, причитанья и проклятия.

Мы идем за арестованными и незаметно для самих себя оказываемся впереди стражи.

Когда мы пытаемся свернуть в переулок, раздаются окрики конвойных:

— Стой! Вы куда?

Объясняем, что мы вовсе не арестованные, а свободные граждане славного города Иваново-Вознесенска, сотрудники газеты «Рабочий Край».

Нам не верят.

Показываем документы, и только после этого нас отпускают.

Множество складов представляет из себя обугленные развалины.

Рыжеватый человек торгового вида блуждает среди дымящихся руин и что-то ищет. Мы подходим к нему и начинаем разговор.

— Лавку свою ищу, — говорит торговец, — только вот места узнать не могу. То-ли здесь была моя лавка, то-ли дальше... Как корова языком слизнула... Товару погибло много...

Приведена в полную негодность фабрика тертых красок Вахрамеева, громадная спичечная фабрика Дунаева, табачная фабрика его же и др.

Уничтожена Духовная Семинария, где было гнездо белых мятежников.

Разрушена электрическая станция.

Сильно пострадал со стороны Волги театр имени Волкова.

Истреблена одна из лучших в России библиотек.

От Демидовского Лицея уцелели лишь жалкие остатки. Совершенно снесена кровля. С закопченных, продырявленных стен клочьями висят измятые листы кровельного железа. Лепные украшения белых колонн превращены в пыль и осыпались на землю. Самые колонны едва держатся на железных стержнях, грозя развалиться. Сквозь пустые зияющие окна с разможженным деревом рам видны жалкие остатки комнат и следы загроможденной камнями, балками и железом лестницы, которая вот-вот с громом рухнет вниз. Обстреливать Лицей было чрезвычайно удобно: он стоял как раз «на юру» и смотрел окнами в заволжские голубоватые дали.

Ходить среди лицейских развалин страшно: того гляди, вся эта бесформенная куча камней упадет и погребет нас под собою.

— Уйдем! — зову я. И мы покидаем то, что когда-то было Лицеем.

Развалины, развалины и развалины. Есть целые мертвые улицы, где дома немы, как гроба. Зато какой страшный гром был в них только день тому назад. Теперь же — пустота, немота и черные зияющие провалы.

«Склад табачных и бумажных товаров акционерного о-ва Дунаева», «Гостинница Вена», — с трудом читаем мы на темных, как старинные иконы, закоптелых вывесках исковерканных зданий.

«Рестора . . . троград». Середина вывески вместе с кирпичами стены вырвана снарядом.

Разбрызгивая грязь, по городу стремительно проносятся ревучие автомобили красноармейцев. Они — хозяева города.

Все разрушено, на всем следы разгрома, во всех случайно уцелевших строениях выбиты стекла, но жизнь уже налаживается, входит в свою колею.

Раздробленные пролеты окон зашиваются тесом. У продовольственных лавок вырастают хвосты.

У штаба начальника гражданской милиции, где также помещается и адресный стол, длинной змеей растянулась вереница лиц, еще не зарегистрировавшихся после подавления мятежа у новой власти.

По улицам тянутся подводы, нагруженные добром беженцев, приютившихся на время осады в окрестных деревнях.

Многие из них не могут найти места, где стояли их дома. Многие потеряли семьи и близких людей.

Набережная.

С нее открывается обширный вид на пустынный простор Заволжья.

Там — Тверицы.

За пологом дождя видны спаленные пожаром красные деревья, черные остатки строений.

Там также шла борьба между белыми контр-революционерами и красной вольницей рабоче-крестьянских войск.

Там также все разрушено нашей артиллерией, а что уцелело от снарядов, истреблено огнем.

Мало, что осталось от двухнедельной осады.

Самая Набережная вся изрыта окопами, блиндажами и изверчена воронками от ужасных гостинцев, посылавшихся городу из шистидюймовых орудий.

Колючие проволочные заграждения. Баррикады из телеграфных столбов, садовых скамеек, мешков с песком и каменных плит. Размочаленные, пополам перебитые деревья. Все говорит о том, что здесь только-что шла упорная борьба двух лагерей.

Из блиндажа в блиндаж по земле тянется проволока телеграфных проводов, которыми белые пользовались для сношения между собою. На песке валяются ящики из-под пулеметных лент и патронных обойм. Разбросаны расплющенные пули и осколки шрапнели.

В массивной чугунной решетке, окаймляющей гору, которая спускается к Волге, зияют пробоины. Тяжелые куски решетки, вырванные снарядами, валяются тут-же.

Дождь прошел.

Проглянуло солнце. Сильно и сладко запахло медом расцветших лип.

Глядишь на вспыхивающую синими огнями мать-Волгу, на голубоватую, туманную даль заволжскую и душа не хочет верить, что только третьего дня здесь бухали орудия, рвала воздух дробь пулеметных и ружейных выстрелов и люди расставались с жизнью.

И только выжженные Тверицы, продырявленные барки у берега Волги и каменный хаос прибережных улиц напоминает о кровавых ожесточенных боях, происходивших здесь.

Мимо нас проходит тщедушный человек с испитым лицом, по наружности мастеровой. Останавливаем его и заводим разговор. Он нам рассказывает:

— Да, делов здесь было много... Приняли страху... Нам во время осады работать пришлось. Пекаря мы. Хлеб-от за всякое время нужен, ну, стало-быть, и пришлось нашему союзу работать в хлебнях и пекарнях. Вот страсти-то натерпелись... Беда!.. А что только в городе эти белые гвардейцы творили, — и не расскажешь всего-то... Безчинничали, грабили, расстреливали...

Зелеными липовыми аллеями идем дальше. В аллеях, как в лесу после грозы, расщепленные и поваленные на песок деревья, безобразные ямы...

У здания Волковского театра грудами лежат отбитые у врага трофеи. Сложены целые поленницы из винтовок, насыпаны горы патронов и тускло светится трехдюймовая пушка.

— Не знаете ли, товарищ, сколько было у белогвардецев орудий?

— Не больше двух, — отвечает приставленный к добыче солдат, судя по акценту, иностранец. (Среди красных войск, осаждавших Ярославль, был полк латышей).

Опять льет дождь. По улицам стремительно текут пенистые ручьи.

Пленные германцы, помещенные в театре Волкова, выбегают под дождь и полощут в ручьях свое белье. Подставляют под водосточные трубы чашки и ведра. Разрушенный городской водопровод не работает, поэтому дождь для ярославцев настоящее благодеяние небес.

Нам-же дождь надоел порядочно. Чтобы укрыться от него, заходим в театр и вступаем в разговор с пленными.

— Страшно было во время осады?

— О, ja, — мешая немецкие слова с русскими, — отвечает высокий бледный немец, — страшно.

— Вы не можете себе представить, что мы пережили за это время, — говорит маленькая хрупкая немка, доверчиво поднимая на нас незабудковые глаза: — Белогвардейцы вели себя, как разбойники. Они насильно вооружали людей и с револьверами в руках заставляли их сражаться. Да вот, например, арестовали нескольких китайцев и три дня продержали их в заключении. А потом выдали им оружие и один из этих китайцев был приставлен к нашим пленным...

На улице хлещет настоящий ливень, шумит по крыше и стремительно убежит в рукава водосточных труб.

Мне уже не хочется ходить по городу, я устал и проголодался.

— Белые и наших, германцев, вооружили,— рассказывает женщина,— как только наши получили в руки оружие, так и разоружили белых. Тогда красные и вошли в город...

По мере наших встреч и разговоров, ярославская эпопея становится для нас все яснее и яснее.

Красные ткачи должны знать ее: она свинцом и сталью написана на телах их товарищей, павших под твердынями Ярославля.

Основной кадр восставших в Ярославле составляли бывшие офицеры, к которым потом примкнули студенты и гимназисты из купеческих сынков и падкий на деньги сброд. Деятельное участие в подготовке мятежа принимали артисты «Интимного» театра, из среды которых выделилась особенно артистка Барковская. Первоначальное активное ядро было очень немногочисленно, не более 200 человек (а может быть и значительно меньше). Энергичными участниками восстания были также и служившие в советских учреждениях, главным образом, бывшие офицеры, например, заведующий механической частью Арчаков, инструктор Супонин, комиссар летучего отряда милиции Баранов, который даже числился в организации большевиков. После первых же действий этот белогвардейский скелет оделся плотью и кровью из массы, враждебной власти советов: контр-революционного мещанства и просто темных элементов. К восстанию примкнули правые с.-р. и меньшевики.

Восстание началось рано утром 6-го июля. Активной группой контрреволюционеров сразу же были произведены захваты советских учреждений, почты и телеграфа, разоружение милиции и аресты. В первый же день было арестовано около 200 человек. Характерно, что из арестованных советских деятелей в первую голову были расстреляны советские работники — евреи. Да и обращение с остальными арестованными носило очень определенный характер. «Жидовские морды» было обычным окриком.

Скоро более половины арестованных было выпущено (отпустили милицию), осталось около 90 человек. Их заперли в барже на Волге. Там арестованные пробыли 13 дней и за это время им дали 4 раза по маленькому кусочку хлеба. Часть арестованных была отобрана для расстрела, но расстрел отложили, ибо уголовная милиция, которой приказали расстреливать, отказалась это сделать. Воспользовавшись ослабленным надзором, арестованные бежали вплавь через Волгу, причем двое утонули и четверо были ранены выстрелами, открытыми по бежавшим.

В распоряжении восставших оказалось оружие, пулеметы, орудия и 2 броневых машины. Один из броневиков принадлежал автопулеметному отряду, часть команды которого передалась на сторону белогвардейцев. Тов. Марин, пытавшийся противодействовать изменникам, был тяжело изранен. Этот броневой автомобиль был особенно полезен восставшим. Очевидно также, что в городе были скрытые запасы бензина, потому что Совет нуждался в бензине, а с переходом власти к белогвардейцам недостатка в нем не ощущалось и автомобили мятежников то и дело катались по городу.

Первое сопротивление мятежникам было оказано 1-м Советским полком, латышами и Новгородским полком. Красноармейцы 1-го Советского полка, который находился за рекой Которослью, установили на вокзале у Коровников артиллерию и открыли по городу огонь. Латыши и Новгородчане действовали со стороны Всполья.

В первые же два дня — 6 и 7-го июля, штабом контр-революционеров был издан ряд приказов и воззваний.

В приказе № 1-й, начальник белогвардейцев, полковник Перхуров объявляет о вступлении своем в командование вооруженными силами Северной добровольческой армии, находящейся якобы под верховным командованием генерала Алексеева, и в управление гражданской частью города Ярославля, а также о введении военного положения. В приказе № 2-й, помощником командующего по гражданской части назначается Черносвитов, членами управления А. М. Кизнер (кадет) и И. Т. Савинов (меньшевик). Приказами № 3 и 4-й, все офицеры принудительно призываются на военную службу.

Тогда же было выпущено следующее воззвание к населению:

«Граждане!

«Власть большевиков в Ярославской губернии свергнута. Те, кто несколько месяцев тому назад обманом захватили власть и затем путем неслыханных насилий и издевательств над здоровой волей народа держали ее в своих руках, те, кто привели народ к голоду и безработице, восстановили брата на брата, разделили по карманам народную казну, теперь сидят в тюрьме и ждут возмездия.

«Люди, свергнувшие эту власть, имеют своей целью установление форм широкого государственного народоправства. Народное собрание, законно и в нормальных условиях избранное, должно создать основы государственного строя, установить политическую и гражданскую свободу и на точном основании закона закрепить за трудовым крестьянством всю землю в полную его собственность.

«Как самая первая мера, будет водворен строгий законный порядок, и все покушения на личную и частную собственность граждан, в какой бы форме это не проявлялось, будут беспощадно караться.

«Вместе с этим будут отменены все запрещения и ограничения, мешающие каждому по мере сил работать на общую пользу. Все препятствия торговле и передвижению будут устранены и к делу снабжения населения предметами продовольствия будет привлечен частный капитал.

«Долгая война и владычество хулиганов истощили народные богатства, но и до сих пор у нас еще много хлеба и по Волге и в Сибири. Чтобы получить этот хлеб, чтобы победить голод, нужен только порядок, спокойствие и трудовая дисциплина.

«Новая власть твердо будет требовать беспрекословного выполнения всех своих распоряжений и будет безпощадно преследовать всех нарушителей правильного хода работ во всех учреждениях и предприятиях.

«То, что произошло в Ярославле, произошло в тот же день и час по всему Поволжью.

«Мы действуем вместе с Сибирским и Самарским правительством и подчиняемся общему главнокомандующему, старому генералу, Алексееву. Северной армией командует старый революционер Борис Савинков. Москва окружена теперь тесным кольцом. Еще немного усилий и предатели, засевшие в Кремле, разорившие страну и морящие народ голодом, будут сметены с лица русской земли. Все, кто способен носить оружие, пусть идет в добровольческую армию. Как триста лет тому назад наши предки в высоком патриотическом подъеме сумели залечить раны растерзанной родины, так и мы в дружном порыве спасем теперь нашу родину и наш народ от позора, рабства и голода.

«Командующий вооруженными силами ярославского района Северной добровольческой армии полковник Перхуров.

«Заместитель помощн. команд. по гражд. части Кизнер.

«Член управления при команд. Савинов».

В другом воззвании сообщается:

«Все Поволжье охвачено восстанием. Победа над насильниками и свобода от большевистского рабства близка». И всем гражданам предлагается вступить в ряды восставших.

В изданном 9-го июля объявлении с призывом записываться в армию устанавливались оклады жалованья от 275 р. до 600 р. в месяц.

Сразу же образовались довольно многочисленные отряды белогвардейцев, которые и были двинуты против частей, оставшихся верными Советской власти.

Рабочий народ целиком был против мятежников и рабочим Корзинкинской фабрики было роздано оружие.

В первые же дни начались ожесточенные стычки красноармейцев с мятежниками. Последние превратили центральную часть города в крепость. Это давало возможность белогвардейцам защищаться в очень выгодных условиях. С другой стороны, у Советских войск был перевес артиллерии.

Нашими орудиями были сразу же разбиты электрическая станция и водопровод.

Штаб белогвардейцев катался на автомобилях и пьянствовал. Организацию продовольствия взяла на себя восстановленная мятежниками городская управа.

Вначале белогвардейцы снискали к себе симпатии буржуазных и обывательских слоев населения широкими обещаниями, но шло время и город очутился в положении осажденного. Начало расти общее недовольство, приходилось прибегать к подогреванию населения выдумками. Штаб выпускал особые листки с обзорами действий, которым едва ли кто верил.

С подходом подкреплений к Советским войскам явилась возможность окружить Ярославль плотной цепью красноармейских частей и открыть правильные действия против восставших. Лица, руководившие действиями со стороны Советских войск, вначале щадили город, рассчитывая справиться с засевшей в нем бандой путем атак. Но, вследствие непреступности позиций мятежников и обилия пулеметов, это представлялось трудно исполнимым. Атаковавшие несли огромные потери.

Атаки обыкновенно производились с помощью броневиков, которые, входя в улицу, обстреливали дома, а в это время красноармейцы врывались в дома и выбивали засевших там. Рукопашные бои происходили, главным образом, на левом берегу Волги.

Безрезультатность стычек ясно показала руководителям Советских войск, что, щадя город, выбить засевших в нем мятежников нельзя, да и несмотря на все усилия, избежать разгрома не удавалось. От артиллерийского обстрела возникли пожары и город горел во многих местах.

В ночь на 16-е июля атаками Советских войск был очищен левый берег Волги. Несмотря на умелое и упорное сопротивление кольцо осады суживалось. Мятежники начали сознавать безвыходность положения и пытались вступить в переговоры.

Внутри города к этому времени положение создалось самое тяжелое. Кадры мятежников таяли как от потерь, так и от полнейшего внутреннего разложения. Белогвардейцы начали насильно привлекать в свои ряды кого попало и под угрозами заставляли сражаться против Советских войск.

С усилением бомбардировки и с увеличением тягот возрастало и недовольство населения против белых. В это же время, как крысы с тонущего корабля, начали разбегаться руководители белогвардейской авантюры.

Когда открылась стрельба из тяжелых орудий, в городе началась паника. На заседании городской думы и общественных организаций было вынесено требование штабу белой гвардии войти в соглашение с Советскими войсками, чтобы прекратить разрушение города. Это требование произвело на белогвардейский штаб сильное впечатление.

20-го июля штаб действующих против мятежников войск решил посредством разбрасывания с аэроплана прокламаций предложить мирному населению выйти в течение 24-х часов к Американскому мосту, чтобы потом можно было открыть беспощадную стрельбу для уничтожения бунтовщиков.

Но прокламации эти не были распространены за неприбытием летчика, а между тем одно обстоятельство способствовало быстрой ликвидации авантюры и спасло город от окончательного разгрома и дальнейших кровавых жертв.

В Ярославле мятежом застигнуто было значительное количество пленных австрийцев и германцев, которые отправлялись на родину. Дурное обращение, которое было проявлено по отношению к ним белогвардейским штабом, обозлило их, а опасность погибнуть в развалинах города заставила активную часть выступить против белогвардейского штаба. Этому способствовало также то обстоятельство, что часть пленных была вооружена самими же белогвардейцами.

В воскресенье, 21-го июля, германцы арестовали штаб. Затем к Советскому командованию посланы были парламентеры, которые изложили сущность происшедшего. Всего в штабе было арестовано 60 человек. Остальные белогвардейцы разбежались. Сам полковник Перхуров бежал вместе с соратниками ночью, как полагают, на катере. В штабе остались,

главным образом, второстепенные, вовлеченные в авантюру деятели восстания, но были и активные мятежники.

По найденным спискам были дополнительно произведены многочисленные аресты. По постановлениям следственной комиссии были расстреляны руководители восстания и все, чье вооруженное участие являлось несомненным. Так закончилась кровавая авантюра.

— Ярославль. —

Словно колокол звучит это слово, будя в сердце отзвуки седой старины.

Ярославль.

Город с старым русским именем, богатый историческими памятниками. Крупный промышленный город Поволжья.

Он разорен, похоронен под грудами мусора, железа и камней, целые части города уничтожены красной грозой двухнедельной осады, целые улицы сметены с лица земли страшным артиллерийским обстрелом. Но зато враг раздавлен, восстание черных сил прекращено. Чтобы прекратить его, пришлось пожертвовать прекраснейшим старорусским городом. Что делать? «Революция пожирает своих собственных детей», — сказал Марат. Революция — не звонкая фраза митингового оратора, прежде всего она — разрушение. Лицо ее — смерть, а взгляд ее внушает ужас. Страшна революция, но ее завоевания благословенны.

Кровавую чашу налила Ярославлю история. Трагедия древнего города надолго останется в памяти народа, который кровью и гибелью лучших свих памятников и драгоценнейших сокровищ завоевывает свое счастье.

Ярославль! Город — жертва!

Твои руины — память о борьбе рабоче-крестьянских полков с бандой наемников, купленных за золото тунеядцами и трутнями.

— Едем в Иваново, — предлагаю я Ладохе.

Но ему не хочется уезжать так скоро. Он готов без устали шлепать ногами по грязи, мокнуть под дождем и бесконечно пополнять свою коллекцию белогвардейских воззваний новыми экземплярами.

Я хожу за ним и ною. В конце концов Ладоха сдается.

Чтобы выбраться из Ярославля, надо добиться разрешения коменданта города. Комендант во Всполье.

Связь между городом и Вспольем поддерживает паровоз, который через определенные промежутки времени ходит то туда, то оттуда.

Мы просим машиниста захватить нас во Всполье. Машинист, молчаливый, закоптелый человек, коротко бросает с высоты своего паровозного величия:

— Залезайте!..

По узким ступенькам торопливо карабкаемся наверх. Машинист трогает какие-то рычаги. Паровоз срывается с места и бежит вперед, пронзительный свисток с полминуты терзает воздух и наши уши. Мимо проносятся железнодорожные постройки, запасные составы, потом летят

обгорелые улицы Всполья. Все Всполье — гигантская обугленная головня, которая местами еще курится.

Сходим с паровоза. Долго разыскиваем поезд коменданта, пересекаем бесчисленные пути, подлезаем под вагоны, плутаем между вереницами теплушек.

Наконец находим и комендантский поезд и вагон. Бритый человек, в кожаной куртке, склонился над столом, заваленным бумагами, которые он прочитывает и подписывает. Мы излагаем ему свою просьбу. Комендант обещает отправить нас завтра с воинским поездом.

Снова блуждаем в лабиринте рельс и вагонов.

Ненастный день темнеет. Сыро и холодно.

Рваные низкие облака ползут по небу и отражаются в лужах.

Мы попадаем в вокзал 3-го класса, где и решаем провести ночь. Вокзал полон народом, шумом, окурками и плевками. Серые шинели, красные ленты, бабы с мешками затопили все пространство. В синеватом махорочном чаду тускло горит подвесная лампа. На буфете красуются съестные припасы. Красноармейцы пьют кипяток, закусывают.

В воздухе стоит беспорядочный говор.

Отвоевав себе целый диван, мы слушаем и наблюдаем всю эту толкотню, суету и разноголосицу.

— Эх, и народику на валу расстреляли, — с какой-то особенной удалью рассказывает молоденький красноармеец с пунцовым бантом на остроконечной шапке и патронной лентой через плечо: — офицеров, монахов, студентов... Поставят на вал—и готово. У многих памятные книжки находили, а в книжках записано, сколько они жалованья получали. «За такое-то число 450 рублей, за такое-то — 450 рублей...» У одного убитого генерала письмо нашли: «Дорогая Шура, поздравляю тебя с новой властью». А у других: «Папа и мама, когда вы получите это письмо, меня не будет в живых». Заранее приготовили, думали, что их письма к ихним попадут, к белым гвардейцам, ан нет...

Мы ночуем в вокзале. Ладоха уступает диван мне, а сам дремлет, присев у стола, на котором в лужах пролитого чая мокнут всякие объедки.

Ночью я просыпаюсь. Вокзал полон храпом и хрипом спящих. По полу в повалку лежат красноармейцы, мешки, бабы. Великодушный Ладоха, подложив под голову корявую березовую плаху, спит на полу возле дивана.

На другой день мы сидим на Ярославском вокзале и дожидаемся поезда. Ладоха достает карандаш, бумагу и пишет историю восстания, я же дописываю свое стихотворение.

Вдруг к нам подходит военный человек и недопускающим возражения тоном приказывает, чтобы мы показали ему свои рукописи.

Ладоха посылает его к чорту.

Вскипев гневом, незнакомец требует наши документы.

— Пожалуйста,—и мы протягиваем ему свои удостоверения.

Он просматривает их. Я наблюдаю, как меняется его лицо, как с него сходит суровость, как его растягивает конфузливая улыбка. Наконец незнакомец извиняется и поспешно уходит.

Очевидно, мы были приняты за шпионов.

Прицепленный к длинному ряду теплушек паровоз коротко и бурно дышет паром. Мы переходим от вагона к вагону и спрашиваем, где находится ивановский отряд. Никто не знает.

Три звонка.

Взбираемся на площадку товарного вагона. Лязгнув буферами, поезд трогается. Наконец-то мы едем домой!

Ладоха наклонился и смотрит, как бегут рельсы, как течет желтая река песчаной насыпи. Я разулся и с грустью разглядываю свои штиблеты. От сырости они сопрелись и почти развалились.

В Нерехте мы идем к буфету купить еды. Около буфета толпятся красноармейцы.

— Не знаете-ли, товарищи, в котором вагоне едут ивановцы?..

На этот раз судьба нам улыбается. Нам указывают вагон, мы идем туда. Ивановцы встречают нас приветливо, угощают чаем, консервами и сухарями. Среди них я встречаю знакомого. Это—крестьянин из нашего прихода; бывало он ходил к моему отцу и жестоко спорил с ним из-за треб. Революция толкнула его в партию, а партия послала под Ярославль. Мы разговариваем. Он рассказывает, как брали Ярославль, как расстреливали белых после взятия города на историческом валу.

— И вы расстреливали?

— И мы.

— А не жалко было?

— Кого?

— Белых.

— А чего их жалеть!.. Нет, нисколько не жалко...

— Как-же они держались перед расстрелом? Не трусили?

— Кто как, конешно. Но большая часть из них помирала твердо. Ожесточились все они, окаменели... Ну и мы тоже...

Мимо пробегают повитые сумерками, Ермолино, Красносельская, Строкино. Перед Иваново-Вознесенском отрядники говорят:

— Товарищи, песню!..

В потемках кто-то затягивает любимую революционную песню ивановцев:

— „Борцы идеи... труда тита-а-ны...

Кровавой би-итвы... час настает“...

Десяток—другой сильных, грубых голосов подхватывает песню. Она растет и ширится.

Поезд останавливается. Приехали!

Мы с Ладохой идем по гулким ночным улицам города красных ткачей. Улицы нежатся в голубоватом лунном сиянии. Ночь так светла, что у ног отчетливо виден каждый камень мостовой. Впереди теснятся темные городские здания, а сзади, будя тишину, под аккомпанимент равномерных тяжелых шагов гремит боевая песня:

...„Тяжкий млат,
Куй булат!
Тво-ой уда-ар
Родит в сердцах пожа-а-ар“...

КАРАНДАШОМ С НАТУРЫ.

Мих. Шошин.

Отшил.

Слесарь Синин обезбожился и попов «со славой» решил не пустить.

Ходит поп с дьяконом по рабочей слободке и чтобы скорей «охлестать» еще в сенях запоют врозь и разными голосами, как бы ругаясь друг с другом.

— «Ро-ождество-о твое Хри-исте»... А когда войдут в избу, то уж кончили—только деньги получать.

Синин же устроил такую махинацию. Запер крыльцо и двор, сел у оконца и глядит на улицу. Подошли попы, тыркаются в крыльцо—заперто. Смотрят на улыбающуюся слесареву рожу в окне и этак ласково:

— Ну, Синин, отпирай! А Синин еще ласковей:

— Незачем.

— Что ты благовестителей божьего слова не хочешь пустить?

Синин с улыбочкой:

— Не нуждаюсь.

— Безбожником, слугой антихриста хочешь быть?

Синин гордо:

— Давно и окончательно решил.

Поп увещевательно:

— Ай, ай, кто это тебя смустил?

А Синин кротко:

— Сам додумался—уж очень простая штука.

Маленький сынишка язык попам кажет и дразнится:

— Б-я-я... бе-е...

Синин шлепнул его по мягкому месту, дескать, веди себя корректней в таком важном деле.

Поп мотает головой.

— Ах безбожник, безбожник, неуж-ли отрекаешься от церкви окончательно?

— Совсем!

Поп вынул книжку:

Тогда я вычеркну тебя из списка прихожан и ты ко мне ни крестить, ни хоронить не заявляйся—живи басурманом.

Синин спокойно:

— Выхеривай, выхеривай все равно уж.

Поп провел длинную линию по середине книжки и написал что то в уголке, потом плюнул и выругался:

Сволочь... парша.

А дьякон басом:

— Издохнешь, как собака.

И покатили дальше.

А Синин глядит из оконца им вслед и смеется:

— Отшил!

Сцепя зубы.

Проборщик Решенов против религии.

Решенов обосновал свое неверие знаниями—читает много. Часто он схватывается ругаться с рабочими о религии и на фабрике, и в казарме и достаточно уж наспециализировался на этом деле. Замечательнее всего то, что доказал свое неверие на деле—женился гражданским, а в церковь венчаться не пошел.

Все рабочие уважением к нему преисполнились, потому человек выполняет, что говорит.

А на днях с Решеновым мы встретились в фабзавкоме. Он стоял хмурый, задумчивый и нервно сжимал бумажку в руке, потом подал председателю. Тот читает вслух.

«Заявление».

— «Как я теперь гражданским браком и как жена меня смаяла, просится венчаться, потому на нее гражданской не подействовал, то совершенно я, сцепя зубы, согласился на венчанье из за ее постоянного хныканья, что без венчанья любовь не крепка и чего то будто не хватает, а ежели венчаться, то попу нужно деньги платить, то прошу отпустить авансом денег в счет жалованья моего и жениного».

Бунт.

I.

— Вот, батюшка, и ложись на боковую-то кровать, тут даже от печки теплом попахивает. А эти три заняты, говорила старушка в чепце, заведующая комнатой для приезжающих, прибывшему из Отдела Труда Пискареву.

Стоит он тихий, бородатый с закрасневшимся лицом. Шапочьи длинные уши свисли, как у гончей.

— Что-ж, тут и устроимся. Чайку сорудовали бы.

— Кипяточку можно, можно...

Шикнула корзина, отправляясь под кровать. Плеснул растаявшим снегом на пол с шапки. Высморкался.

Старуха воротилась:

— А мандата али удостоверенье есть?

— Как же, как же... А какое вам—у меня ведь много?

Ходил за кипятком. Напился до распарки, до поту и развесил перед собой на руках, как на древках, газету—читать. Начитавшись уснул, закрывшись газетой.

II.

На другой день Пискарев в дирекции, в фабзавкоме, на собраньи. Много надо сделать, давно ясно и известно, да никак не развернешься, не обхватишь.

Прошелся по фабрике.

Возвращался усталый.

За подъездной дверью, в холодном коридоре запнулся.

— Кой черт! Что тут бросили?

Глядит—его корзина и сумка валяется. Остановился разрешить вопрос—«кто это выбросил».

Не придумал. В одну руку корзину, в другую сумку и заиграл сапогами по лестнице. У двери необыкновенно активная старушка.

— Нельзя вам в эту комнату—сам делехтор не велел.

Обиделся и покраснел: «что такое»?

— Потому что самой набольшой приехал из губернии... Стро-о-гай... Из тресту, чу. Делехтор так и лебезит, так и извивается перед ним.

Вскипел Пискарев: «что за безобразие, а мы то куда»?

— Не знаю, ничего об этом не говорили.

Глядит Пискарев в комнату и думается ему, что не туда попал. Вчера: грязный пол, покрытый рваной газетой стол, воздух сырой и вонючий, желтые простыни, с продухами одеяла на койках.

Сегодня: вместо четырех коек только две, белоснежные простыни, новые одеяла, на столе с красными узорами серебристая скатерть, на стенах картины.

— Кажется это не та комната?..

— Она самая. Про «него» припаслись, скоро придет.

Подошли еще трое приезжих. Заслушав доклад Пискарева обозлились.

III.

В комнате для приезжающих бунт. Все четверо во главе с Пискаревым расположились; внесли кровати и сели чай пить.

Перед ними стоит директор и каркает руганью и увещеваниями.

— Что вы, черти, скандалите, раз просят вас, значит, должны уйти. Ведь, Дудкин из треста приехал.

— Ну и черт с ним!

— Из треста Ду-удкин, а потом он за важным делом, убеждает директор.

— Мы тоже за важным делом.

— Уйдите!

— Не уйдем.

— Не уйдете?

В четыре глотки:

— Не-е-ет!

— Тьфу...

Плюнул.

IV.

После этого долго обсуждали поведение директора и решили коллективно написать в газету. Один писал, трое диктовали громко. В коридоре, растопыря руки в дохе, стоял Дудкин, за ним директор. Думали каждый свое.

Директор:

— Принесли их черти!

Дудкин:

— Принесли меня черти!

Автобиография М. Шошина.

Родился (кажется жизнь всегда с этого начинается) в развалившемся крестьянском хозяйстве, в деревне, в фабричном Вичугском районе. Окружающие картины жизни: тощий, весь сожранный фабриками лес, заброшенные в полыни, рябиннике поля—пустыри, сжатые со всех сторон фабриками и рабочими слободками; речушки вонючие, грязные и в них не вода, а нефть и грязь с фабрик, рыбешки и рака никогда не сыщешь.

А рядом раскинулись огромные колоссы—фабрики, шумные, с приказным гудком, с пьяными песнями. Фабрика взяла в руки деревню, деревня отступала и превращалась в рабочую слободку. Так у меня и свилась в жизни деревня с фабрикой, не знаю чистой фабрики и чистокровной деревни. Переплелось. И эта помесь родная мне. Всегда видится в рабочем крестьянин и в крестьянине рабочий.

И в годы революции, когда Россия была объята классовым дроблением ругалась наша «помесь» стараясь определить кто рабочий, кто крестьянин. Отец сорок лет с «гаком» отработал на Вичугских фабриках ткачем и ткацким подмастерьем, начав работать еще тогда, когда вместо громадных фабрик с четырьмя, пяти тысячами рабочих были деревянные сараи и вместо вылощенных, элегантных купцов орудовали их длиннобородатые батьки в поддевках—кулаки и староверы. Мать всю жизнь на фабрике и в поле, таком скупом, заброшенном. И все дети опять с ранних лет на фабрике. Поле обрабатывалось нерадиво, между рук, побочное дело для того, чтоб содержать скот.

Маленьким образованием я всецело обязан старшему брату Федору, который попал на фабрику одиннадцати лет и прошел адскую эксплоатацию, ужасные унижения подростка на фабрике и выпил горькую, рабочую, старорежимскую чашу до дна—убит в 16 году на германском фронте. Он то и отправил, употребив все средства, в дешевое В. Н. У., устроенное местным филантропом—купцом, не хотел, чтоб братишку жизнь встретила так же неприветно, как и его.

Прожито мало—только чуть-чуть перевалило за двадцать.

Скудное детство, учителя и сразу же буревые, революционные годы, схватка, мятель, геройство рабочих и крестьян и все, все.

В этой жизни непосредственное участие; организация, агитаторство, митинги, статьи, съезды и молодежь, молодежь. В буревые годы сварен и заквашен. Личной жизни кажется еще и не было, любовь и то какая-то неуклюжая, с юмором.

Впереди жизнь, учеба, работа.

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО.

Виктор Эрлих (Ив. Шубин).

Налет на типографию.

В конце 1906 года Иваново-Вознесенская Организация Р.С.-Д.Р.П. (б.) имела огромную нужду в агитационной литературе на предвыборную кампанию во 2-ю Государственную Думу. Необходимо нужно было напечатать плакаты, воззвания и прокламации для распространения среди населения о выборах и посылки депутатов в Государственную Думу. Ив.-Вознесенский Комитет, имея небольшого размера подпольную типографию, договорился с Шуйской организацией использовать путем налета типографию Лимонова в городе Шуе. За день до нападения получено было согласие от руководителя Шуйской организации тов. Арсения и Ив.-Вознесенский Комитет дал задание своей боевой дружине совершить нападение. На следующий-же день Ив.-Вознесенский летучий отряд боевой дружины отправился в город Шую, где встретился с тов. Арсением; была приглашена Шуйская боевая дружина. Собрались на квартире у акушерки Софии Броун, где обсуждали план нападения. Все были вооружены.

Нужно сказать, что типография Лимонова находится в центре города, и нужно было быть очень предусмотрительными, так как на углу типографии был постоянный пост городового, и недалеко полицейский участок. Нас собралось человек 10-ть. Я был начальником Ив.-Вознесенской боевой дружины, со мной приехали из летучего отряда тов. (Бодрый) Платон Воронов, тов. М. В. Большаков (Варлен) и из Шуйской боевой дружины тов. (Тараско) Н. Улитов, А. Крошилов (умер в 1910 году в каторге), Вознесенский, Арсений-Трифоныч*), Павел Гусев (умер в Владимирской каторжной тюрьме), Шуваев, (Жук) он-же Иван Михайлович Балаков—Жук повешен в Владимирской каторжной тюрьме. План был выработан такой: 1) тов. Арсений является руководителем нападения, 2) я и тов. Вознесенский должны занять посты при входе в типографию, Шуваев становится в верхнем этаже, Тараско и Крошилов, Бодрый, Жук, Гусев Павел в помещении типографии у наборщиков, печатных станков и литографских машин, Варлен был поставлен в самую контору, где требовалось только стоять у телефона и наблюдать за конторщиками и хозяином типографии. Нападение решено было сделать вечером и из квартиры выходить можно только вечером, чтобы не быть замеченным шпиками и постовыми городовыми.

---

*) Прим. редакции: Речь идет о М. В. Фрунзе.

Пришлось с 10-ти часов утра и до 4 часов вечера сидеть в квартире. Когда стемнело, тогда стали выходить по одному, и направились разными дорогами в типографию. Решено было местным (Шуйским участникам) надеть маски, так как их рабочие типографии знали в лицо. При входе в типографию, был такой порядок: я и тов. Вознесенский должны были сразу войти в парадное крыльцо типографии, а остальные по одному-двое войти через двор прямо в типографию. Во время нашего прихода к типографии, я и тов. Вознесенский пошли в парадное, но двери почему-то оказались так плотно прикрытыми, что мы сочли их запертыми и решили войти через двор с заднего хода. Я совершенно не знаком был с ходом через типографию, но все-же угадал сразу и пришел своевременно на указанное место, за мной пришли тов. Вознесенский и тов. Варлен, я встал у главного входа, сначала один, тов. Варлен прошел прямо в контору типографии, а тов. Вознесенский сначала прошел наверх, остальные товарищи в центре типографии. Тов. Арсении сразу приступил к наборщикам и заставил их делать набор воззваний, плакатов и прокламаций, в то-же время поставил около наборщиков дружинников у задних входных дверей и у окон.

Наш приход, как видно, не особенно удивил рабочих, но все-же интересно было наблюдать сцену наверху. Сначала туда вошли тов. Вознесенский в маске и за ним тов. Шуваев. Вознесенский тут-же вернулся и сообщил мне, что наверху рабочие приняли их в масках за проказников, подошли к ним близко, сначала разговаривали и говорили, что святки уже прошли, даже у тов. Шуваева хотели снять маску, несмотря на то, что он револьвер держал в упор. Я оставил внизу тов. Вознесенского, а сам побежал наверх, где увидел тов. Шуваева стоящим среди комнаты с револьвером в руке, рабочие стояли некоторые у станков и некоторые подошли к нему и смеются. Когда они увидели меня без маски с маузером в руке и с бомбой, то все опешили, попятились. Я прямо подошел к первому станку, который стоял среди комнаты, обратился к ним со словами: —«Товарищи! мы пришли в типографию, арестовали всех и заставили печатать плакаты, прокламации и воззвания о выборах в 2-ю Государственную Думу, чтобы рабочие знали, кого выбирать и кто их защитники». Рабочие сразу поняли, а некоторые изъявили желание оказать нам помощь. После этого я ушел вниз и занял свой пост. Когда тов. Варлен вошел в контору, то там находился сам владелец типографии с конторщиком. Сидели за столами. Варлен первым долгом подошел к телефону.

В конторе оружие показать нельзя было, ввиду того, что типография выходит прямо на главную улицу большим венским окном, и городовому, стоявшему на углу, видно, что делается в конторе. Поэтому тов. Варлену пришлось действовать очень осторожно. Когда хозяин задал ему вопрос: «Что вам угодно?» то получил ответ—«сядьте к окну спиной, будто со мной беседуете». Хозяин был удивлен странным посетителем и еще раз попытался узнать, что же посетителю нужно, но тов. Варлен чуть поворотился к ему боком и из кармана показал ему ручку браунинга. Хозяин сделал удивленные глаза и остался в полоборота к нему, а конторщик буркнул: «значит руки вверх». Варлен сказал—«я этого не требую». Хозяин и контор-

щик остались сидеть спиной к окну и Варлен остался у телефона. В это время я и Вознесенский стояли у главных дверей, ждали посетителей. Кто-то открывает первую дверь и вторую. Я маузер прячу за спину, бомбу в карман, предлагаю сделать то-же и товарищу. Смотрю, идет рабочий с книжкой и пакетами, я его спрашиваю, что нужно—он говорит, что идет в контору сдать пакеты и заказы. Я ему говорю, что в конторе никого нет, все ушли в типографию. Он говорит: «я видел в окно с улицы, что сидят». Я говорю, что они сию мунуту ушли в типографию. Он со мной соглашается, идет в типографию, где берут его под конвой. Через некоторое время идет еще человек и тоже в контору, я его тоже уговариваю и он идет в типографию и тоже под конвой.

Так еще несколько человек вошли. С минуты на минуту я ждал городового, который ходил греться в типографию. Но вот открывается дверь, входит еще рабочий и направляется прямо в контору, я его останавливаю. —В контору.—Зачем?—С завода заказ. Посылаю в типографию. Онупирается и говорит, что сам лично видел хозяина типографии, который стоит в конторе. Я стараюсь уговорить. И он идет в типографию, так же принимается под охрану. Только оказывается, что этот рабочий приехал на лошади и лошадь поставлена у самого окна типографии, даже не привязана.

После этого входят еще двое рабочих, которые пришли, чтобы повидать знакомых и просят вызвать. Я поручаю тов. Вознесенскому отвести их к знакомому. Тов. Вознесенский говорит мне, что лошадь не привязана, может убежать и нужно привязать. Я вышел, смотрю лошадь уже вошла на тротуар за тумбочки и рылом лезет в окно. Попятил назад, вожжи замотал кругом тумбочки и опять ушел на свое место. После этого идет какой-то человек—видно что не рабочий.—Спрашивает—можно ли в контору войти? Говорю, что все вышли сейчас в типографию и предложил ему туда пройти. Я жду, что вот-вот войдет городовой с поста греться. Работа в типографии идет во всю, но вот беда: хозяину типографии захотелось оправиться. Он просит Варина свести его в уборную, но тот один стоит в конторе. Варин подозвал меня. Я разрешаю хозяину выйти в коридор. Только что ушел на место хозяин, слышу открывается дверь первая, за ней и вторая и лезет фигура, давно жданная.

«Городовой» в рукавицах и полном вооружении глядит на меня, я гляжу на него и вижу что он ничего не понимает. Задает вопрос—почему это лошадь прет в окно в контору, и где ее хозяин. Я вместо ответа поднимаю на маузер и командую «руки вверх». Он сначала опешил, потом хватается за револьвер, я его хватаю за руку и в упор револьвер командую «не шевелись». В это время тов. Вознесенский уходил в типографию и выйдя оттуда увидел картину нашей борьбы. Варин, выскочил ко мне на помогу. Тов. Вознесенский сразу сообразил что я и Варин справимся, бросился в контору, так как с выходом Варина оттуда никого на посту в конторе не осталось. В это время городовой до того растерялся, что три раза поднимал и опускал руки. То схватится за револьвер, то опустит руки. Тов. Варин скоро сообразил и стал с городового снимать оружие,

обрезал все ремни на плечах городового. Сняли мы с него револьвер старинного образца Смит-Виссона, шашку архистаринную, передали его в типографию.

После прихода городового прошли через мои руки еще несколько рабочих. Но вот слышу за дверью разговор. Вижу—шинели. Входят два гимназиста и прямо в контору. Загородил дорогу, спрашиваю, что надо, они мне улыбаются и говорят: «мы люди свои, идем в контору» (называют хозяина по имени, отчеству). Я им говорю, что сию минутку вышел в типографию, они опять упираются. Тогда я им определенно говорю, что никого в контору пускать не приказано. Они улыбаются, говорят—ну хорошо, пойдем в типографию,—куда и направились. Потом они случайно встретили Бодрого (Воронова Платона) в Иваново-Вознесенске и с восторгом говорили—здорово вы сделали в типографии у Лимонова. После того, как этих учеников проводили, уже перед концом открывается смело дверь, входит дама в ротонде и прямо направляется в контору и на мое замечание,—что вам угодно,—не отвечает. Берется за ручку двери в контору. Я встал спиной и прикрываю. Она говорит: уйдите, мне нужно пройти в контору. Я говорю, что в конторе никого нет, но она настойчива. Я думаю—беда, возможно упадет в обморок, когда ее возьмут под конвой. Мы работаем в типографии более 3-х часов и мне перед этим сообщили, что скоро уйдем и я решил ее пропустить в контору. Она только вошла, видит, что все сидят почему то спиной к окну и ничего не делают. Она первым долгом задает вопрос хозяину (это, оказалось, была жена владельца): Что это, милый, у вас за новость, как то вы все по новому сидите? Тот улыбается, говорит—видно так нужно.

— Как так нужно, я совершенно не понимаю тебя.—А вот, милая, посидишь, узнаешь. Она говорит—довольно глупости говорить—вели лошадь отвести от окна, а то она окно проломит и, чего доброго, в контору влезет.

Она берет стул и садится удивленная тем, что ей никто не предложил и не подал стула. Не вытерпела и опять обращается к мужу,—что же вы ничего не делаете и не говорите ничего?—Ответа нет. Она обращает внимание на молодого человека, стоящего у телефона—спрашивает мужа—это кто?—Он отвечает коротко—не знаю. Она удивляется. Варин просит ее успокоиться.

Вскоре после этого раздался свисток отнятый у городового, это значит нам уходить. Все снимаются с постов и направляются к выходу, унося с собой отобранное у городового оружие и несколько тысяч экземпляров прокламаций, воззваний и плакатов.

В. Смирнов (М—в).

Профессиональное и стачечное движение в Ив.-Вознесенском районе в 1906—1910 г.г.

Появление первых профессиональных союзов рабочих текстильщиков и других вспомогательных производств к этой промышленности в Иваново-Вознесенске и его окрестностях относится к периоду первой русской революции 1905—1906 г.г. Революционные вспышки и крупное стачечное движение, имевшие место в Иваново-Вознесенском районе, начиная с 80-х годов, еще не могли пробить брешь в царстве тьмы, капиталистической экслоатации и царизма, в отвратительной атмосфере которых находились рабочие текстильной промышленности. Впрочем, в таких же почти условиях находились все рабочие царистской России. Кроме теоретических попыток к созданию в нашем районе профессиональных союзов рабочих текстильщиков до весны 1906 года не было. Начиная с 1907—8 г.г., т.-е. после крупной стачки, имевшей место в Иваново-Вознесенске, поднимался несколько раз в частных разговорах местными социал-демократами вопрос об организации профессиональных союзов среди текстильных рабочих, но дальше разговоров не шло. В атмосфере удушающего полицейского гнета, в котором задыхались текстильные рабочие, затея с организацией профсоюзов в нашем районе была бы совершенно бесполезна, на первых же порах эта затея разбилась бы о полицейский и жандармский режим, о чем красноречиво свидетельствовала вся рабочая Россия того времени *).

Первые организации рабочих текстильщиков явились следствием революционной борьбы 1905 года. Только начиная с весны 1906 года в организации с.-д. большевиков начали поднимать вопрос об организации профессиональных обществ в Иваново-Вознесенске. А на одной из летних конференций окружной организации Р. С.-Д. Р. П. (большевиков) в 1906 г. был поставлен серьезно вопрос об организации профессиональных союзов среди рабочих текстильщиков Иваново-Вознесенского района. Между прочим, следует отметить, что эта конференция обязывала всех членов партии принимать активное участие в профессиональном движении и обязательно вносить членские взносы в обе организации, т.-е. в партию и соответствующий каждому члену партии профсоюз.

Таким образом, Р. С.-Д. Р. П. (большевиков) явилась пестуньей-матерью профессионального движения и в нашем хлопчато-бумажном районе. Кандидатуры учредителей профсоюзов и состав правлений подбирался по директивам парткомов, которые воспользовавшись куцым законом прави-

*) Неправ тов. Кисельников, утверждая в Октябрьском номере Труда, что союзы в Иваново-Вознесенске были до 1905 года и вообще он напутал о каких-то цеховых союзах, которых в Иваново-Вознесенске не было, что может быть подтверждено старыми партийными товарищами. *В. С. (М—в).*

тельства Дурново — Витте о профессиональных союзах, энергично повели агитацию за открытие профессиональных союзов как в самом Иваново-Вознесенске, так и в его окрестностях.

В западно-европейских странах, где была признана свобода союзов, профессиональные, как и другие объединения, открывались просто явочным порядком. Это обозначало, что организаторы или учредители союза прежде, чем открыть союзные действия, должны были заявить об этом определенному учреждению, и ничего больше. Таким образом, никакого разрешения на открытие союза не требовалось.

Временные же правила 4-го марта 1906 года о профессиональных обществах, опубликованные русским правительством, не давали возможности свободно создавать рабочие профессиональные организации. Эти правила стесняли права рабочих и отдавали союзы каждой губерни и под гласный надзор губернатора. Кроме того, временные правила 4-го марта не допускали соединения рабочих обществ между собою.

Состоя под гласным надзором губернатора, союзы каждую минуту ожидали со стороны начальства разных внушений, предостережений и т. п. За каждым их шагом следило недремное око, которое в каждую минуту властно могло приказать: «не отступать от закона и устава». А то просто губернатор имел право своей властью, без всяких видимых причин, временно закрывать союзы. Так обстояло дело с правом на профессиональные объединения.

Все же к осени этого года Иваново-Вознесенский район быстро покрывается сетью профессиональных союзов текстильных рабочих, рабочие вначале шли в них массами. Союзы появились в Иваново-Вознесенске, Шуе, Вичуге, Тейкове, Кохме и Середе, эти рабочие объединения по своей классификации не были производственными в полном смысле этого слова, а были чисто профессиональными, боевыми и революционными организациями. Рабочие текстильщики объединились в два основных союза: «*ситцепечатных рабочих*» и «*ткачей-прядильщиков*», рабочие механических мастерских текстильных предприятий примкнули к чугунно-литейным заводам, и этот союз назывался «*союзом рабочих механического дела*».

Все эти союзы носили местный характер и попытки объединиться даже в пределах Иваново-Вознесенского района не привели к желанным результатам. Связь между отдельными районами поддерживалась нелегально.

Органами союзов на местах, как общее правило, являлись общие собрания всех членов союза, общее собрание являлось законодателем своего союза. Исполнительным же органом было правление, выбираемое общим собранием. Кроме того, в первые полтора года развития профессионального движения существовал институт уполномоченных или же делегатских собраний. Эти уполномоченные, по фабрикам и заводам, были проводниками профессиональных идей и тактики союзов, но главная их функция все же лишь только сводилась к сбору членских взносов. Крепких институтов или же советов—выборных, уполномоченных, представителей, депутатов или же сборщиков, как их здесь называли, организовать не удалось вследствие целого ряда причин и, главным образом, из-за полицей-

ских условий. Все же необходимо сказать, что и существующие институты уполномоченных несмотря на общие их недостатки, которые были неизбежны в силу чисто объективных причин, играли очень важную роль в профессиональном движении Иваново-Вознесенского района.

Союзные кассы профессиональных организаций не представляли здесь пестроты и разнообразия, они почти во всех союзах были основаны на 50-ти копеечных вступительных взносах и двух-процентного отчисления с ежемесячного заработка (позднее, т.-е. во время упадка, некоторые союзы перешли на один процент).

По имеющимся не вполне проверенным сведениям, союзы самого города Иваново-Вознесенска объединяли в 1907—1908 г.г. нижеследующее количество членов.

№№ по порядку.	Наименование союзов.	Начало 1907 г.	Конец 1907 г.	Июнь 1908 г.	Январь 1908 г.
1	Союз ткачей и прядильщиков	8602	4860	800	220
2	» ситцепечатников	7100	3480	580	160
3	» рабочих механического дела	3300	2680	890	462
4	» граверов	480	360	210	202
5	» раклистов	140	120	116	48
6	» торгово-промышленных служащих. .	890	560	410	196
7	» строительных рабочих	180	66	—	—
	Всего	20692	10106	3006	1288

О количестве членов в профсоюзах городов: Шуи, Кинешмы, Родников, Вичуги, Середы, Кохмы и Тейкова сведений не имеется. В указанных городах и фабричных местечках количество членов также исчислялось тысячами.

Приведенные цифры о количестве членов красноречиво говорят о быстром расцвете профсоюзов в начале 1907 года, а также столь же красноречиво свидетельствуют и о быстром упадке профдвижения к началу 1908 г., что было связано с усиливающейся реакцией, которая все сильнее обрушивалась на всякую рабочую самодеятельность.

Попытка создать местное общепрофессиональное объединение, т.-е. бюро профсоюзов окончилась бы неудачей, а посему к осуществлению легально этой попытки не приступали. Общее руководство профсоюзами принадлежало комитету Р. С.-Д. Р. П. (большевиков), для чего было организовано из работающих в правлениях партийных товарищей вроде союзного совета, который первое время и руководил общепрофессиональной тактикой. Крупные союзы в первый год своего подъема имели платных секретарей, общего юрисконсульта и обзавелись приличными библотеками. Главным же образом все функции, присущие в 1906—1908 г.г. профес-

сиональному движению можно разделить на три основные группы: культурно-просветительную деятельность, агитацию и взаимопомощь.

Основным же вопросом профсоюзов, стоящим всегда в порядке дня рабочих текстильной промышленности, был вопрос борьбы за повышение заработной платы, которая всегда была ниже, чем плата рабочим других отраслей. Но особенно заработки в Иваново-Вознесенском районе были низки, о чем лучше всего свидетельствуют цифры, так, например, ткачи в среднем получали: в 1904 году 57 копеек в день, 1905 г.—59 коп., 1906 г.—62 к., 1912 г.—68 коп. Это нищенское повышение заработной платы производилось местными фабрикантами лишь только потому, что цены на предметы первой необходимости неимоверно росли, всегда перегоняя рост заработной платы рабочего текстильщика.

Квартирные условия рабочего текстильщика были также ужасны. Рабочие ютились в фабричных казармах-спальнях, где отсутствовали самые элементарные понятия о санитарии и гигиене, или же ютились в маленьких рабочих домиках (8 × 8 арш.) по 10—15 человек. Питание рабочего текстильщика также было незавидным, оно заключалось, главным образом, в серых щах, сдобренных льняным маслом, картошке и черном хлебе; белый хлеб и мясо рабочий текстильщик в основной своей массе потреблял только по праздникам и то в весьма ограниченном количестве.

С наступлением весны 1906 года поднимается настроение среди рабочих во всем районе. Снова покатилась волна стачек. Особенно ярко выделялась стачка середских рабочих *).

Стачка началась по причине борьбы за повышение заработной платы, так-как Иваново-Вознесенские фабриканты сделали в 1905 году кое-какие уступки и улучшения; середские же фабриканты шли на уступки туго. В июне месяце бросили работу все три середские фабрики: Горбунова, Павлова и бр. Клементьевых, с количеством рабочих свыше 10 тысяч человек.

Накануне стачки был арестован слесарь фабрики Павлова Д. В. Студнев. Забастовавшие рабочие потребовали освобождения товарища, в чем, конечно, было отказано. Рабочие отправились к помощнику начальника костромского жандармского управления, приехавшего для арестов и производства дознаний. Под давлением стачечников, Студнева вынуждены были освободить. Стачечники жандармов потрепали, сорвали погоны и обезоружили. И только случайно помощник остался жив. Стачечники образовали Революционный Совет Рабочих Депутатов и обезоружили всю местную полицию. Очень много оружия было найдено рабочими на фабрике Горбунова, что крайне возмутило рабочих.

Очевидно, фабричная администрация, местные и губернские власти предвидели событие и готовились к вооруженному подавлению стачки. Но события для них развернулись чрезвычайно быстро, что окончательно расстроило их план.

*) Середа ныне уездный город и находится в 25 верстах от Ив.-Вознесенска.

Для подавления восстания была сначала выслана одна рота солдат Костромского Зарайского полка, которая через несколько дней целиком присоединилась к стачечникам. Образовалась в полном смысле слова «Середская Республика», к подавлению которой властями были приняты всевозможные меры. Для воздействия на стачечников была прислана артиллерия и казаки. Орудия были расставлены по улицам и их отверстия направлены на рабочие поселки. Стачечники продержались с месяц и фабриканты пошли на уступки. Вскоре после начала работ начались аресты. Арестовано было свыше 100 человек, большинство из них была случайная публика, никакой активной роли в стачке не принимавшая.

Как не старалась охранка и прокуратура выявить главного виновника в разоружении полиции и вооруженном нападении на жандармских чинов, так им и не удалось этого сделать.

Дело «Середской Республики» текстильщиков было прекращено и замято, очевидно потому, что местные власти настолько струсили, что не приняли своевременно никаких мер к ограждению себя от могущих возникнуть событий; было похоже, что сдача оружия и отказ от власти получился с их стороны, как-будто добровольно. Так или иначе, дело было замято. Большая часть арестованных была освобождена, а некоторые из стачечников пошли в административную ссылку в Архангельскую и Вологодскую губернии.

В средине июня 1906 года стачечное движение захватило город Шую. Сначала забастовали рабочие механических заводов городов Иваново-Вознесенска и Шуи, к ним примыкают рабочие всех ситце-набивных Шуйских фабрик. К этому разраставшемуся стачечному движению не были вполне подготовлены ни местные социал-демократические организации, а также и только что народившиеся профессиональные союзы. В Иваново-Вознесенске механические рабочие не выдержали стачки и двух недель; тоже случилось и с шуйскими рабочими. Стачечное движение на этот раз кончилось неудачно. Передовой элемент сажали обычно в тюрьмы, выметали с фабрик и заводов, занося в черные списки. Я привожу полностью «прокламацию» к рабочим гор. Шуи, с которой Иваново-Вознесенская окружная организация Р. С.-Д. Р. П. обращалась к стачечникам. Вот ее содержание:

Россійск. Социал-Демократич. Рабоч. Партия.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К рабочим города Шуи.

«Каждый шаг нам достается
Роковой борьбой»...
(Из рабочей песни).

Товарищи! Из тех богатств, которые мы с утра до вечера создаем кровавым трудом на фабриках и заводах, мы получаем лишь ничтожную часть,—чтобы не умереть только с голоду. Да и эту часть не хотели бы давать нам наши сытые и жадные хозяева. Да только никто не согласится работать задаром и умирать с голоду. Каждый лишний кусок хлеба для

своих детей, каждую лишнюю минуту отдыха для измученного тела мы должны отстаивать борьбой.—А если не будем бороться, будем покорно терпеть и сносить всякую эксплоатацию и издевательство, то вымотают из нас всю душу.

Но мало одного только желания бороться, мало того, что у тебя лопнуло терпение, что ты перестал покорно гнуть шею! Чтобы борьба с сильным врагом окончилась победой, нужна сила. Просьбой или угрозой не сломишь врага.

Силен ли наш враг?—Да, товарищи, не будем обманывать себя! Сила капиталистов—буржуазии велика. Буржуазия имеет богатства и может терпеть забастовки, не зная нужды. Она образована и умеет обманывать рабочих. У ней на службе сотни и тысячи различных служащих и прислужников. Закон и право на стороне богачей. Капиталисты во всякое время могут собираться для обсуждения своих дел и соединяться свободно в союзы. И везде правительство старается помочь им. Присылают казаков, солдат, отряжают шпионов, жандармов и т. п.

А наш брат, рабочий?—беден, голоден, темен. Все против него. Нигде он не найдет себе права и правды. Правительство преследует его за борьбу с капиталистами. Арестует, ссылает, убивает. Главная наша беда—у нас мало единения, дружбы, мало сознания своих интересов. Разве нет еще из нас таких, которые печалятся не о своем бедственном положении, а об интересе хозяина? «Как же, мол, его отца нашего и благодетеля обидеть?» Не мало и таких, кто готов подставить ногу своему брату рабочему лишь бы заслужить «милость» хозяина или управляющего, продать своего брата рабочего за 30 сребренников. Не понимает он того, что если всем будет худо и ему будет худо, а всем лучше и ему лучше.

Товарищи, в единении наша великая сила! Это одно единственное богатство, которое у нас остается. Его не могут отнять наши кровопийцы. Если мы все будем стоять за каждого и каждый за всех, никто не сломит нашу силу. Нас миллионы, а наших угнетателей только тысячи. Без нас они не проживут. Солдаты не век будут верить обману правительства и богачей. Дрогнет рука и у них, когда заставят их стрелять в своего голодного брата—рабочего и крестьянина.

Товарищи! Забастовка ситцевых и механических рабочих в городе Шуе окончилась неудачно. Почему? Потому, что плохо ее начали и не дружно она шла. Прежде чем давать сражение неприятелю, нужно было подготовить свои силы, подготовить провиант — хоть несколько касс, расследовать силы врага, узнать его слабые места, трезво взвесить его и свои силы, выбрать подходящее время, и тогда уже дружным натиском ударить на врага. Вот когда мы могли бы добиться победы! Вы знаете, товарищи, что ничего такого на этот раз не было. Забастовали внезапно, неорганизованно, не обсудивши, не взвесивши, как следует, свои силы и силы врага. Понадеялись без всякого усилия добиться уступок, глядя на ткачей, которых скоро удовлетворили хозяева. Забастовали, а потом стали рассуждать и требования вырабатывать. Кто в лес, кто по дрова. Видят хозяева, как слаб у них враг и посмеиваются: «Ну, с этими разговор не долог, зачем нам уступать, мы заставим их под свою дудку плясать». Хитрые хозяева знают, что делают. «Подождите денька три, до вторника,—ласково говорят они,—во вторник дадим ответ». Рабочие согласились. Приходит вторник: «Ну, теперь, ребятушки,—решительно заявили буржуи,— товар вы нам подрабо-

тали, теперь мы не так нуждаемся в вас. Уступок вам полчаса рабочего времени, а за это уничтожаем мы вам чаи, будем штрафовать вас за 5 минут опоздания. Если не желаете этих условий, то вот вам бог, а вот порог». Упало сердце у рабочих. А хозяева все примечают. То припугнут, то ласково заговорят, то пригрозят фабрики закрыть, то объявление вывесят, чтобы натравить рабочих на рабочих—смутьяны-де, виноваты во всем, да кучка мастеровых, которые три тысячи народа голодом морят. И сбился с толку наш бедный рабочий.

Сначала оторвались от забастовки Терентьевские денные, когда хозяин им уступил. Рубачевские рабочие взяли расчет и встали на работу без удовлетворения. Некоторые рабочие Павлова пали духом, друг друга стали обвинять, стали верить хозяину.

Товарищи! Падать духом нечего! Рабочий класс должен учиться не только на победах своих, но и на поражениях. Если сражение неудачно, надо отступить с честью, сохранить свои ряды, сохранить единение. Пока у вас есть единение—дело не проиграно.

Не поддавайтесь провокации хозяина, который натравляет вас друг на друга, ткачей и прядильщиков на мастеровых и обратно. Не допускайте просеивать ваши ряды. Без передовых товарищей вам трудно будет бороться. Борьба же неизбежна Пойдете вы на фабрику, снова вас будут жать, издеваться над вами, выводить вас из терпения. Если же вы сохраните свои силы, соединитесь теснее, подготовитесь к борьбе, заведете кассу, то со временем вы добьетесь своего.

Если Павлов или другой капиталист будет просеивать рабочих, никто не должен становиться на места уволенных. Эти места будут под бойкотом. Сообщайте это повсюду. Кто встанет на место уволенного, будет отвергнут от общества рабочих Его заклеймят, как изменника рабочих, будут бойкотировать.

Товарищи! Сообщаем вам имена трех изменников рабочего дела—слесарей Анонимного завода г. Иваново-Вознесенска: 1. Константин Сластников, 2. Константин Кузнецов, 3. Архип Посудин. Они работали в Шуе на фабрике Небурчилова, заменяя бастовавших мастеровых. Товарищи ивановцы и др. бойкотируйте их, пока они не загладят своей вины перед рабочими.

Не падайте духом, товарищи! Смело вперед!

Объединяйтесь в профессиональные союзы. Вступайте в ряды Российской Социал-Демократической Рабочей Партии!

Нас много, нас много. Вставайте же, братья!
Не надо ни слез, ни бесплодной мольбы.
Проклятье насилью, тиранам проклятье!
Мы долго страдали. Вставайте же, братья,
И будем борцы—не рабы!

Ив.-Вознесенск. Окружная организация Р. С.-Д. Р. П.

Типогр. Окружной организации.
Июль 1906 г.

Этим же летом начались стачки ткачей из, так называемого, „долгомера“. Бастовали в Тейкове, Иванове, Шуе и других местностях района. Движение захватило свыше 20 тыс. ткачей. Иваново-Вознесенские толстосумы издавна практиковали жульнический способ обворовывания ткачей. Особенно выгодно и заманчиво было применить этот мошеннический способ после сделаных рабочим кой-каких уступок, чтобы таким образом, не только отнять эти уступки, но и еще составить себе колоссальные барыши. Проделывалась же эта воровская операция следующим образом: при основании основ, прибавляли к установленной мере каждого куска ткани от 5 до 10 аршин свыше установленной меры куска, который вырабатывался за определенную заработную плату и ставили цветную

метку на таком куске, как на законной мере куска. Для выхода в определенный срок увеличенного мерой куска, увеличивался ход ткацких станков путем подбора шестерен, что давало возможность администрации иногда подолгу скрывать эту махинацию от рабочих. Тысячи таких кусков, сработанных бесплатно, составляли крупный доход для обнаглевших фабрикантов. Во время открытия такого наглого обворовывания ткачей, администрация обычно имела прием всегда сваливать это недоразумение на случайность и обставляла дело так, что виновными всегда оказывались шестерни. Обычно начиналась тяжба, дело переходило в суд. Рабочие всегда в таких случиях добивались только прекращения долгомера или же его оплаты на будущее время. За прошлое же каждый фабрикант отделывался ничем, или же выплачивал по несколько рублей на каждого ткача. На этом обычно оканчивалась вся история с „долгомерами".

С средины 1907 года уже резко наметился уклон в сторону упадка революционного настроения среди рабочих масс, с этого момента начался и отлив членов от профсоюзов, а полицейская реакция и фабриканты все жестче расправлялись с рабочими текстильщиками за их завоевания 1905-6 г.г

Постановление 1-ой областной конференции профсоюзов о проведении областной стачки текстильщиков было обречено на явную неудачу. Назначенная стачка на 12 июня 1907 года не прошла по Ив-Вознесенскому району, в этот день забастовали только рабочие Эффрос (бывш. Бакулина). Их слабо поддержали рабочие ф-ки Бурылина, остальные же рабочие на призыв не откликнулись. С роспуском второй думы и изменением избирательного закона 3 июня 1907 года нанесен был жестокий удар революционным завоеваниям 1905-1907 годов. Началась кровавая свистопляска черной реакции. Таким образом, начиная с этого момента не только замирают массовые революционные настроения среди пролетариата, но и начался быстрый отлив членов от своих профессиональных организаций. Рассуждать даже об элементарных истинах с административными лицами рабочим представителям не приходилось. Их без особых рассуждений, просто сажали в тюрму, или в лучшем случае увольняли с фабрики.

Время полнейшего упадка профессиональной деятельности началось с начала 1908 года, а к концу этого года профсоюзы превратились в мертвую пустыню. Напугавшись усиленной реакции, рабочие массы совершенно охладели к союзам.

Со стороны правительства натиск на профсоюзы был усилен. Придирались к каждому пустяку. Ссылки, аресты, черные списки, закрытие союзных библиотек, запрещение собраний были обычными явлениями.

Конец 1908 года ознаменовал собою ликвидации двух основных союзов: «ситцепечатных рабочих» и «ткачей прядильщиков». Дольше всех держался союз «рабочих механического дела». Этот союз получил от своих ликвидированных собратьев весь инвентарь, библиотеки и небольшие средства. В распоряжении последнего союза, кроме полученных библиотек имелась собственная одна из лучших союзных библиотек. Кроме того к средине 1909 года в кассе союза механиков имелось до 10.000 руб., что

составляло довольно внушительную сумму по тем временам, членов же союза осталось только до 50 человек.

На оставшееся небольшое ядро посыпались репрессия за репрессией. Членов правления, библиотекаря почти ежедневно таскали в полицию.

Под ударами суровой действительности и этот союз в конце 1909 года должен был закрыться.

Оставшееся имущество, библиотеки и инвентарь всех союзов, ликвидационная комиссия передала либеральному О-ву трезвости. Денежные средства были переданы: Обществу Потребителей «Единение Сила» для постройки собственного дома, а также были внесены в кассу этого О-ва и на случай возникновения какого либо профессионального союза, часть денежных средств была переведена редакции «Профессиональный Вестник», который издавался в Петрограде, значительная сумма была переведена политическим ссыльным и одна тысяча рублей была ассигнована О-ву трезвости с специальным назначением, на организацию популярных лекций для рабочих.

Кроме того в О-во трезвости было кооптировано до 10 человек рабочих представителей, которые внесли в работу этого О-ва живую струю, они взялись за организацию постоянной вечерне-воскресной школы и постановку популярных лекций на разные темы. Но это оживление стоило дорого либералам из крупной буржуазной интелигенции, рабочий дух испортил их настроение. За Обществом трезвости была учинена слежка полиции, были закрыты библиотеки—читальни, вечерне-воскресная школа также была закрыта в самом зародыше, а затем Владимирский губернатор закрыл и само О-во трезвости.

Так закончили свое существование Иваново-Вознесенские профессиональные союзы. Как рабочие не отстаивали пядь за пядью позиции открытого рабочего движения все-же им в лихолетье 1908—1910 г. г. пришлось отказаться на время от открытой профессиональной борьбы.

Только в одном с. Тейкове каким-то чудом сохранился местный союз текстильщиков, который в тесном сотрудничестве с местной группой с.-д. (большевиков) умело отражали выпадавшие на их головы удары черной реакции и стойко поддерживали голос протеста среди местных рабочих против всякого произвола. Здесь в 1910 году снова возникла стачка на ф-ке Каретниковых, которая по своему характеру и продолжительности была довольно настойчивой и упорной. Эта стачка продолжалась 58 дней. Во время стачки полиция конфисковала союзную библиотеку, арестовала весь состав правления и закрыла союз. Кроме того в этой стачке тейковцы потеряли несколько сот человек рассчитанных в качестве зачинщиков. *)

С этого момента стачечная борьба во всем районе совершенно замерла. Предприниматели были беззастенчивы и нагды и их отношение к рабочим безошибочно можно охарактеризовать следующей фразой: «Молчи, если со мной разговариваешь». Организации были разбиты, силы рабочих

*) Подробности стачки см. в ст. И. И. Короткова, напечатанной в Иваново-Вознесенском „Ежегоднике“ за 1921 г.

ослабли и они временно не могли заставить своих эксплоататоров говорить с собой по другому.

Таким образом, разгромив рабочие легальные организации, союзы, общества и общежития, царские опричники добились того, что окончательно загнали в подполье оствшихся в живых политических и профессиональных работников.

Почти вся политическая и профессиональная жизнь среди рабочих во всем районе в это время так-же умерла. Только упорная настойчивость преданного рабочему делу кадра передовых рабочих, оставшегося от арестов поддерживала между собою связь и несмотря на все гонения, эта связь существовала не только между отдельными лицами, эта связь также поддерживалась и с некоторыми районами и отдельными фабриками.

5-го февраля 1923 г.

Дм. Фурманов.

Красный дессант.

(Окончание).

Легко сказать—«вступить в бой». Пока подплывали бы к берегу—неприятель всех мог перекосить пулеметным огнем: ему из камышей прекрасно видно, как на баржах вплотную, кучно расположены наши бойцы. Они тоже не спали, бойцы; теперь, когда отъехали от Славянской, уже в пути, командиры объяснили им предстоящую операцию—со всеми ее трудностями и опасностями, которые только можно было предвидеть. Где уж тут было спать—в такие ночи не до сна; глаза сами ширятся и взоры вперяются в безответную тьму.

Прижавшись друг к другу, они во всех концах вели тихую, перерывистую беседу.

— Холодно.....

— Дуй в кулак—жарко будет.

— Дуй сам..... Вот он как дунет—пожалуй, и впрямь отогреешься—и красноармеец кивнул головою на берег, в сторону неприятеля.

— Близко он тут?

— Кто его знает..... Говорят—везде по берегу ходит..... Да вот тут, в камыше лежит..... Наши уехали искать.....

— Кондра уехал?

— Он. Кому же? Все дыры тут знает

— Парень—голова

— Ну, куда тут.... Мы с ним еще на Ерманском были—три Георгия и и тогда приплодил

— Надо быть нет никого—тихо што то...

— Али тебе орать будут: вот чикнут от берега—и баста.

— Нет, говорю— от Кандры ничего не слышно

— Как же тут услышишь: ироплан што ли прилетит?

— А што это иропланов, братцы, нет нигде?

— Как нет? летают:..... Они за городом лежат, а летают, когда солнце еще чуть всходит —оттого и не видишь.

— Вон што..... А отчего это они летают?

— Кто их знает: пару, надо быть, подпускают.

— У тебя табачек-от с собой?

— Да курить нельзя—тебе же ротный говорил.

— И верно..... А в кулак, я думаю—пройдет, не видно....

Запротестовали сразу 3-4 голоса. Курить не дали.

— Скоро подъедем?

— Куда?

— А где вылезать надо?

— Как станем—значит и подъехали.....

Примерно по этим же самым вопросам и в этой же форме—разговаривали по всем баржам.

Один вопрос зацеплялся за другой—часто совершенно случайно, от слов к слову.....

Все также тихо, почти безшумно, плыли во тьме караваны судов. На заре, когда еще густым облаком стоял тяжелый речной туман, первый пароход причалил к

берегу..... Одно за другим подходили суда и врезались в прибрежные камыши и высокую траву, выходившую здесь далеко от берега.....

До станицы оставалось всего 2 версты. Зарослей на берегу не было и открывалась широкая поляна, где удобно было разгружаться и строить войска. Знатоки этих мест говорили, что более удобной пристани для разгрузки не найти, что эта поляна—единственная на всем протяжении от самой Славянской.

Живо побросали подмостки—и с удивительной быстротой все очутились на берегу. Лишь только вступили на твердую почву—вздохнули свободно и радостно: теперь не на воде, теперь стрелки и всадники сумеют постоять за себя и даром жизнь не отдадут..... Скатили орудия, свели коней. Командиры построили части. Во все концы поскакали разведчики. Нервность пропала и уступила место холодной, серьезной сосредоточенности. Все делалось быстро, так быстро, что приходилось только изумляться. Бойцы понимали, как это было необходимо в драматической обстановке, перед окончательным боем.

Командиры верхами окружили нас с Ковтюхом.—Два-три напутственных совета и—марш по местам! Уж все готово. Отдана команда итти в наступление. Вперед рысью пошла кавалерия. Заколыхались цепи.

На долю Ганьки выпала задача промчаться метеором по улицам станицы, все рассмотреть и доложить. Он несся, словно птица, мимо густых садов, мимо домов с закрытыми ставнями, пронесся по главной площади у храма и, исколесив станицу, возвратился и доложил, что „все в порядке". Когда стали расшифровывать это замечательное „все в порядке",—оказалось, что обреченная станица спит мертвым сном. Она ничего не ждет, ничего не знает. Кое-где по углам дремлют часовые, они сонными глазами смотрели вслед скакавшему Ганьке и считали его, верно, за гонца с позиции. Жители тоже спали—только изредка попадалась какая-нибудь сгорбленная старуха казачка, тянувшаяся с ведром на колодец. Видел Ганька эроплан—он был на площади у храма. Видел за изгородью одного большого дома мотоциклетку и два автомобиля.

Когда он, запыхавшись и торопясь, все это пересказал, было совершенно ясно, что мы движемся незамеченные врагом

Удар был расчитан на внезапность. Подойти надо было совершенно неожиданно, атаковать оглушительно. В то же время необходимо было создать эффект и впечатление навалившихся крупных частей, хорошо вооруженных, с богатой артиллерией. С другой стороны, необходимо было организовать засады, неожиданные встречи, картину полного окружения и вселить в неприятеля убеждение в полной безнадежности положения. Эффект неожиданного удара должен был сыграть здесь исключительную роль.

В конце поляны, под самой станицей, остались еще целые полосы невыжженных камышей. Здесь пробраться было невозможно, и пришлось загибать, итти окружным путем. Разгрузка, сбор, приготовления, самое движение до станицы заняли около 2-х часов. Станица все еще не пробуждалась. Туман рассеивался, но медленно, а над рекой продолжал держаться таким же густым, белесоватым облаком, как прежде. Протока у самого селения загибалась в западном направлении и вела на Ачуев, к морю. По берегу до станицы и за станицей шла езжая дорога. По этой дороге и направилась часть наших войск. Сюда же, глубже, во главе с Чоботом отправлен был в засаду эскадрон кавалерии, которому дана была задача рубить неприятеля, если он в случае паники бросится спасаться на Ачуев.

Части дессанта были расположены в своем движении таким образом и с таким расчетом, чтобы одновременно могли дойти до станицы с разных сторон и одновременно же открыть огонь.

Тогда же была должна загромыхать и артиллерия.

Неприятельские силы, расположенные в станице, могли нам оказать стойкое сопротивление, ввиду своей достаточно высокой боевой доброкачественности, (мало надежными были только пленные красноармейцы). Там стояли части корпуса генерала Казановича: Алексеевский пехотный полк, запасный батальон того же полка.

Алексеевское и Константиновское военное училище и Кубанский стрелковый полк. Кроме того в станице был расположен главный штаб Улагаевского дессанта со всеми своими разветвлениями и другие, более мелкие штабы и тыловые учреждения. При всем том следовало ожидать враждебных действий со стороны станичного населения, Новонижестебнеевская была у нас на худом счету.

Около 7-ми часов утра, когда части вплотную подошли к станице—раздался первый орудийный выстрел. Затем открылась оглушительная канонада: орудийные громы слились с пулеметным и оружейным огнем. Части шли вперед. Неприятель не понимал, в чем дело, совершенно растерялся и никак не мог организовать защиту. Открытый по нашему дессанту беспорядочный огонь не приносил почти никакого вреда. Красная пехота напирала и одну за другою занимала улицы станицы. В центре пришлось столкнуться с неприятелем, готовым к обороне.

Наши батальоны в этом месте вел Ковалев. Он отлично понимал, как опасно теперь промедление. Он знал, что паника в неприятельских рядах может миновать и тогда с неприятелем справиться будет не легко. В такие минуты бывает достаточно одного находчивого командира, который властно остановил бы бегущих, который понял бы мигом, в чем корень дела, уяснив бы себе отчетливо—как и с чего следует начинать сию же минуту. Паника усиливается обычно и множеством случайных и противоречивых приказов, которые отдаются сплеча и сгоряча: один приказ опровергает другой, наскакивает на него, запутывает, затуманивает дело. Именно в такой стадии беспланного метания находился теперь неприятель. Но уже были первые признаки его начинающейся организации. Надо было ловить момент.

Ковалев отдает команду итти в атаку. Сам с винтовкою в руке остается на левом фланге. На правом идет Щеткин. У него также широко открыты глаза, как и там, на барже, во время песни. Только теперь в них горят огни жестокого беспощадного хищника. Весь лоб до переносицы перерезала глубокая складка. У Щеткина тяжелая поступь—он словно и не идет, а по заказу трамбует землю. Около него итти спокойно—родится какая то твердая уверенность, что с ним не пропадешь, что Щеткина невозможно свалить с ног. Он отдает команду коротко, четко, сердито...

Неприятель сгрудился возле садов. Было видно, что он еще не выстроился, как следует, что не нашлась еще эта могучая, организующая рука, которая смогла бы толпу превратить в строгие упругие цепи.

Скорее, скорее... К этой толпе отовсюду: из сараев, из халуп, из садов и огородов, по улицам и закоулкам—отовсюду стекаются новые и новые солдаты. Толпа растет у нас на глазах. Она уже развертывается, принимает форму. Еще минуты и мы встретим целую стену стальных штыков, море огня—меткого, уничтожающего...

Ура... проносится по нашим рядам...

Винтовки на перевес, бойцы мчатся на толпу... Там замешательство. Многие кинулись бежать, кто куда. Иные, все еще продолжают стрелять. Большинство побросало винтовки, стояли-ждали с поднятыми вверх руками. Звенели кругом стальные пули, то здесь, то там вырывая жертвы. Одним из первых прямо в лоб убит был Щеткин.

Вдруг от плетья отделилось человек 50 и кинулось нам навстречу. Это заставило отпрянуть назад нашу передовую цепь. На минуту произошло замешательство, но Ковалев уже отдал новую, громкую команду: «вперед, ребята, вперед, ура!»

И рванулись, как бешеные, красноармейцы... Опрокинули бегущих им навстречу белых солдат, смяли их под себя—дальше ничего не было видно...

Когда эта полсотня кинулась от плетня—те, что побросали винтовки, остались недвижимы и за ними не побежали: они стояли и ждали пощады с высоко вздернутыми кверху руками. Красные бойцы окружили пленников. Живо отогнали их на другое место, стояли, не трогали... Брошенное оружие собрали, сложили в груду, а через несколько минут пригнали подводы, погрузили и увезли к берегу. Всюду, куда ни глянь, валялись раненые —стонали, хрипели, иные кричали от боли... Оказалось, что эти 50—60 белых солдат были частью офицерами, частью алексеевцами. Пощады им не было ни одному.

Остальную пленную толпу погнали к баржам...

Чобот, пробравшийся со своим эскадроном за станицу, проехал до самых камышей, спешил всадников и ждал. От него человек 10 разведчиков протянулось—залегло цепью в станицу и один другому все время передавали, как идут там дела, что видно, что слышно...

Пока бежали отдельные белые солдаты, Чобот не подымал своих ребят,не тратил зарядов, не обнаруживал своего местонахождения. Правда, отдельные беглецы, сами запарывались сюда к камышам: их без криков задерживали, оставляли у себя... Но лишь только Ковалевская атака решила дело—остатки гарнизона кинулись вон из станицы—и прямо на дорогу, к реке, надеясь переплыть ее на лодках и спрятаться на том берегу. В эту минуту эскадрон вскочил на коней и кинулся из-за камышей на бегущих... Произошло что то невероятное. Белые совершенно не ожидали нападения с этого края. Они шарахнулись в сторону, рассыпались по берегу и в большинстве побежали на то место, где прежде стояли лодки. Лодок не было:

Чоботовы ребята увели их на другое место. Бежать было некуда. А всадники метались всюду среди беглецов и безжалостно их сокрушали, не встречая почти никакого сопротивления. Многие бросались в воду, надеясь вплавь добраться до того берега, но редко кому удавалось доплыть на самом деле: наш пулемет шарил по воде и нащупывал беглецов; большинство ушло ко дну Протоки. Подобно страшному богу мести—носился по берегу возбужденный Чобот. Он сам не рубил и не преследовал,—только указывал, куда скрывался, куда бежал кучками ошалелый неприятель. Чобот все видел и разом замечал во все стороны, как метался враг и где он искал спасения.

Словно дикий степной наездник—скакал с конца на конец с обнаженною шашкой Танчук. Он уже давно потерял свою шапку и черные кудрявые волосы разметались по ветру.

Он не знал и не слышал никакой команды, сам выбирал себе жертву, бросался на нее, как коршун, мял и рубил без пощады. И когда уже все было сделано—чья то шальная пуля, верно своего же стрелка, перебила Танчуку левую руку. Он не крикнул, не застонал—только выругался крепче крепкого и соскочил с верного Юся. Сеча окончилась...

Сколько побито здесь было народу, сколько погибло его на дне Протоки—останется навсегда неизвестным. Только отдельные беглецы успели добраться до камышей и спрятаться в них—большинство же погибло во время бегства. Были случаи, когда белогвардейские офицера переодевались в женское платье, пытались таким образом скрыться в камыши, но кавалеристы не пропускали никого, задерживали маскированных и оставляли их здесь же на месте. Черес два часа станица была в руках красного дессанта.

В начале боя с церковной площади подиялся неприятельский аэроплан и полетел в направлении на Новониколаевскую, верст 25—30 на восток, где были расположены белые части. И во время боя и после него—из станичных садов и огородов, с чердаков крыш, из за копен сена и из высокой травы то и дело летали шальные пули: так недружелюбно встречала станица красных гостей.

В этом утреннем бою, захвачено было около 1000 пленных, человек 40 офицеров, бронированный грузовой автомобиль, пулеметы, винтовки, снаряды, обозы с медикаментами, печати, канцелярии, личные офицерские документы и т. д.

В это время пароходы и баржи подошли к самой станице. Были погружены пленные и трофеи; тут-же толпились с носилками раненых красноармейцев, пострадавших, большей частью, в штыковой атаке.

Дальше было совершенно ясно, что неприятель, получив на позиции известие от летчика о катастрофе в тылу—постарается или сняться совершенно, или послать в станицу сильную часть, которая могла бы управиться с красным дессантом.

Неприятель выбрал первое, снял с позиции свои части и от Новониколаевской (а затем и других пунктов) тронулся на Ново-Нижестиблеевскую, опасаясь быть окончательно отрезанным от моря. Здесь у него была единственная дорога на Ачуев и

он торопился по ней пройти, пока красный дессант не закрепился здесь по настоящему и еще не пополнен новыми, может быть, плывущими сзади частями.

Фронт неприятельский в это время находился по линии станиц: Чертолоза, Староджирилеевская, Новониколаевская, Пискуново, Башты, Степной и Чурово:

Уже дрогнула неприятельская позиция, снялась она и быстро покатилась к морю.

Таким образом был создан психологический перелом: неприятель утерял инициативу наступления, попятился назад, а этим временем главные наши силы, стоявшие против неприятельских позиций—стали подгонять и колотить отступавшего к морю врага. В станице, занятой красным дессантом, бой не возобновлялся до тех пор, пока из Новониколаевской не подошли новые белые части.

Первыми из них подошли: Сводно-Кубанский Кавалерийский полк, Полтавский пехотный и Запорожский полки, неизвестная часть генерала Науменко и части кавалерийского корпуса генерала Бобиева, среди которых был и волчий дивизион Шкуро. Красному дессанту было чрезвычайно трудно сдержать напор таких крупных сил; его задачей было теперь—во что бы то ни стало, продержаться до подхода главных своих сил; все время тревожить неприятеля, расстраивать его движение, беспокоить его частичными боевыми столкновениями и держать в напряжении. В полдень под напором превосходных сил нашему дессанту пришлоось очистить две крайние улицы, лежавшие с востока на запад: по этим улицам пошли главные силы неприятеля. Снова завязался бой. Неприятель ввел в работу два бронированных автомобиля. Но положение его было в общем весьма сложное: отгрызаясь от красного дессанта, он в то же время не мог сосредоточить на нем свое исключительное внимание и дать в станице основательный бой: этого не мог он сделать потому, что и там гнали и наседали на него главные наши силы, снявшиеся вслед за ним со своих позиций. Уже было можно слышать в отдалении со стороны Новониколаевской артиллерийскую стрельбу: это были батареи красной бригады, торопившиеся объединить свои действия с действиями красного дессанта. Около 4 часов у станицы скопилось много вражеских сил. Видимо, решено было покончить с красным дессантом и сбросить его в Протоку. Неприятель открыл ураганный артиллерийский огонь и цепями пошел в наступление. Это активное и стремительное движение заставило нас попятиться к реке: инициатива была в руках у белых. Вот красные бойцы уже оставили долину, оставили небольшую речку, а неприятель все идет и идет...

Было совершенно очевидно, что при дальнейшем отступлении дессант может погубить себя целиком.

Командир артиллерии тов. Кульберг уже три часа как не слезал с дуба.

Он примостился там, подобно филину, на верхний сучек, приник потным лбом к сырому холодному стволу и все смотрел в бинокль,—как падают наши снаряды. Батарея стояла тут же, в нескольких шагах и Кульберг с дуба корректировал стрельбу, отдавал команду: «Трубка 100, прицел 95... Трубка 100, прицел 97»... и когда чудовище ухало, а снаряд с визгом и стоном вырывался из жерла—Кульберг прикрякивал и рукой дергался в ту сторону, куда он скрылся... —Отлично, отлично—кричал он сверху, в самую глотку засмалило... А ну, еще такого-же... Да живее, ребята, живее... Ишь побежали...—и он взглядом через бинокль впился в окраину поляны, где вздымались столбы пыли, а от этой пыли шарахнулись в разные стороны, побежали люди... – Еще стаканчик, попотчуй, продолжал он покрикивать сверху, когда артиллеристы спешно заряжали орудие: один подавал снаряд, другой его загонял в дуло, третий давал удар... Так в лихорадочной пальбе Кульберг забывал о времени, об усталости, забывал обо всем... И теперь, когда неприятель шел в наступление и двигался все ближе и ближе к тому месту, где стояла наша батарея—Кульберг и не подумал тронуться, не шелохнулся, словно прирос к дубовому сучку.

Все резче, все порывистей его приказания, все чаще меняет он прицел, громче отдает команду... А возле орудий—запыхавшиеся, усталые артиллеристы еще живее—чаще подают снаряды, чаще, отчаянней бьют по идущему врагу...

На лугу, у выхода к Протоке, там, где сходятся две дороги, неподалеку от камышей—были выстроены пулеметы и пулеметчикам была дана задача: или погибнуть, или удержать наступление цепи врага.

Пулеметные кони повернуты мордами к реке. На тачанках, за щитами, согнулись пулеметчики. Мы сзади их верхами, удерживаем отступающие цепи. Вижу Коцюбенко—он словно припаян к пулемету, уцепился за него обеими руками, шарит, проверяет дрожащими пальцами—все-ли в порядке.

Неприятель на виду, он также неудержимо продолжает двигаться вперед. Ну, молодцы—пулеметчики, теперь на вас вся надежда: переживете—удержимся, а не сумеете остановить—первые сгибнете под вражьими штыками.

Как уже близко неприятельские цепи, вот они прорвутся на луговину... В это время, в незабвенные трагические минуты, когда дессант держался на волоске, пулеметчики открыли невероятный, уничтожающий огонь.

Минута... две... Еще движутся по инерции вражьи цепи, но уже дрогнули они, потом остановились, залегли... И лишь только подымались—их встречал тот же невероятный огонь...

Это были переломные минуты—не минуты, а мгновения. Красные цепи остановились, подбодрились и сами пошли в наступление. Неожиданный оборот дела сбил неприятеля с толку. Там произошло замешательство и белые цепи начали отступать. Положение было восстановлено.

В это время над местом, где находились неприятельские войска, показались барашки разрывающейся шрапнели. Нельзя описать той радости, которая охватила бойцов и командиров, увидевших эти белые барашки от огня своей красной бригады; это свои шли на подмогу, они уже совсем недалеко, они не дадут погибнуть нашему дессанту...

Ободренные и и радостные—красноармейцы снова начали тревожить проходящие неприятельские войска. Так продолжалось до самой ночи, до темноты. Пытались было связаться с подходившей красной бригадой, но попытки оказались неудачными: между дессантом и подходившими красными частями были густые неприятельские массы. Плавни и лиманы не позволяли соединиться обходным путем.

Неприятель на ночь решил задержаться на краю в станице, дабы дать возможность дальше к морю отойти своим бесконечным обозам.

Красный дессант решил произвести ночную атаку.

За церковью, неподалеку от станичной площади, в густом саду Чоб т спрятал в засаду свой эскадрон. Ему опять предстояло лихое дело—в новой обстановке, в глухую полночь. Бойцы расположились в траве, лежали молча.

Кони были привязаны посредине сада, к стволам черемушника и яблонь. На крайних деревьях, у изгородей—всюду попрятались в ветвях наблюдатели. Чобот ходил по саду из конца в конец, молча посматривал на лежащих бойцов, на коней, проверял сидевших на сучьях дозорных.

Над ручейками, и дальше по аллее, залегли наши батальоны. Все были уже оповещены о готовящейся ночной атаке. Мы с Ковтюхом лежали под стогом сена, позвали к себе командиров, устроили маленькое совещание. В это время с парохода притащили большой чугун с похлебкой. Поднялись, уселись кружком, как голодные волки, накинулись на еду: с самого утра во рту не было маковой росинки. Бойцы, стоявшие возле стога, подвигались ближе и ближе: похлебка брала свое и притягивала, словно магнит. Только вот беда ложек нет: двух паршивеньких и оглоданных на всех не хватало. Но и тут умудрились: кто ножом, кто деревянной только что остроганной лопаткой— заплескивали из котла прямо в рот. Скоро весь котелок опорожнили начистую. Закурили. Повеселели. Приободрились.

Ровно в полночь решено было произвести демонстративную атаку, а эскадрону, спрятанному в саду—поручалось в нужную минуту выскочить из засады и довершить налетом панику в неприятельских рядах.

Отрядили храбрецов, поручили им проползти вглубь станицы и в 12 часов поджечь пяток халуп, а для большего эффекта, лишь займется пожар—кидать бомбы.

С первыми же огнями должны разом ударить все орудия, заработать все пулеметы, а стрелки, дав по несколько залпов—должны громко кричать «ура», но в бой не вступать, пока не выяснится состояние противника.

Наступили мертвые минуты ожидания. Кругом тишина—и у нас тишина, ну неприятеля. В такую темную ночь трудно было ожидать атаку. Люди, казалось, ходили на цыпочках, разговаривали шопотом. Все ждали.

Вот задрожали первые огни, взвились из станицы красные вестники, разом занялось несколько халуп...

В то же время до слуха красных бойцов донеслись глухие разрывы—это наши поджигатели метали бомбы... Что получилось через мгновение—не запечатлеть словами. Ухнули разом батареи, пулеметы заговорили, заторопились, залпы срывались один за другим.

Какое—то ледяное, безумное «ура» вонзилось в черную ночь и сверлило ее безжалостно. Ура... Ура... катилась на станицу страшная угроза. Неприятель не выдержал, побросал насиженные места и кинулся бежать. В эти минуты из засады вылетел спрятанный там кавалерийский экскадрон и довершил картину. При зареве горящих халуп—эти скачущие всадники с обнаженными шашками, эти очумелые, заметавшиеся люди—казались привидениями. Неприятель сопротивлялся беспорядочно, неорганизованно: открывал пальбу, но не видел своего врага, пытался задержаться но не знал, где свои силы, как и куда их собрать. Недолго продолжалась уличная схватка. Станица снова была полностью очищена. Неприятель за окраиной распылился по плавням и камышам, только на утро собрался оставшимися силами, но к станице больше уже не подступал, а направился к морю.

Еще ночью, тотчас после боя в станицу вошли наши заставы, но весь дессант вошел туда лишь на заре. Снова была пальба из огородов и садов, снова недружелюбно встречали станичники красных пришельцев...

Когда рассвело—стали собирать и отправлять на баржи новые трофеи: бронированный автомобиль, легковые генеральские машины, пулеметы, траншейные орудия, снаряды, винтовки, патроны...

К этому времени со стороны Новониколаевской вошла в станицу Красная бригада—ей и была передана задача дальнейшего преследования убегающего противника. Дессант свою задачу окончил.

Весело, с песнями грузились красноармейцы на баржи, чтобы плыть обратно.

Каждый понимал, какое сделано большое и нужное дело... Каждый все еще жил остатками глубоко драматических переживаний... Суда отчалили от берега... Громкие песни разбудили тишину лиманов и камышей. Мимо этих вот мест, только вчера на заре, в глубоком сивом тумане, в гробовом молчании, плыли суда с красными бойцами.. Еще никто не знал тогда, как обернется рискованная операция, никто не знал, что ждет его на берегу... Теперь, плывя обратно, бойцы не досчитывались в своих рядах, нескольких десятков лучших товарищей: на верхней палубе «Благодетеля» на койке лежит с раздробленной рукой бледнолицый Танчук и тихо—тихо стонет.

В просторной братской могиле, у самых камышей, покоится вечным сном железный командир, Леонтий Щеткин, но о них поминали только изредка. И лишь вспоминали—умолкали все, слобно тяжелая дума убивала живое слово. А потом, когда миновало молчание—снова смех, снова песни, снова веселая радость, будто и не было ничего в эти минувшие дни и ночи.

Г. Биткер.

Е. А. Дунаев.

В нашей большевистской группе, с первых дней февральского переворота, стало быть, до наезда товарищей из ссылки, эмиграции и т. д., количество старых партийцев было весьма значительно, но одно из самых почтенных мест принадлежало, без всякого сомнения, Евлампию Александровичу Дунаеву, «товарищу Александру», по его партийной кличке, члену Стокгольмского Съезда нашей партии, Иваново-Вознесенскому текстильщику, а затем Петроградскому электро-технику.

Он пользовался колоссальным авторитетом и доверием в рабочих кругах, большой ненавистью со стороны буржуазии и не меньшей со стороны меньшевиков. Это был чрезвычайно тонкий и чуткий человек, чрезвычайно интеллигентный, хотя грамоту знал плохо, почерк у него был ребяческий. Когда в Петрограде, уже во время войны, был образован Военно-Промышленный Комитет, то при разгоне рабочей группы первого, не Гвоздевского, состава, Дунаев был последним выведенным из зала полицией.

Как электро-монтер, в Питере, еще до войны, он разносил нелегальную заграничную литературу по заводам, куда он имел доступ, как монтер. Поражало в Дунаеве, выступавшем всегда в своей традиционной синей рабочей блузе то, что он всегда говорил с колоссальным энтузиазмом, горячностью, но великолепно умел ставить вопросы во всей их широте, во всем их объеме.

Как я уже говорил, он пользовался ненавистью буржуазии и не любовью меньшевиков. Это была вполне заслуженная им ненависть и не любовь, ибо он сам горел ненавистью к капиталистическому строю. Несмотря на то, что Дунаев был человеком чрезвычайно добрым по натуре, его выступления против кадетов, эс-эров или меньшевиков всегда носили характер колоссальной ненависти и его выступления, поэтому, всегда создавали напряженное состояние. Но это не был отвлеченный ненавистник, это был практик рабочего движения, как я уже указывал, с колоссальной популярностью в массах.

После июльских дней в Городскую Думу прошли всего 4 большевика и в том числе Дунаев. Дунаев, будучи товарищем председателя Совета Рабочих Депутатов, членом нашего партийного бюро, вместе с тем ушел на практическую работу в Городскую, а затем Губернскую продовольственную управу, где до октябрьского и после октябрьского переворота

заведывал, так называемым, мануфактурным отделом, фактически национа-
изировавшим или муниципализировавшим все частно-владельческие склады
производившим распределение их среди трудового населения. Это были
ервые практические шаги социалистической власти и в этой работе
унаев находил большее удовлетворение, чем во всех других областях
артийной работы.

Он умер лет сорока от сыпного тифа весной 1919 г. Его организм
ыл ослаблен чрезмерной работой и переутомлен. Он работал в продо-
ольственной управе почти до самого конца, забыв о себе и своей семье,
у него четверо ребятишек, которые и сейчас находятся в чрезвычайно
яжелом положении.

И. Козлов.

От тюрьмы к исправительно-трудовой школе.

Ничто так метко не дает характеристику старой царской тюрьмы, как следующий стишок из революционной тюремной песни:

«Здесь штык или пуля—там воля святая»
«Эх, темная ночь, выручай!»
«Будь узнику ты хоть защитой, родная»

И ночь не редко для узника была единственной надежной защитой, гарантируя ему или удачу при отчаянной попытке бежать, или вечный покой от земной воли, когда он нарывается на штык или пулю. Лишение всех человеческих прав, неестественные условия физического существования, нравственные пытки, и нередко, физические истязания не могли располагать узника к бесконечному терпению; становилось невмоготу, и когда других выходов не было, узник прибегал даже к самоубийству.

К счастью, время это прошло. О прошлом можно-бы не говорить, если-бы нас не интересовало настоящее. Царская тюрьма была орудием классовой борьбы имущих, в которой сводились счеты с теми, кто так или иначе проявил неуважение к устоям буржуазно-царского порядка. Дух слепой ненависти и черной мести был основой тюремной политики. Но что же должно было случиться с тюрьмой после победоносной пролетарской революции? У всех тех, кто имел несчастье быть знакомым с тюрьмой, в том числе и у пишущего эти строки, в октябрьский переворот сильно горели руки, динамитом взорвать эти мрачные дыры. Но оказалось, что революция не пошла по стопам, разрушившего в свое время Бастилию Парижа. Прошло уже пять лет, а наши бастины стоят невредимо на своих местах и попрежнему мрачным видом пугают обывателя. Потребовалось организовать даже особый ГЛАВК для управления столь «почтенным наследием», который сгоряча был назван «Ц. Карательный Отдел», чем было подчеркнуто, что почтительные наследники наследуют не только форму, но и дух старой царской тюрьмы, но потом скоро спохватились: в пролетарской республике не к лицу, мол, напирать на кару, как принцип, и исправились, назвавши «Исправительно-Трудовым Отделом», а тюрьму окрестив в «Исправдом». Стало быть больше не караем, а только исправляем. Но роковая тюрьма упрямо оставалась все в том-же виде и всею своей обыденной практикой цинично издевалась над пустой революционной фразиологией наших исправителей. Да и могло ли быть иначе, когда в самом ЦИТО, а тем более по тюрьмам, на каждом шагу можно

встретить в штате ответственных и низших служащих поседевших ветеранов, бессменно остающихся на своих местах, от времен царизма. Ясно, что от такого сорта людей, допуская лойяльность с их стороны по отношению к Советской власти, никакого поваторства ожидать нельзя. Таким образом исправительный принцип в деле не воплотился, а в большинстве случаев выразился в отвратительную пародию. Не знаю почувствовало-ли ЦИТО, что его имя не отражает действительного духа работы на местах, вследствие чего исправительно-трудовой принцип стал чем-то вроде писанной торбы, или усумнилось целесообразности его, но ГЛАВК переименовался уже в третий раз и назвался просто Главным Управлением местами заключения. Ветераны тюрьмы довольны такой переменой, полагая, что революция закончила свои шутки и вернулась в тюремном деле к тому месту, откуда отправилась. Насколько основательна их радость, спорить преждевременно, но одно ясно, что революция действительно мало затронула тюрьму, если не считать перемены вывески (Исправдом). Дело же требует к себе серьезного и безотлагательного внимания. Как мы смотрим на русскую революцию вообще и с нэпом в частности? Повидимому, не иначе как на подготовительный этап к коммунизму, где для тюрьмы под каким-бы соусом она не подносилась, не должно быть места.

Теперь-же, к сожалению, мы еще не имеем возможности позволить себе эту роскошь, и это будет понятно, если вспомните, что революция еще продолжается, что с уничтожением власти денежного мешка, охранявшая его псарня заразилась опасным контр-революционным бешенством, для которой тюрьма, как ветеринарная лечебница, необходима. Кроме того необходимо помнить еще и следующее: в наследие от царского режима осталась масса духовно-искалеченных людей, уголовных рецидивистов, у которых осталась порочная наклонность, часто доходившая до мании, которая делает их присутствие в здоровом обществе невозможным.

Да и самое общество не во всей своей толще с одинаковой быстротой приспособляется к быстро меняющимся общественным отношениям. Есть лица среди наиболее консервативно-отсталых слоев, у которых привычки старого мелко-собственнического, мещанского благополучия сильны, и поэтому они без особо злостных намерений вступают часто в резкий конфликт с существующим порядком, в силу чего получается необходимость временного их удаления из общества.

Таким образом, тюрьмы мы вынуждены временно терпеть, как неизбежное зло. Но если мы лишены возможности полного уничтожения их теперь, то мы можем и должны приступить к немедленному их преобразованию в духе подготовления к коммунизму.

Припомним чему нас учит исторический материализм: идеология общества есть надстройка над материальной структурой экономических отношений (базисом), она есть только консервативное отображение последних, которые, находясь в процессе постоянного прогрессивного изменения, опережают первую. Словом, сознание определяется бытием. Но в массе-то человеческих существ это сознание определяется бытием только задним числом. И если вспомнить, какой сдвиг в короткое время произо-

шел в экономических отношения, то будет вполне понятна и отсталость сознания от бытия, и то резкое противоречие между ними, на почве которого естественным образом создаются преступления. Пройдет некоторое время, и отставшее сознание подтянется до понимания существующего бытия и будет жить с ним в унисон. Вместе с этим и преступность, вытекающая из указанного противоречия, значительно ослабнет, если не прекратится совсем. Мы присутствуем при родовых муках нового сознания и наша обязанность заключается в том, чтобы помочь тем из граждан, которым эти родовые муки угрожают гражданской смертью. В этом смысле мы должны приступить к преобразованию мест заключения, на которые должно быть обращено внимание тем сугубее, чем совершеннее работает фильтр Юстиции, отцеживающий для тюрьмы публику, наиболее опороченную, исправление которой равносильно дезинфекции для общества.

Учел ли все это тюремный ГЛАВК? Если проследить его деятельность по циркулярным и практическим мероприятиям, то окажется, что Центрокарат поставил вполне ясные и, по моему, правильные вехи исправительной работы, при нем были все места заключения разбиты на специальные виды для разных категорий заключенных. Введены были распределители, деление на разряды заключенных, организованы распредкомиссии, советские патронаты (умершие, впрочем, не успев родиться) и, наконец, введены и, что важнее, привились совершенно новые исправительные учреждения, это—Трудовые колонии.

Казалось бы, что преемнику Центрокарата, Исправительно-трудовому отделу остается в унаследованые формы только вдунуть живую душу-разработать и воплотить в практику систему исправления и перевоспитания.

Что же делало ЦИТО? За время его существования в качестве положительной работы необходимо отметить заботу с его стороны об улучшении статистики по составу заключенных и отчетности по работам, но статистика пока ограничивается самыми элементарными вопросами, а учет по работам преследует пока одну цель—доходность. Доходность—вещь, конечно, хорошая, особенно в государстве, которое не может свести концы с концами в бюджете, но нажимать на доходность от тюрем, у нас в Социалистической Республике, чего не ставит самоцелью ни одно даже буржуазное государство, по меньшей мере безрассудно, а при существующей постановке дела в наших местах заключения этот нажим—преступление. Мастерские по местам заключения, кроме немногих благоустроенных еще до 1917 года, почти везде технически не оборудованы, средств на оборудование, за редким исключением, так же не отпускается. Работать, таким образом, приходится хлебным паром, паек для которого также ограничен голодною нормою. При таких условиях погоня за доходностью встает в вопиющее противоречие со всей пенитенциарной работой и делает исправление заключенных пустой фразой. Труд для заключенных бесспорно необходим, но не в интересах доходности, а перевоспитания и исправления, как рамка для пенитециарной работы, на ряду со школами грамоты и политграмоты; доходность же и самоокупаемость хороши лишь, как побочный результат.

На местах ждали инструкции систем и методов пенитенциарной работы и вдруг работники были обрадованы циркуляром, гласящим, что все места заключения Республики снимаются с госснабжения и передаются на местные средства, а местам, задавленным дефицитом, не замедлили предложить переход просто на самоснабжение. Жестокая практика, таким образом, как бы сказала: поменьше церемонии с заключенными, гони их в хвост и гриву на работах, а исправление и перевоспитание отложим.

ЦИТО в свое оправдание может сказать, что ему было не до исправления, ибо не отпускалось достаточного количества средств, вследствие чего оно было вынуждено заниматься сокращениями. ЦИТО вынуждено было снять места заключения с госснабжения, это верно, но все это ни на волос не улучшает положения. У ЦИТО есть еще весьма основательное оправдание, именно то, что в продолжении 22-х месяцев, вплоть до апреля 1922 года, учебно-воспитательная часть по местам заключения была в ведении губполитпросоветов. Хотя это и не освобождало ЦИТО от участия в воспитательной работе, но давало формальный повод ему сваливать всю ответственность на губполитпросоветы, а последние собрали вокруг себя буржуазных нахлебников, предпочитавших вместо работы втирание очков своему патрону, не производя никаких реальных ценностей. Например инструктора Костромского губполитпросовета по нескольку месяцев подряд не появлялись в места заключения, считая это дело не по душе, хотя жалованье получать не гнушались.

Наконец, после 22-х месячного опыта бездеятельность губполитпросветов, должно быть, была замечена и в Совнаркоме. Декретом от 8-го апреля 1922 года учебно-воспитательная часть вновь была возвращена в ЦИТО. Прошло уже много месяцев, а воз и ныне там. А между тем при ЦИТО существовала пенитенциарная комиссия для той же цели. Из царского тюремного архива был извлечен профессор тюрьмовед, который за приличную мзду, по десятому, вероятно, совместительству должен был обслуживать и ЦИТО и однако, такое роковое бесплодие, но если вспомнить, что всякое новое дело требует живых прктических опытов, постановка которых в бюрократических кабинетах невозможна, то окажется, что удивляться бесплодию ЦИТО не приходится. Что же касается профессора, то последний, надо полагать, как и другие профессора, человек консервативный и замаринован в старых традициях. Что он может дать новому делу, кроме »мудрости» из царского тюремного вестника и других отживших изданий по тюремному делу? Ничего, ибо революция давно уже переместила центр тяжести от кары к исправлению, вследствие чего между правилами тюремного вестника и существующими потребностями в деле исправления существует огромная логическая невязка. Перед этой невязкой и стоял глубокомысленно наш пыльный профессор; в почтительно-тупом оцепенении стояла и пенитенциарная комиссия. Чем же должны стать после всего указанного наши места заключения по сравнению, хотя бы с царской тюрьмой? Царская тюрьма, ставя перед собой цель расправы с классовым врагом, по своему внутренному укладу представляла собой законченную цельность: там все было на своем месте и все било в одну точку. Еще

более четкой законченностью должен был бы отличаться режим советского исправдома: в нем точно так же должно быть все продуманно, прикроенно и било бы в одну цель, но не кары, а исправления. Что же мы видим в действительности? Как я уже сказал, привычка к старине была сильна у служащих исправдомов, советские новшества были непонутру. Но у революции был слишком велик потенциал, который со стихийно-бесформенной силой давил и на консервативные мозги. Эти мозги упорно сопротивляясь устоять не могли и подались, что вырозилось по местам заключения ввиде распада царистской цельности. Но так как потенциал революции действовал бесформенно, то есть Центром не воплощался ввиде стройной, продуманной системы пенитенциарной работы, то и советский исправдом не получил законченной цельности, а стал каким-то грязным омутом, полным случайностей, распущенности и новых преступлений. Эще не так давно, а нередко и теперь жулика рецидивиста, отбывающего срок наказания, можно было видеть где нибудь на толкучке, или шляющимся по учреждениям без всякого документа на руках.

Вместе со «шпаной», «жиганами», а чаще всего с «Иванами» начальство исправдомов обворовывает на счет «коблов» котел заключенных. Если вы тоже начальство какого-нибудь учреждения и делаете визит в исправдом, то вас, под видом пробы, угостят обедом таким, что вы начинаете завидовать заключенным, пока не посмотрите, что в действительности едят заключенные. Попробуйте вы об этом довести до сведения выше-стоящего начальства, то вам пообещают принять меры. Ждете, мер никаких не принимается, а потом окажется, что начальство пользуется бесплатной тюремной баней, в мастерских сшиты ему брюки, его жене башмаки — из уважения. В исправдоме нет распорядителя, отсутствует учебно-воспитательная часть, не все заключенные разбиты по разрядам, причем вчера прибывший сюда спекулянт, сегодня числится в разряде образцовых, или только что присланные из колонии, как трудно исправимые и опасные негодяи, в исправдоме через неделю представляется к условно-досрочному освобождению и т. д... всех дефектов не перечтешь, тем более, что в каждом Исправдоме они разные.

Таковым в громадном большинстве является наш исправдом. Правда, за последнее время со стороны ЦИТО были сделаны попытки к сокращению распущенности, но попытки эти носили бы более положительный характер, если бы они делались на ряду и в органической связи с конкретными пенитециарно-воспитательными мероприятиями.

Как я уже сказал раньше, ЦИТО с октября больше не существует, расформирование его не произошло, произошла лишь перемена названия, и, таким образом, ЦИТО стало главным управлением мест лишения свободы. Перемена эта произошла в связи с переходом всех мест лишения свободы от Наркомюста в распоряжение ВНУДЕЛА.

Как поставит дело ВНУДЕЛ—пока темна вода, но по некоторым признакам ждать добра преждевременно. В самом деле, каким опытом для управления и организации мест лишения свободы располагает ВНУДЕЛ. Припомните, что у ВНУДЕЛА только что расформированы лагеря и, таким

образом, ВНУДЕЛ в этой области рисковал оказаться не у дел. Чем были лагеря у ВНУДЕЛА—все мы знаем о них следующее: лагеря были организованы с подражанием военным концентрационным лагерям Западной Европы, для изоляции контр-революционных элементов. Относительно этих элементов у работников лагерей существовало пагубное и ни на чем не основанное мнение, будьто-бы контр-революционеры неисправимы и трудиться в этой области не стоит. Таким образом, задача сводилась к тому, чтобы, не мудрствуя лукаво, заставить контр-революционеров работать, дабы они не только не сидели на шее Республики, но доставляли ей возможный доход. На практике же выразилось это в то, что лагеря не редко стали очагами кумовства и сводничества всех видов и обоюдно-стороннего шантажа и вымогательства. Лагерь для контр-революционеров был в лучшем случае ночлежной, в худшем—местом ежедневной вечерней или утренней дорогой и досадной регистрации. Таким образом, контр-революция не только не изолировалась, а получала новый заряд и расползалась по городу ввиде разного рода сплетен, компроментирующих власть слухов, темных делишек и пролазничества. Такая практика в приложении к общим местам заключения приведет последние к окончательному развалу и поэтому я очень боюсь, что как бы нам не пришлось жалеть плохое ЦИТО, у которого, нужно заметить, была не только одна революционная фразеология, но есть и практические покушения воплотить слова в дело: например оно все время пыталось сорганизовать в Москве реформаторий для малолетних преступников, последнее время оно хлопотало в той же Москве с организацией переходного исправдома. Правда, что все эти опыты постигала неудача, но все же они представляют собой весьма положительные попытки.

В ведении ЦИТО по Республике имеется до 30-ти трудовых с./х. колоний. Колонии эти—явление совершенно новое в русской истории и представляют собой революцию в тюрьме. Впервые они появляются в 1918 году и одновременно в 3-х, отдаленных одна от другой, губерниях. Существующий тогда Центрокарат поставлен был в необходимость считаться с совершившимся фактом. Несмотря на чрезвычайно тяжелые условия существования этих колоний, они оказались очень живучими и из 3-х превратились в 30-ть. Колонии, как явление новое, и как детище революции должны были бы, казалось, сразу приковать внимание ЦИТО. И, однако, что же мы видим на деле? Чтобы дать точную картину условий организации и развития колоний, я дам описание одной из них наиболее мне известной, а именно Кривоезерье.

В августе 1918 года, близ Костромы, мной была организована колония Бараново. Колония была организована, как опыт, без всяких директив, планов и указаний почти явочным порядком. Впоследствии она была признана и утверждена Центрокаратом и на нее были даже отпущены небольшие деньги. В Баранове я проработал полтора года, в продолжении которых мною был разработан тип организации и система пенитенциарной работы. Оказалось, что за отсутствием целого ряда необходимых для правильной работы условий, систему полностью осуществить в Баранове

было нельзя; нужно было подыскать для колоний другое более подходящее место, каковым оказался Юрьевецкий Кривоезерский монастырь, обладающий землей, заливными лугами, большим количеством удобно расположенных каменных построек, раскинувшихся среди дубовых дубрав на берегу р. р. Волги и Унжи.

Монастырь, как таковой, был уже ликвидирован формально, а фактически он представлял следующую картину: в нем организовался, для видимости, совхоз, вместе с которым уживались и монахи монастыря, продолжая одурманивать православных, организовавшихся в приход. Юридическим хозяином монастыря является ныне упраздненный, самый бестолковый, запятнавший себя многими преступлениями, Ковернинский Уисполком, но его хозяйские заботы каснулись монастыря лишь при самой ликвидации и выразились в том, что он вывез из него около 40 возов разного ценного имущества и, занявшись безотчетным мотовством его, совершенно забыл о монастыре, в котором хозяйничали вышеназванные фактические хозяева. Эти последние в короткое время Кривоезерье привели в такое состояние, что к моменту приемки его под колонию 1-го апреля 1920 года при 70% пустующих помещений я все же не знал, куда поместить 30-ть человек заключенных. Были перепорчены и обворованы все печи, выбиты рамы, сломаны, ободраны от скоб петел и запоров двери. На некоторых постройках были снесены крыши и одна из построек (кирпичный завод) бесследно исчезла с лица земли. Кривоезерье представляло таким образом картину полного разгрома.

Ясно, что сначала нужно было ликвидировать этот разгром. Таким образом нужно было приняться за громадный ремонт, на который нужны были строительные материалы, ремесленники, а главным образом, деньги, но эти последние отпускались в таком ничтожном количестве и с таким запозданием, что о каком нибудь ремонте и думать не приходилось. Тем более, что момент начала организации колоний совпал с посевным сезоном, для которого в принятом от совхоза имуществе не хватало сельскохозяйственного инвентаря и совсем не было семян и даже пахотных культурных полей за исключением 8-ми десятин озими, засеянных совхозом. Задача представлялась невозможно трудной, выбирать приходилось одно из двух: или совсем отказаться от Кривоезерья, или приняться за работу в расчете на чудо. Выбрано было последнее. На практике обнаружилось, что я всех затруднений не учел, а эти затруднения были таковы, что на чудо расчитывать уже совершенно не приходилось, так как со всеми чудотворцами в самом начале пришлось столкнуться в неразрешимый конфликт. Дело в том, что в центре монастырских корпусов оказались три церкви, отданные в распоряжение, как я уже говорил, религиозной общине. К делу приступать было нельзя. Изъять их формально из общины с передачей в распоряжение колоний, даже и Губюст (Костромской) не решался. Община же, а тем более окружающие волости были заинтересованы в бывших монастырских угодиях, которые, прикрываясь этими церквами, они рано или поздно надеялись получить в монастырь, для каковой цели приберегались и самые монахи.

Совхоз, владеющий этими угодиями был так жалок, что дни его были сочтены. Счастье, казалось, было так близко и вдруг новая опасность в лице колоний. Естественно, что в кулацком и темном углу отношение к колонии было самое недоброжелательное. Не менее враждебно оно было и со стороны живших в монастыре служащих главлеса, и сенопункта, прячущихся за школьную вывеску учителей. О монахах и говорить нечего, ибо всем им было ясно, что при организации такого учреждения, как колония, их попросят оставить насиженные места, которые так были удобны для пьянства, картежной и амурной игры.

В дальнейшем не удалось избежать вражды и со стороны местного лесничества, возникшей на почве расширения колониальных запашек. Оказалось, головотяпы Костромского Губземотдела, организуя в Кривоезерье свой совхоз, одновременно с этим все угодия бывшего монастыря зачислили по какому то недоразумению в лесной фонд. При таких условиях казалось естественным расчитывать на поддержку и сочувствие в деле со стороны Ковернинского Уисполкома, но и тут постигло разочарование. Уисполком находился в лесной глуши за 50-т верст от Кривоезерья и сюда никогда не заглядывал, и вспомнил он о Кривоезерье лишь тогда, когда оно передавалось уже в колонию лишь потому, что бы забрать и то немногое, что им оставлено было для прозябания совхозу. И получив отказ, он также не взлюбил колонию, как не взлюбил ее и Костромской Губземотдел, получивший отказ в претензии на те же остатки имущества, которые он пытался забрать, стараясь предупредить Ковернинский Уисполком. Таким образом оказалось, что я попал в неприятное окружение. Санкции Губисполкома о занятии Кривоезерья для колоний было недостаточно: Кривоезерье еще нужно было завоевать. Так было в начале, но с той поры прошло уже два с половиной года и теперь подводя итоги, можно пожалуй сказать, что Кривоезерье завоевано. Монахи, сенопункт, главлескомцы и учительство хотя и не без скандалов, но были ликвидированы очень скоро. Три храма у религиозной общины были изъяты и перестроены: один под школу, из другого вышел великолепный театр, с хорошо оборудованной сценой и кинематографом, библиотека и зал для собраний и лекций, и третий, бывший Троицкий собор, потребовавший на перестройку весьма много средств и труда, только что превратился в место различных мастерских, где уже гремит двигатель, свистит динамо, освещающая колонию электричеством, и шумит мельница. Все жилые постройки отремонтированы. Наполовину перестроен скотный двор для имеющихся 30 голов рогатого скота, усилен с./х. инвентарь и увеличены запашки за счет пустырей и леса с 8 до 38 десятин. На очереди стоят новые сооружения: своего водопровода, оранжерей, мелиорация, ирригация и т. д. Как могли быть достигнуты при указанных условиях такие успехи? Как я уже сказал, денег нам не давали, если не считать мелких ассигнований через ГИТО.

Напрашивается ответ, что в колонии применялся дешевый труд заключенных, что на первый взгляд может казаться правильным, ибо заключенным за работу оплачивались уменьшенные ставки. Но не нужно

забывать, что «подневольный труд наименее производительный», как гласит общепризнанное правило, а это правило в колонии могло быть тем действительнее, что в погоне за экономией средств, приходилось по необходимости экономию переносить на питание, одежду и обувь заключенных, что не могло не понизить производительности труда. Но как бы ни экономить, однако кормить, одевать и обувать их было необходимо, а так как бережливость у заключенных к казенному обмундированию ниже, чем к своему, то приложив к выдаваемому заработку заключенных его пищевое и вещевое довольствие, может оказаться, что подневольный дешовый труд—очень дорогой труд, тем более, что содержанием то пользуются все, а работают по разным причинам не все.

Преобладающее большинство заключенных составляются из уголовщины, в большей части по мозгам костей развращенных рецидивистов, считающих всякий труд проклятием, привыкших шляться по притонам и валяться на нарах тюремной камере. Для них колония с ее дисциплиной и трудовой спайкой администрации и колонистов несмотря на обширные льготы казалась каторгой и они всегда старались увильнуть от работы, устроить какую нибудь пакость в рассчете, что их переведут в тюрьму, где чаще всего никакой трудовой дисциплины не существовало. А когда они убеждались, что номер их не проходит, они старались дать из колонии тягу, что ввиду недостаточности надзора было сделать легко.

Побегов, таким образом, в среднем за все время существования колонии было 8%. Ясно, что от такого сорта колонистов удовлетворительной производительности труда ожидать не приходилось, удовлетворяясь уже тем, что удается с ними справиться.

По существующим правилам неоднократно преподанным со стороны ЦИТО распредкомиссиям, в колонии рецидивистов и трудно исправляемых уголовных элементов паправлять не должно. Однако в Кривоезерье они попадают. Объясняется это тем, что, как я уже сказал, в большинстве мест заключения (исправдома) распределители существовали на бумаге, а не фактически. Индивидуального изучения заключенных не велось, статистики не существовало, а все это вместе взятое ставило распредкомиссии в необходимость верить начальнику исправдомов на слово, а последние старались справить подальше от себя, тех заключенных, которые причиняли своим поведением начальству лишние хлопоты и заботы. Например, в апреле месяце 1922 года, ЦИТО нам дважды телеграфировало, что из Вологды в наше распоряжение направляется 50 человек заключенных образцового разряда, несклонных к побегу. Эти 50 чел. образцовых оказались рецидивистами самого низшего пошиба, из которых часть бежала, а часть была отправлена в Иваново-Вознесенский Исправдом. Такие случаи не единичны и касаются они не только Вологды, но и других удаленных от центра губерний. Москва временами присылала людей не лучше Вологодского Исправдома.

Чем хуже материальные условия существования заключенных и чем ниже в моральном отношении состав последних тем, повидимому, лучше должен быть организован административный аппарат колонии и тем более

высоким требованиям должен соответствовать штат служащих, если последней целью в работе являются положительные достижения.

И вот посмотрим теперь, что из себя представляет служебный аппарат колонии и как высоко качество штатных служащих. Аппарат строился из опыта текущей работы. Вся работа разбита по четко разделенным между собою отраслям: административно-караульная, учебно-воспитательная, сельско-хозяйственная, ремонтно-строительная и учетно-статистическая. Во главе надзора из указанных отраслей стоит заведывающий, исполняющий обязанности совместно с подчиненными ему сотрудниками. По мастерским инструктора, на внешних работах отделенные или по местному десятники, совмещающие в себе и воспитателей. Караул из старших и младших наблюдателей и т. д., но указанную хорошую форму черзвычайно трудно заполнять надлежащим содержанием, т. е. хорошим подбором служащих. В обществе еще до сих пор существует предубеждение против такого рода службы, и ясно, что на службу идет не всякий. Насколько оно сильно можно судить по следующему факту: недавно во вверенную мне колонию приезжал с ревизией один из ответственных работников ЦИТО, который так выразил свои отношения к службе по местам заключения. «Считаю, что дело это весма важное и большое, для которого требуются хорошие работники, однако, если-бы эту службу предложили мне, я не мог-бы справиться с неустранимым во мне предрассудком и от службы должен был-бы отказаться». Так говорил представитель нашего центра, так что же может сказать после этого о службе, да еще оплачиваемой мизерно нищенской ставкой, заурядный работник нашего захолустья? А между тем работники то требуются, по предъявляемым к ним требованиям, далеко не заурядные. В результате получается, что хорошие на службу не идут, а плохие не годятся.

Такое положение было хроническим и чрезвычайно вредно отражалось на деле, однако бросать его не приходилось и практика таким образом в в самом начале привела к необходимости использовать на штатных должностях заключенных, которыми в среднем приходится замещать до 50% штата служащих, заключенные с оружием стояли на постах, конвойровали других заключенных, занимали инструкторские должности и даже заведывали целыми отдельными отраслям, и жаловаться, пишущему эти строки, на них особенно не приходилось, обязанности исполнялись во многих случаях с большей аккуратностью, чем поставленными на их место вольнонаемными служащими. Но нормальным такое явление безсомнения считать нельзя и все, что до сих пор сказано о колонии приходится рассматривать как минусы, которые годятся для оправдания неудач, но отнюдь не объясняют тех несомненных успехов по организации колонии и постановки пенитенциарного и хозяйственного дела при ней, что бросается в глаза постороннему наблюдателю. Объяснение успехов, повидимому, приходится искать в самом методе пенитенциарной работы, суть которой я и пытаюсь теперь кратко изложить.

Как я уже сказал, исправительная работа на местах проходила по «мымрецовской» формуле: «Держать и не пущать». Как исправлять, что

исправлять, какие средства применять. На все эти вопросы ответов получить было негде. Личной у меня практики, кроме сиденья по царским тюрьмам, не было, но было ясно одно, что тюрьма существует, и что тюрьмы надо уничтожать в самой-же тюрьме путем приспособления психики заключенных к существующим условиям жизни.

Заключенный, даже образованный, контр-революционер представляет из себя по существу ограниченного обязателя-индивидуалиста, анархиста-метафизика и, нередко мистика, а чтобы приспособить его к требованиям революции, его нужно сделать гражданином, способным понимать связь общественной пользы с его личными потребностями и внедрить в его отставшее сознание коллективистическую закваску. Неграмотного нужно сделать грамотным, воспитать в нем уважение к труду, поднять эстетическую оценку своих произведений, отводить от трудовой неряшливости, выражающейся в махании рукой с заявлением «это мелочь» и полагаться на русское «авось».

Дальше вспоминался мне закон психической индукции, оказавшийся возможным для применения в колонии в виде искусственного создания особой психической среды с повышенной и систематизированной по определенному направлению подражательности, образующей новые полезные привычки на месте порочных, замирающих за отсутствием упражнений. Я пользовался в работе также принципом отбора.

Все эти теоретические рассуждения отчеканились в программу, которая, к сожалению, полностью воплощена в жизнь не была, но и та ее часть, которую удалось приложить на практике, дала весьма показательные положительные результаты. Прежде всего в интересах воспитания общественности среди заключенных по разрядам была введена круговая порука с коллективной и индивидуальной ответственностью. Порука эта обязывала заключенных наблюдать друг за другом в поведении, с точным исполнением установленных по колонии правил и немедленно доводить до сведения соответствующей инстанции, если правила в какой нибудь части нарушались кем нибудь из заключенных.

Взамен этого обязательства заключенным предоставляется право пользоваться законными льготами, которые расширяются или сокращаются в прямой зависимости от степени исполнения поручительства. Круговое поручительство замыкается пределами разряда, от которых права а еще больше их ответственность прогрессировала с каждым последующим высшим разрядом по мере передвижения заключенного. Такая система поручительства логически делала необходимым допущения среди заключенных различных общественных организаций. В качестве постоянно действующих были комитеты заключенных, товарищеский суд и кооператив, в качестве временных—различные комиссии, артели, коммуны и кружки. Все это допущено наряду с организацией статистики наблюдения, задача которой учесть каждое движение заключенного и вместе с общественной культурно-просветительной работой, поставившей своей целью изъять у заключенного весь остаток свободного времени, заняв его или учебными

занятиями, или культурными развлечениями, чтобы ни на минуту не оставлять его с самим собой, когда унего возникают воспоминания порочного прошлого.

О режиме Кривоезерья существуют два диаметрально противоположные мнения: для постороннего, случайного наблюдателя колония, ввиду обширных льгот, допущенных заключенным, кажется чрезвычайно свободным учреждением, дачей для заключенных, организованной для приятного их времяпровождения; для самих заключенных, главным образом, для рецидивистов, колония кажется каторжной тюрьмой, которую они нередко стараются променять на «исправдом».

Это последнее мнение, повидимому, разделяется и нашими губернскими и центральным главками. Так, например, тот же представитель ЦИТО, о котором я уже говорил выше, старательно изучая колонию, заявил мне однажды, что все колонисты Кривоезерья, если предоставить им возможность, предпочтут колонии любой «исправдом», с этим я не согласился, допуская, что некоторые предпочтут колонию только тому исправдому, который отличается преступной распущенностью и находится в ближайшем расстоянии к их семьям, и чтобы не быть голословным, я предложил произвести следующий опыт: объявить заключенным о возможности беспрепятственного перевода каждого изъявившего на перевод свое желание; однако, без обозначения места, и в результате поступило только одно заявление донского казака о переводе его к дому.

В действительности же, оба эти противоположные мнения, относительно верны. Верно, что колонисты пользуются значительными льготами, дающими им возможность не прерывать связи с окрестным населением и чувствовать на себе влияние общественности. Верно, что у заключенных имеется доля самоуправления и что заключенные сами допущены к исполнению общественных функций, заполняют штатные должности колонии и часть их вооружена. Но все это не имеет никакого сходства с обычной по местам заключения распущенностью, подтверждением чего является то обстоятельство, что за все время существования колонии не поступало на заключение ни одной жалобы ни со стороны окружающего населения, ни со стороны учреждений. Наоборот, общественные организации нередко сами обращались в колонию за содействием по сохранению общего порядка и спокойствия, и колония, за отсутствием у организации хорошей милиции, нередко удовлетворяла просьбы, употребляя для этого заключенных же.

Но, принимая во внимание, что всякий поступок заключенного регламентирован особыми правилами, что нарушение этих правил при двойном наблюдении и контроле за ним утаить почти невозможно, и что всякое нарушение влечет за собой коллективное или персональное дисциплинарное воздействие, отражающееся на дальнейшей судьбе заключенного, то окажется, что верно и противоположное мнение о колонии. В самом деле, чем же могут быть из указанной обстановки все эти «свободы», как не арсеналом коварных соблазнов, на которых заключенный должен прежде всего выявить свои привычки и расшифровать тайники своей души, чтобы потом уже тренировать нравственно волевую устойчивость и твердость

характера. Ясно, что заключенный, связанный круговым поручительством и общественным положением в разряде, пользующийся как со стороны товарищей, так и администрации доверием и с обоих сторон проверяемый в своих поступках, чувствует на себе непривычную, а стало быть и тяжелую ответственность, рискуя испортить себе исправительную карьеру и доверившихся ему товарищей поставить в неловкое положение. А русскому человеку, да еще с порочными наклонностями, приучиться к аккуратности без «авось» и даже в мелочах чрезвычайно тяжело. Поэтому некоторым из колонистов колония может казаться каторгой.

Представители ГИТО и ЦИТО склонны были рассматривать режим колонии тоже суровым, главным образом потому, что в колонии много было дисциплинарных взысканий, налагаемых административно и по товарищескому суду самими заключенными. Не спорю, что в Кривоезерье может оказаться при сравнении больше взысканий, чем в другом месте заключения, но вдумавшись получше во всю пенитенциарную систему колонии, предположение это, не заглядывая в наши статистические картограммы и диаграммы, нужно сделать.

Какой же может быть повод к наложению дисциплинарного взыскания на заключенного, содержащегося в четырех голых стенах под замком нашего исправдома, где правила пишутся только для надзирателя, где заключенному по положению не верят, никакими обязательствами не связывают, никаких ответственностей не налагают, когда заключенный обращается в инертную вещь и физически лишен возможности проступка?

Удивляться надо не тому, что в исправдомах мало дисциплинарных взысканий, а тому, что они вообще там еще существуют. Какая же в пенитенциарном отношении цена такому содержанию заключенных?

Сбитые в одну камеру заключенные и предоставленные самим себе, естественно, живут своим уголовным прошлым, бравируют им друг перед другом и, таким образом, укрепляют в себе порочные ассоциации. Просидел заключенный так срок, «ни в чем замечен не был» (да и в чем же он замечен будет когда этого «чем» у него совсем не было) и досрочно освобождается, как исправившийся, а через неделю с новым делом его волокут туда же опять на «исправленье».

Для заключенного в колонии условия его существования отличаются от обычных для него в свободном обществе условий не тем, что они упрощаются до 4-х голых стен исправдома, а как раз наоборот, в значительной степени усложняются более глубокой общественностью, от которой он уклониться не может и хочет или не хочет, но должен приспособиться к ним, напрягая при этом умственные и волевые усилия, а также и его общественное бытие в колонии обставлено еще сложным регламентом при бдительном наблюдении за его исполнением. Взыскания, вместе с двухсторонней балльной сводкой по работам и школе, представляют для заключенного в колонии его формуляр и материал для характеристики. Они же являются точным показателем того, насколько хороша или плоха

пенитенциарная система, практикующаяся в колонии. По своему содержанию взыскания бывают: выговоры, временные лишения некоторых льгот и прав, внеурочные работы, карцер, перевод в штрафной разряд. За два с половиной года работы на прошедших через колонии из 638 человек заключенных было наложено взысканий, не считая редко применяемые взыскания на коллектив, на 293 человека в количестве 636 взысканий т. е. в среднем приблизительно по 1-му взысканию на каждого из—638 человек колонистов.

В действительности же подвергались:

по 1-му разу	157	человек,	
„ 2-му „	78	„	
„ 3-му „	30	„	
„ 4-му „	26	„	
„ 5-му „	5	„	
„ 6-му „	10	„	
„ 7-му „	4	„	
„ 8-му „	3	„	и выше.
636 взысканий . . .	293	человека.	

Можно было бы в нескольких десятках, очень интересных статистических таблицах, показать жизнь колонии со всех сторон, но в интересах сокращения объема статьи, придется ограничиться только некоторыми из них, тем более, что по другим местам заключения такой статистики не ведется, а все эти таблицы только тогда ценны, когда их есть с чем сравнивать. Нас же, в данном случае, интересует лишь один вопрос—доказать, что практикующаяся в колонии пенитенциарная система даже при ограниченности ее применения дает весьма положительные результаты.

25-го августа минувшего года вышеуказанный уже представитель ЦИТО, обрадованный возможностью исследовать колонию статистически, будучи сам статистиком, решил колонию, что называется, сфотографировать в цыфрах. Для этого он остановился на наличном составе заключенных, содержащихся в колонии на 25-е августа и решил проследить их бытие в колонии, затребовав относительно их с десяток различных сводок, одна из которых отвечала на вопрос: сколько падало дисциплинарных взысканий на одного заключенного, начиная с 1-го января 1921 года по времени содержания заключенных.

Сводка дала следующие результаты:

на 1-м месяце пребывания колонистов приходило:	1	взыскание	на	18	человек.	
„ 2-м „ „ „ „	1	„	„	4	„	
„ 3, 4, 5 и 6-м мес. „ „	1	„	„	12	„	
„ 7, 8, 9, 10, 11 и 12-м мес. „ „	1	„	„	13	„	
„ 1-м году до 1½ года „ „	1	„	„	18	„	

Таким образом, через полтора года пребывания заключенного он больше дисциплинарным взысканиям не подвергался, хотя в статистику вошли лица, пробывшие в колонии до 2-х лет 5-ти месяцев.

Но так как самая то пенитенциарная система более планомерно прилагалась в практике только с 1-го ноября 1921 года, то естественно возникает вопрос, как она могла отразиться на дисциплинарных взыска-

ниях именно за это время, то есть с 1-го ноября 1921 года по 1-е ноября 1922 года?

И новая сводка дала следующие результаты:

на	1	месяц	1	взыскание	приходится на	3 человека,
„	2	„	1	„	„ „	5 „
„	3	„	1	„	„ „	4 „
„	4	„	1	„	„ „	9 „
„	5	„	1	„	„ „	4½ „
„	6	„	1	„	„ „	11 „
„	7	„	1	„	„ „	11 „

Из этой сводки мы уже видим, что срок, до которого заключенный давал повод к дисциплинарным взысканиям, сократился более чем в 2½ раза. Вместо 1½ лет понадобилось только 7 месяцев, что бы он уже дисциплинарным взысканиям не подвергался совершенно, приспособившись к предъявленным ему требованиям. Между тем за указанное сводкой время материальные условия существования заключенного нисколько не были лучше предыдущего времени, на которое распространяется первая сводка, но результат последней сводки тем более замечателен, что взыскания в ней хотя и не равномерно, но все же прогрессивно убывали с каждым месяцем, когда поводы к проступкам с ростом ответственности по разрядам прогрессивно увеличивались.

Мне остается показать еще одну сторону, это культ-часть. При колонии, как я уже сказал, имеется библиотека, клуб школа, театр и кино.

У библиотеки с 1500 томов книг за 17-ти месячную сводку на каждый месяц в среднем приходилось 99 подписчиков. В театре за 22 месяца поставлено 99 спектаклей кино и концертов, на месяц в среднем 4½ постановки.

Школа с тремя группами учащихся в среднем с двумя часами занятий в сутки на каждую группу. Прочитано было докладов и лекций за 22 месяца 322, что на месяц в среднем дает 15½ лекций.

Кроме всего этого заключенные должны были находить время для работы в своих организациях.

Такова в общих чертах колония «Кривоезерье». Казалось бы, что работа эта должна была заинтересовать, как губернские органы, так и ЦИТО и колония должна была бы пользоваться поддержкой со стороны последних. Но и бескорыстное усердие, и таланты, и смелость инициативы, и беззаветная любовь к делу—все это ничто, если не имеешь еще одного очень ценного качества-раболепия, хамского угодничества, и слепоты к грехам твоего начальства.

Какой нибудь судейский писарь старого царского времени, выдресировавший свои ноги в судорогах перед своим начальством, волею слепого случая в революции сам стал начальством—могут ли такие типы простить положительные в вас качества, которых нет у них, в особенности если вы служите в одном с ними ведомстве и по должности занимаете подчиненное место?

Вот случай с пищущим эти строки в бытность колонии в распоряжении Костромского ГИТО. Когда последним было мобилизовано против

колонии все семьдесят семь подлостей, чтобы научить меня, что «яйца курицу не учат», тут было пущено в ход все: и инсценировка бесчисленных ложных доносов, и преступная демагогия среди заключенных, и бесчисленные с пристрастием ревизии, и фабрикация с ложными сведениями актов, и ликвидация самой колонии. Правда, что из всего этого колония вышла с честью и еще более окрепшей, но условия работы в ней были безобразно тяжелыми и не нормальными.

В ЦИТО неоднократно возникал вопрос о том, чтобы взять колонию, как опытную, в непосредственное ведение Центра, но дело по обыкновению дальше пустых разговоров не пошло. С переходом Ковернинского уезда в Иваново-Вознесенскую губернию перешла туда же и колония, но и здесь для колонии условия лучшими не стали. Правда, что пристрастие ревизии и различные другие домогательства безчестных карьеристов, колонию больше не беспокоят, но с переходом колонии на местные средства Иваново-Вознесенское ГИТО ударилось в другую крайность: убедившись, что в колонии дело идет отлично, решило не отпускать никаких средств колонии, полагая, что колония может прожить своими доходами.

Дело в этой области ухудшилось еще больше с переходом мест заключения в ведение ВНУДЕЛА, который повидимому, руководствуясь практикой лагерей, не считается с колониями, как со специальными видами мест заключения, приравнивая их к одному типу с исправдомом, хотя для колонии и существует отдельное положение, которое ЦИТО собиралось пересмотреть в продолжении полутора лет, и до сих пор не удосужилось. К колонии начинают предъявляться на основании положения по общим местам заключения требования, которые лишают колонию ее специального и типичного значения.

Старая тюрьма претендует на свое полное восстановление, но от тюрьмы до исправительно-трудовой школы—дистанция огромного размера. Таким образом, революционное завоевание в тюремном деле в опасности и я обращаю на эту сторону дела внимание всех, кто заинтересован в прочности наших достижений.

НОВЫЕ КНИГИ.

В. Деготь. В „свободном“ подполье. Издание Истпарта, 1923 г.

Перед нами своеобразный „человеческий документ“. Рабочий подпольщик, отведавший в свое время царскую каторгу, и изгнание за-границей, возвращается в Зап. Европу в новой обстановке, как представитель победившей русской революции, как работник Коминтерна. Вот об этом и рассказывает т. Деготь в своих воспоминаниях о подпольной работе 1919—21 г.г. Начав с разложения французских отрядов в Одессе, т. Деготь по поручению партии через Константинополь попадает в Италию и Францию, окунается в гущу политической жизни, участвует во внутренней фракционной борьбе, стоявших перед неизбежным расколом старых социалистических партий.

Но конспирация, без которой в этих „свободных“ демократических странах не прожить русскому большевику, обрекает т. Деготь на какую-то двойственную жизнь. Он вынужден рядиться в чужие одежды, разыгрывать из себя то богатого коммерсанта, то буржуазного журналиста. С легкой руки какого-то иностранного генерала, прикомандированного к Деникину, т. Деготь великолепно обходит все полицейские рогатки, заводит знакомства в буржуазном мире, и т. д. Одновременно конспиративные совещания, хитрости подпольщика, вечная настороженность.

Но французская тюрьма все же не миновала т. Деготь—четырем месяцам пребывания в ней посвящен дневник заключенного.

Книжка т. Деготь не ставит себе целью дать широкую картину коммунистического и социалистического движения во Франции и Италии того бурного времени. Она дает только ряд довольно хорошо подмеченных штрихов, характеристики некоторых деятелей, с которыми пришлось сталкиваться автору.

Основной интерес в книжке—как воспоминаниях, написанных довольно живо, непосредственно передающих впечатления и мысли автора.

В этом смысле можно сказать, что книжка осуществляет совет т. Ленина автору—написать записки, „имеющие революционно-воспитательное значение для молодых товарищей“.

Книжку можно рекомендовать пролетарскому читателю, не имеющему подготовки. Книжка имеется на складе Губнаробраза.

И. С.

Шоколадное извращение революции.

Об этой повести—„Шоколад“—можно бы не говорить, если-бы она не была напечатана в органе ЦКРКСМ („Молодая гвардия“ № 6-7) и поэтому не читалась молодежью в качестве бытового изображения революции.

Начать с того, что неприятное, анти-художественное впечатление производит манера письма с претензией на размер, во второй части повести благополучно переходящая в прозу. Получается стиль раешника, совершенно не гармонирующий с содержанием, вовсе не юмористическим.

Что касается содержания повести, трактующей (именно трактующей в длинных рассуждениях, а не рассказывающей), как за плитку шоколада расстреляли старого партийца—большевика рабочего, то надо точно сказать, что это облыжный навет на революцию и партию. Не в том, конечно, дело, что по ошибке или ради „примера“ этого не могло случиться. Разумеется могло и вероятно бывало, но в этой шоколадной повести все обставлено так, что исключает всякую ошибку, а „пример“ так

приторно-шоколадно расписан, что кроме чувства отсутствия меры изящного у автора, ничего у читателя не возбуждает. Решительно никакой трагедии не получается, также как в ложно-классических трагедиях, где герои умирают от смертельного удара шпаги, но полтора часа наслаждаясь предсмертными монологами.

Нельзя не отметить такое противоречие: герой повести, закаленный революционер пред. Ч. К. расстреливает сотни буржуев за убитого товарища (причем непонятно из повести, почему этот убитый эс-эрами чекист заслуживает такой гекакомбы), а в тоже время ради чувства мелкой жалости (любовь автор отвергает) принимает на работу в Ч. К. в качестве своего секретаря, арестованную с белогвардейцами балерину—проститутку.

Повесть могла бы иметь значение коммунистического пинкертона, еслибы автор рассказывал не кривлясь, подумал бы над фабулой, сократил бы повесть вообще и рассуждения, в особенности предсмертное, в частности, и вместо несомненной тенденциозности, правдиво изобразил быт.

А в том виде, как она напечатана (в надувательство комсомольцам), получается вот что:

В 1919-20 годах питерская фабрика б. Ж. Бормана, за неимением какао изготовляла „шоколад" из подсолнухов. На вид похоже было, а по части содержания, всякий может догадаться, что получалось.

Вл. П.

А. Яковлев, Повольники—рассказы, издание „Круга" 1923 г.

Очень хорош рассказ „Мужик". Солдат Пильщиков послан в разведку, наткнулся на дозорного австрияка, который спал.

„И таким родным, страшно близким пахнуло на Пильщикова от этого храпа, что он заулыбался:

— Умаялся. Тоже, поди, достается".

И отправился назад, к своей роте.

— Ты убил его?—спрашивает офицер, выслушав доклад Пильщикова.

— Никак нет.

— Как так? Ты его не тронул?!

— Да он же спал, ваше бродь".

Офицер в большом недоумении.

— Он кто тебе? Брат родной? Или отец твой.

— Никак нет.

— Кто же он тебе? Враг?

Так точно.

— Так почему же ты его не убил?"

Офицер никак не может понять простого мужика Пильщикова, который сохранил в себе человека.

Скупо и просто рисует Яковлев тоску по доме георгиевского кавалера Пильщикова. Сочными мазками написана ночь в разведке. Пахнет землей, пшеницей, ветром—Яковлев настоящий художник.

„Смерть Николина камня", „Жених полунощный"—этнографические расказы с интересной фабулой. „Терновый венец"—слабая, робкая попытка осмыслить страдания народа в острейшие моменты революции. Пока эта задача не по силам Яковлеву. У него нет необходимейших качеств для этого: спокойствия и того, что называется „точкой зрения".

„Порывы" неудачны и сделаны искусственно. Не везет рабочему люду, описывая который, художники долгом считают встать на ходули.

И. М.

Александр Неверов, Новый дом—рассказы, Издание Всероссийского Пролеткульта, Москва 1922 г.

Приложен „указатель книг Александра Неверова". Написано—издано уже 7 книг: четыре пьесы и три тома рассказов. Значит, автор не новичек, хотя печататься начал сравнительно недавно в солидных изданиях.

В книжке три рассказа.

Кулак—мужик сильно разбогател и построил новый дом. Пришла карающая революция, отняла неправедно нажитое, лишила сына—офицера, которого убили солдаты, от потрясения умерла жена и в заключение хватил удар самого богатея.

Слесарь Павел Данилов дожил до 36 лет и написал стишок, который напечатан в местной газете. Поэт покупает тетрадь для дальнейших стихов, но ему мешает сварливая жена. Она требует харчей для ребят. Делать нечего, слесарь точит 5 зажигалок, на которые покупают хлеба, чаю, сахара. Жена дает передышку. Написаны новые стихи, но редакция не помещает, плохи. От потрясения слесарь захворал.

Жили-были мужик Козонок, да баба Марья. Работали и рожали детей. „А как появились большевики со свободой, да начали бабам сусола разводить", тут Марья „и раскрыла глаза". „Ребятишек перестала родить" — „Марья заартачилась". Потом ее выбрали в волостной исполком и она мужа натурально по боку.

Качество всех трех рассказов нечаянно определил худ. М. Мартынов, который иллюстрировал книжку: Слесарь Данилов похож на Охтенскую богородицу, баба Марья изображена барышней из московского кафе. Предательская услуга, но художник не виноват: книжка написана розоватой сладенькой водицей; Не спасают и аксессуары, вроде—„зажигалок", — „комиссара" — „исполкома" и проч., ибо революционный сюжет не леденец, который завертывают в дешовые картинки „для простонародья".

И. М.

Шпет Г. Очерк развития русской философии. Часть 1-я. Изд. „Колос" Пб. 1923 г.

Появившаяся в конце декабря книга Г. Шпета, являющаяся первой частью задуманного им трехтомного труда по истории русской философии, представляет одну из любопытнейших новинок последнего времени.

Русская интеллигенция всегда с особым благоговением относилась к первым зачаткам русской философии, выросшим на почве священного писания, в борьбе за древнее благочестие. Этой философии московской и киевской Руси посвящена почти вся первая часть книги Шпета.

Он, отвергая старые взгляды, рассматривает весь этот период с точки зрения утверждения, выдвинутого в конце XVIII в. в „Europäische Fama", что „из европейцев, к которым медленнее прочих прививалось просвещение,—татары и русские"... и всю русскую „философию" этого периода считает выросшей на почве „потемок российского невегласия".

Очерки Шпета, несомненно, вызовут целый ряд протестов и полемику со стороны старой интеллигенции, питающей неизменное благоговение к прошлому и безусловно вызывают целый ряд возражений.

В краткой хроникальной заметке мы лишены возможности входить в разбор книги по существу, но и считаясь с ее недостатками, не можем не присоединиться к избранному Шпетом для своей книги эпиграфу: „пусть восторгаются другие добрым старым временем, я поздравляю себя с тем, что родился именно теперь..."

Слишком много идеализации вносилось русской интеллигенцией в историю философии киевской и московской Руси (достаточно указать книгу Вл. Эрна о Г. С. Сковороде), отыскивал там самобытные русские национальные черты. Пора вполне объективно подойти к изучению многих явлений старой русской жизни и можно лишь пожалеть, что Г. Шпет все же не подошел к этим явлениям с достаточной объективностью.

Рабиндранат Тагор. Дом и Мир. Роман. Перевод с англ. З. Журовской И-во С. Ефрон. Берлин, 1922 г.

„ Изначальная мелодия каждой песни—в Природе, там, где зеленая земля, закутав лик свой покрывалом тени, приникает ухом к воде, слушая ее шопот..."—говорит Тагор в своем романе, недавно появившимся в русском переводе.

Особая красота своеобразной лирики, как бы подслушанной у природы, проникает весь роман индусского писателя и выявляется даже в русском переводе, несомненно далеком от совершенства.

Роман представляет крупное явление мировой литературы. Тагор встает в нем во весь свой художественный рост, поставивший его в ряд с выдающимися мировыми писателями, и совершенно заглушает те голоса недовольства (особенно сильные среди французов), которые раздавались в связи с присуждением ему Нобелевской премии.

В романе, полном аромата своеобразной индусской лирики, рисуется быт индусской женщины в традиционный уклад жизни которой, связанный с домашним очагом. Домом, врывается Мир, с его политической борьбой, националистическими страстями, разрушая этот традиционный уклад.

Нельзя не приветствовать появление этого романа в русском издании.

Рабиндранат Тагор. Национализм. Перевод с английского И. Л. Колубовского и М. И. Тубянского. Изд. „Academia". Пб. 1922.

„Закат эпохи" — так озаглавливает Тагор последнюю заключительную главу своей книги. И этот заголовок, так совпадающий с названием нашумевшей книги О. Шпенглера, написанной значительно позднее, определяет общий подход Тагора к националистической вакханалии европейских народов, приведшей к империалистической бойне. В понятие национализма Тагор вкладывает своеобразное понимание, тесно связанное с нашим европейским понятием империализм, и подвергает критике всю европейскую культуру, „прозревая" ее гибель. Эти мысли индийского мыслителя-художника, так близко соприкасающиеся с положениями, позднее высказанными европейцем Шпенглером, делают книгу чрезвычайно любопытной, хотя и столь же легковесной, как и книга Шпенглера, несущая опору для своих положений не в тщательном изучении экономических причин социальных явлений, а в „художественном прозрении", не имеющем никакого научного значения.

Гинденбург. Воспоминания. Сокр. перев. Л. Щегло. Изд. „*Мысль*". Пб. 1922.

Гельферих Ф. Из воспоминаний. Изд. „*Мысль*". Пб. 1922.

Бернштейн Эд. Германская революция. Сокр. перев. Изд. „*Мысль*". Пб. 1922.

В русских переводах появился целый ряд воспоминаний о германской войне и революции, но все это дает лишь слабое представление о том потоке мемуарной литературы, которой наводнен германский книжный рынок. Эксимператор, кронпринц, отставленные дипломаты, заштатные генералы, политические деятели старого и нового режима — все стремятся выпустить свои воспоминания. Одни с тем, чтоб оправдать свою обанкротившуюся политику, другие—военную или дипломатическую стратегию, третьи- чтоб просто указать, что „они и раньше думали, что так должно окончиться".

Все эти воспоминания носят, разумеется, чрезвычайно субъективный характер и это вполне понятно, когда авторы являются действующими лицами, а иногда и инициаторами, той мировой чехарды, которую создала империалистическая война.

Эд. Бернштейн задумал труд по истории германской революции, первый том которого и выпустил. Русское издание является лишь кратким извлечением из этого первого тома.

Неосуществимость задачи писать историю революции непосредственному участнику ее и в то время, когда еще не остыли жерла революционных пушек, чрезвы-

чайно сказывается на первом томе истории Бернштейна. Очень немногим эта история отличается от воспоминаний, к которым приходится прибегать Бернштейну во многих местах своей книги, так как он сам указывает, что большинство материалов, необходимых историку германской революции, даже не приведены еще в порядок Субъективные оценки, полное отсутствие обрисовки экономического положения Германии перед революцией, излишнее и недопустимое для историка морализирование по разным вопросам неостывших еще партийных споров (например, по вопросу о том—можно ли брать деньги на революцию от других государств, или нельзя) не дают оснований причислять книгу Бернштейна к научным историческим трудам.

Но и, несмотря на все эти недостатки, мы не можем не признать громадного интереса книги Бернштейна по тому, хотя и недостаточному для истории, но все же громадному историческому материалу, который опубликован в его первом томе. На основании этого материала можно получить все же наиболее полную картину о первом периоде германской революции и не одна из книг, выпущенных за последнее время, не дает такого богатого материала. Можно лишь пожалеть, что в русском издании мы получили лишь отрывки из этой книги, полный перевод которой выпущен одним из русских издательств в Берлине.

Воспоминания Гельфериха представляют значительный интерес, как написанные старым и умным дипломатическим воином, близко стоявшим к дипломатическим махинациям империалистической Германии; но те отрывки из обширных записок Гельфериха, которые выпущены в русском переводе, не дают и представления о его книге.

Книга Гинденбурга, главным образом, касается узко-военных воспоминаний и даже в извлечениях, данных в русском переводе, имеет больше военный интерес. Кругозор Гинденбурга не простирался слишком далеко за пределы его специальности мастера кровавого цеха.

Еще более узко-военный интерес имеют воспоминания Тирпица (часть их в русском переводе напечатана в петербургском морском журнале).

Среди военных мемуаров, появившихся в Германии, самый большой интерес, несомненно, представляют обширные воспоминания Людендорфа („Meine Kriegserinnerungen". Berl. 1921), так как ему, а не Гинденбургу, принадлежат все военные махинации последних месяцев войны. Но эти мемуары еще ждут своего переводчика.

Из воспоминаний, имеющих общий интерес, самыми любопытнейшими являются записки Шейдемана. Часть их под названием „Der Zusammenbruch" („Разгром") уже опубликована в Германии и в скором времени выходит в русском переводе, выпускаемом, кажется, Государственным издательством.

N N.

Издатель: **Ив.-Возн. книг. Т-во „ОСНОВА".**

Редактор: **Редакционная коллегия.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

Стихотворения — **Дм. Семеновского, Сераф. Огурцова, Е. Вихрева, Мих. Артамонова** . . . 1—14

Эрнст Толлер.—Разрушители машин, драма 15

Ив. Майоров. —Заречье, отрывок из повести 49

Дм. Семеновский.—В Ярославле, очерк 63

Мих. Шошин. —Карандашом с натуры 80

Автобиография Мих. Шошина, рабочего-писателя . . . 84

Виктор Орлик.—Налет на типографию,—восп. боевика 85

В. Смирнов (М-в).—Профессинальное и стачечное движение в Ив.-Вознесенском районе в 1906—1910 г. г. 89

Дм. Фурманов.—Красный дессант,—из боевых восп. . 99

Г. Биткер.—Восп. о Е. А. Дунаеве 106

И. Козлов.—От тюрьмы к исправ.-трудов. школе, статья 108

НОВЫЕ КНИГИ. — рецензии **И. С., Вл. П., И. М., Н. А., NN** 124

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ГУБСОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ:

1) Чугунно-литейные изделия, железо-скобяные, посудные товары, разные предметы домашнего обихода и широкого потребления.

2) Мануфактурно - галантерейно - трикотажные товары.

3) Кожевенно - обувные, шорно - седельные товары, вояжно-ученические приборы.

4) Рожь, пшеницу и др. хлебные продукты, бакалейно-гастрономические продукты.

5) Щепные и ложкарные изделия, изделия кустарной деревообделочн. промышленности и другие товары.

ПОЛУЧЕНЫ ПАРТИИ: масла подсолнечного, пшена, сельдей, риса заграничного.

В скором времени ожидается к получению овес, мука пшеничная белая „Кубанка".

ПРОДАЖА ПРОИЗВОДИТСЯ исключительно Потребительским Обществам Иваново-Вознесенской губернии.

ГУБСОЮЗ производит различные операции товарообменного характера с кооперативными, общественными и государственными организациями и покупает у них товаропродукты за наличные деньги.

ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ УГОЛЬНЫЙ СИНДИКАТ

„УГЛЕСИНДИКАТ“

является единственным правомочным органом по торговле продукцией государственных каменноугольных предприятий

Правление синдиката помещается в Москве, Мясницкая, 20.

Телефон для справок и телефонограмм—1-15-72.
Телеграфный адрес: „УГЛЕСИНДИКАТ“, Москва.

ОТДЕЛЕНИЯ:

1. ХАРЬКОВ
2. ПЕТРОГРАД
3. АРХАНГЕЛЬСК
4. Ново-Николаевск
5. ЕКАТЕРИНБУРГ
6. РОСТОВ н/Д
7. Т У Л А
8. М О С К В А

Председатель Правления Синдиката—БИТКЕР Г. С. тел. 2-72-05
Зам. Председателя Правления—ВОСКРЕСЕНСКИЙ В. Н. „ 1-62-67

Члены Правления:
- МАТРОЗОВ И. И. „ 1-41-98
- КУЛЬЧИЦКИЙ Г. В. „ 65-27
- КАЦМАН Л. А. „ 65-27
- ПЕТРОВ Е. М. „ 1-62-67
- ЧЕКИН А. П. —

Управляющий Делами—ГРАНАТ М. А. „ 22-97
Заведующий Торговым Отделом—ГИАЦИНТОВ Н. П. „ 22-47

Текущий счет в Правлении Государственного Банка № 751
„ „ в Московск. Конторе Государст. Банка № 487
„ „ в Промышленном Банке № 31

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Иваново-Вознесенского Губпрофсовета

И

Губотдела В. П. С. Текстильщиков

ТРУД

Журнал является руководящим органом профдвижения в нашей губернии, широко освещая основные вопросы профработы, жизнь и деятельность профсоюзов, фабрик и заводов.

В журнале помещается оффициальный материал по законодательству о труде, циркуляры и распоряжения высших союзных органов губернии.

Журнал необходим для всякой союзной ячейки, для всякого сознательного члена профсоюза нашей губернии.

АРХИВ

КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„ОСНОВА“
Ив.-Вознесенск, уг. Советской и ул. Батурина, д. б. Бурылина, кв. 14.

Вышли в свет:

ФР. ЭНГЕЛЬС.
Развитие социализма от утопии к науке. Перевод В. И. Засулич. (Распрод.)

Б. И. ГОРЕВ.
Бакунин. 2-е исправленное и дополненное издание.

Н. РЫБКИН.
Учебник тригонометрии и собрание задач, под редакц. проф. А. Я. Хинчина.

«ТКАЧ».
Новый общественно-литературный журнал, № 1.

ЭРНСТ ТОЛЛЕР. Разрушители машин. Драма из времен луддистского движения в Англии, в 5 актах с прологом, пер. С. М. Городецкого.

Печатаются:

Сборник, посвященный октябрьской революции.

Сборник, памяти А. Н. ОСТРОВСКОГО (к столетию со дня рождения), под редакцией проф. П. С. Когана.

ЛЕВ ЗИЛОВ.
Глиняный болван. Детская сказка. С рис. художника Л. М. Чернова-Плесского.

ФР. МЕРИНГ.
Историческ. материализм.

Иваново-Вознесенский Губернский Отдел Народного Образования

Торговая Часть

Снабжает школы, библиотеки, клубы, нардома, учреждения, предприятия, фабрики, заводы и пр. школьно-просветительными материалами, пособиями, канцелярскими и писчебумажными принадлежностями.

Имеет представительство крупных издательств и государственных торговых предприятий в Москве и Петрограде.

Принимает заказы на комплектование специальных и общих библиотек и подбор учебной литературы по ценам издательств.

Имеет большой выбор литературы (старой и новой) по сельскому хозяйству.

Выполняет быстро и аккуратно заказы.

Продажа оптом и в розницу писчебумажных и канцелярских материалов.

Оптовые цены ниже розничных на 10—15%.

Имеет отделения в уездных городах:

Шуе, Кинешме, Юрьевце, Середе, Тейкове и Макарьеве.

Адрес торговой части

Губнаробраз, Батуринская ул. д. б. Бурылина, комн. № 5.
Телефон № 1-66.

Туб. книжный магазин и склад

Рождественская ул. маг. б. „Проводник", телефон № 1-31.

Туб. писчебумажный магазин и склад

Социалистическая ул. маг. б. Ильинского, телефон № 63.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТКАЧ

Ежемесячный общественно-литературный журнал

МАРТ-АПРЕЛЬ

КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ Т-ВО
„ОСНОВА“
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК

№ 3 1923

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТИХИ:

Ефима Вихрева, Макса Бартеля, А. Смирновой-Варфоломеевой, Дм. Белова, Андрея Винокурова, С. Клычкова, Дм. Семеновского .. .. 3—12

РАССКАЗЫ:

А. Яковлев—Зависть 13

Д. Семеновский—Царь 20

И. Майоров—Коленкоровый гроб 25

В. Деготь—Воспоминания о В. И. Ленине 31

Кв. Кубов—На разные темы 37

Аксельрод (Ортодокс)—К спорам об искусстве 41

А. Осинкин—Перспективы хлопководства 44

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО:

В. Кузнецов—Жизнь старого ткача 46

В. К.—Проводы депутата во 2-ю Государственную Думу 49

В. С. (М-в)—Историческая справка о двух маёвках 52

Новые книги 55

ТКАЧ

Ежемесячный общественно-
литературный журнал

№ 3 МАРТ-АПРЕЛЬ 1923

Гублит № 79. Тираж 1000 экз.
1-я Государств. типо-литография
г. Иваново-Вознесенск.

Ефим Вихрев.

Маевка.

Ты несла это знамя—флаг.
Надо мною тоже знамя.
И знамена цвели, как мак,
Колыхаясь шумно над нами.

Ты и я: у каждого флаг.
Небо было сине-сине.
И сердца наши бились в такт
И рвались к далекой вершине.

Мы тонули в море лучей.
Мы тонули в море звуков.
Я не видел твоих очей,
Только видел лишь грудь, да руки.

На груди приколот твоей
Чуть заметный бантик алый,
А с высот, в обильи огней,
Бантом мира солнце сияло.

А в руках у тебя древко.
На древке—рубины ткани.
Ткани тешатся с ветерком
Переливами колыханий.

Ты сказала мне на пути:
«Дай мне руку, мой товарищ,
Еще нам далеко итти
До заветных всесветных пожарищ.»

Мы веселые шли в толпе,
А толпа плыла и пела.
Целый мир смеялся и пел.
Ты и я: в нас радость кипела.

Я горячую руку сжал:
Мы с тобой шагаем вместе.
Ты и я: в нас вспыхнул пожар
Пламень сердца сердцу известен.

И склонился ко флагу флаг.
Целовались флаги наши.
Был уверенней мерный шаг,
Каменистый путь не страшен.

Не забыть, не забыть тот день
Это было—первое мая.
Песни, флаги, весна—цветень
Обвенчали нас, дорогая.

М А Е В К А.

Макс Бартель.

(Перевод С. Городецкого).

Машин! Машин!

Через снежные горы монгольских границ,
Грохоча, запыхаясь в сибирских степях,
Замедляя свой бег на минуту над Омском,
Через черный Урал
Бурей мчится, трубит и гремит
По бескрайной России, в Европу, туда,
В ритме палиц столкнувшихся—лозунг:
Машин нам! Машин нам!
Моторов и тракторов нам!
Дайте плугов! Орудий нам дайте,
Чтобы строить страну!
Кос крестьянам и прялок крестьянкам!
Дайте труб и борон, и машин, и машин,
Чтоб их шумом нам жизнь обновить!
Неистовый танец труда и железа
Штурмует танцклассы, где запад танцует
В ботинках блестящих,
В вуалях и тюлях,—
И знать элегантную давит своими ногами.
Танцует ногами железными труб,
Кранов руками махая,
Вздымая
Своды мостов, молотков кулаки,—
Пляс электрических волн,
Тысячи пляс атмосфер,
Тысячи сил лошадиных
В громовом биении сердца...
Крики грохочут электрозаводов
Моторов! Моторов!
Давай нам моторов!
Крики грохочут в литейных заводах:

Рельс для железных дорог!
Криком громовым все фабрики стонут:
Тракторов, плугов, вагонов давай!
Локомотивов! Машин! Веретен!
Тотчас! Немедля! Сегодня!
Давайте! Давайте! Давайте!
Там миллионы замученных голодом черным
Женщин, мужчин и детей валит мор,
Жизни творцов и строителей мира,
Таких же, как вы!
Вдовствуют фабрики. Осиротели поля.
В трауре пахота:
Рук не хватает.
Только машин нам, машин,
Чтобы тысячи рук их
С шумом сменили нам руки людские!
Дайте поднять нам богатство страны,
Черную землю опять плодородною сделать!
Дайте же! Дайте же! Дайте!
Машинами нам помогите!
Дайте сокровища нашей земли
Этим волшебным ключем отворить!
В хлеб превратить почернелые комья!
Женщины, юноши, дети, мужчины,
Братья рабочие, нового мира творцы!
Помощи ждем! Помогите нам строить
Великий, внеклассовый, братский союз
Всех пролетариев шара земного!

Л. Смирнова-Варфоломеева.

В город.

В деревушке нахмурились хаты,
Мокнет в поле под дождиком хлеб,
А в избах тараканы усатые
Шелестят в черных трещинах скреп.

Я сбирала в котомку пожитки.
Мать печально рукой подперлась:
«Эх, в дороге то взмокнешь до нитки,
Ишь на улице дождик и грязь»

Я пошла, когда сморщился день
Мимо хмурых и сгорбленных хат.
Вот колодец и ветхий плетень,
И корявые ветлы стоят.

На минуту царапнула грусть,
Но уж мысли неслись далеки:
В город, в город, где песнь поутру
Выпевают протяжно гудки,

Где немолчные шумы растут,
Где звучат новой жизни шаги.
Ждут меня там и книги, и труд,
И... сияние глаз дорогих...

Эм. Белов.

Детство *).

I.

С книжкою любимой в зимний день суровый
В хате на полатях часто я лежал.
Подперев ногами потолок тесовый,
Жадными глазами по строкам бежал.

Предо мной картины плыли вереницей,
Чаровали душу светлой красотой:
То, как вихорь, лошадь с дивной колесницей
Мчалась, отряхая гривой золотой.

То алели краски тихого заката
И дворец чудесный весь в лучах сиял;
А то просто странник старый и горбатый
С ликом горемычным предо мной стоял.

Я грустил душевно над картиной грустной,—
Взор мой застилался дымной пеленой.
И горел восторгом от работ искусных,—
Что потом мелькали ярко предо мной.

Заливался смехом радостно-игривым,—
Если что смешное искрилось из мглы.
Это было в детстве солнечном, счастливом
И картины эти были все милы.

II.

Мне однажды книжку дал сосед угрюмый,
Наказав тихонько, чтоб читал тайком.
Тут же окрылился я летучей думой:
В сердце зазвенела радость ручейком.

На свои полати забрался счастливый,—
Обняло волненье тайное меня.
Новые картины замелькали живо,—
Замелькали живо полные огня.

*) Автор-красноармеец командных курсов в Иваново-Вознесенске.

Предо мной катились буйно волны моря
На волну летела свежая волна,—
А за морем берег,—где не зная горя,—
Расцвела чудесно дивная страна.

В той стране далекой, люди точно птицы,
Были все свободны,—были все вольны.
И мелькали всюду радостные лица
С ласковой улыбкой солнечной весны.

Жизнь кругом кипела буйственно-игриво,—
Огневым задором всех к себе маня.
Но недолго был я в той стране счастливой...
Книжка вся и—сердце сжалось у меня.

III.

Резко изменились прежние картины.
Многие исчезли;—вид других старел:
Погасал в тумане белой паутины,—
Тот дворец красивый, что огнем горел.

Потемнели краски алаго заката.
Лошадь с колесницей,—радугой-дугой
Быстро и бесследно скрылася куда-то...
Ах, как изменился вид их дорогой!..

Понял чутким сердцем, что они все взяты
Из лукавой жизни,—где я светлый рос.
Где, как тятя баял, старшина пузатый,
Истинный разбойник,—сущий кровосос.

Где живется плохо тяте, маме, многим,
Многим взрослым людям—круглым голышам.
Где живется плохо всем больным, убогим
И нам—робким детям—диким малышам.

Только знал теперь я, что таится где-то,
Полная волшебства, дивная страна.
Где, напротив:—много счастья, ласки, света,
Где кругом улыбки и весь год—весна.

Горько тут я плакал, затаясь от тяти,
И горел порывом убежать туда.
Милые вы книжки! Милые полати!
Милые, родные, детские года!

Андрей Вихокуров.

Вечернее. *)

Думал также, как и прежде, она ждет,
Что желанным к ней с завода он придет.

Также вечер прошагает вдоль стены
Вплоть до ночи, ночи звездной, до луны.

Думал встретит, думал спросит—«не устал»?
И прочтет все сердце—книгу—до листа.

Думам рад был. Но пришел—не та она.
Вечер хлюпал жидкой грязью у окна...

Мокрый ветер то дождем по кирпичам,
То под крышею деревьями качал....

Словно вечер темный, парень шел назад,
В голове—ее ответы и глаза.

«Мало песен ей и сказок про завод,
Стал я пыльный... блуза в саже... стал не тот...

Верно вечные, без лжи и без греха,
Только песни, только горн мой, да меха».

*) Автор—рабочий табачной фабрики в Саратове.

Сергей Клычков.

* * *

Юность—житье солодовое
Без опохмелки дурман
Поле... калитка садовая...
Месяц... да белый туман.

Годы-же—воды с околицы
Дни-же—с горы полоза.
Щеки щетиною колются,
Лезет щетина в глаза.

Только узнаешь по времени
Горек и короток век.
Выпадет проседь по темени,
Выпадет по полю снег.

Высушат чарку до донышка
Стукнут по донышку раз
И не покажет уж глаз
Месяц—цыганское солнышко.

* * *

Дж. Семеховский.

Бабочка, тебе все снится,
Будто гусеница ты.
Как тебе порхать и виться,
Пеня зыбкие цветы?

Ты так жарко хочешь чуда—
Распуститься в два крыла
И лететь туда, откуда
Радость вешняя пришла.

Бабочка, но ты крылата
И крыла твои легки.
Вон дрожат, как луч заката,
Их сквозные лепестки.

Вверься-же крылам послушным,
Радужным своим крылам
И лети путем воздушным
К зеленеющим полям!

Где луга, пестрея, пахнут,
Резво вейся и порхай.
Он перед тобой распахнут—
Голубой цветочный рай.

Александр Яковлев.

Зависть.

(Рассказ).

— Впере-ед!

Он позади нас— наш ротный, капитан Горбачев,—и все мы—все двести—знаем: не поднимись кто нибудь из травы, он подскочит и, бешено ругаясь, будет прикладом бить по голове и по чему попало. О, мы знаем: его угроза «отставшего убью, как паршивую собаку», не простые слова. Кто из нас не помнит, как под Люблином этот несчастный паренек Флееров попытался отстать?..

— Впере-ед!

Мы вскакиваем, и чуть сгибаясь, бежим навстречу выстрелам. Впереди —смерть, но не наверно; отстань—смерть наверно. Наши ноги судорожно путаются в траве, но мы бежим, бежим в мелькающую тьму среди грохота и визга, туда, где вспыхивают огоньки; и мое сердце колотится, будто два молотка. Вдруг близко впереди та-та-та-та—пулемет, и вот весь воздух над нами и вокруг нас засвистал горячим свистом.

— Ложись!

Я судорожно бросаюсь на землю, ползу к бугорку—меже, что от меня чуть вправо, мажу в весенней грязи колени штанов и полы шинели. Здесь меня не зацепит.

— О-о!..

Где это? А, это Васильев. Попало? «Не надо глядеть туда».

При вспышках света я вижу: капитан поднял голову и ползет к Васильеву, прямо по земле передвигая винтовку. Он ползет, чтобы проверить, действительно ли убит Васильев. «А то вы, подлецы, притворяться любите. У него царапинка, а он и глаза закрыл, и не стонет даже,—умер».

Я вижу черную остренькую бородку, (а может быть я только вспоминаю), вижу фуражку на затылке, солдатского Георгия на груди. Этот Георгий!.. У меня Георгий—вот он—вместе получили. Капитан Горбачев, я и девятнадцать других солдат нашей роты...

Это было три месяца назад, на Висле. Тогда австрийцы крыли нас из пулеметов и орудий, раз двадцать бросались в атаку на наши мелкие

песчаные окопы. И мы отбивали их. Когда поблизости взрывался снаряд, столб песку поднимался на три сажени вверх, и всей массой падал на нас. Меня засыпало всего,—только голова и руки торчали из песка. Я уже не слышал стонов вокруг себя. И, казалось, от всей роты нас осталось только пятеро: вот справа двое, слева двое, тоже засыпанные. Из песка торчат лишь головы и руки, а в руках винтовки. Остальные все погибли. Я ждал: убьют капитана, я побегу, мы побежим назад, прочь из этого ада. Помню, в эти моменты я представлял, как тихи улицы в моем родном городе, как тихи поля, города и села, через которые мы проезжали по пути сюда. Там безопасно.

Но оглянешься—капитан вот. Злые зоркие глаза пытливо осматривают нас.

— Лежать, не подниматься!

И в конце—казарменная присказка (вы понимаете?) вместо ободрения.

— Кто поднимется, та-та-та, убью!

— Мать Пресвятая, тут смерть ходит, счас сам может сдохнуть, а все свое.

Это вздохнул Прокудин, наш начальник звена.

— Взззз! Трах! У-у-у!

Кипит все, как в горшке. Зеленое деревцо справа было. На наших глазах—полетели с него ветки и листья, все оно затрепетало, словно его секли стальным кнутом, потом—раз!—столб песку, земли, дыма—и нет деревца.

Я в мыслях уже со всеми и со всем простился.

— Прицел пятьсот шагов.—Рота!..

Лишь запел капитан, все мы пятеро, обреченные, мы привычно встрепенулись, скачущими руками ставили прицел, потом винтовку к плечу. Впереди мелькнули неясные фигуры.

— Пли!

— А-ах!

Залп—и не разберешь, сколько нас выстрелило, кажется, только пятеро. Да, только.

— Ррота, пли! Ррота пли!..

Залп за залпом. Ах, ах, ах! Фигуры скрылись.

И опять над нами гром, и песчаные столбы, и свист и визги пуль.

Так весь день до вечера. Я терял сознание, оглох.

Потом подошли наши.

— Урра!

И вот чудо: по команде «рота встать!» из песчаных могил встала вся рота. За безумный день убито было только двадцать два. Мы—рота капитана Горбачева—сдержали напор целой дивизии. Двадцать крестов на роту. В приказе по корпусу имя капитана Горбачева...

— Впере-ед!

Я прыгаю через межу, бегу через кочки, а навстречу мне несутся визги. Справа и слева согнувшиеся фигуры бегут, стараются равняться, рав-нять-ся пе-ред ли-цом смер-ти.

— Ложись!

Капитан в двадцати шагах позади нас, и я вижу винтовку в его руках. Он целит... целит в нас; мы—в австрийца, он—в нас.

«Как паршивую собаку»...

Сколько раз мы перебежали? Не знаю: не помню «Вперед—может быть не убьют. Назад—капитан убьет наверное».

— Ложись! Окопайся!

Я рою, как крот, влажную весеннюю пашню, перед головой насыпаю холмик.

— Прячь голову!

Я испуганно оглядываюсь.

Кто это? Панкратова—моего соседа справа.

— Рой глубже! Убью!

Панкратов роет, роет торопливо, прячет за холмик голову и бессознательно сыплет землю в сторону капитана, словно капитан—враг, от которого надо скрыться за окопом.

А капитан лезет дальше, смотрит, все ли окопались. Издали голос его:

— Рой глубже!

Лежим. Кругом свист и гром. Мы умерли... Но проходит полчаса и я привыкаю. Мне скучно и тоскливо. Я перебоялся—дальше некуда. Я опять человек, и мне хочется к людям.

— Панкратов!

Он поднимает голову.

— Иди сюда!

— Иди ты сюда. У меня на двоих хватит.

Я готовлюсь для прыжка, слушаю, смотрю, далеко ли капитан. И знаю, мне страшнее сейчас он, чем австрийские пули. Р-раз! Я возле Панкратова

— Ого, у тебя просторно.

— Да уж так, чтобы наш-то дьявол не ругался.

— Ругнул тебя?

— А тебя?

— Да, и мне.

— Вот, на смерть ведет, а почитает нас хуже собак. Счас я хотел консерву съесть, и забоялся ведь: не приказал трогать. Убьют, так зря пропадет, санитары возьмут себе.

— А ты не бойся, вскрой.

И мы, оглядываясь, вскрываем коробку, едим. А над нами все грохочет и свистит. Пусть.

— Иде-ет!..

Я поспешно зарываю коробку в землю.

Капитан кричит:

— Насыпь больше земли. Что высунули бока-то!

И мы послушно беремся за лопатки...

— А, брат, тащит нас злая сила и вот убег бы...

— Не убежишь. «Вперед, ложись! Вперед, ложись!» Будто лягушки — прыг, прыг, прыг...

Мы сердито молчим

Дым над лесом справа становится розовым. Там пожар и восход.

— Впере-ед!

Прыг... «Убьют, пропадет консерва... Не приказано». Мысли путаются, сердце стучит.

* * *

Перед утром—свисток, и мы по лесу двинулись беглым шагом. Стучит сердце. Сосна порой лапу прямо в лицо (не видно в полумраке), обругаешься, обойдешь и дальше.

— Та-та-та-та... Ббах!

Нас ждут, встречают.

— Взззз...

— Поют синички.

— Птички-синички..

— Не разговаривать!..

Он здесь.

— Будто дьявол. Все видит, все слышит.

Панкратов говорит полушопотом:

— От него не уйдешь никуда.

— Ложись!

Я под сосной, и мне холодно. Я всегда боялся сырой земли (бок простудишь), берег свои глаза, голову, руки—они мои и «тело мое—храм моего духа». А вот схватили, тащат меня—уперся бы, нельзя.

— Впере-ед!

Мы опять вскакиваем и молча бежим по лесу—только слыхать, как шумно вырывается дыхание, и порой треснет сучек под ногами. Что-то щелкает по стволам сосен... В просветах между веток виднеется небо—бледнеет оно предутренне.

— Зиг-зиг-зиг-ббах!

Свист снаряда и взрыв. Я бросаюсь к стволу сосны, слушаю, как свистят осколки, бьют по ветвям и с глухим шуршанием падает земля, брошенная вверх взрывом.

— Впере-ед!

Капитан пробегает позади меня... Он гонит нас, как собака гонит стадо.

Теперь все гудит от взрывов и свиста пуль. У меня пересохло во рту, и дрожат колени от усталости.

* * *

Лес кончился. И вот вдоль опушки извилистый ручей—словно стальная широкая лента. Местами с нее белый дым подымается—пар, за ручьем—луг с высокой травой—побелевший от росы, за лугом опять лес... Теперь уже совсем светло, и нас заметили. Пули цокают в стволы деревьев позади нас, и я чувствую на лице движение воздуха, потревоженного ими.

— Ббах!

Черный, десятисаженный столб дыма винтом взметнулся к небу и встал над лугом, точно черный гигантский монах.

— Ложись!

Я на самом берегу ручья, прячусь за кочку, и рою поспешно, как голодный крот, сырую, по весеннему сырую землю. И выбрасывая ее перед собой, я вдруг слышу, как в воду около меня что-то упало с громким всплеском. Осколок? Я сильнее рою. И опять всплеск. Я поднимаю голову; по поверхности—чуть скользя—плывет большая зеленоватая лягушка, и смотрит на меня темными выпуклыми с золотистым ободком глазами. На момент я останавливаюсь удивленный. Лягушка? Откуда?

— Ббах!

Черный монах взвился рядом. Свист в воздухе. Куски тонко срезанной земли хлопьями взлетают выше сосен и падают. Один на меня, на шапку—и я судорожно рою, рою, рою—будто он сказал мне:

— Торопись.

Рядом—справа, слева—вдоль ручья, по опушке вижу поспешно роют, роют, согнувшиеся люди в зеленоватых шинелях.

Моя яма глубока—я в ней—по грудь, сажусь на дно—разом скрывается ручей, луг, мои товарищи—вижу только розовеющее небо над головой и темные верхушки сосен сзади. Сердце еще колотится и грудь дышет судорожно, но тише, тише. Все свистит кругом и грохочет. Я различаю ясно зиг-зиг-зиг снарядов высоко в воздухе, и грохот выстрела и разрывов и разноголосый свист пуль.

Я молчу, притаился.

В мире теперь я только один—в своей яме...

Сколько прошло, я не знаю. Странное оцепенение напало на меня—сонное, полуобморочное.

Очнулся я от крика:

— Спишь?

На меня глядели злые, острые глаза капитана. От испуга я готов был вскочить на ноги, отдат честь и крикнуть;

— Никак нет.

И я сделал бы это, если бы капитан не побежал—согнувшись—дальше, вдоль опушки и наших ям, опараясь на винтовку. Я видел только, что кобура его револьвера отстегнута. Я злобно плюнул и опять сел в яму. Черт возьми, ни минуты покоя!.. Эти злые глаза даже во сне меня пугают. Сейчас он крикнет: «Вперед!» Я вскочу и брошусь через ручей под пули, в смерть.

Я весь напрегся от злобы—взъерошился. Солнце взошло—на красноватых стволах сосен я увидел белые пятна—следы пуль—и теперь уже было видно каждую оторванную ветку, как она падает, лениво цепляясь за другие ветки. Стальные кнуты хлещут по соснам. И взрывы, как похоронные звоны, переливаются в лесу: неприятель бьет по лесу, пытается выгнать нас оттуда. А мы здесь, на опушке, и я вижу ручей справа от меня, вот от этой лозинки до поворота... По его берегам растет осока—зеленые узкие ленты торчат прямо. Вода синевата, ровна и лишь порой рябит, когда в нее попадает ком земли, поднятой взрывом.

Вода, осока, лозинка. За Волгой, на сенокосе, утром, с удочкой... Вода, осока, лозинка...

Вдруг странный звук:

— Кра-ра-ра-ра. Кра-ра-ра. Кра-ра-ра-ра.

Что такое? Я замираю в недоумении, оглядываюсь.

— Кра-ра-ра-ра.

Теперь громче, вот рядом, вот здесь, у осоки.

— Кра-ра-ра-ра.

Знакомый звук. Я подымаюсь, тревожно смотрю...

Лягушка! Я вижу ее. Белые пузыри вскакивают у ней по обоим сторонам головы. Она поет задорно. Кра-ра-ра-ра. Ей откликнулась другая, третья—и вот в сажени от меня, у осоки, они, наскакивая одна на другую, начинают петь весеннюю песню. Их голос звучит все громче и торжественней. Они привыкли ко мне—я для них уже мертвый берег—и поют. А я,—я слышу только их пение и, пораженный, забыл про визг пуль, про взывы снарядов. Кра-ра-ра-ра. Порой, когда снаряд падает слишком близко от ручья и в воду дождем сыпались его осколки и комки земли, лягушки на момент стихали, но—раз-два—и опять их песня.

А нас видят—стрельба усилилась. Стреляли с обоих сторон; весь лес выл, гудел, на лугу бродили черные монахи, а над верхушками деревьев то и дело вспыхавили голубые огни шрапнели. А я слушал только крик лягушек. Теперь я видел их—они страстно наскакивали одна на другую, их становилось все больше и больше,—они плыли по ручью сюда—к моей осоке—справлять весеннюю свадьбу.

— Кра-ра-ра-ра. Кра-ра-ра-ра.

Низко над ручьем пролетела белая бабочка, мухи толклись над травой. Как мирно. Это свадьбы? Да. Весна... Я смотрел на них, чуть высунувшись из моей ямы.

— Кра-ра-ра-ра. Кра-ра-ра-ра.

Что то близкое—вот родное мне было в этом крике: я слышал его давно-давно.

— Куда высунулся?!

Это звериный голос крикнул позади. Я опустился в яму. За ближними деревьями проползает капитан, бросает мне сердито, через плечо:

— Хочешь, чтобы башку продырявили?

С ненавистью я посмотрел ему вслед и поднял винтовку. Выстрелить? Но змея упозла за деревья. Лягушки кричали. Кричали! Я опять посмотзел на них: они кричали и в страсти лезли на одна другую... О, им никто не крикнет: «Вперед!» или «Ложись!». А я? А я?!

Сердце прыгнуло у меня, и в глазах зарябило. Я крепче прижал винтовку к плечу, прицелился и выстрелил в двух сцепившихся. Одна выпрыгнула из воды, шлепнулась — и поплыла мертвая — вверх белым брюхом, широко раскорячив ноги. Другие на момент смолкли, но только на момент. И опять: кра-ра-ра, кра-ра-ра. Я прицелился—трах! Но кра-ра-ра!!

Я заорал неистово:

— А, вы смеетесь? Над человеком смеетесь?!

Я бил их яростно, высунулся из ямы и положил винтовку на край, чтобы удобнее было целиться. Они подскакивали в воздух от каждого моего выстрела. Я хохотал.

— Вот вам, вот, вот!

Я поспешно вкладывал патроны пачку за пачкой.

— Ты в кого здесь бьешь?

Я оглянулся. Что такое? За ближней сосной сидел капитан.

— В кого бьешь, спрашиваю?..

* * *

Весь день я простоял над ручьем, прежде чем наша рота вышла из огня. И тогда перед всем строем капитан срамил меня.

— Смотрю, стреляет. «В кого»? В лягушек.

Товарищи потом:

— Да ты это что?

А я им нехотя:

— Скучно было...

Разве можно сказать, что я позавидовал?

Дм. Семеховский.

ЦАРЬ.

Весь первый день пасхальной недели председатель Петровского волисполкома Сорочкин, провел в трудах неусыпных.

Имя Сорочкина следовало-бы занести на Красную доску, если-бы причина беспримерного его прилежания не находилась на дне бутылки с перегонкой.

Дело в том, что в волисполкоме стоял шкаф, где хранились всякие вещественные доказательства: перегонные аппараты, змеевики, бутылки и целые четвертные, найденные волостным милиционером в банях и овинах деревенских виноделов. А ключ от шкафа находился в кармане председателя.

Итак, первый день Пасхи товарищ Сорочкин ознаменовал необычайно-усердной и энергичной деятельностью.

Предволисполком Сорочкин и завземотдел Конев устроили в исполкомском здании секретное совещание, происходившее при закрытых дверях. Какие вопросы стояли на повестке дня, покрыто мраком неизвестности. На столе же, за которым заседали оба члена совещания, стояли следующие предметы: 1) графин с мутной жидкостью; 2) две чайных чашки; 3) тарелка, на которой ржавым глазом косила голландская селедка; 4) хлеб, соль и пяток разноцветных яиц.

— Дернем,—вносил предложение председатель.

Предложение принималось единогласно. Прений по вопросу не было.

После чего тов. Сорочкин опрокидывал чашку в волосатую свою пасть и густошерстой лапой разглаживал рыжие усы.

Завземотдел, однако, саботировал.

Он сидел и икал. Икал тонко, как-то по птичьи:

— И... и-их!.. и-их!..

В окна било солнце и жужжал хор оживших мух. Царапалась в стекло когтями лиловых прутьев молодая березка—вся в новых сережках...

Чем более пил Сорочкин, тем более он багровел и разгорался. А Конев все более бледнел, мутнел и угасал.

— Кто я?—немеющим языком бормотал председатель:—какой на

мне чин? Могошь ты понимать это?..

Но завземотдел едва-ли мог вообще что нибудь понять, ибо сполз под стол и оттуда мерно и тоненько посвистывал.

— Нет, ты не могошь понимать... И никто не могот... И шут с вами!..

Я—предвол... исвол... исволком. Я—власть... Облечен, так сказать, доверием масс...

Сознание собственного могущества опьяняло Сорочкина не менее, чем перегонка. Чуял он в груди своей силы необъятные. Он как бы рос, становился больше, выше. Чем больше становился Сорочкин, тем меньше становились окружающие предметы. Они принижались, отдалялись, уплывали в туман. Закачались стулья, заколебался стол со всей стоявшей на нем посудой, заколыхалась на столе бумажка. На бумажке было написано следующее:

«Преображенской К. В. Волисполком ставит вам в известност что такия явления с вашей стороны преступны, как-то не дача мне школьного стола, так что вы за собой влечете строгаю ответственность.

Я сосвоей стороны говорю, что школьная работница идет против советской власти, а поэтому ище раз, последний рас приказываю не чинить никаких препядствий, в данном случае вы будете арестованы, как за не подчинение распоряжения власти. Предволисполком Сорочкин».

Увидав бумажку и вспомнив, что хотел отправить ее сегодня-же, чтобы сделать учительнице „праздничный сюрприз“, крикнул:

— Гришка!

Но тут же сообразил, что день неприсутственный и что, следовательно, рассыльный Гришка пользуется отдыхом. Пошел искать Гришку на село.

Улица встретила его солнцем, лужицами, теплым ветром.

Даль дышала пасхальными звонами.

Ударили и на петровской колокольне—и звон веселый, трескучий, малиновый заплясал над селом.

Когда, ступая непослушными ногами по зыбкой, еще неокрепшей земле, Сорочкин проходил мимо школы и заглянул в окно, показалось, что колыхнулась кисейная занавеска и мелькнуло лукавое девичье лицо. Захотелось войти в школу и сделать учительнице какую-нибудь гадость. Дерзкая, она отвергла его ухаживанья! Его, первого человека в волости! Но сдержался и только скрипнул зубами:

— Похахался... я те похахалюсь!..

Парни и девки водили на улице хоровод—пели:

«По за городу гуляет
Свободный гражданин»...

Гришки в хороводе не оказалось.

Впрочем, Сорочкин вскоре забыл и про Гришку и про учительницу.

Шол он, разбрызгивая грязь крепкими, взятыми из волкопа сапогами, а с колокольни все прыгали трескучие плясовые перезвоны. И каза-

лось ему, что это в честь его, Сорочкина, захлебывается нестройным трезвоном белая колоколенка, в честь одного его светит солнце и поют на улице.

Рос все выше и выше. Выше изб. Выше колокольни. А улица съеживалась, уменьшалась, удалялась. И на миг вся земля почудилась Сорочкину не больше горошины, а сам он стал титаном.

— Власть—я, или не власть?—бормотал Сорочкин, входя и избу. В избе была духота и жара. Пахло сдобным. Захотелось есть. С полатей свесилась нога в протоптанном валянке. Под потолком на все лады свистело, сипело и сапело. Там спал гость, дядя Иван.

Повалился на лавку. Вытянул забрызганные грязью ноги.

— Матрена! Скидовай сапоги...

— Господи! Опять лыка не вяжет!—горестно изумилась жена Матрена, баба бледная и некрасивая.

— Молчать! С кем говоришь? Забыла,—рыкнул Сорочкин.

— С кем... с кем... Что уставился? Думаешь, испугалась? Как-же!..

— Не разговаривать! Я—власть. А для тебя—царь и бог. Будешь ноги мои мыть и ту воду пить. Что хочу, то с тобой и делаю. Захочу застрелю на месте...

И сделав по избе несколько неверных шагов, он поднял руку, в которой тускло блеснул револьвер.

— Батюшки, убьет!—взвизгнула Матрена.

— Не убьет,—прохрипело за спиной и две жилистых руки, как железные обручи, охватили Сорочкина сзади. Загремел по полу выбитый быстрым ударом револьвер.

Сорочкина пошатнуло и он грузно повалился на пол. Тяжело сопя, сверху навалилась пятипудовая туша. Наклонилось покрасневшее от натуги лицо дяди Ивана.

— Пусти, прорычал Сорочкин.

— Буянить не будешь?

— Не буду.

— Побожись.

— Пусти, чортушко!.. Говорят тебе...

Отпустило.

Поматываясь, выбрался на улицу.

Решил пойти к отцу.

На завалине отцовского дома сидела старуха-мать с крестницей Грунькой.

— Христос воскресь, маменька...

— Воистину, Миша...

И холодные старушечьи губы вяло прикоснулись к колючей жниве сыновнего рта, проспиртованного, прокуренного.

— Дух от тебя чижолый, Миша. Как из казенки. Где уж это ты?

— Праздник, мать, праздник... Нельзя...

— Пойдем в дом, сынок. Давно ты у нас не бывал. А ведь ровно бы недалеко и живем. Как в председатели то эти попал, так словно отрубило... И лица к нам не кажешь...

— Дела, мать... Уйма делов!..

Пошутить захотелось.

— А я чичас мамурку свою убил... Из нагана...

— Господи! Миша! Неужто правда?—испугалась старуха.

Веки ее сразу покраснели и припухли. По коричневой коре щек покатились слезинки. Ловя их краем подола, она засмыгала носом. Закричала:

— Отец, отец!.. Чего ты путаешься на дворе-то?.. Подь сюды скорее! Что ведь наделалось-то? Миша говорит, что Матрену, сноху нашу, застрелил...

— Да, застрелил,—рявкнул сын:—И в ответе не буду, потому что я—власть. Царь—я! Захочу, и вас всех, старых чертей, перестреляю. На то и реворюция...

— Ай, убьет!—со страхом крикнула старуха:—люди добрые, отнимите у него пистолет-та.

Трезвонили на колокольне. И голос старухи, разбитый, дребезжащий, надтреснутый слабо глох в трескучих, разливистых перезвонах.

Звонили в честь Сорочкина. Солнце взрывалось золотыми животворящими взрывами во славу его. И в честь его, предволисполкома, заплетался венок хоровода в песне:

«Кого любишь, поцелуй,
Свободная гражданка,
Свободная гражданка»...

— Хо-хо-хо!—загоготал Сорочкин;—стану я с вами, старыми чертями, связываться!.. Ведь кто я? Власть я! Царь!..

— Наряжай народ на собрание. Живо!—мутно взглянул Сорочкин на нарядчика:—Важные есть вопросы... Государственные...

— Чичас, Михайло Иваныч,—суетливо отвечал нарядчик, обсосанный нуждой мужиченко, намахнув пальтишко на цыплячьи свои плечи.

— То то чичас,—бормотал Сорочкин, грузно валясь на лавку:—Ты ведь знаешь, кто я? Пред....ис...предвел...

Трубный храп потряс избу.

Снилось Сорочкину, что он—царь.

На голове—корона, на плечах—малиновая с желтыми цветами и звездами риза, в какой поп служил пасхальную заутреню, под ризой-же—галифе и гетры, как у товарища, что намедни из уезда приезжал. У ног—мужичьи рыла, пыль с его подметок сдувают.

Сидит он на престоле, а жена обедать собирает. И вот уже не жена это, а учительница Преображенская, и золотой престол—не престол, а стол училищный.

Преображенская смеется и икает. Икает тонко, по птичьи;

— Их!.. и-их!..

Вдруг стол затрещал.

— Гнилые столы в нашей школе. Надо бы перед уездом похлопотать, чтобы новые дали,—подумал Сорочкин.

Развалился стол и полетел в черную дыру. И Сорочкин полетел. И все полетело, завертелось пропало.

Жестоко ушибся Сорочкин, свалившись с лавки. Однако, не проснулся. Захрапел еще громче, еще вкуснее. Так захрапел, что кот, умывавшийся на полу, взъерошив хвост, испуганно брызнул на печку.

Потянулись по селу мужики.

Скоро загалдела, закашляла изба, зашаркала десятками подошв, заколыхалась в резком дыму самосада.

А Сорочкину снилось дальше.

Ходит он в разноцветном венце хоровода, а девки величают его песней:

...«Встань, здесь прибодрись,
Раз пятнадцать повернись,
Царевич-королевич,
Ца-аревич-ко-о-ро-олевич»...

— Контрреволюция! Арестовать!—Загремело вдруг над ухом.

Оглянулся Сорочкин и видит: пропал хоровод.

Жилистая рука схватила его за шиворот, сотни пальцев указывают на него, сотни мужицких глоток рявкают:

— Вон он...царь...

— Арррестовать! Повесить!—снова загремело над ухом.

Опять обернулся Сорочкин и видит, что голос принадлежит дяде Ивану. Ему же принадлежит и железная рука, ухватившаяся за шиворот.

— Повесить!—заорали сотни глоток.

— Дядя Иван, да ведь не царь я,—взмолился Сорочкин.

— А карона дляча на башке?—сурово отвечает дядя Иван.

Повели Сорочкина за овины на перекресток, где стоит разбитая громом береза.

Залез на сухой сук березы завземотдел Конев и приладил петлю.

Ухватили Сорочкина десятки рук и потащили к березе. Свалилась с головы золотая корона и разбилась, как простой глиняной горшок.

Вот уж и петля на шее.

— Батюшки, да ведь не царь я,—завопил Сорочкин и проснулся.

Шибко билось сердце, казалось, там, в груди притаился маленький кузнец и бьет по наковальне тяжелым молотом. Росою высыпал на лбу холодный пот.

Сидел Сорочкин на полу и, обводя мужиков мутными, непонимающими глазами, орал:

— Батюшки!.. Не царь я!.. Карраул!..

— Ишь, родимый, до чего допился—смеялись мужики.

— Ополоумел...

— Братцы, облейте его водой, чтобы он в чувство пришел...

— Волоки его на волю...

Вытащили Сорочкина на улицу и вылили на его захмелевшую голову целое ведро воды.

А с колокольни попрежнему прыгали разливистые, веселые перезвоны, приголубливало землю солнце и над улицей шла весна.

И. Майоров.

Коленкоровый гроб.

(Рассказ).

1.

Директор фабрики из своих людей: при старом праве в проборщиках работал. Парень хороший, душевный.

А поди-ж вот! Ткач Гаврила Мамкин сробел, когда увидел «без доклада не входить».

Какие строгости. Конторщики на ципочках, ячейщики смелый из одной партии с директором—народ, а сначала голову в дверь, позволенья спросят, а потом в кабинет.

Ну, что будет! Авось, не съест.

Гаврила Мамкин решительно через порог и прямо к зеленому столу, за которым директор Варежкин.

Кожаный пиджак. В кресле, нога на ногу.

В зубах папироска. А брови насуплены—верное дело сердитый. Не в раз. Переждать бы маленько.

— Что надо?

— До вас, Захар Захарыч.

— Ну?

— Просьбица...

— За деньгами?

Откуда узнал? Ай-да Варежкин, как насобачился.

— Точно так. Деньжонок бы... вперед...

Усмехнулся. Прищурился. Не даст!

— Зачем тебе деньги?

— Деньги то?

Крючья, не глаза у Варежкина. Насилу отцепился Гаврила Мамкин от Варежкиных крючьев, посмотрел в угол, в другой, увидел на стене

Кодекс о труде, на другой стене Конституция, на потолок взглянул и только начал окна считать, как вдруг:

— Не дам!

Вот тебе и душевный человек!

Шагнул Мамкин ближе к столу, пальцем черк по шее.

— Вот как надо, Захар Захарыч. Не смейся, лопни глаза—не вру. Нешто зря пойдешь к директору? Сами понимаем, чего на плечах у директора. Ба-а-альщущие дела, некогда с нашим братом. То да се, топливо, сырье, письменность разная... Поверти башкой, смозгуй...

— Не заливай, приятель. Не дам!

— Захар Захарыч!..

— Проваливай, мешаешь...

— Яви божескую милость...

— Я не поп, братец. Уходи!

Гаврила Мамкин ладонью в грудь:

— А ежли невозможно никак мне без этих самых денег? Куда я пойду теперь? Воровать?

— А зачем деньги?

— Такие дела подоспели.

— Какие дела?

Эх, привязался. По ниточке выдергает.

— Большие дела, Захар Захарыч. Несчастье...

— Помер кто нибудь?

На покойника даст. Давно бы так сказал. Гаврила Мамкин повеселел.

— Так точно. Помер.

— Кто?

— Баба померла, царство ей небесное. Жена, то есть...

— Сколько надо?

Даст! Вот это директор.

— Сотни три, Захар Захарыч.

— Хватит?

— Достаточно. Мне только гроб огоревать бабе. Кабы не гроб, куда мне столько. Без гроба нельзя, а ноне вон корыто получше за двести не купишь. Прямо беда, Захар Захарыч. Милярды!..

Вышло дело. Варежкин карандаш в руку.

— Фамилия?..

— Мамкин, Гаврил Леонтьич. Мамкин...

— Ты Мамкин, гроба не покупай. Я механику скажу, что бы в столярной сделали. Коленкором велю обить. Когда гроб нужен?

— Гроб-ат?

Гаврила Мамкин глаза к потолку, пошевелил губами, почесал в затылке, вздохнул шумно и тяжко....

— Ну, не горюй, Мамкин, успокоил директор,—другую бабу заведешь. Приходи завтра за гробом. Сделаем. Денег тоже выпишу. Гроб бесплатно. Понимаешь?

— Понимаю,—тоскливо прошептал Гаврила Мамкин.

2.

Директор и лошадь дал, чтобы гроб отвезти.

— Куда надобно?—спросил возчик, когда телега с гробом выехала из фабричных ворот.

— Поезжай прямо,—махнул рукой Гаврила Мамкин, мрачный, озабоченный.

Телега загремела по камням, гроб подпрыгивал в телеге, прохожие сочувственно смотрели на гроб, на Гаврилу. Убитый горем Мамкин сидел, понуря голову. Проехали улицу, повернули в другую, поднялись в гору.

— Теперь куда?—спросил возчик на перекрестке.

Гаврила поднял голову, устало посмотрел кругом и распорядился слабым голосом:

— Вези!

— В которую сторону?

— Вези прямо.

Возчик взглянул на Гаврилу, сочувственно покачал головой и дружелюбно сказал:

— Шибко горюешь, брат?

— Чего? спросил Гаврила.

— Горюешь, говорю.

— Да горюю.

— Конечно, жалко... У тебя кто помер?

— Чего?

— Кто помер, спрашиваю?

— Да, помер,—рассеянно ответил Гаврила, погруженный в невеселые мысли.

— А кто помер?

— Чего?

— Помер то кто?

— У кого?

— У тебя...

— Баба.

— Вишь, какой грех. Мужик ты молодой, а вдовый, значит? Плохо! Ребятенки, поди, остались.... теперь куда ехать?

— Стой!

Мамкин поспешно выскочил из телеги, обмотал гроб веревкой, взвалил на плечи, пошел прочь. С возчиком ни слова.

Вероятно, гроб был очень тяжелый. Шагов через сто Мамкин привалил ношу к забору и сел отдыхать на лавочке.

3.

Старший милиционер Пузыриков только что навестил самогонных дел мастера Растатуева и по этой причине в самом прекрасном настроении шел по вверенным ему улицам, любовался природой, насвистывал, напевал, блестел ярко начищенными сапогами и, может, пустился бы в пляс, как вдруг...

Милиционера Пузырикова словно кипятком ошпарило. Он вздрогнул. Его внимание приковала подозрительная личность, которая, пугливо озираясь по сторонам, тащила на спине новый, обитый коленкором гроб. Умудренный обширным опытом, милиционер Пузыриков почуял дичь. Глаза зажглись вдохновением и прилипая к стенам домов и заборам, он начал следить за подозрительной личностью.

Ясное дело, человек с гробом замышлял неладное.

Вот он втащил гроб в соседний двор, быстро вышел на улицу и без гроба проворно пошел прочь. Но из ворот тотчас выскочила рослая баба, что то закричала и сердито замахала руками. Злоумышленник вернулся, вошел во двор и появился на улице опять с гробом на спине. Баба долго стояла в воротах и качала головой, смотря ему вслед. Злоумышленник оглянулся на бабу и повернул в переулок.

Через короткое время он опять вынырнул из переулка, держа гроб в руках. Посмотрел направо, налево, снова скрылся в переулок и быстро вышел оттуда, но уже без гроба.

Что за притча?

Пузыриков сделал самую равнодушную физиономию и прошел мимо, глядя в другую сторону, но украдкой кося глаза в сторону незнакомца. Увидя милиционера, тот спрятал голову в плечи, быстро юркнул в переулок и через минуту появился с гробом.

Что такое?

Пузыриков как бы невзначай вошел в растворенную калитку, проворно снял шапку и осторожно выглянул на улицу. Незнакомец исчез. Пузыриков вытянул шею и вдруг увидел кудрявую голову, которая наблюдала за ним из соседней калитки. Глаза встретились и Пузыриков понял, что попал впросак. Тогда он решил кончить игру. Надел шапку, вышел со двора и увидел незнакомца, который шел навстречу попрежнему с гробом. На лице незнакомца изображался такой ужас, словно на спине его была бомба, которая вот-вот взорвется.

Пузыриков пошел за ним. Незнакомец оглянулся и прибавил шагу. Пузыриков тоже прибавил шагу. Незнакомец еще. И Пузыриков еще. Незнакомец, видимо, утомился: он пыхтел, сопел, охал словно запаленая лошадь, но быстро, торопливо шел вперед. Пузыриков не отставал. Незнакомец свернул в переулок. Пузыриков за ним... Тогда незнакомец бросил гроб на землю и что есть мочи бросился бежать.

Пузыриков понял, что пора действовать.

Выхватил из кобуры Наган, зажмурился, нажал собачку, громовый выстрел и окрестности огласились повелительным:

— Стой! Лови! Держи!

А через какой-нибудь час милиционер Пузыриков замыкал новое шествие. Впереди милиционер Гвоздилин, за ним измученный, бледный, потный человек с гробом на спине. Пузыриков, недоумевающе пожимая плечами и ежеминутно почесывая в затылке, слушал арестованного, который говорил Пузырикову:

— Лопни глаза не вру, товарищ. Нешто зря дадут гроб! Я же тебе показывал бумажку, в ней все прописано. Отпустили бы вы меня, право. А? В бумажке ведь все прописано, откудова гроб этот самый....

— А бежать для чего было?—соображал вслух Пузыриков.

— Да как-же не бежать, ежели я с детства напуган? Эта самая оружия для меня хуже смерти. Лопни глаза—не вру.

— А зачем гроб во дворе оставил?

— Да говорю же, за саночками хотел домой сбегать. Упарился я с гробом. Почесть, целый день на себе таскаю. А в ем, окаянном, поди, больше пуда. Все плечи стер, лопни глаза. Пустили бы вы меня...

— Иди, иди. Врешь ты, по моему. Путаешь что то...

— А вот и не вру, лопни глаза не вру...

— Ну, вот посмотрим.

4.

Тетка Наталья плюнула и сказала в сердцах:

— Ну, и пес с тобой! Одна отобедаю. Не до ночи ждать тебя, пьяницу.

Ухватом взяла щи из печи, понесла к столу и не донесла. Дверь избы отворилась, а тетка Наталья бросила горшок на пол: вошел милиционер Пузыриков, шевельнул усами: повел носом в воздухе и сурово спросил:

— Которая здесь есть усопшая?—

Тетка Наталья ахнула в испуге и схватилась за сердце: язык прилип к зубам.

— Которая здесь есть усопшая?—повторил властно Пузыриков.

С большим трудом тетка Наталья отклеила язык от зубов.

— Какая усопшая?—прошептала она, почувствовав мурашки на спине.

— Покойница!—сухо пояснил Пузыриков.

— Покойница?—переспросила тетка Наталья и почувствовала, что ее коленки подгибаются.—Какая покойница?

— Какая покойница?—передразнил Пузыриков.—Не видала сроду покойников? Покойница есть труп! Поняла?

Тетка Наталья молча вытаращила глаза на Пузырикова, который—наконец—рассердился.

— Где труп усопшей покойницы?—отрывисто рявкнул он.

— Никаких трупов здесь нету,—прошелестала, бледнея, тетка Наталья.

Пузыриков с торжеством усмехнулся, решительно тряхнул головой и, круто повернувшись, хлопнул дверью со словами:

Ну, теперь держись!

Удивленная тетка Наталья поспешила за ним и первое, что увидела из сеней, был обитый коленкором гроб, который стоял у сарайчика во дворе. Около гроба сидел на корточках Гаврила Мамкин, понурый, держась ладонями за голову. Около Гаврилы еще милиционер и толпа зрителей.

— Соврал!—громогласно объявил Пузыриков, прыгая с крылечка.—Не сбнаружено усопших, время только зря провели. Айда, в милицию, Гвоздилин! Эй, ты! Бери гроб! Гвоздилин, присматривай строже!

— Гаврила, что ты наделал!—завопила в испуге тетка Наталья.

Мамкин проворно встал на ноги, развел руками и с жалкой, сконфуженной улыбкой забормотал:

— Ты, Наташа не сумлевайся, лопни глаза... Это все Варежкин. Лопни глаза, Варежкин виноват! Я говорю — дай одну сотенку, Наташе кренделей куплю.... ты думаешь, я опять в трактир хотел? Лопни глаза, кренделей хотел тебе купить. А Варежкин и говорит: на, Мамкин, гроб!..

— Не р-разговаривать!—распорядился Пузыриков.—Бери гроб! Граждане, расступись!....

— Я говорю: а зачем мне гроб?—бормотал Мамкин, с трудом поднимая гроб.—Мне деньги нужны, Наташе башмаки купить, а он...

Мамкин, кряхтя, взвалил гроб на плечи и пошел со двора, бормоча:

— Надо бы сказать ему, что покойница оживилась, а я... Эх, Варежкин, Варежкин, чтоб тебе пусто!...

В. Деготь.

Воспоминания о В. И. Ленине.

(Отрывок из очерков „Моя жизнь“).

Когда я приехал в Париж, я прежде всего узнал, где живут эмигранты и где собираются большевицкие группы. Через несколько дней я уже был на Габлен, в русской библиотеке, где радостно слушал русскую речь. Узнав адрес нашей группы, я быстро связался с секретарем, который мне сообщил, что работу здесь найти трудно, но всетаки по силе возможности помочь обещал.

С этого дня я пустился в поиски работы. С утра до позднего вечера я бродил по городу, заходил в переплетные фабрики и мастерские и показывал знаками, что я переплетчик. Ответом на это был или смех, или жест, указывающий на дверь. Так почти две недели я мерял мостовые Парижа.

Однажды случайно, около Пантеона, где находится Университет, я нашел переплетную мастерскую, которую содержал какой то поляк. Он болтал немного по-русски. Поняв, что мне нужно, он быстро с самодовольным видом принял меня на работу. Эксплуатация в этой мастерской была безбожна. Рабочие работали в день по 12-15 часов, получая за это 5 франков. Хозяин прекрасно понимал, что рабочие от него никуда не уйдут, дорожат своим местом, потому и эксплуатировал их. Я лично был рад, что хоть немного мог заработать себе на пропитание. В это время я уже успел познакомиться со всеми товарищами и побывать на заседании группы, в небольшом кафэ, переполненом товарищами, совершенно не знакомыми мне. В каждом лице я видел т. Ленина, которого я еще тогда не знал. Мне говорили, что в нашу группу входят т. Ленин, т. Зиновьев, т. Богданов и другие товарищи.

Но вот открывается собрание под председательством т. Семашко. Если не ошибаюсь, первым выступил Григорий Зиновьев, со своим докладом об «отзовистах». Сильную речь против него сказал т. Мануильский, который был тогда под псевдонимом «Ваня» и после „Безработный“. Когда председатель сказал, что слово представляется тов. Ленину и тот начал говорить, я буквально впился в него глазами. Каждое его слово глубоко ложилось в мою душу, хотя он говорил не с таким ораторским

пафосом, как т. „Ваня". В речи Ленина на понятном языке, так много было железной логики.

Дискуссия этого заседания носила горячий характер.

Между прочим, «Ваня» и Алексинский упрекали т. Ленина за то, что он на конференции в Финляндии согласился с решением ее о бойкоте Государственной Думы.

В ответной речи на это Ильич возражал, что хотя и был против бойкота Думы, но считал, что лучше согласиться с одним глупым решением, чем с меньшевиками, которые все время делают глупости. Товарища-же Каменева упрекали за то, что он недавно в газете писал за бойкот Думы, на что тот открыто заявил, что тогда поступал неправильно.

В Районе «Габленка», где ютились тысячи эмигрантов, почти еженедельно бывали рефераты на различные темы. Разбирались всевозможные политические течения, большей частью меньшевитское с Даном и Мартовым во главе. Споры на эти рефератах всегда были горячие. Громадное большинство эмигрантов была интеллигенция, стоящая против большевиков. Когда выступали большевики, они буквально не давали им говорить.

Это время было, как раз после Лондонского Съезда партии, когда нарождалось ликвидаторство, с одной стороны, меньшевиков, с другой— отзовизм большевиков. Первые говорили, что подпольных организаций не должно быть, так как они начинают вырождаться в секты, которые лучше всего ликвидировать, а всю массовую работу легальным образом передать Союзам. Против ликвидации подпольных организаций решительно выступал ЦК нашей партии во главе с т. Лениным.

Отзовисты говорили, что большевики в Государственной Думе не должны принимать никакого участия и все депутаты III Думы должны быть отозваны, ЦК нашей партии приходилось бороться с этим течением.

Большие споры на этих рефератах были с Богдановым, который проводил философскую проблему Маха. Философия эта была против Маркса, а потому ЦК нашей партии пришлось реагировать на это.

А Ильичу пришлось потратить много времени, чтоб написать свою знаменитую книжку по философии.

Все разбиравшиеся вопросы, мне, молодому рабочему, были малопонятны, но я все же старался разобраться в них и усвоить, поэтому я не пропускал ни одного реферата.

В это время происходит партийная конференция и ликвидаторов исключают из партии. Я продолжал работать в той же мастерской, радуясь тому, что я кое-что зарабатываю. Безработица в то время была большая и наши эмигранты подлинно умирали с голоду. Но по истечении нескольких месяцев работа нашей фабрики уменьшилась и хозяин расчитал меня. Но без работы я был недолго. Мне предложили работать в типографии ЦК партии, где печатался «Пролетарий» и «Социал-Демократ». Моя работа заключалась в том, что-бы сфальцевать и сшить протоколы Лондонского Съезда, а также сделать трубочки, в которые вкладывались напечатанные на папиросной бумаге «Пролетарий» и «Социал-Демократ». Что-бы замаскировать эти газеты, вкладывались еще какие нибудь шикарные гравюры

и в таком виде эти свертки посылались в Россию по какому-нибудь буржуазному адресу.

Типография находилась с редакцией вместе в «Авеню Д'Орлеан» в одном из особняков. Ежедневно в редакции происходили заседания с Лениным, Зиновьевым и Каменевым во главе. К этому времени в Италии, на острове Капри (где жил Горький) для партийных рабочих открылась партийная школа. ЦК нашей партии был решительно против этого мероприятия, т.-к. преподаватели этой школы были махисты—богоискатели и отзовисты. Там был Алексинский (теперешний белогвардеец) Богданов и, если не ошибаюсь, Луначарский и ряд других товарищей.

У ЦК появилась тогда мысль организовать свою школу в Париже. В качестве первых учеников выделили несколько рабочих 9 года. Собирались мы в одном из домов, где жили исключительно большевики эмигранты.

В нашу группу входили, как мне помнится, Абрам Беленький (работающий теперь в В. П. У.) Исаак «Косой» (кличка) и еще один рабочий, имени не помню, по профессии сапожник. Вспоминается мне первый урок. Собирались мы все вечером в одну из комнат, где жил один из наших товарищей. Комната эта была маленькая с убогой обстановкой; ветхая кровать, небольшой деревянный стол, два простых стула. Ильич давал первый урок. За неимением места мы все разместились по кровати. В то время Ильича я уже знал хорошо и любил его за простоту и товарищеское отношение ко всем. Такое же отношение к Ильичу было и других товарищей.

Ильич сказал нам, что он будет заниматься с нами по аграрному вопросу, по той книге, которая им была написана, но еще не напечатана. И тут же показал нам толстую тетрадь из папиросной бумаги с заглавием «О национализации». Нам было известно, что его проект по аграрному вопросу на Лондонском Съезде был провален и принят проект меньшевика Маслова «О муниципализации». Первые труды Ленина были направлены против Маслова и эс-эров, проповедующих социализацию. Тема по аграрному вопросу в то время была очень важна и мы с большим интересом принялись за занятия. Нашим преподавателем был не только т. Ленин, но и ряд других товарищей, как Зиновьев (по истории профдвижения), Каменев (о нашей тактике). Нужно отметить, что единственно, кто относился серьезно к нашим занятиям, это был т. Ленин. Он занимался с нами 2 раза в неделю и редко опаздывая к назначенному часу. Иногда случалось, что он приходил раньше и ждал нас. Если же он почему-либо не мог притти к нам, то за день посылал каждому из нас на квартиру телеграмму с уведомлением, что занятия переносятся на следующий день.

В своих беседах т. Ленин часто нам подчеркивал, что спорить с противниками и особенно эс-эрами нужно очень умело, так как они всегда в дискуссиях стараются отвлечь внимание другими посторонними вопросами, как это, например, делал и Виктор Чернов.

«Я в Швейцарии по всем городам читал рефераты по аграрному вопросу,—говорил Ильич,—и в каком бы городе я не появился, за мной следом всегда являлся и Чернов, хотя его никто не приглашал. И он всегда старался отделаться от принципиально затронутых вопросов общими

фразами, которые ничего не имели с темой доклада. Нужно бить противника цифровыми данными, чтобы ему некуда было деться и в то же время знать тот вопрос, о котором говоришь, потому что противник будет всегда стараться сбить с толку и даже подтасовать те-же цифровые данные. Это особенно важно «с учеными» кадетами и эс-эрами. Сейчас, товарищи, нужно понимать и философские вопросы: вот на Капри Горький сейчас собрал учеников со всей России и славных ребят, а что там читают— забивают голову хламом вроде философии Маха, который ничего общего не имеет с учением Маркса и «отзовизм», который носит характер карикатуры над большевизмом. Не правилен взгляд товарищей, которые думают, что философия—ненужная штука для рабочего». С удивительной осторожностью он подходил к каждому из нас в отдельности. Он знал, что совершаем тяжелую работу и потому никогда не заставлял нас ждать его.

В общем, занятия наши шли хорошо. Это продолжалось несколько месяцев, после чего я и сапожник определенно решили ехать обратно в Россию. Жить в эмигрантской среде было тяжело; ибо связи с французами почти никакой. Не зная французского языка, приходилось жить обособленно. Хотя у меня лично был товарищ, с которым я мог говорить, это—Седой.

Не безынтересно будет описать типографию и редакцию на Авеню Д'Орлеан, где мне приходилось ежедневно работать. Типография и редакция были в особняке, во дворе. Там работало 3 наборщика и я. Печатать отдавали во французскую типографию. Ответственным редактором был тов. Зиновьев, Ильич почти каждый день приезжал к нам на велосипеде. Почти все редакционные заседания состояли из тройки: Каменев, Ленин и Зиновьев. Обыкновенно Ильич был одет в обтрепанный костюм. Как то раз он пришел в типографию в синем костюме с полосками. Мы начали шутить, что т. Ильич расфрантился. «Нашел», говорит, «за 24 франка». Мы были крайне удивлены, где нашел Ильич такую дешевую лавку. Но костюм оказался хорошим только издали, на деле это была дрянь. Обыкновенно Ильич на велосипеде разъезжал по городу и часто заезжал менять книги в центральную библиотеку. Однажды он оставил свой велосипед около дверей консьержа. Когда он вышел, велосипеда не оказалось. Рассказывают, что он возмущался только тем, что у него нет денег, чтобы купить другой велосипед.

Открытые рефераты, где читал Ильич, были очень редки. Но когда он читал, брался обыкновенно большой зал и публики было переполнено. Он никогда не отказывал читать для рабочего клуба «Бастилия» (где большей частью жили еврейские рабочие, бежавшие от погромов.) Моему товарищу «сапожнику» удалось уехать в Россию раньше. Я по некоторым личным обстоятельствам остался и продолжал заниматься. Мне помнится, как однажды я взялся читать «Капитал» Маркса и говорил Ильичу, что я почти ничего не понимаю. «Не нужно читать все сразу, читайте страницу, перечитывайте ее несколько раз и постарайтесь оттуда что нибудь взять. Лучше читать вообще книги, читая несколько раз одну страничку и понимая, чем всю книгу разом, ничего не понимая». Когда Ильич узнал что я собираюсь уезжать, он меня пригласил к себе на квартиру. В том же районе, где находилась и редакция, была маленькая улица. В одном

из новых домов этой улицы жил Ильич. Мне было очень лестно, с одной стороны, быть наедине с Ильичем, с другой стороны, мне очень хотелось видеть, как он живет. Как мне помнится, он жил в 3 этаже. Я позвонил. Надежда Константиновна (его жена) мне открыла. «Владимир Ильич вас ждет» сказала она мне.

Я зашел в одну из комнат, которая оказалась рабочей комнатой В. И. Большой деревянный стол, покрытый клеенкой, 2 деревянных стула с сиденьями из соломы, которые, мне кажется, редко можно найти даже у рабочих. Напротив стола было нечто вроде шкафа, имеющего вид крестообразно сколоченных досок, где было масса книг. Увидя меня, Ильич попросил меня сесть. Я сел с одной стороны стола, он с другой. Разговор наш продолжался несколько часов. Мы затрагивали вопросы о ликвидаторах, об отзовистах, о партийной школе, которая была организованая Горьким на Капри и о последнем философском сборнике, изданном в Москве Богдановым, Базаровым, Юшкевичем и ряд др. «Вот я недавно получил письмо от М. Горького, где он хвалит эту книжку. Я ему только ответил, что ответ мой он прочтет в философской книге, которая скоро будет напечатана. От Горького требовать, чтобы он был хорошим марксистом нельзя, так как прежде всего это художник. А социалистом он стал благодаря Луначарскому. И богоискательством увлекается тоже благодаря ему. По последнему роману «Исповедь» это можно констатировать. А школа, которую он организовал на Капри, тоже ничего не стоит, так как преподаватели забивают головы учеников совсем не марксистскими бреднями.

Луначарский у нас один из лучших ораторов, один из талантливейших наших журналистов, но лентяй. Как например, в Питере в 1905 г. приходилось его заставлять писать для наших газет. А в Одессе, куда вы едете, есть тоже очень способный наш товарищ Орловский (он же Воровский), но он тоже ужасно ленив. Вы это можете ему сказать. До сих пор ничего не написал. Работает там в буржуазных газетах, а о нашей партии забыл. Перед отъездом я дам вам к нему явку, она вам пригодится.»

Но вот он вдруг взял журнал, издаваемый в Москве и показывает (жаль не помню название его). «Здесь помещаю ряд моих статей (кажется, по аграрному вопросу). Здесь и Милюков принимает участие, как видно, он ждет, чтобы я кончил писать в этом журнале, а я жду когда он кончит.»

«Одно я вас прошу, т-щ Володя, чтобы вы передали товарищам рабочим в Одессе, что «Пролетарий» или «Соц-демократ» могут выходить только тогда, когда они будут присылать нам сюда свои корреспонденции.

Мы сейчас очень оторваны от рабочих, а потому противно писать, когда не имееш связи с Россией. А вы нам еженедельно пишите, тем более, что вам придется наверное первое время быть и Комитетом и секретарем его, так как в Одессе ничего теперь нет. «Как же, тов. Ильич, смогу ли я выпускать прокламации за подписью комитета, когда он еще не соорганизован вполне»?

«Конечно, да! В этом наша сила. Это меньшевики только думают о демократизме, забывая о своих революционных задачах.»

Когда Ильич касался вопроса о ликвидаторах и отзовистах, то спокойно не говорил. Особенно он возмущался отзовистами, которые считали себя левее большевиков, но на деле это карикатура над большевиками. Против них надо также решительно бороться, как и против ликвидаторов; они более опасны чем ликвидаторы, так как они под общими революционными фразами занимают наизнанку ту-же позицию, что и ликвидаторы. Пока Плеханов нам помогает бороться против ликвидаторства, мы идем с ним. Ликвидаторы, эти люди уже вне партии. Особенно в России их нужно разоблачать. Они лакеи буржуазии и боятся революции.

«Вы думаете ехать недели через полторы? Зайдите перед отъездом или ко мне, или в клуб «Бастилия», где я часто бываю. Вы с собой литературу берете? Будьте осторожны, не провалитесь на границе».

Я вышел от Ильича бодрым. Мне приятно было, что он со мной, почти еще мальчиком, говорил и делился всем, как себе равным. Эта простота, которая чувствовалась в самой квартире, где он жил, его разбросанные книги, эти деревянные стулья остались в памяти на всю мою жизнь.

Кв. Кубов.

На разные темы.

1. На солнышке.

Праздник.

Солнечно, шумно. Гремят весенние ручьи, ликуют птицы.

В праздник отдыхать. Помни день субботний...

Как нарядна праздничная улица. Прошли, забыты голые, босые, злые года.

Новые пальто, новые калоши, новая шляпа, новенький костюм. Серебряная сумочка, горностаевый воротник, парижские тонкие духи... Откуда это? Сверкают на солнце брильянты. Зелеными, синими, красными, желтыми огнями. Сытый басок рокочет нежно:

— Дорогая... милая.

Сытость, радость, тепло.

Стуча деревяшкой ноги, безрукий человек в ватной, желтого цвета куртке, остановил на углу течение толпы.

— Граждане, минуту внимания! Я, инвалид немецкой войны, уполномочен нашим комитетом продать в пользу инвалидов вот эти карточки рабочего правительства. Граждане, купите фотографию в пользу инвалидов. Большая пять рублей, меньше—три рубля. Граждане!..

Скрючившись, раскрывает единственной рукой папку с портретами рабочего правительства.

Разговор.

— Что такое?

— Инвалид, просит пожертвовать в пользу инвалидов.

— А-а-а. Господа, что вы не видали инвалидов? Идемте пожалуйста.

Сытый басок:

— Божественная, не сердитесь. Здесь, в этой фабричной дыре, нет цветочных магазинов...

— Ах, перестаньте.

Любознательный гражданин:

— Инвалид, говоришь? В боях бывал?

— Да, бывал.
— Страшно, поди?
— Да, страшно...
— Та-ак... пойдем что ли, Иван Ильч? Чего тут стоять.

Толпа течет мимо инвалида.

— Вишь, какой... Обут, одет, а сбирает. И не краснеет.
— Туда дай, сюда пожертвуй. Напасешься?
— Дарья Павловна, я вас жду в театре. Придете?
— А шоколад будет?
— Митя, гляди-ко, брюки-то. Вот бы такие!
— Бр-рр! Замучила изжога.
— С чего это?
— Семгой объелся... брр.
— Федор Федорыч, заходите сегодня!
— А что?
— Тяпнем по малости!

Папка с портретами закрылась. Деревянная нога стучит в переулке, унося разбитое тело инвалида.

Гремят ручьи, солнечно, тепло, но какой мороз! Как основательно, прочно хватило крепким морозом эти квадратные, скуластые лица—кирпичи. Холодные, коммерческие глаза. Холодные, замороженные слова. Мороженый, колющий смех. Новые костюмы, новые калоши, новые пальто, брильянты, тонкие парижские духи, новые люди...

— Подайте копеечку!..

Мальчишка в опорках на босую ногу. Не проси! Миновали голые, босые, голодные, злые года. И ничему не научили.

2. Разговор с приятелем.

Очень приятно потолковать с образованным человеком.

Старый, неизменный спутник нашей горестной жизни—самовар—кипит на столе. Белый хлеб, ветчина, рыбные консервы, конфекты, печенье. И, конечно, две рюмки. Теперь это можно. Чокнулись. Выпили. Закусили. Подумали. Помолчали. Все переговорено. Чокнулись. Выпили. Закусили.

— Хорошо?
— Очень хорошо.

Примечание: действие в 1923 году.

Замолчали прочно. Из самовара пар тонкой струйкой к потолку. Дым папиросы тонкой струйкой тоже к потолку. Что еще? Да! Вот большой книжный шкаф. Тема.

— Почитываешь?
— А то как же? С тоски подохнешь.
— Что читаешь?
— Жития святых нашел.
— ?
— А что читать? Нечего. Поваренной книге обрадуешься.

— Да мало ли новых книг! Чудак!

— Это про революцию читать? Мерси. Сыт. Своими глазами видел.

— „Жития"—лучше?

— Лучше.

— Чем лучше?

— Усыпляют и не кричат: дай, делай, вставай, думай... Что глаза вытаращил? В нашем городе все так. Утром на службу, в пять со службы, до семи спать, а с семи старые книги читать. Не знаешь, где бы достать Исторический Вестник? Лет за двадцать бы... Ну-ка, еще!

Чокнулись. Выпили. Закусили.

— Дуняша, долей графин!

Жуем, молчим. И самовар умолк. Жутко.

— У доктора Кусова корова отелилась. Знаешь Кусова?

— Знаю.

— Ну, вот. Он со скуки коровами занялся. Отличные коровы. Одна особенно. Черная, как смоль. А голова и хвост белые.

— Не может быть!

— Ей-богу... ну-ко!

Чокнулись. Выпили. Помолчали.

Книжный шкаф. Письменный стол. На стене над столом портреты— Гоголя Щедрина, Достоевского, Толстого, Чернышевского, Пушкина... Кажется, Пушкин сказал: «боже, как несчастна наша Россия!..»

— Авдотьин в бане угорел на прошлой неделе. Знаешь Авдотьина?

— Помню.

— Ну-ка, еще.

Чокнулись. Нежная дрема накрыла голову мягкой вуалью. Глаза слипаются. Тихо, блаженно, покойно. Ни заботы, ни печали, ни Рура, ни Пуанкаре...

— Не слыхал еще наших певчих в соборе?

— Нет.

— Сходи, послушай.

— А что?

— Замечательно поют. Весь город ходит... ну-ка, еще!

Баста, сыт.

— Не хочу.

— Что ты!

— Сыт.

— Напрасно. Ну, я один. Кстати: Щепкин по две бутылки в один присест выпивает. А ведь не пил совсем.

— Пи-и-и,—жалобно, тоскливо засвистел вдруг самовар на манер комара и потом загудел басом: ду, ду, ду.

— Закрой скорее крышкой. Говорят, когда самовар воет—не к добру. К покойнику.

— Кто говорит?

— Дарья... кухарка.

1923 год. Точка.

3. На огонек.

В Шуе был фабрикант Павлов. Двое с супругой занимали дворец в два десятка комнат.

Сейчас Шуя город тихий, рачительный, самогонный, благочестивый и газетами не торгует. Газета—излишняя роскошь. Найти газету можно в бане у служащего (совслужащего) человека, который свежую, в учреждение подаваемую газету, не читает, но хранит до банного случая, чтобы белье завернуть и таз скрыть, проходя по улицам.

Когда мне, пришлому человеку, понадобилась газета (не для бани) я сбился с ног, бегая по городу. Добежал до Заречья и попал на доброго человека, который ткнул пальцем в направлении огромного дома:

— Там есть газеты!

Вошел во двор. Поднялся по ступенькам. Открыл массивную дверь. Клуб.

Ребятишки, юноши, девицы, ткачи, мастеровые. Конечно, не без шелухи подсолнечной и окурков на полу не мало, да что поделаешь. Культура не вдруг прививается.

Налево заседание. Направо лекция. Вверх по лестнице. Буфет: чай, конфекты, булки и ни одной рюмки. Направо еще заседание. Налево библиотека-читальня. „Шапки снимать". „Не шуметь".

На ципочках, нет вру, по мягкому фабриканта Павлова ковру, вхожу в залу, где у фабриканта Павлова попы по праздникам плясали.

Налево стол с... думаете, с житиями святых или с поваренной книгой? «Ничего подобного», как комсомольцы говорят. Отличная новая беллетристика, всегда свежие журналы. Садись и читай. А как тепло, светло, уютно и чисто! Направо стол завален газетами. Сидят за этим столом неуклюжие, небритые, нечесаные, неученые люди и читают про Рур, Пуанкаре, про все, что делается на белом свете. А прямо десятки книжных шкафов и библиотекарши книги выдают своим читателям. Сколько их, этих читателей!

Взял газету. Свежая. Посмотрел на соседей. Сидят в мягких диванах фабриканта Павлова и—в ус не дуют, что в чужом доме—газетами занимаются.

Не выдержало мое сердце. Наклонился к соседу—мужчине чумазому, в прожженом пиджаке, с мозолями на пальцах (Экономическую жизнь читал)—и спрашиваю:

— Скажите пожалуйста, что это значит, когда самовар вдруг вот так загудит—ду, ду, ду?..

— А это значит—горячие угли в нем.

— А если воет самовар?

— Значит, решетка худая, починять надо.

— А не к покойнику это?

Посмотрел на меня дядя, покачал головой, усмехнулся тоненько и сказал:

— Шел бы ты, приятель, в овин, а не в читальню.

Ужасно пристыдил.

Аксельрод (Ортодокс).

К спорам об искусстве *).

Необходимость в критической оценке с марксистской точки зрения нравственных и эстетических задач наростает все больше и больше.

Особенно остро ощущается потребность в марксистском влиянии на искусство. Искусство всегда играло огромную, не поддающуюся учету роль в общественной жизни. А в настоящее время, при современных условиях, роль и значение искусства для общественного развития увеличивается с каждым днем. Не может быть никакого сомнения в том, что религия и ее влияние все более и более убывает и тем самым усиливается значение искусства. С другой стороны, искусство становится так или иначе достоянием народных масс. Что же, спрашивается, представляет собою современное, «новое» искусство, которое смело и гордо выдает себя за новое, пролетарское искусство?

На мой взгляд,—я думаю, что этот взгляд разделяется всеми ортодоксальными марксистами,—это, так называемое, пролетарское искусство есть не более, чем продукт вырождающейся буржуазии, ее интеллигенции.

В «Портрете Дориана Грея» превосходно изображены причина и психология упадочного искусства. Пресыщенный до последних пределов Дориан Грей исчерпал все формы наслаждения и сделал красоту и искусство своим религиозным мировоззрением, потерял под этим влиянием всякую эстетическую восприимчивость. И, потеряв ее, он ищет эту потерянную восприимчивость в диких, грубых дисгармонических проявлениях. Он устраивает концерты, исполнителями которых являются «безумные» цыгане, негры, индусы, игравшие на первобытных инструментах: «дикие интервалы, говорит О. Уайльд, и режущие ухо диссонансы варварской музыки возбуждали Дориана в то время, как изящество Шуберта, дивная скорбь Шопена и могучая гармония самого Бетховена не производили никакого впечатления на его слух». Это место из «Портрета Дориана Грея» мне всегда живо вспоминается при воспрятии искусства футуристского.

*). Статья является предисловием Л. Аксельрод к критическому очерку автора «Мораль и красота в произведениях О. Уайльда». Этот очерк приобретен нашим книгоиздательств. «Основа» и на днях будет выпущен в свет отдельной брошюрой.—Ред.

Клоунада, акробатистика, грубый шарж, дикие, режущие зрение сочетания красок, полный алогизм, произвол, совершенно бессмысленная порнография (напр. «Добродушный рогоносец» в театре Мейерхольда, где порнография, которая всегда груба и лишена всех признаков искусства, а в данной постановке просто бессмысленна) все это ярко и отчетливо свидетельствует о больной нервной системе и полной искаженности творцов этого рода искусства.

Но у творцов и защитников этого искусства существует довод, который может сразу победить критика этого направления. Этим выводом является бессодержательное формальное утверждение, что это уродливое направление есть искание новых путей, что старое буржуазное искусство отжило свой век и неспособно удовлетворить возникающим на арене новых условий жизни требованиям. Против такого довода мало кто решается возразить, ибо искание новых путей всегда дело хорошее.

Но суть в том, что искание должно иметь отчетливый смысл, исходный пункт и определенные предпосылки, которые являются результатом определенных условий. В области научной мысли искание новых законов возникает тогда, когда открываются новые факты, противоречащие старым законам и не укладывающиеся в их рамки. Теоретик научной мысли знает при этом необходимом условии, что он ищет, и если ему неудается найти надлежащий закон, то по крайней мере путь намечен, вопрос правильно поставлен, а правильно поставленный вопрос уже есть, как справедливо говорил еще Герцен, полответа.

То же самое имеет место и в области искусства, если ищущий художник есть в самом деле художник, а не пустой фантазер, рассматривающий искусство как область, лишенную всякого логического смысла.

Искусство имеет свою логику и свою целесообразность. И она, следовательно, должна исходить в своих исканиях из определенных, назревших требований современной жизни, и если оно стремится стать пролетарским искусством, то оно должно отражать жизнь и идеалы пролетариата в хозяйственной форме.

Но в современном, новом и, так называемом, целом искусстве нет и следа от такого рода искания. Покойный Г. В. Плеханов любил повторять, что не всякий тот, кто повторяет: «о господи, господи!» попадает в царство небесное. В применении этой правильно образно выраженной мысли к современному, так называемому, левому искусству, можно сказать, что красное знамя, которым пользуются представители всех родов упадочного искусства, не делает это искусство пролетарским.

Но существует еще и такое мнение, которое высказывает даже известный искусствовед марксист Гауденштейн, что современное упадочное буржуазное искусство является чем то двуликим, что оно одной своей стороной является полным отражением вырождения буржуазии, а с другой вырабатывает некоторые элементы для искусства будущего. Это утверждение Гауденштейн основывает на том, что импрессионизм воспроизводил не только «явления», но и окружающую их среду.

По этому поводу совершенно справедливо рассуждает В. М. Фриче.. «Но правильна-ли характеристика нового искусства, как искусства двули-

кого, полусоциалистического, как переходная ступень к искусству социалистическому? Если импрессионист воспроизводил не только «явления», но и окружающую их «среду», то ведь это было только художественным применением буржуазной и особенно мелкобуржуазной теории господства среды, а стремление к монументальности было прежде всего реакцией против чрезмерной нервозности и неустойчивости импрессионизма, все сводившего к ощущениям и впечатлениям, т.-е. реакцией в пределах буржуазного общества и искусства, заканчиваются к тому же контр-реакцией в виде лишенного всякой монументальности футуризма. Гипотеза о врастании «буржуазного искусства» (прибавлю, упадочного») в «искусство социалистическое» обоснована, таким образом, также малоубедительно немецким марксистом, как и нашими комфутуристами на страницах «Искусство коммуны» [1]). К этим справедливым замечаниям надо прибавить, что если все упадочное искусство и выработает некоторые элементы для искусства будущего, то и количество их настолько незначительно и ничтожно, что игра не стоит свеч.

Давая отрицательную оценку обще-культурному прогрессу, Толстой сравнивает пользу культуры с пожаром, на котором можно закурить трубку. Это образное сравнение не выдерживает, конечно, критики, поскольку речь идет об общем культурном развитии, но оно вполне применимо к тем положительным элементам упадочного буржуазного искусства, которое во всем своем целом притупляет действительное эстетическое чувство и дает широкую возможность всем видам бездарности выдавать дикие, фантастические сочетания за художественное творчество.

---

[1]). «Под знаменем марксизма» стр. 131.

Ар. Осинских.

Перспективы хлопководства в 1923 году.

Истекший 1922 год был поворотным от разрухи к возрождению в истории хлопководства в Туркестане. Правда, его результатные данные очень и очень скромны, скромнее даже предполагаемых и исчисляются всего в 1.250.000 пуд. сырца, плюс еще, возможную заготовку до 75.000 пудов, что представляет из себя цифру немного превышающую сбор 21 года, исчисляемый в 1.150.000 пудов и если считать урожай по 40 п. с десятины, то предполагаемая площадь посева прошлого года в 50—60 т. десятин сокращается до 30—35 тысяч десятин.

Но с другой стороны сделаны в работе несравненно большие, чем может показаться на первый взгляд, достижения, которые, не давая видимого эффекта, окажут в дальнейшем свое благотворное действие,—это достижения в области сбора семян.

Надо сказать, что за период революции семенной фонд все уменьшался и уменьшался. Органы ведущие хлопковое дело, выдавали дехканам больше семян, чем получали от них в последствии и только в этом году семенной фонд больше чем удвоился и удвоился благодаря хорошей осени, именно, семенами первых сортов.

В настоящее время Туркхлопком располагает запасом семенного фонда в количестве 809.000 пудов, что ему позволит сверх обеспечения семенами своих будущих посевов и оставив небольшой запас на будущий год, в размере 100.000 пудов, также притти на помощь и другим хлопководным районам Федерации, в частности Бухаре, Хиве и Закавказью.

В числе этого запаса семян, имеется, правда, небольшой % семян плантационных, улучшенных сортов (Кинг, Кинг Триумф Навроцкий, Триумф Навроцкого) всего в количестве 16.000 пудов, в круглых цифрах, каковое количество уже дает возможность от плантационной работы селекционных станций Хлопкома, перейти на плантации дехкан и крупных посевщиков и тем обновить уже вырождающие сорта хлопчатника старых сортов.

Сверх этого достижения имеется еще одно большое практическое и моральное достижение в смысле уточнения расчета с дехканами-хлопкоробами.

Первый раз за все время революции, с дехканом расчитались полностью и выполнили свои обещания если не на 100%, то во всяком случае на 80%.

Резкие скачки на пшеницу в некоторых областях, а именно, в Закаспии и Фергане, не дали возможности выдержать обещанное отношение 1 п. хлопка сырца—2½ пуд. пшеницы, но в общем, если учесть льготный курс выдачи задатков, льготу по продналогу, то в среднем это обещание выполнено полностью.

Наличие достаточного посевного фонда, а с другой стороны стремления дехкан к посеву, дали возможность разработать практический план посева 118.000 десятин хлопка, который разделяется так:

Фергана 38.475 дес., Сыр-Дарьянская область (без Ам.-Дар. Отд.)—41.300 д., Закаспии—16.600 д., Самаркандская обл. 21.300 д., что в общем составляет, если взять площадь засева в 1913 году,—412.000 д., составит около 27% довоенного дохода. В Сыр-Дарьянской области до 71990/41300—свыше 60% довоенного засева.

Такой практический план засева полей хлопчатника далек конечно, от успехов 1916 года в 500.000 д. накругло, как наиболее показательного, но в то же время представляющий реальные достижения по сравнению с предыдущими годами.

Из указанных 117.675 десятин, 69.000 десятин засеваются через кооперативы дехкан-хлопкоробов, а остальное количество не кооперированным населением, связанным с заводами или непосредственно, или через комиссионеров поручателей.

Каждому посевщику предположено дать под обработку от 2 рублей золотом, до 1 р. 50 к. в задаток в три срока под обработку и под 1-ую и 2-ую окучку. Наибольший задаток выдается в Ферганской области, как наиболее пострадавшей от басмачества и требующей поэтому соответственно большего кредита, без чего такое трудоемкое хозяйство, как хлопководное, восстановить невозможно.

В счет этого задатка выдается на каждую десятину 10 пудов пшеницы по средне-рыночной цене со скидкой до 10%.

Дехкану-посевщику обуславливается минимум расплаты—за пуд хлопка сырца 2½ пудов пшеницы. Условие заключается с каждым посевщиком в отдельности.

Наличие соответствующих денежных средств, а также и запасов пшеницы, обеспечивает проведение означенного плана и дает надежду, что при среднем урожае до 32% потребного Федерации хлопка, считая по настоящему расходу, будет покрыто Туркестаном совместно с Бухарой и Хивой, площадь посева которых исчисляется в 10.000 десятин.

Таковы перспективы хлопководства на ближайшее время.

Вопрос о расширении его, это вопрос ближайших лет, но только требуется внимательное отношение к его нуждам и запросам.

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО.

В. Кузнецов.

Жизнь старого ткача.

Если мы обратимся к довоенным временам, в которые жил наш рабочий, и попробуем приоткрыть занавес прошлого, то нам неминуемо придется для изучения их посвятить себя изучению жизни ткача не короткой статьей, а особой историей жизни ткача, написанной умелой рукой художника.

Это особый мир людей. Они двенадцать часов живут в громадных фабриках. Подчиняются особым правилам администрации, специально для них написанным. Эти правила не говорят об обязанностях хозяина к рабочим, а наоборот, об обязанностях рабочего к производству. Рабочему дан ткацкий станок, за который он отвечает. И правила говорят рабочему: за прогул штраф, за простой станка штраф, хотя бы и не по вине рабочего. За подплетину, грязное пятно—штраф, уронил основу, початки—штраф. Сел за станком, задержался в уборной, читает книжечку, обметает на ходу станок, обругал малость мастера, остановил станок за 5 минут, наставит метки на двойнике—штраф; мала выработка, хотя бы и не по вине его и это запишут в расчетную книжку, а к концу расчета у рабочего много штрафов и прогулов—расчитывают.

Не всякому счастливцу удастся отправиться в больницу, сходить за лекарством из за работы. Рабочие, наученые горьким опытом, всегда добивали до воскресного дня и тянулись в больницу чернорабочих. Там их скапливается до 500 человек и простаивают они до 3-х часов дня. Больница к этому уже приноровилась и врачи работали 7-ой день в неделю, хотя этого бы и не следовало.

Роженица работала за своим станком до последней минуты акта рождения; часто можно было наблюдать, как ее тащат под руки в больничку, а там и в родильный. Но природа уже сама как то помогала женщинам, которые ускоряли роды на квартире в нерабочее время. И если бы мы имели статистику того времени, то мы бы получили число ночных родов работниц, далеко превосходящих дневные.

Если бы не это обстоятельство, то на фабриках в душных корпусах, мы наблюдали бы сплошной кошмар. Не лучше для женщины обстояло дело и на квартире размером 7×7 арш., где живет 9 человек рабочих

разного возраста. Она не могла сделать хотя бы самые элементарные приготовления для своего новорожденного. Прежде всего надо кого либо попросить из квартирантов быть повивальной бабкой. В одной коморке вместе жили и мужчины и женщины.

И тогда роженица просит или девицу, или молодого человека за ней поухаживать. Добро, если этот молодец найдет по соседству знахарку, это недурно, но это не всегда удавалось. И тогда уже он сам, краснея, подходит и по указанию и команде самой роженицы начинает работать. «Принимай» кричит больная, давай скорей суровую нитку. Тащи скорей воды, ставь самовар. В самом лучшем случае эту операцию проделывает «спец» того доброго старого времени—муж. Когда застают женщину роды при муже, то это для нее счастье. Но от этих «спецов» тоже не мало ушло в могилу несчастных детей.

Женщины всегда говорили, что дома лучше, чем в родильном. И это вошло в привычку, а отсюда недоверие врачам и акушеркам. Зная, что на фабрике ткачихе за время родов не заплатят, ткачиха на третий день бежит на фабрику и доказывает акушерке, что она здорова и умоляет допустить к работе. Можете себе представить, что эта за картина, и все это было и сама ткачиха должна то время вспомнить, чтобы сравнить его с нашим временем. Что же происходит с ее ребенком? Она с первых дней его кормит молоком из искусственного соска, надетого на николаевскую полбутылку. Покупает два аршина марли на соски и гнилыми зубами жует гречневую кашу или черный хлеб, с сахарным песком. Мне приходилось видеть, как ткачиха, вставши с постели, не промывши во рту, проделывает эту операцию, кончая сплевыванием остатков, чтоб не густо было.

Вполне понятно—ребенок от такой пищи делается с большим животиком, растет ненормально, а потом помирает. Рабочие в городах имели детей куда меньше в процентном отношении, чем крестьяне. Молодая девица, которая согрешит, родить до установленного времени, она делает это просто: подкинет или вытравит самым грубым способом, бросит в помойную яму или в реку. Иначе ей ничего не оставалось делать. Прежде всего она, не скрывши это, будет всеми презираема, на каждом шагу обругана и проклята родителями, а когда вздумает итти замуж, то не получит родительского благословения, это последнее ее больше всего печалило. Она обречена на полное поругание, ее уже называли особым ходячим русским словцем, которое теперь начинает выходить из употребления. Не лучше дело обстояло с теми рабочими, которые вздумают философствовать о том, что жить рабочему плохо, надо перестроить эту жизнь, сила в руках рабочих, что царь не бог, как это думают многие, а бог на небе, да и где это, и какой он, никто не знает и попы нас надувают. За эту философию расчитывали и сажали нередко в тюрьму, и такой рабочий назывался в то время «Политиканом». Его тоже все ненавидели и сторонились от него подальше. Нелегко ему было найти даже квартиры. Как только квартирный хозяин завидит, что он принес постеленку и маленькую коробочку, где у него была продуктовая житница и тут же книги, он сейчас же отсылает обратно. Я, говорит, кроме Евангелья

читать ничего не позволяю. Ничего не оставалось делать, кроме-как эти книги, так или иначе, где то на время положить, и понемногу их перетаскивать в пролетарские тайники: на чердак, в дрова, близ стены, и в снег, бережно облаживая их тряпьем. Напрасно он старался убеждать хозяина, что Достоевский, Толстой невредные писатели. Еще хуже обстояло дело иметь литературу на фабрике,—нараз попадешь к надзирателю. И вот эти чтецы и первые прововестники были вождями рабочего класса при бунтах старых времен, стараясь им придать характер настоящей борьбы, и позднее делались вождями стачек. Их в то время называли «Главарями», «Крамольниками», а по модному—«Политиканами».

Эти политиканы в большинстве своем были без работы и голодали, или уже брали такие работы, где нет надзора. Пилка дров, что нибудь временно поработать на ветке ж. дороги, у частных лиц - это было их счастье и спасение от голодной смерти. Конечно более смелые пускались в далекие края и там на новых местах пристраивались. Многие, благодаря такой обстановке, попадали в босяки.

Только раболепство, низко-поклонство, доходящее до омерзения, перед самодурами капитала, давало возможность жить на фабрике несколько лет. Властители пролетария любили прежде всего дурачков, лишь бы он был здоров, как вол. Их называли унизительными именами: Фома, неумытый, Тишка, карлик, окаянный и т. д.

В К.

Проводы депутата во 2-ю Государственную Думу.

(Мои воспоминания).

Вокзальная площадь была полна рабочими. Яблочку упасть было не где. Крыши вокзала трещали. Мы с М. В. Фрунзе запоздали. Все наши старания пробраться к трибуне остались тщетными. Нашли место у барьера.

Рабочие все прибывали и занимали часть Троицкой улицы. Откуда берется столько народу,—сказал один с нами стоявший рабочий. Тишина была гробовая, когда на трибуне появлялся оратор. Разобрать нет никакой возможности, что он говорит. Ура разнеслось по толпе. Поддержим, кричали рабочие. Не дадим в обиду, стойте за нас крепче! Отстаивайте наши интересы.

Придется ведь кое что сказать, шепнул мне тов. Фрунзе, и он быстро поднялся на барьер и во весь голос, каким обладал, крикнул. Товарищи! Провожая нашего депутата в Думу, мы вручим ему наказ и т. д. Мы за него, а он за нас. Речь его звучала в течении 10-ти минут. Мало время, но много им было сказано. Настроение рабочих было праздничное. Это был пролетарский праздник в 50.000 человек. Полиция растерялась, ее не видно. Она оттеснена куда то далеко. Собрание продолжает быть организованным. Один оратор за другим выступают на трибуне.

Братцы мои, который тут депутатом?—спрашивает женщина. Я сама то никак не могу разобрать,—отвечает соседка. Вот простоишь здесь разиня рот и его то не увидишь. Не смелы. Вон гляди на девчонок, забрались на будку, они вот увидят. «Позавидуешь!» Последнее прощальное слово произносит депутат. Тонкая фигура, слабоватый голос теряется в этом море голов. Все с напряжением тянутся головами кверху, вступают один другому на ноги, чтобы в это время вырости хоть на вершок впереди стоящих. Поднимают друг друга хоть немного посмотреть, может и не увидим. Ткач, а какую уйму собрал вокруг себя... Видимо и ткачи с

головой имеются. Я слышала, что сам полицеймейстер с ним не мог сговорить, отвечает другая. Да, дела. Посмотрим, что дальше будет?

Раздался пронзительный свисток приготовленного паровоза, который унесет в Питер нашего товарища, решать судьбу рабочих. Он будет спорить с министрами в Думе. Их там будет мало. Рискованно, может угодить, чего доброго, в тюрьму.

Толпа заколыхалась. С трудом пробирался депутат по толпе в сопровождении своих товарищей по партии. Партийный Комитет в полном составе очищает ему дорогу. Другие заботятся приготовить ему место в вагоне. Мы с товарищем Фрунзе уже там у вагона. Депутат входит на площадку и снова говорит. Прощается. Досвидания, товарищи, может быть и не увидимся, пишите! Третий звонок... Поезд закряхтел и нехотя потащился. Все бегут наряду с вагоном и тысячи пожеланий. Он уже удалялся и скрылся в вечерней мгле.

Площадь все еще гудела, рабочие лениво расходились, они почувствовали свободу—волю. В этот вечер весь город был запружен народом.

Много было толков, рассуждений. Будем ждать весточки от нашего рабочего депутата. Партийные товарищи собрались и устроили предупредительное собрание. Приняли целый ряд предосторожностей. Велика была победа ивановской организации. В самом деле, бойкот, так бойкот. Выбирать, так выбирать. Рабочие давно забыли обиды 1905 года, которые выразилась в 2-х месячной голодовке. Снова ряды партии начали пополняться. Снова собрания, митинги. 1906 год, можно смело сказать, был годом начала оживления работы в партии.

Вести из Думы от нашего депутата обсуждались на фабриках через выборщиков. Не прошло и месяца, как на фабрике Фокина, выборщиком К. Наумовым читается телеграмма, полученная от депутата, где кратко говорилось, что в Таврическом Дворце, над Соц. Демок. Фракцией в 52 чел. провалился потолок. Мы остались живы.

На другой месяц сообщалось, что Думу разогнали. Левые депутаты из Соц. Демократической Фракции были арестованы, в том числе и наш депутат. Не пришлось ему с трибуны—Тавриды нам правду сказать. Одна речь запомнилась мне, которая была сказана т. Жиделевым при обсуждении вопроса о Библиотечной Комиссии. Взойдя на трибуну, он говорил: «Не время нам заниматься Библиотечными Комиссиями, когда Гурко-Лидвали расхищают народный хлеб и народное достояние.» Правые подняли вой, крики «Долой».

Наступило снова безумие. Черная реакция начала свирепствовать. Велось следствие, подыскивали обвинения к левым депутатам. Ключи подобрали, но к немногим. Обрушились на тех Соц. Демократических депутатов, кои собирались яко-бы в квартире и тайно обсуждали вопрос о свержении существующего строя. Коронный суд вынес приговор нашему депутату по 102 ст., послал его в каторжные работы на 4 года. По отбытии каторжных работ определялась ссылка на поселение.

Ивановский Комитет заволновался, приготовлялся протестовать. Решили во время суда провести митинги протеста. В ноябре 1906 года, помню, на фабриках: Куваева, Грязнова, Компании, Фокина, Полушина и

еще где то, митинги состоялись. Эти митинги были грандиозными. Полиция не дремала, она была на ногах. Произвели аресты: Наумова К., тов. Степана, Геннадия, Ермака, Будкина и многих других. В ивановской тюрьме было 22 человека, многих избили до полусмерти. Когда меня всунули в общую камеру, я увидел многих плачущими, а на полу была кровь. Кошмар.

Полицеймейстера! Протестуем!,—кричали товарищи. Он пришел с револьвером в руках, и скомандовал: смирно „мерзавцы», что вам от меня надо?

Борьба на этот раз оказалась неравной, нас покарали. Сидели: депутат, выборщики, и вожди организаторы Ив.-Вознесенской организации, Геннадий и Степан. Судьба арестованных скоро разрешилась; 5 человек пошли на скамью подсудимых и были сосланы в Сибирь.

Долго мы жили в безызвестности. Не знали, где наш депутат, которого мы провожали. И вот в 1917 году, в мае, на площади перед зданием Городского самоуправления появляется на трибуне знакомая нам фигура. Это был тот, кого провожали в 1906 году. Горячая его речь приковала внимание к трибуне. Это был Николай Андреевич Жиделев, депутат 2 Гос. Думы. Он приехал из далекой ссылки Сибири, где он не падал духом.

Рабочие Иваново-Вознесенска, ивановская организация, почли заслуженного революционера-коммуниста, выбрав его председателем Городского Совета и членом Учредительного Собрания, и снова провожали на станцию вместе с другими. Первые проводы были первой победой нашей организации. Вторые проводы были торжеством Коммунистической Партии над Учредиловкой.

В. С. (М.-В.)

Историческая справка о двух маевках.

I.

Двадцать восемь лет тому назад Иваново-Вознесенские передовые рабочие, будучи объединенными в «Рабочий Союз», начали вести скрытую борьбу с фабрикантами... Особенно ненавистны были организованным рабочим атрибуты царской власти. По мере развития капитализма размеры этой борьбы росли и ширились.

Горькая действительность и отдельные эпизоды борьбы постепенно пробуждали классовое самосознание широких рабочих масс и, передовая часть рабочих уже на «заре рабочего движения», сознательно или бессознательно, всегда стремились действовать в духе международных социалистических идей.

Так поступили в 1895 году и участники Иваново-Вознесенской организации. В этом году они задумали во чтобы то ни стало и чем-бы либо ознаменовать Первое Мая. Праздновать праздник международной пролетарской солидарности открыто в то время слишком было рисковано, притом же не было ни сил, ни опыта, и бессмысленно было бы небольшой группе людей отдаваться живьем в руки полиции.

Тем не менее в один из ближайших дней к Первому Мая была устроена сходка.

В указанный день по афанасовскому тракту, за фабрикой Витова в лесу, собрались участники Иваново-Вознесенской организации, их собралось всего лишь около трех десятков человек. Но ведь это было двадцать лет тому назад.

Эта знаменитая сходка-маевка была открыта речью о значении международного праздника для всего пролетариата. На этой же маевке организованные рабочие решили:

1. Отныне именовать свою организацию «Иваново-Вознесенским Рабочим Союзом».

2. Все участники организации поклялись отчислять 2% с заработка в кассу Рабочего Союза.

3. Положить начало созданию конспиративной библиотеки для всестороннего обслуживания всех членов Рабочего Союза.

Участники этой сходки разошлись под вечер с большим энтузиазмом и с твердой верой в успех рабочего дела.

Некоторые из них говорили, что не далек тот день, когда русский рабочий класс открыто будет праздновать свои революционные праздники, тем более международный день, каким является «Первое Мая».

С этого момента в Иваново-Вознесенске возникла форменная Большевистская Рабочая Организация, хотя она в то время и именовалась социал-демократической.

Уже в то время участники этой маевки политические задачи своей организации, а вместе с тем и рабочего класса формулировали следующим образом: ведя борьбу и организуясь по городам и промышленным центрам, рабочий класс должен путем вооруженного восстания свергнуть сначала самодержавие, а затем вести борьбу за свои конечные цели.

Эта формулировка весьма сжата и характерна для того времени.

Курс был взят вполне правильно участниками Иваново-Вознесенского Рабочего Союза.

Этот коллектив революционных пролетариев твердо решил изучить экономическое и социальное положение, которое должен был занять пролетариат в истории.

Несмотря на тяжесть окружающих гнетущих условий, (аресты, ссылки, черные списки, издевательства полиции), с тех пор из года в год организованные рабочие Иваново-Вознесенска чем либо отмечали праздник Первого Мая.

Все же широких демонстраций при царских условиях в этот день здесь не было. Даже в 1905 г. и в последующие годы революционного подъема большие Перво-майские демонстрации не удавались. Они срывались массовыми арестами огромного количества передовых революционных рабочих, что проделывалось властями накануне этого дня. Обычно первого мая организация большевиков устраивала большие маевки вдали от города и в глуби леса.

Таким образом, во времена самодержавия—полицейского насилия, даже, несмотря на все благоприятные условия со стороны желания широких рабочих масс в день Первого Мая бросить работу, этого сделать не удалось.

II.

В 1907 году несмотря на усиливающуюся черную реакцию, которая все сильнее начинала обрушиваться на революционные завоевания 1905 г., все же в Ив.-Вознесенске среди рабочих чувствовалось бодрое настроение.

В этом году организация была довольно сильной, она делилась на пять районов, во главе каждого из них стоял ответственный организатор.

Иваново-Вознесенский Комитет большевиков был довольно сильным, состоял в то время из следующих товарищей: Ольги Афанасьевны Варенцовой—(Екатерина Николаевна), Андрея Сергеевича Бубнова (Химик), тов.

Любимова (Григория), Евгения Алексеевича Мараховца, Константина Гандурина (Лука), тов. Петра Веселова (Сохатый), Василия Голубева (Красный, Ивана Васильевича Кудряшева, Николая Михайловича Михеева (Константин), Георгия Ипполитовича Оппокова (Жоржик Ломов) и Заликсон-Бобровской (Ольга Петровна).

Вследствие бодрого настроения среди фабричных рабочих, которое наблюдалось весной 1907 г., организация большевиков возлагала большие надежды на то, что празднование Первого Мая выйдет очень удачным.

Несмотря на выше приведенное обстоятельство, организация все же не решилась рискнуть на открытую демонстрацию в городе, а вынесла решение устроить большой митинг на Балинской дороге в лесу.

Накануне по фабрикам и заводам была распространена Первомайская листовка, которая призывала рабочих и всех пролетариев праздновать день международной солидарности.

По установленному плану организацией большевиков рабочие должны были подходить к лесу одиночками, а расставленные в разных местах патрули обязаны были проходящим указывать дорогу.

На этих же патрулей, в случае возникновения тревоги, возлагалась обязанность через посредство установленной живой связи предупреждать о всякой опасности, могущей возникнуть со стороны полиции и казаков.

Несмотря на предпринятые предосторожности, разработанный план и всякие расчеты, эта маевка была сорвана и разогнана казачьими разъездами.

Во время самого начала митинга, только что докладчик произнес несколько вступительных слов,—раздался конский топот со стороны болота, откуда собравшиеся его не могли ожидать. Из за деревьев скакали во весь галоп рассыпавшись каваллерийской цепью казачьи разъезды. От такого военного и неожиданного налета стройное собрание с быстротой молнии начало шарахаться в разные стороны и кто куда мог, лишь бы спастись от специальных свинцовых нагаек и ареста.

Разбегающиеся толпы сминались мчавшимися казаками, которые беспощадно лупили нагайками направо и налево.

Избитых казаки грабили, отбирали часы, вынимали из кармана кошельки и мчались в погоню за другими. Разбежавшиеся в разных направлениях вынуждены были долгое время блуждать по лесу, а некоторые из участников этой неудачной маевки или валялись в лесу избитыми, или же в лучшем случае блуждали, делая десятки верст.

После разгона этой массовки и издевательства над ее участниками, Иваново-Вознесенский полицеймейстер объявил по городу, что в лесу около Балина и Уткинского болота найдено много головных уборов, тростей зонтиков и калош, а посему предлагается всем лицам, утерявшим таковые, явиться за получением своих вещей.

Вполне понятно, что на объявление полицеймейстера никто не отозвался. Пора дураков уже среди пострадавших миновала и они предпочли оставить свои вещи в доход полицеймейстера и казаков.

НОВЫЕ КНИГИ.

Сергей Городецкий.

ЧИЖЕВСКИЙ. Его величество Трифон. Пьеса. Московский Рабочий. *1923 г. 66 стр.*

Приближается момент, когда на повестку дня во всем своем объеме будет поставлен вопрос о революционном театре. Существующие театральные организации ни в какой мере не отражают огромного интереса к театру, наблюдаемого в массах, а главное, не дают исхода тем опытам новой драматургии, которые идут с низов. Наши театры погрязли в борьбе направлений—этом до сих пор неизжитом наследстве буржуазного общества. Мы мечтаем о театре будущего и прозевываем тот театр, который уже творится массами. Существует предрассудок, согласно которому театральный конструктивизм исключает реалистический подход к театру. А, между тем, пьесы, идущие из масс, в подавляющем большинстве случаев, продолжают театр Островского. Предрассудок вырывает яму между широким драматургическим творчеством и новыми исканиями на сцене. Таковой ямы в действительности не имеется. На конструкциях прекрасно можно ставить, как показал опыт „Смерти Тарелкина", все пьесы и классического репертуара, и новые современные. Между тем, конструктивный театр шарит по всем Европам в поисках репертуара или сочиняет несосветимые вещи. И не замечает того, что лежит у себя рядом.

Пьеса Чижевского „Его величество Трифон" прошла на многих провинциальных сценах. Она заслуживает полного внимания и со стороны столичной сцены. По форме она всецело находится в русле Островского. Это бытовая драма, написанная прекрасным, подлинно крестьянским языком (а не эстетской его фальсификацией, которую нам часто теперь преподносят сегодняшние гении). Тема ее—борьба женщины с кулачеством. Его величество Трифон—это до сих пор еще непобежденный революцией деревенский кулак. Он полный властелин в своей деревне. Его лавка—центр паутины, которой он оплел крестьян. Он говорит:—„А что он, мир то для меня? Что хочу, то и ворочу. По одному—и изничтожить его могу, мир этот, хе-хе-хе! Как властитель тут я! Хошь, величай меня: его величество Трифон". Автором очень тонко подмечена одна новая кулацкая черта, которой у старого, донэповского кулака, пожалуй, и не было: это издевательство над своими жертвами.—„Я добрый"—говорит Трифон, перед тем как закогтить жертву. Этот тон проходит лейтмотивом через все поступки Трифона и придает пьесе некоторую болезненность, что нельзя не поставить ей в упрек. Все-таки ведь советская власть понемногу справляется с кулачеством. Большого драматизма полны те сцены, в которых изображаются судороги Дарьи, попавшей в лапы Трифона. Тип деревенской беднячки Дарьи вышел у автора несколько бледнее, чем «его величество». В современной деревенской женщине уже вырастает гораздо более сильная волна протеста против своей проклятой бабьей доли, чем это показано в лице Дарьи. Трагический финал, когда Дарья с голоду зарезывает свою дочь, может быть и возможен в глухих углах России, но во всяком случае не так уже типичен, чтобы можно было его возводить в канон и показывать на театре. Еще менее отчетливо обрисован тип мужа Дарьи, Степана, бедняка—коммуниста. Вероятно, автор очень боялся впасть в аги-театр, давая облик Степана только

намеками. Если в Дарье показана самка-сеятельница, жертвующая собой для того, чтобы спасти свое гнездо от разорения, то в Степане чувствуется некоторая половинчатость, не доведенная до того, чтобы стать драматическим эффектом, но уже раскалывающая цельность фигуры. Второстепенные персонажи показаны честно и ярко. Вообще в главную заслугу надо поставить автору то, что он счастливо избежал всякой ходульности и фальши, которые мы сплошь и рядом видим в писаниях о крестьянах. Время изображения деревни в духе Клюева-Есенина безвозвратно прошло, современная деревня трезва и жестока – последнее, конечно, не так, как кажется Горькому, видящему в деревне только звериное. И вот эта трезвость выгодно отличает работу Чижевского, хотя тема ее и склонна к мелодраматизму. Основной недостаток этой интересной пьесы, это недостаточная отчетливость финала. Степан и Дарья все-таки побеждают кулака Трифона, но после той нагрузки страданий, которую дал автор, эта победа в пьесе выявлена слишком коротким ударом, так что моральное чувство зрителя, требующее возмездия, остается не вполне удовлетворенным. Но умелая режиссура может легко выправить и этот, и другие недостатки пьесы, которая в целом может быть рекомендована и для постановок, и для дискуссий.

И. М.

«Современники».

Это «кружок московских беллетристов», которых объединяет «отрицательное отношение ко всякой кружковщине». «Современники» намерены еще «отражать в прроизведениях современность», а также имеют в виду «выработку мастерства» (предисловие к альманаху «Современники», Москва 1923 г.).

«Современников», ясно, не пугает современность и, если один из кружка—В. Вешнев—погрузился в жития святых («Брат Юнипер»), то—полагать надо—в целях выработки мастерства, без которого грош цена пишущему человеку. В 14 веке, когда голод, чума и война опустошали Францию и простонародье, избранное общество собиралось в кружки и смотрело сорок «чудес святой девы». В 20 веке, когда весь земной шар содрогается под ударами социальных гроз, в «белокаменной и первопрестольной» Москве тишком, по уголкам собираются очень умные люди с европейским образованием, которые шепотком, на ухо друг другу или в интимных кружках толкуют об Антихристе, кончине мира, втором пришествии, культивируют мистицизм, антропософию, возрождают эсхатологию Соловьева и гул современности признают, видимо, не более значительным, чем пение комара бессонной летней ночью.

В такой умственной обстановке радует появление храбрых людей, да еще писателей, которые смело глядят в грозные очи социальной Немезиде.

Рассказом П. Вагина открываются «Современники». Учительницы Людмила и Надя любят студента. Людмила, Надя и студент ночью втроем купаются в пруду (упарились на деревенском пожаре и «взметнулось дикое»). Надя стала тонуть, студент вытащил. Учительницы пошли домой, студент в беседку, куда пришла скоро Надя. Людмила уступила Наде студента.

М. Козырев сочинил для альманаха поэму «Мертвое тело», сюжет которой не поддается описанию, до того вычурно и замысловато скомпанована поэма. М Козырева нельзя отрекомендовать, как молодого писателя без признаков дарования. М. Козырев учится, ищет, но ученические тетрадки М. Козырева художественного интереса не представляют.

А. Насимович и В. Ютанов берут кусочки жизни былых собственников, раздавленных революцией. Персонажи Насимовича разбирают на дрова старый забор, ссорятся, брюзжат. Бухгалтер Ютанова тоскует о звоне Ивана Великого. Поп Тихон ворует три кусочка сахара в гостях. Скука непроходимая. Ибо кому неясно, что купец против революции, собственник противник социализма, а поп оплакивает старо

житье? Для этого не надо перьев, чернил и бумаги. Это все знают и скучно читать длинный рассказ, если первые десять строк вскрывают замысел автора.

Автор «Иностранца из 17-го №» (О. Савич) пытается свалить на землю неспиленное дерево голыми руками: взял на себя труд изобразить национальный тип, англичанина Беста, который наблюдает Россию в революцию. Когда за это берется настоящий мастер, например Б. Пильняк («Третья столица»), то его мистер Роберт Смит говорит, чувствует и действует как настоящий шотландец: художественный тип. У О. Савич англичанин до того ахает, охает, чмокает губами, стонет и жалуется, что невольно хочется сказать: ах, мистер Бест, прогуляйтесь на годок в Англию, посмотрите англичан, выучите как следует английский язык и приезжайте потом в редакцию «Современников» писать свои впечатления от поездки.

Альманах подпирают плечом от падения три автора А. Яковлев рассказом «Петька». А. Неверов «Отрывным календарем». А. Перегудов, талантливый начинающий беллетрист, «Отступлением». Правда, А. Неверов «роман моего сердца» как будто сделал для какого то специального потребителя из тех, что А. Каменского взасос читали. «Окаянный я. Пьяный целовал Еленины ноги, яблоками душистыми клал в рот упругие груди»... Но это ничего. Для А. Неверова, хорошего бытовика и неутомимого работника, «передышка» необходима и чуждые «кружковщине» читатели Альманаха не без удовольствия остановятся на этой московской «Песни песней» царя Соломона. «Крепко вино грудей твоих. Крепко вино и губ твоих. Благословенны ночи, встречающие жаждущих»... Что поделаешь,—Нэп!

Натуралист А. Яковлев в беллетристической форме изображает эпизод из октябрьского восстания. Фабричный малый Петька добровольно идет драться с юнкерами и буржуями, и умирает под пулями юнкеров и студентов, которые расстреливали рабочих и солдат. Рассказ полон драматических моментов. Психология уличного боя схвачена и передана правдиво и художественно. «Петька» хорош тем, что написан без характерных для современья выкрутас, просто, безыскусственно.

А. Перегудов дает эпизод из гражданской войны в Сибири.

А. Озерный.

Г. В. Плеханов. Сочинения. Под редакцией Д. Рязанова. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. *Государственное издательство. Т. I—364 стр.; т. II—406 стр. 1923 г.* Лучше поздно, чем никогда,—скажет всякий, кому попадут в руки эти два тома. Хоть в 1923 г., но приступлено к изданию такого собрания сочинений Плеханова, которое обещает быть почти полным. Необходимо, однако, чтобы издание Плеханова не остановилось на первых томах. То, что помещено в рассматриваемых 2-х томах, содержит, между прочим, такие работы Плеханова, как «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия». Эти замечательные работы были несколько раз переизданы, и достать их не представляет особого труда. Совсем иначе обстоит дело с философскими статьями Плеханова, разбросанными по разным изданиям, журналам и сборникам. А между тем, именно сейчас, в момент ожесточенной схватки идеализма —с вывеской и без вывески —с революционным марксизмом систематизированные философские статьи Плеханова чрезвычайно нужны. Поэтому особенно необходимо спешное издание философских томов. Оба тома—I и II, изданы опрятно и внимательно. Небольшие статьи Рязанова в начале каждого тома знакомят с обстановкой, вызвавшей появление плехановских работ. Книги—необходимы для каждого марксиста.

И. М.

Иваново-Вознесенская губерния в гражданской войне, материалы Бюро Ив.-Вознесенского Истпарта, *издание „Основа", стр. 130, 1923 г.*

Достоинство этой книжки одно: добросовестно выбраны из газеты «Рабочий Край» за 1919, 1920, 1921 года все статьи, заметки, воззвания, объявления, относя-

щиеся к гражданской войне, литературно обработаны, приведены в систему и отданы в печать. Исторической обработки, обилия материала искать не надо: книжка сделана спешно.

Это—так сказать—черновой почин в интересной исторической работе, которая ждет настоящего глубокого исследования.

Но книжка—хорошее пособие для изучения революционного движения в губернии: в ней много фактического материала.

Вл. Федоров.

Б. И. Горев. «Бакунин. Его жизнь, деятельность и учение». *Стр. 80. Книгоиздательское Т-во „Основа". Иваново-Вознесенск. 1923 г. Цена 30 коп. зол.*

Книжка Горева о Бакунине представляет собою 2-е издание, значительно дополненное по сравнению с 1-ым изданием.

Революционная эпоха вызвала итерес к Бакунину. Результатом этого явились почтенные по количеству страниц и менее почтенные по содержанию труды Ю. Стеклова и В. Полонского. Но 1) эти труды—не закончены, вышло лишь по одному тому, 2) они черезчур громоздки и дороги.

Из более простых книжек, посвященных Бакунину, имеются произведения Полонского и разбираемое—Горева. Предпочтение заслуживает безусловно лишь последняя. Она знакомит читателя с жизнью и разрушительной деятельностью великого анархиста в сжатой, но вполне достаточной форме. В отношении автора особенный интерес представляют главы IV—„Идейное наследство Бакунина" и «V—Бакунин в Европе и в России».

Всякий, желающий ознакомиться с фигурой «апостола разрушения» и с бакунизмом, прочтет предлагаемую книжку с великим удовольствием и с пользой.

А. Д.

П. Лафарг. Исторический материализм К. Маркса». *Стр. 64. Книгоиздательское Т-во „Основа". Иваново-Вознесенск. 1923 г. Цена 25 коп. зол.*

Рассматриваемая книжка содержит 3 статьи Лафарга: «Материалистическое понимание истории», «Экономика, естествознание и математика» и «Исторический материализм К. Маркса».

Все 3 статьи объединяет замечательно последовательно проведенная марксистская точка зрения.

П. Лафарг убедительно показывает, как многие вопросы, перед которыми почтительно отступают импотентные короли буржуазной науки, разрешаются с помощью острого марксистского метода.

Статья «Материалистическое понимание истории» представляет собою ответ Жоресу в известном публичном диспуте.

Статья «Экономика, математика и естествознание» опровергает и разбивает обывательские представления о том, что между естественными науками и математикой, с одной стороны, и экономическими условиями, с другой стороны, не существует почти никакой связи.

В статье «Исторический материализм К. Маркса» П Лафарг разбивает и разбирает буржуазную философию истории и устанавливает еще и еще раз, что основные причины исторического развития коренятся в способе производства. Книжка чрезвычайно интересна. О языке ее говорить не приходится: достаточно для рекомендации стиля и языка то, что ее написал П. Лафарг.

Издатель: **Ив.-Возн. книг. Т-во „ОСНОВА".**

Редактор: **Редакционная коллегия.**

В. С. Н. Х.

Иваново-Вознесенский ТЕКСТИЛЬНЫЙ ТРЕСТ

Адрес: ПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТА—Иваново Вознесенск, ф-ка Зарядье—Вознесенской Мануфактуры, телефоны 3-01, 2-54, 3-07, 1-04 и 3.

ВЫРАБАТЫВАЕТ: 1) Хлопчато-бумажные и льняные ткани: а) ситец, бязь, сатин, фасонн. ткани и пр.; б) бельевые товары—медаполам, шертинг, нансук, гринсбоны и пр.; в) зимние ткани—бумазея разн. сорт.; г) одежные товары—молескин, диагонал, адриатин, нансук, сукна вигоневые и пр.; д) штучные товары—одеяла, платки, простыни, полотенца и скатерти; е) льняные товары—брезенты, подкладки, мешечные ткани, мешки, полотна суровые и беленые, равентухи, скатерти, салфетки, пожарные рукава, плетеные ленты для разн. назначений, приводные ремни.

2) Химические материалы завода б. Лепешкина—серную кислоту, купоросное масло, железный купорос, глауберову соль и азотно-свинцовую соль.

3) Ременно-гоночный завод—гонки, ремни, клубки для ткацких фабрик, делительные ремешки и сучальные рукава.

4) Ременно-бердочный завод б. Константинова—ремизы, берда, бердочный зуб, лица для жакардн. машин, хлопчато-бумажных, льняных, пеньковых, шерстяных и шелковых фабрик.

ПРОДАЕТ: госорганам, кооперативам и частным фирмам, в лучшем ассортименте изделия производства своих фабрик и заводов за наличные и в кредит.

Преимущества госорганам и кооперативам в цене, кредите и ассортименте.

Московское Торговое Отделение—Москва, Никольская, 4. Телеф. 2-68-62, 2 68-63, 2-68 55.

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЕ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

„ПРОМТОРГ“

гор. ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК, 1-ая Ильинская улица.

Телефоны: Правления и Производственного Отдела 2-53.
Коммерческого Отдела 2-73 и 71. .. .. ..

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

1) МОСКВА, Софийка 17. .. ..

2) На Нижегородской ярмарке, Гостиный двор 21-22 линия.

Промторг имеет в своем ведении:

ситценабивные, красильные, отделочные, ткацкие и прядильные хлопчато-бумажные фабрики, металлообрабатывающие и деревообделочные заводы, льнопрядильные и льно-ткацкие фабрики, заводы сухой перегонки дерева, бумагоделательные, картонные и фибровые фабрики, овчинношубные, кожевенные и сапоговалявные заводы, а также различные вспомогательные производства для текстильной промышленности.

Промторг предлагает за наличный расчет и в товарообмен изделия своих предприятий:

1) Хлопчатобумажные и полушерстяные мануфактурные товары—ситец, сатин, ластик, бязь, одежный товар,—кастор, сукно разных цветов, вату и мешечную ткань. **Принимает** в переработку хлопчатобумажную пряжу на суровье и суровье на мануфактуру.

2) Уксусную эссенцию и кислоту, метиловый спирт, смолу древесную, желтую кровяную соль (синькали).

3) Бумагу и картон разных сортов, фибру и фибровые изделия.

4) Полушубки, валенки, войлока и шерстяные трикотажные изделия.

5) Выполняет заказы на чугунное, медное литье и железные изделия для оборудования текстильных, бумагоделательных и др. предприятий, изготовляет текстильные машины и сельско-хозяйственные орудия.

ПОКУПАЕТ:

основные и вспомогательные материалы для всех предприятий, находящихся в ведении ПРОМТОРГА.

Правление.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„КРАСНАЯ НОВЬ“,

ОТДЕЛ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Принимается
подписка на 1923 год
на следующие издания:

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

„КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ“,

журнал политики, экономики, агитации и пропаганды.
Выходит 1 и 15 числа каждого месяца
книжками в 96—112 страниц.

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

„КРЕСТЬЯНКА“,

орган отдела Ц. К. Р. К. П. по работе среди женщин.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

„РАБОТНИЦА“,

орган отдела Ц. К. Р. К. П. по работе среди женщин.

АДРЕС КОНТОРЫ:

МОСКВА, Милютинский пер., дом 22, кв. 44. Отделу период. литературы издательства **„КРАСНАЯ НОВЬ“.**

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Иваново-Вознесенского Губпрофсовета

И

Губотдела В. П. С. Текстильщиков

ТРУД

Журнал является руководящим органом профдвижения в нашей губернии, широко освещая основные вопросы профработы, жизнь и деятельность профсоюзов, фабрик и заводов.

В журнале помещается оффициальный материал по законодательству о труде, циркуляры и распоряжения высших союзных органов губернии.

Журнал необходим для всякой союзной ячейки, для всякого сознательного члена профсоюза нашей губернии.

БОЛЬШАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

РАБОЧИЙ КРАЙ

Орган Иваново-Вознесенского Губерн. и Гор. Советов Раб., Кресноарм. и Крест. Депутатов и Губкома РКП.

Каждый рабочий и крестьянин должен подписаться на газету, в которой

1) **всегда последние новости;**
2) **специальный отдел—РАБОЧАЯ ЖИЗНЬ;**
3) **специальный отдел—КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕЛА;**
4) **оригинальные статьи по вопросам политики, промышленности, сельского хозяйства;**
5) **стихи, фельетон.**

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА МЕСЯЦ 30 РУБ.

Подписка принимается во всех почтовых учреждениях губернии, а также и фабрично-заводских комитетах.

Фабрикомам, при условии подписки сразу не менее 20 экз., скидка 32½%. **Об'явления принимаются по цене за строку нонпарель.**

Официальные извещения государственных и партийных учреждений сплошным набором . . . 25 к. зол.

Об'явления частных учреждений и лиц . . 30 к. зол.

Разовые об'явления о пропаже документов, приискании места и т. д. . . . . 25 к. зол.

На первой странице плата двойная. От частных лиц на первую страницу об'явления не принимаются.

Плата за объявления по курсу банкнот дня уплаты.

Никаких бесплатных и льготных об'явлений контора не принимает.

РЕДАКЦИЯ и КОНТОРА

Иваново-Вознесенск, Михайловская ул., (д. быв. Гандурина).

ТЕЛЕФОН № 2-40.

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЕ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„ОСНОВА“

Общественно-Литературный Ежемесячник

ТКАЧ

В журнале печатаются стихотворения и художественная проза, статьи по вопросам политики-хозяйства-общественности, новейшей литературы, искусства и науки, критико-библиографические обзоры, книжные новости и литературная хроника.

ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

1. **Международное обозрение,** новости иностранной жизни.
2. **Внутри Советской Республики:** политика, экономика, финансы; советские будни в городе и деревне; провинциальные очерки и корреспонденции из глухих углов; по фабрикам—заводам; новая школа.
3. **Литература, наука, искусство.**
4. **Минувшие дни:** история красных фронтов в статьях, очерках и воспоминаниях красных бойцов.
5. **В крае ткачей:** старое, прошлое и настоящее положение Иваново-Вознесенской губ.; история революционного движения в крае; роль красных ткачей в гражданскую войну.
6. **Книжные новости,** рецензии и библиография.

В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: Н. Аблов, М. Артамонов, А. Баркова, Д. Бедный, А. Бубнов, Н. Бухарин, И. Вардин, Е. Вихрев, А. Винокуров, С. Городецкий, В. Деготь, Н. Евреинов, И. Жижин, К. Завьялов, В. Иванов, И. Касаткин, С. Клычков, проф. П. Коган, И. Коротков, М. Коротков, В. Либединский, И. Майоров, И. Малютин, Д. Моор, А. Неверов, Н. Никитин, Л. Никулин, В. Павлов, А. Перегудов, проф. Н. Н. Песков, Е. Преображенский, А. Серафимович, С. Селянин, Д. Семеновский, М. Сокольников, А. Сольц, Л. Сосновский, Ф. Сулковский, М. Чернов, А. Яковлев и мн. др.

Журнал выходит ежемесячно книжками от 5-ти до 7 печатных листов.

ПРИНИМАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Михайловская ул. дом быв. Гандурина, телефон 2-40.
КОНТОРЫ: уг. Советской и ул. Батурина, д. быв. Бурылина, тел 1-66.

г. ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„ОСНОВА“

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК, угол Советской и улицы Батурина, дом бывш. Бурылина. Телефон № 1-66.

ВЫШЛИ НОВЫЕ ИЗДАНИЯ:

1. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

ФР. МЕРИНГ. Исторический материализм.
Г. ЗИНОВЬЕВ. Из истории нашей партии.
А. БУБНОВ. Основные моменты в истории развития коммунистической партии в России.
Б. И. ГОРЕВ. Бакунин, 2-е издание.
ФР. ЭНГЕЛЬС. Развитие социализма от утопии к науке.
ФР. ЭНГЕЛЬС. Об историческом материализме.
КАРЛ КАУТСКИЙ. О материалистическом понимании истории.
П. ЛАФАРГ. Исторический материализм Маркса.
Иваново-Вознесенская губерния в гражданской войне.

2. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ.

Н. РЫБКИН. Учебник прямолинейной тригонометрии и собрание задач. Под редакцией проф. А. Я. Хинчина.

3. ПЬЕСЫ.

ЭРНСТ ТОЛЛЕР. «Разрушители машин». Драма из времен Луддистского движения, в 3 актах, перевод С. М. Городецкого.

4. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЕЛ.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ. (1823—1923). Сборник статей к столетию со дня рождения, под ред. проф. П. С. Когана (с рисунками худ. Л. М. Чернова-Плесского).
Н. К. ПИКСАНОВ. Островский. Литературно-театральный семинарий.
Л. И. АКСЕЛЬРОД. Мораль и красота в произведениях О. Уайльда.
В. Г. БЕЛИНСКИЙ. К 75 летию со дня смерти (1848—1923).

5. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ.

«ТКАЧ»—новый общественно-литературный журнал. Вышел № 3.

6. ДЕТСКИЕ ИЗДАНИЯ.

ЛЕВ ЗИЛОВ. «Глиняный болван». Сказка, с рисунками Л. М. Чернова-Плесского.

7. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Агр. Г. ОВЕЧНИКОВ. Кормовой вопрос—основа хозяйства.

Портреты, открытки и плакаты к юбилею Островского.

Адрес издательства в МОСКВЕ:
.. .. Арбат, дом № 51, кв. 48. .. ..

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТКАЧ

Ежемесячный общественно-литературный журнал

ИЮЛЬ

КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ Т-ВО
„ОСНОВА“
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК

№ 4 1923

ОГЛАВЛЕНИЕ.

СТИХИ:

Сергея Городецкого, А. Смирновой-Варфоломеевой, А. Троицкого .. .. 3—12

РАССКАЗЫ:

А. Яковлев—Волчиха 13

Дм. Малышев—Хлеб 17

М. Сокольников—На Унже 29

Кв. Кубов—На духовные темы 33

СТАТЬИ:

Г. Бейчек—Политическая Чехословакия 37

И. М-в—Зверий лик 41

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО:

В. Смирнов (М-в)—Из истории Союза красных ткачей 46

В. Калашников—Письмо в редакцию 52

НОВЫЕ КНИГИ 53

ТКАЧ

Ежемесячный общественно-
литературный журнал

№ 4 ИЮЛЬ 1923

Гублит № 141. Тираж 1500.
Типо-Литография
Книгоиздательского Т-ва «Основа».
Иваново-Вознесенск.

Сергей Городецкий.

Весенняя звезда.

Томлюсь весенней песней,
Невысказанной никогда.
Как прежде, в юности, я весь в ней,
Но все по новому я увидал.

Тяжелым грузом давят мертвые года.

Как прежде, миру, миру, миру
Всего себя я рад отдать.
Но мир раздвоен—на порфиру
И на вериги милые труда.

Я проклял золото и всех, кто господа.

И вам, и вам, живущие в трущобах,
Вам, потные от мускульных натуг,
На грани жизни конченной, почти из гроба,
Я истинный певец и лучезарный друг.

Моими песнями цветет весны всемирной луг.

Пусть я недолго в новой жизни пробыл,
Пусть раньше времени убьет меня недуг,
Но я хочу, я в песенном огне сгораю, чтобы
Седой восток, безумный запад, дикий север,
нежный юг

Все страны света расковали рабства круг.

Чтобы там, где вопли, где страданья гнетом
Невыносимым давят города,
Взвилась восторженным и мировым полетом
Непобедимого рабочего труда

Своей зарей обжегшая весь мир весенняя звезда.

А. Смирнова-Варфоломеева.

Деревенское.

На дороге под вязами старыми
Загорелись рубахи цветистые.
Ходят девки жеманными парами,
Мечут взгляды косые лучистые.

Заливается с песней гармоника.
Мастер Тишка—играть «Коробейника»...
Солнце в огненно-красном повойнике
Гасит свечи за лапчатым ельником.

Блещет Прохор цветною манишкою.
Глянь—от гордости даже прищурился.
А Машутка с любимою книжкою
У корявого вяза притулилась.

Коммунисткой в деревне прокликали,
Мать вздыхает тихонько над дочкою...
А у той расцветает гвоздикою
На душе что-то новое мощное.

День трудиться, а вечер—за чтенье.
Все то, все в этих книжках рассказано:
И про прежние наши мученья,
И что крылья теперь нам развязаны.

К новой жизни дорога нам вольная...
...И не слышит как воет гармоника,
И не видит как нити узорные
Тянет зорька в багряном повойнике...

А. Троицкий.

Поэма о серпе и молоте.

I.

Два сына было у отца,
Два работящих молодца.
Один всю жизнь в деревне жил,
С сохой—кормилицей дружил.
Другой от нив, лесов и вод
Ушел работать на завод.
Один привык махать косой
Да спину гнуть над полосой.
Другой вставал на зов гудка
И шел в предместье городка—
Туда, где грохотал завод,
Где капал с лиц горячий пот...
От камушков, корней и мха
Поизносилася соха.
И в избу старика тогда
Пришла суровая нужда.
Все поплыло из рук. Но вдруг
Рабочий шлет в деревню плуг:
—Отец и брат, пашите! Вот
Что посылает вам завод...—
Пошел гулять по пашне плуг,
Заколосилось все вокруг.
Был урожай в тот год хорош,
Как лес, на ниве встала рожь.
И как собрали урожай,
Отец промолвил:—Поезжай,
Мой сын—крестьянин, на завод—
Другой мой сын там льет свой пот.

Ты отвези-ка ржи ему,
Меньшому сыну моему.
Нам от него—топор, коса,
Ему от нас—муки, овса.
Он нам из города дает
Что произвел его завод,
А мы в обмен ему пошлем,
Что с нив родимых соберем.—

Вы—оба братья, вы—родня,
Рабочий и крестьянин. Дня
Вам друг без друга не прожить,
Чтобы друг другу не служить!

II.

Город многотрубный, дымный город,
Мощный созидатель и творец,
В вихре искр ты поднимаешь молот,
Ткешь, возводишь за дворцом дворец.

Села и деревни трудовые,
Вы вспахали серые поля,
Всколосили нивы золотые
Плугами пласты земли деля.

Вами, села трудовые, взорат
Необъятный полевой простор,
А над вами многотрубный город
Космы дыма серого простер.

Он дарит вам ластики и ситца,
Он вам шлет зубчатые серпы,
Чтобы, когда вся Русь заколосится,
Было чем собрать ее в снопы.

Он вам шлет богатства мудрой мысли,
Воплощенной в книжные листы,—
Все он взвесил, вымерял, расчислил,
Даже звезды в небе и цветы.

За дары его из дымной дали,
О, деревня трудовая, дай
Часть того, что сеятелю дали
Мать—земля и щедрый урожай.

Дай, деревня, братьям—горожанам,
Армии фабричной бедноты
То, чего земля дала крестьянам,
Чем богата, чем обильна ты.

III.

Слава союзу рабочих с крестьянами,
Слава!
Братья, идите под флагами рдяными,
Слейтесь теснее кипящего,
Золотом красным горящего
Сплава.
Слава союзу рабочих с крестьянами,
Слава!
Только таким единеньем
Наша могуча держава,
Наша держава советская,
Красная наша страна!
Будьте подобны звеньям
Нерасторжимой цепи,
Будьте навеки, товарищи,—
Сила и воля одна!
Только таким сплоченьем
Мы одолеем все крепи,
Только таким единеньем
Будет Россия сильна.
В сердце врага, товарищи,
Надо нанесть удар еще!
Братья, сплотимся-ж теснее,
Будем—одна стена!
Слава союзу рабочих с крестьянами,
Слава!
Братья, идите под флагами рдяными,
Слейтесь теснее кипящего
Полымем красным горящего
Сплава!
Все—за советское право
Под знаменами багряными!
Слава союзу рабочих с крестьянами,
Слава!

IV.

Нет крепости у стебелька,
Одна соломинка хрупка,
Она ломка, и что за труд
Переломить отдельный прут!

Ты без усилий, без труда
Сломаешь тонкий прут всегда.
Но целый веник ты возьми
И попытайся—надломи.

Задача будет нелегка:
Горсть голых прутьев так крепка,
Что ты, легко сломавший прут,
Не мало сил потратишь тут.

Сын городов и сын полей,
Объединяйтесь поскорей!
Гоните вместе ночи мрак,
Вас вместе не осилит враг!

Что может сделать муравей
В зеленой мураве?
Он мал и жалок. Одному
Что сделать-бы ему?
Да, он один—почти ничто.
Но с прочими зато
Он—сила, он—работник, он
Значеньем наделен.
У маленького муравья—
Гигантская семья.
Он—член республики. Она
Стройна, крепка, сильна.
Республиканец—муравей
Трудится вместе с ней
И силой общего труда
Возводит города.
А если эти города
Враг разорит, тогда
Все устремятся на врага,—
Им жизнь не дорога,—
И дружно гонят прочь его
От дома своего.
И воздвигают новый дом
Общественным трудом.
Крестьянии и рабочий, вам,
Как этим муравьям,
Пора понять давным-давно,
Что оба вы—одно!
Вы оба—те-же муравьи,
Вы—из одной семьи
Вы строите единый дом,
Различным лишь трудом,
Один за плугом льет свой пот,
Другой кует и ткет.
Один обогащает край,
Сбирая урожай,
Другой—рабочий муравей—

Республике своей
Рукою щедрою дает
Что выткет и скует.
А если подан грозный знак,
Что близок злобный враг,
Враг нашей красной стороны,
Вы оба встать должны,
Надеть шинель и взять ружье,
Чтоб защитить ее!

———

Как дружен летнею порой
Пчелиный рой!
Ведь, то, чего-б не создала
Одна пчела,
Создаст согласный хоровой
Пчелиный рой.

———

Крестьянин, ты в своем селе
Подобен трудовой пчеле.
Не зная отдыха и сна,
Ты летом—в поле, как она.

Рабочий, в копоти и мгле,
И ты подобен, брат, пчеле.
Похож на улей твой завод,
А окна—на ячейки сот.
Как мед, всю ночь в них виден свет.
Тебе покоя тоже нет.
Ты—за работою всегда,
Апостол красного труда!

О, дети городов и сел,
Как дружный рой рабочих пчел,
Соединяйтесь в общий рой,
Чтобы окреп советский строй,
Чтобы наша РСФСР
Для всех земель была пример,
Чтоб лицемерный подлый враг
Ее детей в ярмо не впряг!

V.

Нам разум, нам сердце, нам воля велит:
—Рабочий с крестьянином должен быть слит.
Их, спаянных вместе, не сломит никто,
Не сломит никто, не осилит ничто:
Ни голод, ни холод, ни злая нужда,
Ни бар-тунеядцев слепая вражда.
Красив и значителен, братья, наш герб:
В колосьях скрестилися молот и серп.

Не так-ли на благо советской страны
Крестьянин с рабочим спаяться должны?
Рабочий, ты- мощный усердный кузнец,
Крестьянин, ты—сеятель, пахарь и жнец.
Как молот сплетается с острым серпом,
Так вам надо слиться в порыве одном.
Вы—братья родные, и мать вам одна—
Советская красная наша страна.
Мать ваша велит вам, свободным от уз,
Сплотиться в один неразрывный союз.
Рабочий и пахарь, вам ныне дано,
Как звеньям железным, сковаться в одно.
Крестьянин и ткач, уж рассеяна ночь.
Сплотитесь тесней, чтобы друг другу помочь!

Братья, мрак навеки сгинул,
Миновало время бед.
В наши взоры буйно хлынул
Ослепительный рассвет.

Долго, долго ночь висела,
Долго сытый капитал
Нас без меры и предела
Беспощадно угнетал.

Но теперь... теперь мы сами—
Над собою господа.
Нет хозяина над нами!
Кто хозяин над полями,
Над зелеными лесами,
Заводскими корпусами
Кроме мощного труда?

Лишь крестьянин и рабочий
Ими вправе обладать.
Честный труд, исконый зодчий,
Тки, паши, поля взворочай,—
Чтобы счастье нам создать.

Пусть ведет свой плуг крестьянин,
Пусть ткачи полотна ткуть,—
Пусть ты будешь неустанен,
Коллективный вечный труд!

Пусть рабочие пособят
Сыновьям далеких сел,
Пусть кого морозы знобят,
Тот уже не будет гол.

Пусть тебе рабочий город,
Дети сел помочь придут,—
Пусть кого терзает голод,
Будет сыт, чтоб встать за труд.

Пусть крестьянин и рабочий,
Закаленные в труде,
Бьют разруху что есть мочи
Вековой на зло нужде.

Как порой родной родному
Хочет помощь оказать,
Пусть они один другому
Будут вечно помогать.

VI.

О, дети сел и деревень,
Забыть-ли вам, как в черный день
Вы от рабочего народа
Поддержку получили вдруг?
Пришли рабочие с завода
И с фабрики чинить ваш плуг,
Обтягивать колеса, косу
Вам подготавливать к покосу,
Чтобы не был не покошен луг.
Кто помог вам в неделю крестьянина?
Пролетарий, рабочий—бедняк.
Кем разруха проклятая ранена?
Кем отброшен придушенный враг?
Лишь рукою простого рабочего,—
Голодал, холодал, а ковал.
И ничто не могло превозмочь его,
Он терпел и врагов добивал.

VII.

Силы злые
Усмирены.
Рабоче-крестьянской России
Дни мира даны.
Если-же враг
Снова на красный флаг
Полки поведет боевые,
Ей не впервые
Дни грозовые
Встречать!
Наши поля трудовые
Вышлют могучую красную рать.
Пока-же
Будем стоять на страже
Сердце с сердцем, рука с рукой,
С родимым братом брат другой,
Рабочий—с крестьянином, с пахарем—ткач,
На знамени нашем пылает кумач,

На нем горит наш славный герб—
Венец из колосьев, в нем молот и серп.
Красиво колосья ржаные сплелись
И крепко молот с серпом обнялись.
Нам в нем великий символ дан—
Союз рабочих и крестьян.
Как серп и молот слиты, так
Сольется с бедняком бедняк
С рабочим—пахарь, с кузнецом—
Батрак, текстильщик—со жнецом.

Рука рабочего сильна!
С ней, закаленной у горна,
Рука крестьянина должна
Быть прочно соединена!

Александр Яковлев.

Волчиха.

(Рассказ).

На распутьи двух дорог, недалеко от перекрестка, стоит лесная караулка—двухоконный домик со смоленой тесовой крышей. Крепкие ворота у караулки, забор крепкий, из за забора амбар и погреб виднеются. На окнах коленкоровые белые занавески зубчиками и горшки с «яранью»...

Две старухи-сосны подошли к окнам, остановились здесь, зеленошубые, в ветер говорят о чем то глухими голосами и наклоняют ветви к окнам, словно хотят заглянуть, узнать, что делается там, за ситцевыми занавесками. Эти две вот перед окнами, а другие—их много, целая рать лесная, шумная,—окружили караулку плотной стеной с трех сторон... И маленькой она стала, караулка, одинокая. До ближней деревни—Сухой Дол—две версты. Человечьих голосов от деревни не слышно. Лишь по зарям утренним слыхать, как в Сухом Долу поют петухи.

Да еще: тихими ночами с погоста Николы Явленного долетает сюда звон колокола, отбивающего часы.

* * *

Лето. Вечер. Дон-дон-дон... Девять. На медных широких крыльях пролетает звон над верхушками уснувшего леса.

И знают сосны: вот сейчас отворится калитка, и на дорогу выйдет Волчиха в высоких мужичьих сапогах, в казинетовом легком бедуиме, с московским белым платком на голове и с ружьем на плече. И лесными темными дорогами побредет в обход. Не рубят ли казенный лес воры-мужичишки?

А ныне нет и нет Волчихи. Что такое?

Тихонько наклонились сосны и глянули в окна. А там, за ситцевой занавеской зубчиками, за горшками с «яранью» широкая лавка, а на лавке гроб и в гробу девушка. Это Танька умерла, Волчихина дочь. Знаете? Ей восемнадцать лет было. Она вся вот тут выросла, на глазах этих сосен, босыми ноженками, малявка маленькая бегала вот-вот. А теперь: вот свеча горит в головах у ней, свеча, прилепленная ко краю гроба.

— «*Маланька*, говорит, ты зови меня Ветруней».

— «Это еще зачем?—спрашиваю. Аль тебе твое христианское имя надоело».

— «Так меня, говорит, он зовет».

Я так и ахнула.

— Это кто же такой он то?—спрашиваю.

А она рассмеялась и молчит. И нехорошо так засмеялась. Ну думаю, дело плохо.

— Говори, кто такой он, а то...

Погрозила ей, знамо. Так не сказала же. Потом уже стороной узнаю: Петра Митрич вьется над моей дочкой, как коршун над цыпленком.

Батюшки! ведь беда это: сколько он девок попортил да порукам пустил? Нюжли и моя Татьяна... Не-хе-хет, думаю,—жива не буду, а из твоих рук вырву...

Говорю ей:

— Ты вот что, Татьяна, ежели я тебя пымаю с ним, я ему башку сшибу да и тебе не сдобровать. Слышишь? Запомни.

Молчит она...

А этого проклятущего я же на свою голову привечала. Зимой вот под самого Николу вдруг стук-стук в окно. Гляжу, человек с ружьем, весь замерзший.

— Пустите погреться, хозяюшка?

— Заходи, сделай милость.... Глядь, Петра Митрич. Отбился от товарищев, заблудился. Замерз весь. Танюша моя враз самовар ему, сама такая веселая. Как же, хозяйский сын, не ноне-завтра сам будет хозяин. А она всегда приветной была.

— Что, говорит, это дочка твоя?

— Дочка, говорю.

— Красавицу же ты ее выростила.

— Ничего, говорю, люди хвалят.

— Где то словно я видал ее?

— На фабрике на вашей работает...

Он аж вскинулся так.

— Очень,—говорит,—приятно.

Ну, попил чаю, пошутил, посмеялся, ушел.

Потом как праздник, глядь идет. С ружьем, на охоту. Да охотился то не за зверьем... Сидит целый день зубами скалит. А вот этак по весне Татьяна то мне и молвила:

«Маманька, ты зови меня Ветруней»...

* * *

Ровным светом горит свеча у гроба, как копье золотое. И живые тени на лице у мертвой, на стене, на потолке. Вдруг треск сухой, и дрогнет пламя, тени дрогнут, качнутся.

— Проспала ведь... Не доглядела. У-у, головушка моя горькая... Спохватилась, поздно: оплел паук. У-у...

— Да ты не убивайся, Митревна. Божья воля, значит.

— Нет, нет, нет. Какая божья воля? Не-ет. Мой недогляд.

— На роду ей написано.

— На роду? Каждой девке, что ему в лапы попадает, по вашему на роду написано? Хе. И не говорите мне. Кто нас защитит? Никто. Сам защищайся. Я ж ему...

Она встала с лавки, сердито глянула в пустой угол, будто хотела на время, хоть на минуту одну, спрятать от людей глаза.

— Прибегают, говорят: «Иди, твоя дочь отравилась»... Это божья воля? Ну?.. Что же вы молчите?

— Ты, сестра, не убивайся. Девка не муж, с ней легко прожить. А ты и без мужа вот живешь за первый сорт.

— Э-эх ты... Корова ты, братец родимый, а не человек. «Не у-бивайся»... Да ведь он же сердце у меня вынул. Холила, зятя ждала, мнуков ждала, и вот тебе. Не-ет, у меня не уйдешь.

И опять глаза в угол...

* * *

Над лесом пролетела ночная птица и крикнула с угрозой:

— Гу-гу-гу-у-у...

И шорохи в чащуге смолкли на момент, лесные мыши перестали возиться, заяц поднял голову, прислушиваясь, и ярче загорелись лисьи глаза. Чу! Резкий запах пронесся по лесу, страшный человечий запах. Это с тропинки. И вот вправо, влево неслышными стопами понеслись от тропинки и лиса, и заяц, и бесстрашный хорек.

Волчиха идет по тропинке. В черном казинетовом бедуиме, с ружьем на плече. И еле слышно стучат ее сапоги.

— Куда ты?—спросила ее баба там, в караулке. И брат спросил.

— Обойти надо. Знают мужичишки про горе мое, теперь, чать, стадом целом заборились.

— Да ты бы посидела. Останная ночь с дочкой то. А ты...

— Надо.

И вот идет. Чуть слышным радостным шорохом встречают ее сосны защитница их идет. Но куда? Куда она? С тропинки влево и прямо лесом, гривой, меж двух оврагов пошла Волчиха куда то.

— Ушла,-сказал мужик, там в караулке,—Ну и сердце!

— Не даром ее Волчихой прозвал народ. Мир—не поп, даст имячко —весь наружу вылезешь.

— Крепкая баба.

— Лесной то барин про ее говорит: первая работница у меня. Муж хорош был, а она еще хлеще.

— Мужики тогда радовались: «Сбыли деймона, теперь наша лафа». А она им и показала. Двух прежних заменит.

— Как то она эту беду изживет? Пожалуй, это хуже первой.

— Знамо хуже. Охолку на покойницу положил Петра то Митрич. Совести у него нет.

— Ему што? Он думает: все на деньги куплю.

— А ты молчи-ка, покойница слушает.

— И как это можно жить, одной, в лесу? Жуть ведь.

— Волчиха...

* * *

Оборвался лес, уперся, ровной стеной встал. Поляна. А на поляне—вот дикость!—фабрика: трехэтажные корпуса с глазастыми окнами, из труб пламя столбом—вылетая ревет,—горны. Горит на заводском дворе электричество. И всякий раз бывало чудно Волчихе, когда она попадала сюда. Вот глушь, глушь, глушь там, где она живет, жуть леса подходит к самым фабричным стенам. А здесь и полночный свет, и горны, и трехъярусные здания.

Жутко Волчихе. Вот и теперь—сторонкой идет, все в тень прячется, по под-заборьем идет, чтоб на глаза сторожам не попасться. И ружье сняла с плеча. Приготовила.

За фабрикой—дом, окна открыты, музыка несется.

— Га, все пируют. Все праздник им...

Мимо цветных клумб, неслышными шагами пробралась Волчиха к окну. В нем свет едва-едва. Это окно Волчиха знает. Перед ним кусты сирени. Как часто была она здесь, выслеживала, ждала, хотела поймать на месте. Говорят люди, Петра Митрич водит девчонок сюда, к себе, стыд потерял. И не раз его видала Волчиха в окне...

Ночной гуляка запел за оградой. Цветы пахнут удушливо, по ночному. Волчиха сорвала с головы белый платок, чтобы не выдал ее он. Не шевелясь стояла под кустом. Слабый свет падал из окна на ее лицо и, правда, волчье было что то в нем.

А там все играет кто то.

В комнате мелькнул новый свет и разом ярко зажегся. Высокий человек прошел в глубине, четкий на белой стене, двинул стулом. Он немного лыс, хрящеватый нос у него, белый высокий галстук. Он!

Волчиха подняла ружье.

— А-ах!..

Там, в комнате, красные бусы брызнули на белую стену, и полосами поползли книзу, к полу, куда упал он.

* * *

На погосте у Николы явленного звонили часы. А потом тревожный фабричный гудок взревел над лесом.

Волчиха шла, не разбирая пути, и когда выбралась на тропинку, вздохнула глубоко—после тяжких трудов—и прислушалась. Лес шумел чуть-чуть, приветливо, любовно, узнал ее, защитницу. Слышно в Сухом Долу запели первые петухи.

Дмитрий Малышев.

Х л е б.

(Рассказ)

I.

Иван Федорович Голубков решил послать своего сына Никиту, который доучивался в ремесленном училище, за хлебом. Ездят же люди! И сам бы поехал, да уж года не те—прихварывать начал.

Собирали Никиту недолго. Вытащили припрятанную от большевиков в стене мануфактуру, платки шерстяные, отрез диагонали, сарпинку. Прибавили фунтов пять соли, да пачку спичек. И все это уложили в сумку. Анна Марковна, супруга Ивана Федоровича, на живую нитку пришила к сумке постромки. Старую солдатскую шинель отыскали, сапоги яловочные,—чтоб было честь честью.

И пили чай, т. е. кофе советский.

Иван Федорович пил чай по старинному, держа блюдечко на расстоянии, всеми пятью пальцами. Мысли у него были „сурьезные"—разговаривать не хотелось. В промежутках он прищелкивал языком, почесывал бороду—думал. Супруга тоже глядела „скушно". Подливала ему и Никите чаю и подвигала мелко наколотый сахар в старинной хрустальной сахарнице.

Выпив седьмую или восьмую, Иван Федорович повернул пузатую чашечку вверх дном и отдвинув перекрестился.

— Пей,—сказала супруга.

— Не хотца что-то,—махнул он рукой,—да и до того ли теперь. В глотку-то, можно сказать, не идет.

Пощелкал языком, положил на блюдечко остаток сахару, взглянул на часы, висевшие на стенке, и сказал:

— Ну, пора и подаваться.

Никита, как-будто того и ждавший, мотнул рукой перед образом и взялся за шинель. Поднялись и отец с Анной Марковной.

Одевался Никита быстро. На плечи надел свою сумку с постромками, прицепил жестяной чайник и расправил шапку в руках.

Увидев Никиту в шинели, которая ему была слишком длинна, впервые ощутил Голубков жалость к сыну. Был, ведь, Никита еще недостаточно

крепок, почти что мальчик. Тщедушный и впалая грудь. А в дороге-то всякое может случиться. И вместо расчетов—человеческое что-то прощупалось в сердце. Даже поколебался немного в душе Иван Федорович и Анна Марковна почуствовала, что хотя и пасынок ей, все же он едет-то и для нее и быть может рискует жизнью, и что если бы это был ее сын, то она ни за что бы его не пустила—и потому сказала теплее.

— Смотри, не позабыть бы чего? Тепло ли оделся-то. Вон по утрам-то, ведь, холод.

— Холод...—подумал Никита, глубоко напяливая шапку,—верно, что холод.

———

У Никиты нашлись попутчики: Вася Чикин, маляр, да Митрошин, торговец рыбой («бывшие», конечно). Решили поехать в Назаровку.

В Москве было сесть невозможно. Выручил Вася: сдал свою сумку Митрошину, вскочил на подножку до-нельзя набитого галдящими мешечниками товарного вагона и хриплым леденящим голосом крикнул:

— Приготовьте документы!

Гам моментально смолк. Кто-то предупредительно чиркнул спичку и началась поверка. Мешечники жались в углы. Двух-трех женщин в лохмотьях без милосердия выпихнули. Кто-то и сам струсил—полусогнувшись нырнул в темноту. А после этого не оказалось больше спичек, и наши все трое, воспользовавшись темнотой и суматохой недурно устроились.

Только что сели, пришли настоящие.

— Посторонись!—свирепо закричал вдруг один из них стоящему у дверей и вскочил на подножку. Два красноармейца с винтовками встали у вагона. Но в это время как раз раздался долгий свисток отправления.

Спуская пары и взвизгнув железом, поезд отлип. И поплыли назад огни дебаркадера.

II.

Всю ночь не давали Никите спать. В тесноте он не мог повернуться, и ноги его затекли. Было темно и душно. В скрипе вагона и стуке колес то и дело выходил кто-нибудь, шагая через головы и наступая на лежащих. Тарахтели двери.

Наконец, в открытых дверях забрезжило утро. Никита поднял свою полную тяжелой дремоты голову и увидел в утренней мгле сопящую, свистящую массу людей, уткнувшихся во что попало и содрогающуюся, как тесто, от движения скрипящего поезда. А утро с остатками снега в полях—тусклое—неслось мимо в отверстии двери.

Поезд резко умерил ход, и в отверстии двери поплыли разбросанные по косогору домики еще спящие, с бельмами окон, тихие.

Медленно протянувшись мимо низкого скучного здания станции с каменными ступенями к главной двери, с колоколом и вывеской под крышей: «Красная»—поезд остановился.

Поднимали головы, заспанные с выбившимися из-под платков и шапок спутанными волосами. На смятых лицах была утренняя тупость, животное равнодушие. Эту же тупость—непреоборимую—с отвращением чувствовал Никита и у себя на лице.

Кто-то зевнул, кто-то спросил: какая станция? Звякнула крышка жестяного чайника. Зашевелились, вставали, расправляли затекшие члены. Некоторые с чайниками пролезали к двери.

Чувствуя во всем теле озноб, Никита встал и двигая спиной под шинелью, чтобы согреться, пробрался к двери и выпрыгнул вслед за другими.

Тусклое синее утро. Пустынная станция с унылым пакгаузом. С пустыми чайниками шли обратно: кипятку еще не было.

Побродив немного и не согревшись, Никита полез обратно.

...Снова скрипит вагон, качает и месит людское тесто; снова дремлют люди, наваливаясь друг на друга, слипаясь. И уже чувствуется, что по ногам что-то ползет, щекочет. Мучительно почесать хочется, но достать рукой невозможно... Можно только судорожно напрягать свои мускулы.

— Ну что ты ногой-то мне прямо в рыло?—раздается где-то.

— А куда-ж мне ее девать? Барин какой.

— Куда хошь, туда и девай. Спекулянт несчастный.

— Сам ты спекулянт.

Успокаиваются. Снова тишина и сопенье.

Лихо трясется вагон. Стенки так скрипят и шатаются, что Никита боится. Ему кажется, что сейчас все обрушится. Но видит он это один.

Вася Чикин все спит, уткнувшись в рукав Никиты. У Митрошина торчит только туловище: голова засунута в угол.

III.

Днем Вася хорошо выспавшийся выходит на каждой станции, покупает молоко и ржаные лепешки. Где-то достал две доски и сделал себе сиденье вверху у люка. Во время движения он смотрит через люк на бегущие поля, перелески, болотца с остатками снега и напевает в такт вагону.

—Ой ябы-лы-чи-ко

Ку-да ты ко-тишь-ся...

В этой воющей песенке звучит безотрадность, но Вася умеет и этой безотрадности придать лихую веселость.

Никита никуда не ходил. Даже не вышел умыться. После бессонной ночи он чувствовал слабость и равнодушие. Озноб прошел. Пригревшись сидел он на своей сумке, привалившись к стене и скрючив ноги. Протянуть их было нельзя.

Весь день ничего не ел, и самая мысль о еде была противна. Перед вечером на одной станции, где поезд стоял очень долго, Никита—больше для порядка, чем по желанию—пошел заварить кофейку. День был тусклый ветренный и холодный. На небе свинцовая масса туч. Ничто не напоминало весну. Было похоже скорее на осень...

Вернувшись в вагон, Никита достал из сумки селедку, хлеба и жестяную кружку и начал закусывать. Неожиданно, лишь только укусил он жирную спинку, появился аппетит, и Никита, весь день неевший с удовольствием съел всю селедку, сидя на полу на корточках. Обсосал все косточки и, выкинув в открытую дверь очистки, вытер губы рукавом. Налил себе кофе—советского, с соринками наверху—достал кусок сахару

и начал пить. После этого у него попросили другие, и он отдал им чайник и кружку.

И снова скрипит вагон...

Расчитывали приехать в Назаровку к вечеру этого дня, но поезд так тихо тащился, так долго стоял на станциях, что и вторую ночь провели в вагоне. На досках вверху спали Чикин и Митрошин, протянув ноги навстречу друг другу, а Никита остался внизу.

Чикин и Митрошин, перебравшись на нары, освободили внизу места, и Никите удалось протянуть ноги. Но кто-то всю ночь на них наваливался и не давал спать. Было душно, темно, и ошалело бегали вши. Но было Никите как будто удобнее, чем в прошлую ночь. За сутки должно быть привык и умаялся, а потому засыпал даже сладко. Когда же до боли наваливались на ноги—просыпался, с усилием отпихивал тяжесть и думал спросонья:

—Да где ж это я?

И вспомнив, сейчас же успокаивался. Все равно. Клал голову на сумку и с некоторым даже удовольствием чувствовал себя частью этой массы слипшегося человеческого теста, этого поезда, этой грязи. Знал, что если крушение, судьба одинакова.

И сладко пьянила дремота. Как будто и насекомых не стало. Казалось, что спит он дома, свернувшись калачиком...

Но кто-то опять осторожно наваливался.

IV.

Спал Никита всю ночь и утро, укаченный зыбким скрипучим вагоном. Было заметно просторней. Как-то утискались люди и всем было вольно. Но близко и Назаровка.

Вася Чикин сидел на досках, наверху, как птица на ветке и опять напевал под скрип вагона:

—Ой я-бы-лы-чи-ко

Ку-да ты ко-тишь-ся...

— Эге!—закричал он вдруг, высовываясь в люк,—приехали!

И стал спускаться. Поднялись и Никита с Митрошиным.

В Назаровке паровоз, подтянувшись с усилием, спустил пары с таким облегчением, что будто дальше и не собирался ехать. Оберкондуктор слез и пошел в вокзал, это значило—поезд стоит полчаса. Никто не сходил. Сошли только Никита с товарищами.

Решили сейчас же итти в деревню.

В теле Никита чувствовал такую истому и лень, такие позывы к отдыху, что ему казалось—не пройти и версты. И все в душе его протестовало против желания спутников «забраться подальше верст за пятнадцать». Но ему не хотелось быть им в тягость, он ничего не сказал и, отставая немного, шел сзади.

Дул ветер холодный навстречу. Бездушно, как мертвый звучал он в ушах. От горизонта покрывали небо тяжелые темные одеяла туч. В оврагах лежал еще снег. Дорога шла полем, безжизненным с остатками прошлогодней травы, скучно напоминающей осень. В стороне, у дороги скучилась постройками, ветлами, ригами, банями на отлете—деревня.

— Устал я что-то—сказал Никита, как мог спокойнее, стараясь на дать своего отчаяния—куда бы поближе.

— Там увидим—ответил Митрошин—и ближе остановимся.

— Может, попробуем здесь?—опять сказал Никита с тайным желанием.

— Да нет, тут дорого, дальше пойдемте.

У изгороди бродили гуси. Мужик показался из риги.

— А что, товарищ,—обратился к нему Чикин,—ржи не продаете?

Крестьянин глядел безучастно, как-будто не слышал.

— Слышь что-ль? Мануфактура есть.

Крестьянин все также без выражения покачал головой и сказал:

— Нету, браток.

Шли по дороге, не зная куда. Дорога выведет. Снова бездушно, как ртвый звучал в ушах ветер. Зябли сначала руки. Их прятал Никита в кава. В распахивающихся полах шинели знобило колени.

Усталость в ногах и спине была такая, что хоть ложись. Никита мал о том, что ему все равно не дойти, что лучше оставить товарищей зайти одному в деревню. Но вспомнил, что впереди еще самое трудное что одному ничего не сделать и поэтому отстать не решился.

Через несколько минут, чтобы хоть немного передохнуть, Никита азал:

— Давайте покурим, ребята, курить что-то хочется.

В канавке у старой ветлы Никита с Митрошиным сели. Митрошин стал кисет с махоркой и стали вертеть. Дымок махорки, развеваемой тром, развеселил Никиту, и он курил с наслаждением. Ноги приятно ныли.

— Идем, ребята, дорогой покурите,—сказал Чикин не куривший и рнулся дальше. Митрошин поднялся. С трудом пересилил себя и Никита. дленно двинулись дальше.

Шли тяжело и с трудом. Ноги ныли. Говорить не хотелось. Засунув ки в рукава шинели и не глядя ни по сторонам, ни вперед, тащился кита сзади.

И мысли к чему-то полезли в голову—в первый раз за дорогу. вагоне как-то вообще не думается. Невеселые мысли о безотрадном и чном.

Когда Никита очнулся—отошли далеко от деревни. Он шел не спеша, ханически. И от этой ходьбы усталость прошла понемногу. В ногах ла крепость. Итти было можно.

V.

После не мог бы припомнить Никита этой длинной дороги—прошел ее в забытьи. Семнадцать верст он прошел, погрузившись в какое-то ханическое состояние.

Только однажды внимание его привлекло необычайное зрелище. В роне от дороги, задрапированный могучими голыми кленами с открыты- ртами выбитых окон и снятой крышей, стоял высокий барский дом, ино человек обнаживший голову, сдавшийся на милость победителя. зле него фруктовый сад с симметрично разбитыми голыми яблонями, ограды, открытый и беззащитный.

К вечеру, когда белое небо, успокоенное с разредившимися тучами— холодно гасло на западе, как лицо старика безотрадно отжившего—подошли к деревушке... Название Никита забыл. Прогончиком вышли на улицу и свернули на первый же двор.

Женщина с подойником, идущая из дому навстречу, сейчас же поняв в чем дело, сказала:

— В избу идите.

В полутемной избушке, пахнувшей на них кислым отстоявшимся воздухом, было жарко натоплено. На лавке в углу на разостланной вверх мехом шубе, и накрывшись одеялом, лежал белокурый мальчик с невеселым спокойным лицом не обративший на них внимания.

Никита сейчас же сбросил с плеч сумку и стал раздеваться, за ним и другие. Затем он сел на скамью и, закинув ноги, прилег, положив голову на сумку. Вася Чикин возился с вещами, Митрошин присел на лежанку.

Вошла хозяйка и долго процеживала молоко. Затем она засветила висячую лампу с картонкой вверху и сказала:

— Семен! Поди-ка вон погляди у них.

На печке поднялась лохматая голова мужика, и что-то зашевелилось. Он медленно сел, обул подшитые валенки, которые стояли на полу, сказал хриплым со сна голосом:

— Здравствуйте.

Никита стал развязывать сумку, а хозяйка тем временем взяла со стола самовар и понесла его к печке.

Долго осматривали мужик и баба привезенное добро. Затем мужик надел полушубок и пошел за соседями. Скоро пришло очень много. Ценились. Вася работал за всех: девиц награждал платочками, шарфами, ленточками; мужикам предлагал сукно и даже старухе одной угодил темным ситчиком с белыми крапинками.

В самый разгар торговли вошем в избу мальчик и сказал хозяину:

— Дядя Семен, тебе тятенька велел итить в комитет.

Хозяин поспешно оделся и вышел за мальчиком.

Цениться умел только Вася. Скоро последний платок он спустил за десяток яиц. После этого с мешком под мышкой Вася с Митрошиным пошли навешивать. А Никита остался на месте.

Сразу все стихло. Тикали часы на стене—с лысым циферблатом и одной гирей. У печки шумел самовар. Белый мальчик смотрел в потолок задумчиво и спокойно.

— Как тебя звать-то?—спросил его Никита.

Мальчик все также безучастно глядел в потолок.

— Петькой—послышался голос от печки—да вот захворал. Хворь тут какая-то ходит. Почесть, в каждом доме лежат.

— Что же это за хворь?

— А кто ее знает? Сам-то вот тоже, мужик-то, лежит се на печи. Кашель мучит. Уж такой кашель!

— К доктору-бы...

— Да что... Вон мужика тут одного Кузьму свезли в больницу, а там и помер. И лекарств-то нет, знать, теперь.

Замолчали. Никита опять прилег на лавке. Сейчас же ногам стало больно. Но если не считать этой боли, то все остальное было ему приятно. И эта широкая лавка, и самовар, шумевший у печки... Вспомнил он детство свое в деревне, когда его отец был еще крестьянином. И стало ему отрадно, точно вернулся он на родину или вспомнил что-то очень милое—забытое.

Скоро, бухая сапогами, пришли Чикин и Митрошин и, раздеваясь, сказали, что все готово и завтра с утра можно ехать. Хозяйка расставляла чашки и резала хлеб. Потом принесла самовар.

Только что сели за стол, вернулся мужик и сказал раздеваясь:

— Вот что, гости дорогие, вам ночевать-то у меня нельзя. Сейчас председатель комитета вызывал: ты, говорит, член комитета, а у тебя спекулянты...

— Какие же мы спекулянты, схватился Вася,—сам видишь, последние тряпки собрали. Есть нечего.

— Попейте чайку—точно не спеша, сказал мужик— и с богом.

VI.

Скрипя немазанными колесами, тронулся воз и сейчас же свернул в прогончик. Мужик, подрядившийся везти, с кнутом в руках шел сзади и опасливо оборачивался—боялся «комитетчиков». Колеса телеги так скрипели, и от поднявшейся в весенней дымке луны было так видно вокруг, что Никита с замирающим сердцем прислушивался и останавливался, боясь погони.

Воз, разминая колесами мерзлую грязь, благополучно выехал в поле. В призрачной лунной пыли, в легком, невысоко нависшем тумане, все дальше начала отходить деревня, точно опускаясь в землю. И вот—открытое поле навстречу скрипящему возу.

Страх, что догонят, отберут, остановят—прошел. Никита спокойно шагал за телегой в свежести ночи. Ноги немного болели, но чувствовал бодрость.

Мысли одна за другой приходили на ум. При звездах и ночной тишине эти мысли ему приходили всегда. Глядя на звезды, он думал теперь о жизни, все же прекрасной, о непонятной ее цели; о грозе Революции, которая бросила его сюда, в эти чужие поля, где иначе бы он никогда не был. И весь наполнялся свежестью и порывом.

Но мало-по-малу обездушивались, выветривались мысли. Снова Никита превращался в механизм, выполнявший работу. Автоматом бездушным он делался. Не считал, сколько верст. Никуда не глядел.

Один только раз, когда ехали мимо разграбленного имения, опять с любопытством глядел он на непокрытую голову здания, высокие клены, толпой подступившие, и сад, разгороженный, с прутьями яблонь напоминавших скелеты.

...Последние версты казались ужасны. Никита все думал, что он упадет. Мучительно хотелось сесть на возу. Но мужик решительно отказал: лошадь устала—тащилась с усилием.

Темнело в глазах у Никиты, и плыли во мгле золотые точки. Схватившись рукой за задок телеги, он шел, спотыкаясь, боясь упасть...

В вокзале—с единственной лампой у кассы—на полу, под столом, на столе и на окнах—все занято. Спали вповалку. Слышался храп. Товарищи как-то устроились. Никита не знал, где бы лечь. На воле слишком холодно, в вокзале все занято. Наконец, он присел на мешке у двери. Голова от усталости падала. Некуда было деть ее. То и дело кто-нибудь выходил и тревожил Никиту. В отверстие дуло—тонкой струйкой холодной, как сталь—и Никита все ежился, ежился, ежился. В середине ночи он слез с мешка на пол и на голом холодном полу, прислонившись к мешку, забылся.

VII.

Сквозь пыльные стекла вокзала тянется брильянтящееся солнце и грязное помещение принарядило оно по весеннему.

Освободились места. Куда-то исчезли вчера ночевавшие. На заре разошлись по дорогам, должно быть.

С трудом приподнялся Никита. От неудобного сна наболевшую шею нельзя было двинуть. Голова как чужая, тяжелая. Слабость в ногах и в теле, и легкость от слабости.

Мешки отнесли в уголок. Сидевшего неподалеку надежного мужичка попросили «взглянуть» и вышли на волю.

Свежим ветром пахнуло от глубокого синего неба. Медленно набухали и капали капельки с крыши.

Через полотно железной дороги направились в поселок, где скривилась на крыше вывеска чайной. Начинавшая оттаивать грязь уступала ноге. Окна были еще занавешены белыми занавесками.

В чайной тепло. Нечесаная девка, со сна апатичная и хмурая, еще не проснувшаяся, растапливала куб, кирпичный, вымазанный красной глиной. Сели у солнышка, к окошку. Говорить не хотелось.

...Чай был ярко-желтый и мутноватый. Солнце скользнуло в стаканы и задрожало зайчиком на потолке.

Никита выпил стакан, но без вкуса. Подали яйца. Никита спешил поскорее позавтракать, чтобы сбросить с себя неприятную какую-то легкость. Но яйцо показалось ему травянистым на вкус, и от вида его тошнило.

А Вася с Митрошиным ели аппетитно, набивая рот хлебом до того, что в разговоре выпучивали глаза и издавали вместо слов мычание.

— Ты что же не ешь?—сказал вдруг Вася Никите.

— Не хочется...

— Ешь. Ты какой-то невеселый сегодня.

Никита молчал. Устало назад откинулся, к спинке стула, ноги вытянувши. Итти никуда не хотелось. Сидеть бы вот так, да подольше.

...После чая скитались по станции. Поезд—сказали—пойдет только завтра. Никиту тянуло прилечь. Он всюду садился: на мешки, на окно, на скамью и искал прислониться, но везде неудобно и все только мучило.

За обедом не ел. Хлеб показался ему черствым и не было слюны, чтобы смочить его. А яйца видом своим тошноту вызывали.

Тут только Вася с Митрошиным стали приглядываться к его невеселому вытянувшемуся лицу. И раза два заметил Никита, что о чем-то они меж собой переговаривались, полусловами, слегка отвернувшись.

В 4½ часа ударил служитель в колокол и прибавил ряд слившихся звуков—«вышел»!

Забеспокоились, встрепенулись, забегали, пошли узнавать—вышел почтовый: билеты не выдаются. Вася просил хоть один для больного... Послали к начальнику станции.

У начальника станции Никита хотел показаться больным. Но он только позволил себе не сдерживаться, не бодриться, как почувствовал такую действительную слабость, что взялся рукой за какой-то шкафчик и заметил, что ноги его задрожали.

Начальник станции сказал, чтобы дали.

VIII.

Праздничный—после нехотя приходящих и нехотя отправляющихся товарных—вломился почтовый. Никита хотел взять с собою хоть пуд, но Вася с Митрошиным решительно настояли, чтобы он ехал порожняком, обещая привезть.

Никита вошел на площадку. Но сообразив, что стоять на ветру опасно, начал протискиваться в вагон. Дверь от тесноты не открывалась, и только сказавшись больным Никита вошел. Прислонился у двери. От суеты ли или от усталости произошел легкий перерыв в сознании—и очнувшись, Никита заметил, что поезд уже идет.

Перед ним сидела женщина с большим узлом на коленях. В проходах плотно утискавшись стояли сплоченной массой. Колебались в ту или другую сторону при всяком движении.

Никита почувствовал, как ноги его наливаются свинцом и слабеют и как потом начинают дрожать. Стал приглядываться, как бы присесть. Но каждый краешек был так окончательно использован, что нечего было и думать—и он отвернулся к окну.

В окошке летели леса, поворачивались деревушки, кружились поля.

И Никита стал думать, как бы на полу устроиться. Сил больше не было, и он опустился медленно на пол. С коленями у лица в неудобной позе почувствовал все же, что так ему легче.

То и дело кто-нибудь выходил и снова возвращался, и всякий раз Никите приходилось подниматься. Его это мучило. Он ненавидел этих краснолицых, протискивающихся сквозь толпу здоровых людей, своих мучителей, которым несмотря на тесноту не сиделось на месте. Да еще иногда они, когда он поднявшись ждал, останавливались около него и что-нибудь кричали оставшимся товарищам. Трудно было сдержаться. Но Никита знал, что слова не помогут и терпеливо ждал. Так как это повторялось часто, то он решил не спешить подниматься и только, когда ему говорили:

— А ну-кось, товарищ, встань-ка.

Только тогда он вставал.

Женщина с узлом вставала иногда на минуту: у ней от продолжительного сиденья затекали ноги, но скоро опять садилась. Она бы пожалуй постояла и дольше, да боялась займут. А Никите, больному, скрючившись сидеть было мучительно, и казалось блаженством посидеть хоть

немного на широкой скамье, где сидела она. Сказал ей об этом. Но она, отвернувшись к окну промолчала.

Поезд все мчался, стучали колеса и женщина с узлом глядела в окно.

...К вечеру слышно было, как с криком и плачем садились на станциях. Вагон, переполненный как тюк, брали штурмом. Большая струя народа, ожесточившаяся мукой, раскрыла дверь и рвалась в середину. Требовала, чтобы встали меж лавочек и на лавочках.

— Там висят на подножках, а они здесь расселись, сволочи!

Никиту напором людей отнесло в середину, и он стоял теперь подпираемый со всех сторон плотно стиснувшейся толпой. Ноги его были слабы, но он на них почти не упирался, так плотно сдавила толпа. Думал о том, что не выдержать. Знал, что не выдержать и знал, что придется стоять. Впрочем, мозг его работал неотчетливо, и быть может иногда он терял сознание.

В вагоне темно, а когда стемнело—не помнил.

Свечка горит в руках запасливого пассажира на полке, а когда зажигали—не видел.

Когда же утискались несколько, и каждый стоял на своих ногах, Никита сейчас же спустился на пол и к чьим-то ногам привалился.

— Кто это—закричал тот.—Ишь ты барин нашелся!

— Больной это, сказал кто-то.

— Все мы больные,—заорал здоровенный бас,—вставай, говорят тебе!

Но Никита лег боком на грязном холодном полу, без колебания решившись лежать, что бы ни было.

Брань продолжалась. Ругались и другие. Как бы сквозь дрему доносились к Никите ругательства. Так и не расслышал он, на чем успокоились. Чувствовал только, как толкали его в бок сапогом, что-то крича, как через него перешагивали, и кто-то больно наступил ему на ногу. Потом отстали.

IX.

И в глубоком сне какая-то связь остается с жизнью. Никитин сон был похож на обморок. Проснулся от грубого в спину толчка:

— Вставай, будя спать-то!

Не понял сначала Никита где он. Почему-то показалось ему, что он в каком-то огромном зале лежит на полу среди расступившейся толпы, и что-то случилось ужасное. Но потом увидел потолок с вентилятором, солнечную ясень, истомленные лица, и вспомнил, что он в вагоне—едет домой.

Начал вставать. Ноги, казалось, чужие. Резиновые как будто. Спросил он станцию—Раменское.

Раменское... Где-то название слышал. Соображать, где эта станция и сколько осталось—не хотелось. Не важно.

В массе усталых, измятых лиц, воспаленных бессонницей глаз, узнал он вчерашнюю женщину с узлом. И она очутилась в толпе и устало томилась. Припомнил вчерашнее. Не важно. Удивился только, как выдержал.

Кто-то сказал: Ну, а теперь и Москва недалече. Но Никите не надо в Москву. Когда-же неожиданно кто-то сказал на одной остановке:

— Вишняки.

Никита, точно проснувшись, поспешно протискался к двери и вышел.

Глубокое синее небо вчерашнее. Ветер пахнул навстречу, живой, отлетающий, снеговой, хоть и не было снега. Ели верхушками острыми врезались в синь. За лесом чудилось солнце.

Входя в здание станции, странную легкость чувствовал Никита. Как будто бы шел не он, а кто-то другой, резиновый. В буфете спросил себе чаю стакан, две конфеты. Но чай был настолько бесвкусный, что выпил с трудом два глотка и конфеты не съел: противна была ему сладость.

На широкой пустой скамье прилег он немного. Голову подпер ладонью. Боли нигде не чувствовал. Вспомнил, что вчера ничего не ел и сегодня тоже. Но в душе было по особенному ясно, покойно и мирно. Прошлое не интересовало, предстоящее тоже. Мысли его шевелились, как щенята слепые.

Сколько он так пролежал, он не помнил. Уставала рука, подпиравшая голову. Встал, наконец, и вышел на волю. Чтобы попасть на свою дорогу, предстояло пройти через лес—версты полторы.

Лес, где он шел, был сосновый. Скоро устал и присел на пеньке. Но сидеть было лихо, и он спустился на землю. Спрятал лицо в воротник шинели, и вновь зашевелились слепые щенята.

Очнулся и вспомнил, что нужно итти. Встал и в солнечных тенях побрел. Сыро немного в лесу. В оврагах припрятался снег, засыпанный иглами.

Через каждые десять шагов Никита присаживался на пенек или уткнувшись лежал на земле. К вечеру красноперый зяблик сел над ним на сосновую хвою, нарушив ее равновесие, и быстро быстро сказал длинную фразу на своем певучем языке, точно спросил о чем-то участливо.

Никитой овладел прилив жалости к себе и он заплакал.

X.

В Кусково пришел только вечером. Очередь двигалась медленно. Слышался стук компостирующего билеты кассира. Никита сидел на полу. Когда же очередь отрывалась от него и сзади слышались нетерпеливые голоса и даже толчки, вставал и, протащившись немного, садился опять...

В вагоне присел на полу, прислонившись спиной к каким-то мешкам. В воротник шинели уткнулся. И пусто было в сознании...

Мучительно долго шел поезд, укачивая механизируя, вытрясая остатки сил. Было так трудно Никите, что казалось не вынести...

На своей станции, выходя из вагона, как в тумане увидел Никита полуватную сияющую лампочку над фасадом вокзала и людей, врассыпную отделившихся от вагонов, как будто сам поезд разбился на кусочки. Прошел освещенным вокзалом, не глядя вокруг и не видя знакомых. И в черной струе пассажиров вышел на темную площадь...

Четыре дня был в отъезде Никита, но улица, на которой он жил, пустынная, с качающимися от ветра электрическими фонарями, казалась ему изменившейся, неузнаваемой, точно видел ее он впервые после долгой отлучки. Отцовский дом казался осевшим, притихшим, обрюзгшим. В окнах было темно.

Дернул за ручку звонка. Где-то забился в истерике язычек колокольчика. Бросился с лаем Султан, но понюхав под дверью, утих. Открывал Иван Федорович. Услышав слабый голос Никиты—заторопился. Должно быть лицо у Никиты было так страшно, что лампа у Ивана Федоровича дрогнула, и он с испугом спросил, берясь за стекло:

— Никита, ты что?

Никита ничего не ответил. Как автомат прошел он мимо отца. А дома, раздевшись бросил на пол шинель и лег на кровать.

Вернувшийся следом отец поставил на стол единственную в квартире лампочку и опять испуганно спросил, подойдя к кровати:

— Ты что, Никита?

— Захворал,—одним только ртом ответил Никита.

Из-за перегородки вышла Анна Марковна, на ходу застегивая кофту—она уже спала и встала теперь нарочно.

— Што с ним?—спросила она шопотом.

— Што! Што! Не бабье тут дело!—неизвестно отчего рассердился Иван Федорович.—За доктором надо, вот што!

И постояв немного действительно сейчас же оделся за доктором.

Доктор Сергей Константинович, высокий, плечистый, привычно разделся и вместе с собой внес свежесть и холод. Увидев больного, придвинул к кровати стул и сел.

— Вы можете встать?—сказал он громко.

Никита открыл глаза и сделал локтями усилие. Стоявший у изголовья отец приподнял его. Доктор поставил термометр.

Через три минуты он вынул его. Отвернувшись к стоявшей на столе лампе—взглянул и сдержанно свистнул.

— Ну, а теперь разденьте его.

Иван Федорович поспешно и осторожно снял с Никиты гимнастерку, рубашку и доктор начал выслушивать худое тело Никиты, прикасаясь холодной трубкой к выступавшим его ребрам. Затем он простукал молоточком грудную клетку, остановившись особо внимательно на одном месте. И после этого жестом предложил одеть.

— Н-да—сказал он—дело серьезное.

Над рецептом с минуту задумался, потом быстро набросал несколько знаков и, объяснив, что делать, встал и пошел одеваться.

Когда Иван Федорович с лампочкой провожал его и с надеждой заглядывал ему в глаза, чтобы спросить,—доктор сделал гримасу, отвернулся и точно сердясь отрезал:

— Не выживет.

Умер Никита на пятый день. Перед смертью отчетливо знал, что умрет. Болей не было, но жизнь уже меркла и меркла. Со всем примирился. Не знал он прежде, что так легко примириться со смертью. Страшно подумать о ней здоровому, а в смертельной болезни она не страшна.

Пожалеть бы кого... Но жалеть было некого. И даже отца, обескураженного, который заглядывал с отчаянием в лицо каждому проходящему и, кажется, страстно просил защиты—и его не было жаль. Ведь и он со всем своим горем все же счастливее: он не умрет. Потому, что ведь жить все же лучше.

Мих. Сокольников.

На Унже.

Пойду Русь смотреть,
Стану песни петь...

Весенним, ветреным солнечным днем чистенький белый пароходик «Шомохта», отвалив от Юрьевца, везет нас в Унжу. Весной, в разлив, Унжа кажется большой, капризной рекой, особенно при впадении в Волгу, где низкая местность—громадные луга. Пароход бежит весело, бойко, необыкновенно сильно стукая колесами. Зашипело в трубе,—и посыпались длинной полосой большие, красные искры: пароход идет на дровах, здесь и раньше не знали «этой нефти».

Пассажиров не много. В первом классе—пять-шесть хорошо одетых, по-видимому «столичных», командировочных; остальные мужики—с топорами, пилами и бесконечными котомками. Курят махорку—«самосад», пьют чай из жестяного, прочерневшего чайника. Помоложе—с тальянкой, их двое, возле—любопытствующие и три девицы, нарумяненные «бумажками» и через каждые пять минут вынимающие из платка зеркало, чтобы «посмотреться».

Стук колес, неясный разговор, звуки гармошки. В срединной России, в центральных губерниях играют и танцы и песни, а здесь таких мало: тальянка знает «частушку», бесконечную «тыну-тыну», кадриль да, пожалуй, и только.

Девицы негромко подпевают гармошке...

Моего миленка сдали,
Угонили на войну-у-у...
Прострелили праву рученьку
Духане моему-у-у...

У мужиков—степенный, серьезный разговор. В дороге они любят эти деловые разговоры. Беспрерывно куря, подергивая бороды, рассказывают о политике, ценах, деревенских новостях, комментируют.

— Эй, дядя Парфен, горишь!

— Да полно, паря, где?

— Вона, шапка-то, дымится.

Искра, величиной чуть-ли не полкулака, в самом деле залетела на шапку Парфена и сделала в ней большую дыру. Дядя Парфен обеими руками быстро схватывается за шапку и мнет пальцами уголь, но уходить с своего места не собирается: может, больше не залетит, а уж так славно греет тут солнышко.

Пустынны, мало-приветливы берега Унжи до Макарьева: леса дальше, глубже, по обе стороны берегов. Верст пятьдесят еще летят за пароходом чайки, да и те постепенно отстают, и кругом полная тишина и безлюдье.

Иногда попадаются села и деревни, такие же, как и вообще все русские селения—деревянные, с белой церковью на окраине, с скворечниками, с петрушками и резьбой на наличниках и фронтоне.

Пароход пристает не часто. Пронзительным свистком, от которого шарахаются птицы, оглашается воздух, все как-будто пугается,—и пароход носом тыкается прямо в берег. Выбегает с пешней матрос, глубоко втыкает ее в землю и зачаливает канат. Пароход «у пристани».

Пристали, оказывается, грузить дрова. Капитан, в валенках, меховой шапке, с угрюмым лесным лицом, идет в каюту пить чай. Пассажиры, в большинстве, выходят на берег, собирая цветы, ветви ракитника, а некоторые отправляются в ближайшие деревни—за молоком, яйцами, маслом. Команда грузит долго, четыре—пять часов; работа тяжелая, до нескольких потов. Только и слышно, как раздается громкое «Труш-ша»,—и дрова летят вниз, к топке.

...Опять громко застукал пароход,—и снова эта лесная тишина, эти пустынные, безлюдные берега. С парохода кто-то выстрелил: оказывается недалеко болото и целое стадо уток.

— Дичи здесь много,—рассуждают мужики,—всю и не перебьешь. А что раньше было—и не рассказать...

Скоро уже и Макарьев. Вон, в синем тумане, виднеются горы и голубая церковь. Но Унжа здесь делает большой «кривуль» и много проходит времени, прежде чем не показывается пристань.

Попадается много барок с дровами. Это, должно-быть, последние: вода быстро сбывает и нужно успеть доплыть до Волги. Барки длинные, ладные, просмоленные, с домушками, загружены много, аккуратно. На них оживление—народу много: парни, мужики, девки и бабы. Когда встречаются с пароходом, смеются, кричат и машут чем попало.

Встретили и засевшую на мель сойму. Села она основательно и, поравнявшись с ней, водолив переговаривается с нашим капитаном:

— Третьеводни сели... Прямо в песок... Ветрено...

— Дождей теперь дожидайтесь,— ухмыляются мужики с парохода.

Вот и Макарьев, тихий городок на крутой, высокой горе, с старинным знаменитым монастырем, с чижевским техническим училищем. На берегу суетня, но там, на улицах города, пустынно. Никого, как-будто люди вымерли. А как тут уныло зимой, когда замерзает Унжа, а до железной дороги несколько десятков верст!

Скоро здесь ярмарка, уже сгоняют плоты, съезжается публика. Раньше Макарьевская ярмарка шумела, были большие сделки, бойко шла мелкая торговля, пищали дудки, вертелись «вертелки», кидались костяшки. Много было соблазну, проживалось не мало тут потом заработанных

денег, не мало было пьяных побоищ, доходивших, порой, до убийств. Гуляли приказчики, хозяева и их сынки, гулял и мужик, довольный, что благополучно доплыл и в целости доставил лес.

Пароход в Макарьеве стоит долго,—и уже темнеет, когда он отходит.

...Хорошо на Унже весенними, теплыми ночами! Ночами тут больше жизни и кажется, что в лесу шумят, бродят, поют какие-то таинственные, чудесные песни. Не веришь, что где-то большой, бурлящий мир, города, торговля и крики.

На пароходе зажглись огни, суеверные лесные мужики на сон грядущий рассказывают небылицы,—и четко, быстро хлюпают спицы колес.

И по берегам огни: это на плотах—они не идут ночью, зачалились и ждут рассвета. Огней много, один за другим, и горят они длинными языками.

...Вот он, начался этот край лесов и кустарных промыслов! Погулял здесь топор за последние годы, порубил чащи и перелески; да много свели и пожары. За пять лет Унжа не мало дала топлива нашим фабрикам. Сколько рук работало, сколько съедено овса лошадьми!

На берегах целые вереницы поленниц—дров. Рубили их зимой в сугробах, уходили в леса, в зимницы, зимой же, к весне, строили и барки. Всем селеньем ходили смотреть на спуск их. Стоит барка на одном «попе», а какой—нибудь бесстрашный Онуфрий идет под нее и подрубает. Затрещало все, закачалось, один миг,—и барка, как белая лебедь, плавает в воде, и так-то легко, свободно.

С каждым годом все больше и больше мелеет Унжа—плохой знак: много повырублено лесов, много зря, хищнически, без всякой пользы.

...Проехали Ветлужский перевоз, начались лесопильные заводы, единственные, кажется, в крае. Это уже Мантурово, быстро растущее село, через которое проходит железная дорога на Вятку и дальше, на Сибирь. В этом месте пахнуло городом, шумом; мост через Унжу и поезд напомнил движение, борьбу.

Плотов все больше и больше, нескончаемые вереницы. Капитан не сходит с мостика, ругается, лоцмана устали вертеть рулевое колесо. Пароходу трудно лавировать, Унжа пошла уже.

Наконец, кормой задело один плот. Мужиченко на нем забегал, и, ворочая гребком, заругался по адресу нашего капитана.

— Ах, ты лешой, лешой... Ах, ты демон, демо-он...

«Леший»—любят говорить в этих местах, это, должно быть от старого, языческого.

Днем еще интересное явление. По берегу бежит мужичек с котомкой и «вопит» пароходу:

— Дяденька капитан, сделай милость—посади... Очень пра-а-шу-у... Посади, господин капита-а-ан...

Капитан кусает усы, долго думает и, наконец, решает посадить.

— Приставай, ребята,—говорит он лоцманам.—А ты потарапливайсь, чего задерживаешь, ну, ползай скорей, тюха.

Пароход тыкается носом в берег, мужичек прыгает,—и идем дальше.

Впереди—красивейшие места Унжи: Спас, старые усадьбы по горе, с колоннами и садами. Тут еще недавно жили помещики, обычно, лесопромышленники, а теперь—совхозы.

В стороне идет Межа, золотое дно, где крестьяне трудолюбы и хорошо умеют возделывать хлеб. Живут на Меже крепко, зажиточно, нарядно, любят угощать и гонят самогон.

В рубке первого класса ведется оживленный разговор о крае и его богатствах, о том, как вели лесное хозяйство, прежде и как теперь.

— Что вы ни говорите, что далеко железная дорога, а промышленность наладить здесь можно. Взять вот спичечные заводы, опять же лесопильные. Если бы провели дорогу Кинешма—Мантурово, как хотели, еще в четырнадцатом году, зашевелилась бы эта лесная сторона. Мало вот у нас энергичных, предприимчивых людей.

И разговаривающие вынимают деревянные портсигары, вертят «легкий» и закуривают.

Солнце печет сильно, Унжа пошла все уже и уже. Будто не едешь, а идешь по лесной тропинке и прямо на тебя свешиваются ветви черемухи. Ее здесь много, воздух полон ее ароматом и запахом цветов.

Встретился пароход «Могучий». Это—крошечный буксирик, который в половодье таскает барки, а, когда кончают рейсы большие пароходы, возит и пасажиров. У нас любят часто миниатюрному давать героические названия: на Унже есть еще такой же пароход—«Смелый». «Могучие» и «Смелые» ходят до последней возможности. Хоть их и называют «горчицей», но пассажиров они готовы вести до последнего вздоха. Воды всего три четверти, рядом по колени ребятишкам, а «Могучий» работает колесами, взмутил весь песок, команда взмокла, упираясь в дно шестами и, кажется, нужно сложить оружие. Но нет: проходит пятнадцать—двадцать минут—и «Могучий» сдвинулся с мели и бойко бежит дальше.

А там—Кологрив, последний город на Унже, на бульваре которого днем вместо людей гуляют коровы и лошади, где жители страшно любят устраивать любительские спектакли и где все знают всю подноготную друг друга.

Дальше—уже сплошные леса и все реже и реже деревни. Летом чуть не до смерти могут закусать комары, а зимой выходят стаи волков.

Край без истории... Все лес, да лес, болота,
Трясины, заводи в ольхе и тростниках,
В столетних яворах... На дальних облаках—
Заката летнего краса и позолота.

Да, край без истории... Богатый, нетронутый край, без железной дороги, с обмелевшей рекой, без кинематографов, без свежих журналов и нужных культурных людей. Но край, который в недалеком будущем сделает себе историю, покажет все свои природные богатства и зашумит новой, волнующейся жизнью...

Квадрат Кубов.

На духовные темы.

1. Нашествие иноплеменное.

Пожалуйста не подумайте, что про Керзона. Проще.

Действие в пригородной деревне. Зной и духота. На обед мужики попрятались в избы. Скотина мычит в хлевах, куда укрыли ее от ехидных мух.

Пустынной улицей бредет мужчина в рыжем подряснике. Соломенная шляпа бадейкой. В правой руке ведро, в левой корзина.

Простоволосая баба вышла из дома за водой на колодец, посмотрела на странника и с криком—«батюшки, попы!» повернула в испуге назад и скрылась, хлопнув воротами.

В тени мохнатой старой ивы мы с Яковом наблюдаем за путником.

Яков бездельный мужик. У него пала лошадь. Он продал корову с овцами и купил другую. Новую лошадь угнали цыгане. Яков упал духом, махнул рукой на хозяйство и живет через пень-колоду. Все равно не вылезешь из нужды. Он ловит рыбу, которую продает на базаре, иногда батрачит, а чаще бьет баклуши, с Сократовским терпением перенося за это жестокую брань своей Анны, в ожидании лучших времен.

— Вот хвабрики запустят, тогда оштапоримся.

Прохожий в рясе остановился у окон крайней избы. Постучал в раму:

— Хозяева!

Огненно-рыжая голова Никиты высунулась по плечи на волю.

— Чего тебе?

— За Петровками,—басит подрясник.—От Рождественского причта.

— Гм,—крякает Никита.

Минуту размышляет, кряхтит, чешет бороду и, покрутив головой, исчезает в окне.

— Носит вас нелегкая,—долетает из избы его недовольный голос.—Марфа, давай что ли...

Немного погодя из окна высовывается узловатая рука с чайной чашкой. Странник выливает в ведро из чашки сметану, вычищая посудину указательным пальцем, который потом с аппетитом облизывает.

— А яичек?—ласково говорит он в окно.

— А вот это видал, отец дьякон?—доносится из избы хмурый голос и в окне появляется красноречивый кукиш.

— Тьфу,—плюет дьякон и направляется к следующей избе.

Снова стук в раму:

— Хозяева, а хозяева!

— Любят сметанку,—насмешливо бурчит Яков, подкашливая.

На улице еще фигура. В одной руке ведро, в другой корзина. Такой же подрясник. Над головой парусиновый зонт. Лицо веселое, открытое. Дружелюбно кивнув в нашу сторону, подходит к Никитовой избе.

— Эй, любезные,—кричит звонким тенором.

Никита высовывает голову.

— А тебе что?

— Бог милости прислал,—сообщает гость.

Никита сбит с толку, подозрительно смотрит на вестника высокой милости. Угрюмый вопрос:

— За Петровками?

— Обязательно,—утешает гость.—Не приди, ведь обидишься, а?

Никита шумно вздыхает на всю улицу:

— Корова не доит, куры несутся плохо. Сами без молока...

— Мне молока не надо. Дашь сметанки малость, да пяточек яичек и довольно.

— Любишь сметанку?—ядовито окрикает Яков, не в силах сдержаться.

— А ты не любишь?—весело парирует владелец зонта.

— Марфа, дай что ли этому,—зло говорит Никита, смотря через плечо в избу.

— Носят их черти!—слышится бабий голос.

Через некоторое время зонт белеет у следующей избы, а к окну Никиты приближается третья фигура в таком же облачении, с ведром и корзиной.

Никита с треском закрывает окно. Тщетны все усилия достучаться.

— Почтенные, где же хозяевы?—недоумевает фигура, обращаясь к нам.

2. Трансформация.

Пожалуйста не подумайте, что из области естествознания. Гораздо проще.

Мы на собрании живой церкви.

Румяный, плотный старичек с крестом на груди и вдохновением в глазах докладывает:

— Христос был коммунистом. Надо следовать его заветам. Церковь следует подвинуть ближе к жизни. Ныне власть трудящихся и с ней надлежит быть в контакте, потому что Христос был за трудящихся...

Знакомый голос. Знакомые жесты. Кто это? Ба, помню!..

Давно тому назад, в духовном училище, отец Назар исповедывал меня в страстную седьмицу.

На левом клиросе аналой, крест. Батюшка смотрит прямо в глаза, так что со страха ноги подгибаются.

— В Бога веришь?

— Верю.

— В постные дни молоко хлебаешь?

— Хлебаю.

— Вот, погоди—на том свете тебе пропишут молоко! Табак куришь?

— Маленько.

— Ах, свиненок. Курит, да еще рассказывает про это. Ну, погоди— ужо смотрителю доложу... Ленишься?

— Ленюсь.

— Вишь, какой! Ну, а еще что? Говори грехи... Сколько тебе в четверти я вывел по Закону Божию?

— Тройку.

— Больше не стоишь... Чего глаза выпучил? Говори, какие еще грехи.

Полный глубокого раскаяния, я в отроческом экстазе решаю открыть самый ужасный грех, который камнем давит мою разбойничью душу.

— Помните, отец Назар, вы в саже измазались после уроков? Так это я сделал... грешен. Вы задали наизусть 45-ю кафизму, а у меня зубы болели... грешен... я не вру. А вы мне единицу и без обеда оставили. Я рассердился... грешен... и на другой день вам в шляпу печной сажи насыпал. Грешен, отец Назар... больше не буду никогда... ой, больно!

Отец Назар толстыми пальцами закрутил мое ухо и потянул к верху, так что я поднялся на ципочки. Потом за ухо нагнул голову к полу, так что я присел на корточки. Проделав такую гимнастику несколько раз, я услышал гневный, сдавленный шопот духовника:

— Марш к инспектору, чертенок! Скажи, чтобы запер тебя сию минуту под замок. Ах, Иуда нечестивый! Ах, мерзавец шелудивый!

Через полчаса я проливал горькие слезы, запертый в классе и кулаком грозил иконе в углу.

А сейчас вот слушаю бодрые, революционные слова отца Назара:

— Церковь не должна быть врагом трудящихся. Сказано: отдай последнюю рубашку...

Впрочем... впрочем, извините, отец Назар. Кто старое помянет, тому глаз вон.

Г. Бейчек.

Политическая Чехословакия.

I.

Чехословацкая республика детище отчасти революционной грозы в 1918 г. и отчасти союзной капиталистической дипломатии, которая после войны занялась искуственным сколачиванием новых государственных объединений.

Вследствие этого при колыбели чехословацкой республики стоял рядом наивный энтузиазм всех слоев народа, ведущего длинную и кровавую борьбу с полицейской австро-венгерской империей, и хитрая расчетливость Антанты, которая ловко использовала искренний порыв в своих контр-революционных целях.

Чехословацкая буржуазия на практике не была революционной даже по отношению к старой гнилой империи. То обстоятельство, что видный ее вождь, старый враг социализма и ярый шовинист—Крамарж, был австрийской полицией помещен в тюрьму—на время войны и что он «чуть чуть не был казнен» (как до сих пор гордо заявляют его политические друзья)—ничего не говорит, ибо чехословацкая буржуазия вместе с немецкой, венгерской, польской наживала крупные состояния на военных поставках и вопрос о военных прибылях был для нее гораздо важнее, чем государственная самостоятельность Чехословакии.

Русская пролетарская революция надорвала силы германской и дунайской империи и в результате—германская революция и падение австро-венгерской монархии..

И даже в последний момент, когда полицейский дух старой Австрии уже покидал гнилое государственное тело, даже тогда чехословацкая буржуазия по примеру старых либеральных кастратов из 1848 г. таинственно собиралась в «Маффии» (союз заговорщиков) и советовалась, как бы ей сделать революцию, но как бы при том не рассердить с одной стороны милых союзников, а с другой как бы не разыграть революцию слишком «кроваво».

14-го октября 1918 г., когда австрийские полицейские ищейки жадно рыскали в рабочих кварталах, зная, что отсюда грозит что-то больше, чем из домов буржуазии, пражские рабочие организовали крупную демонстрацию за социалистическую республику, рискуя подвергнуться самому грубому террору со стороны австрийских жандармов. А буржуазия заседала в «Маффии».

Только 28-го октября, когда стало всем известно, что Карл австрийский отрекся от престола, вышли наши герои, потомки гуситов, из своих пивных, где тайно заседали, и ударяя в грудь заявили, что «революцию» можно начать. Конечно, дальше сбивания австрийских двухглавых орлов, дело не дошло и по сегодня, хотя некоторые злые языки утверждают, что дело пошло дальше, но назад.

Впрочем, нельзя не отметить, что все эти отдельные эпизоды прошли незаметно под волной необычайного энтузиазма, который охватил решительно все слои населения, рабочих масс не исключая.

В националистическом угаре как то даже не замечалось, что старые «вожди» рабочих что-то очень страстно обнимаются с Крамаржем, который их принимал, как блудных сыновей, и с высоты своего политического опыта побранил, за ушко взял—за их прошлую радикальность. Многие не заметили также, что бывшие «непримиримые» сделались ручными и что на их знаменах исчезли слова «классовая борьба», а появилось нечто новое, но тем не менее очень старое: «все в интересах республики».

Угар был длинный и тяжелый. Пир продолжался долго, но за то и похмелье чего нибудь да стоило.

Первое правительство Чехословакии было «социалистическое» во главе со старым социал-демократом Тусаром. Наступило время лихорадочных планов и проектов.

Вашингтонская декларация проф. Масарика была объявлена государственной программой. Конфискация крупных имений, отделение церкви от государства, социальное обеспечение старикам и больным, национализация угольных шахт, желдорог и крупных заводов... чего, чего тут только не было.

А между тем и декларация, и ее лихорадочное обсуждение (пока) и все эти громкие слова не были ничем другим, как выражением звериного страха буржуазии перед измученным пролетариатом. Но рабочие массы не поняли этого.

Они притворство и плохо скрываемую панику приняли за искреннее стремление к гражданскому миру.

И как им понять?! Ведь их старые «испытанные» вожди искренно радовались вместе с Крамаржем и считали «свою» демократическую республику высшим достижением XX века.

В медовый месяц молодого государства многое сошло с рук. И то, что в кабинете Тусара министром иностр. дел назначен контр-революционер Крамарж, и то, что тот же Крамарж слишком ясно говорил о Сибири, (1918—1919). что чехословацкие войска во имя спасения славянства должны с оружием в руках возвратиться через Москву (Советскую) и всю европейскую Русь. И наконец и то, что «прекрасная» Франция готовилась с легкой руки Крамаржа превратить Чехословакию в свою европейскую колонию-

И народ гуситов продолжал ликовать. Правда, кое где нашлись смелчаки, которые робко заявляли, что гуситы были собственно коммунисты. Но их тут же призывали к порядку, к народной дисциплине и проч.

Так продолжалось до возвращения «признанного» вождя народа проф. Масарика из его заграничных поездок по организации чехословацкой «революционной» эмиграции. Вся работа старика за границей сводилась к улаживанию гнусных афер среди эмиграции и к личному обиванию порогов у антантовских министров. Как это не надоело когда то честному бойцу за социализм и правду!

Но повидимому, судьба хотела того, чтобы стойкий и редкий боец против остатков европейского феодализма сделался соратником и верным товарищем палачей рабочего движения и европейского «социализма.»

А кстати и социал-демократия изменилась и перспективы стали другие. Соц. дем. перестали быть тем, чем были до войны, они прежде всего утеряли потребность проповедывать международную солидарность пролетариата вне границ государств.

С того времени начинается «строительная» государственная работа мелкой буржуазии в интересах и в пользу крупного капитала, ибо проф. Масарик, равно как и старые соц. дем., уже скатились на последнюю ступень тем, что отвергли классовую борьбу во имя интересов государства, т. е. во имя интересов буржуазии. Это первое явное падение, однако, осталось незаметным для широких рабочих масс.

Масарик сделался скрепляющим цементом политических партий Чехословакии. Получилась разноцветная, подогретая кашица, в которой были и явные националисты-погромщики (народовые демократы) и аграрии, и соц-демократы и клерикалы.

В этом трогательном единении прошли два бурные года, 1919-1920. В первом году все внимание молодой республики было обращено отчасти к Версалю, отчасти к Сибири. Союзники торговались о форме и количестве компенсации, которую должна уплатить им молодая республика за то, что они признают Чехословакию «исторической государственной формацией», а чехословацкие корпуса в Сибири сражались против каких-то большевиков. Словом, ничего не понять, что делается—говорили рабочие в Чехословакии, но стали уже чутьем кое-что угадывать, о чем не говорила оффициальная печать. Передавали друг другу, что в Сибири целые полки чехословаков взбунтовались, что есть среди них много большевиков, что чешские большевики возвратились из России и ведут агитацию, что многие из видных социал-демократов открыто переходят на сторону большевиков, что марксистская левая беспощадно открывает измену старых правительственных социал-демократов, которые за сипекуры (теплые местечки) отказались от классовой борьбы и предали рабочих с головой «своей» буржуазии и т. д. Словом, зашевелилась рабочая братва и многое из того, что им нравилось еще в прошлом году, показалось ей сразу отвратительным кривлянием вождей.

Но умная буржуазия знала, как подойти к недовольным. Она убрала самого матерого обожателя царского кнута, министра иностранных дел Крамаржа.

А тут подоспела встреча «храбрых освободителей», которые после падения Колчака возвращались, хотя не через Москву, но все-таки в боевом порядке, на антантовских военных кораблях через Америку, или через Индию и Суэз.

Буржуазия и тут-то использовала в своих интересах эти вооруженные массы. Самым отчаянным головорезам и псевдо-большевикам были приподнесены немедленно теплые местечки.

Вчерашние палачи сибирских рабочих и мужиков поднялись на пьедестал народных героев и жадная толпа не хотела знать их прошлое. И угар наростал, душил свободную мысль, и буржуазия, зная прекрасно, что ей нечего бояться, принялась за подделку общественного мнения.

Но как бы ни старались социал-демократы произвести молодую республику в разряд образцовых государственных формаций, все же жизнь брала свое и классовая борьба все больше вступала в свои права. Многим рабочим уже ясно, что их боевые организации, которые они строили с упорством в течение 25 лет, стали никуда негодными, что профсоюзы амстердамского пошиба сплошь и рядом Исполкомы по делам буржуазии, что сама социал-демократическая партия не партия пролетариата, а партия мелкобуржуазного гниения, что буржуазия оправилась уже от первой паники и собирает свои растрепанные ряды для сплоченного нажима на рабочий класс.

Все это стало понятным, однако, только сознательным слоем рабкласса, большинство же утопало еще в социальных иллюзиях.

И вот 1920 год.

Хвастовство буржуазной демократии доходит до высшего предела. Открывается торжественное учредительное. Начинается старая, избитая комедия и повторяются никому не нужные и тоже давно сказанные лозунги. «Вся власть—народу», «вся сила в народе», «все для народа».

И как призраки революционного прошлого века выступают те-же ничтожества, которые тогда схоронили революцию. Все они здесь, начиная от сторонников крепостного права, до «воинствующей» демократии, воюющей бумажными мечами. Все сошлись, даже клерикалы, заклятые враги республики, пришли ее приветствовать в той стране, где 350 лет тому назад гуситские коммунисты закрывали церкви, сжигали монастыри и по своему расправлялись с папским Римом.

Какое трогательное единение! Толстопузый прелат мирно, сложа руки на животе, беседует с свободомыслящим, зная, что тот его не укусит. Банковский делец и крупный капиталист весело смеются в обществе соц-демократа.

Словом, не учредиловка, а Ноев ковчег, где всякой твари по паре.

(Продолжение в следующем номере).

К. М—в.

Зверий лик.

(Обзор белой печати).

Перед нами несколько номеров майских газет, издаваемых заграницей беглецами из России. «Новое Время» Суворинских детей. «Последние Новости» Милюкова. «Руль»—газета кадетов, пошедших вправо. «Дни» газета эсеров.

В одной из статей «Новое время» пишет:

«Лицо России теперь заграницей. Здесь ее просвещенные и мужественные архипастыри и пастыри, имеющие свободный голос. Здесь русские ученые, украшающие европейские кафедры. Здесь писатели, художники и артисты, блистающие своими талантами».

Что спорить—образованной русской публики заграницей сейчас много. Не хватает только самой малости, каких то 120 миллионов населения России, от имени которых в Белграде, Праге, Париже, Берлине и т. д. вещают выброшенные за рубеж профессора, артисты, музыканты, писатели, архипастыри и пастыри. И какой непроходимой и гнилой скукой веет от этих образованных людей, какое пошлое «лицо России», засевшей в заграничных кабаках. Профессор и сенатор Трегубов тешит белогвардейских эмигрантов лекциями на тему «Последние дни царской семьи». Профессор Локоть в ряде газетных статей скорбит, что в русской орфографии уничтожены буквы ять—фита—ижица—ер и предсказывает России позорный политический провал, ежели она не восстановит в правах ять—фиту—ижицу—ер. Воистину, профессор из Бразилии, где даже учителей гимнастики титулуют профессорами.

Митрополит Антоний Волынский, образец духовной добродетели, центральная фигура «мужественных архипастырей и пастырей» в свое время писал в «Почаевском Листке» (1905 год, № 50): «я ваш мужицкий архиерей, к которому всегда открыты двери для всех». Этот воин Христов и «мужицкий архиерей» в 1905 году полагал необходимым для укрощения революции «призыв населения к вооруженной самозащите и самосуд над революционерами». «Баня была бы сильная—писал он—но зато в один

месяц революция была бы сметена с лица русской земли и мы бы возвратились к спокойствию не менее прочному, чем в 1883 году». Сейчас кровожадный владыка вынужден ограничиться в Белграде горячими молитвами о падении на голову Сов. России проклятий Моисеевых, изложенных в 23 главе Второзакония. Какая отличная иллюстрация, что церковь и пастыри совсем равнодушны к политике и заняты исключительно заботами о спасении души. Друг Антония, проф. Б. В. Никольский (тоже профессор!), судя по опубликованной в «Былом» (1923 г. № 21) переписке его с Антонием, рекомендовал в качестве меры борьбы с крамолой истребление главарей и общественных руководителей революции. Сейчас эту меру усиленно пропагандирует «Новое Время», где христианский архипастырь Антоний ближайший сотрудник. По рецепту «Нового Времени» в Лионе—например—организован «русско-фашистский монархический союз», девиз которого «за зуб—целая челюсть, за глаз—весь человек». Увы, только не над кем развернуться: Россия далеко и монархические деятели седьмой год точат «ножи в спину революции», которые жаждет воткнуть даже непартийный писатель—юморист А. Аверченко.

Вообще, монархическая зараза—видимо—свирепствует среди эмиграции и поражает «украшение европейских кафедр», т. е. профессоров, на которых пошел непостижимый монархический мор. Об этом происшествии сообщают «Последние Новости» (948, от 26 мая).

«Высланные из Москвы и Петрограда ученые и писатели весьма оживили культурную жизнь русской колонии в Берлине... Их приветствовали даже в социалистических кругах, когда они начали проповедывать религиозное углубление духа... Однако, по мере того, как мысль вольных академиков раскрывалась полнее, обнаруживалось, что в философии их очень много политики... Они с ярким возбуждением обстреливали те же позиции, что и Марков 2-й».

Судя по словам газеты, ученых углубителей духа и критиков социализма и гуманизма одернули «демократические оппоненты» и «это принесло некоторые плоды». Бердяев, Франк, Степун и прочие стали наливать те же щи, но пожиже.

Однако, это оговорка газеты характерная не только для настроения буржуазной профессуры. Религиозные искания Н. Бердяева и присных—оказывается—«приветствовали даже в социалистических кругах». Не этим ли объясняется, что «социалистические» «Дни» пишут такие передовые и воззвания в защиту Тихона, что создают неистребимое впечатление единства траншеи, в которой засели социалисты не только вместе с кадетами, но и вместе с Антонием и ярыми погромщиками. Общий противосоветский фронт невольно породил общий язык и согласованность мыслей. Из «царства божия», которое ищет Бердяев и компания, из «демократии и свободы» к великому изумлению апологетов их все чаще и чаще выглядывает самая обыкновенная полицейская рожа с аршинными усищами и здоровенными кулачищами. «Лицо России» исподволь, помаленьку приобретает обличье зверя, который устами архипастыря Антония скликает волчью стаю рвать революцию, т. е. ту самую мужицкую Россию, мужицким архиереем которой Антонин себя величал в погромном «Почаевском Листке».

Ведь, фактически то вся перечисленная «Новым Временем» плеяда архипастырей, ученых, артистов, художников, музыкантов своего прямого дела (архипастырьского, ученого, артистического и т. д.) не делает. Политика поглотила все их интересы и внимание. Почти ежедневно доклады и лекции на разные по названию политические темы, но одинаковые по смыслу,который выражается в сокровенном и явном ожидании контрреволюции в России.

Писатели Куприн, Бунин, Чириков и другие иступили свои художественные перья в политических памфлетах «против советов».

Буквы ять с фитой как-будто аполитические особы, а посмотрите, какое ужасное оружие они в профессорских руках Локтя:

«В советской орфографии (без ять) скрывается прямо или косвенно советская идея»...и...«руководимый еврейством натиск на национально-русские устои».

Нота Керзона вызвала сильное возмущение в России. Здешние профессора, художники, учителя и другие слои интеллигенции приняли активное участие в демонстрациях—протестах по поводу ноты. «Руль» и «Дни» иронизируют по поводу такого «послушания» интеллигенции, которая в демонстрациях «шествовала совсем как отряды курсантов».

Оставшийся в России писатель М. Пришвин продал фельетон. «Руль» поздравляет писателя, что «его психология так быстро поддалась завоеваниям русской революции и привела на страницы газеты «Накануне».

Оставшийся в России поэт Валерий Брюсов назначен в Москве заведующим «Охобра». «Руль» скрежещет зубами:

Это название, «означает заведующий советским барахлом, а другие полагают—имеет отношение к главхалтуре».

Питирим Сорокин (бывший эсер, публично в России открестившийся от всякой политической деятельности) и П. Струве (непартийный «марксист») от имени союза русских журналистов гневно протестуют против суда над Тихоном. Выступая в защиту главы по старому воинствующего, официального православия, которое в начале 20 века анафемствует Толстого, а через несколько лет анафемствует целую политическую партию, союз журналистов прибегает—примерно—к тем же выражениям своего неудовольствия судом, что и погромщик Антоний. Видимо, демократия в эмиграции «прозрела».

Состояние демократических чувств «назад к хозяину» крепнет, конечно, по мере успехов английской дипломатии.

Не зря же юркий бульварный шарлатан Lolo, сотрудник московского бульварного «Раннего Утра», во все горло распевает сейчас в берлинском демократическом «Руле»:

„ . . . . . я прежде
„ Владельца фабрики, завода
„ Звал кровопийцей, палачем,
„ Ценя высоко труд рабочих,
„ О доле малых сих скорбя,
„ Трудясь ничуть не меньше прочих,
„ Считал бездельником себя.
„ Я полагал, что брат—наборщик

„ Нужней в стократ, чем брат—поэт
„ . . . . . .
„ И лишь теперь раскрыл я вежды,
„ Развеял лжи туман густой"...

Действительно, пора «раскрыть вежды»: Керзон нажимает и другой, более солидный, журналист—А. Петрищев—полагает своевременным погадать на кофейной гуще в берлинских же «Днях»:

— «Возможен ли геройский въезд (в Россию) эмиграции из-за рубежей? Увенчают ли ее лаврами? Преклонят ли перед ней колени? Отведут ли ей первое место?» («Дни», № 172 от 27 мая).

Очевидно, в эти числа известные круги эмиграции снова и всерьез начали готовить свои чемоданы на предмет скорого, победоносного и высокоторжественного в коленопреклоненную Россию въезда во главе с «союзом собственников недвижимых имуществ».

Но, увы—еще раз до следующего раза приходится засунуть чемоданы на старое место. Под кровать.

И с великого уныния газеты начинают подогревать своего читателя слухами, уподобляясь горемычной вдове-просвирне, которая свою тусклую жизнь увеселяет подглядываньем в щели соседского забора и досужими разговорами с прохожими странниками. Сегодня «Новое Время» из достовернейших источников узнало, что от невоздержности в пище у Троцкого произошел заворот кишек. Конечно, заворот кишек не помешает через неделю выступать Троцкому где нибудь на Съезде.

Но после завтра новая сенсация в «Руле», от собственного корреспондента. Каменев взял на откуп московские игорные дома, Троцкий сделался фабрикантом, а Красин разругался с 3 Интернационалом и на аэроплане полетел лечиться в Ессентуки.

Немудрено, что после непрерывного питания слухами, среди эмиграции наблюдается если не заворот кишек, так разочарование, которое порождает скепсис и пересмотр правильности своего непримиримого отношения к Советской России.

По крайней мере, в Берлине, на лекциях Пешехонова, все чаще деботируется этот вопрос. А «Руль», конечно, сочиняет жестокую головомойку А. Белому, который проговорился, что Россия теперь культурнее, чем десять лет тому назад, что только в 1921 году возможна стала в России лекция об естествознании Гете, что Россию ныне характеризует работа («Россия в России и Россия в Берлине»).

«Неужто забыл почтенный автор во всей *прежней России* (курсив наш) разбросанные общества народных университетов, всевозможные курсы для рабочих, для сельских учителей и т. п.., привлекавшие толпы демократической молодежи?—кричит «Руль» на опростоволосившегося А. Белого.

И—конечно—«Руль» в грош не ставит такой пустяк, как сорокатысячную армию студентов Рабочих Факультетов. Словом, *прежде* было лучше, чем *теперь*. Это лейт—мотив эмигрантской печати.

«Новое Время» горделиво заявляет.

«Лицо России теперь заграницей. Здесь ее просвещенные архипастыри, пастыри, писатели, художники, артисты». Что спорить, среди эмиграции обильно образованными людьми. Но какие они скучные, нудные, мертвые,

когда пишут в своих газетах. Старые, прежние, прочно проросшие мохом мещанства и рутины. Духовно—узкие и обозленные, они ничему не научились за семь лет революции и остались «прежними», на прежних позициях—одни монархии, другие—парламентского демократизма. Невольную улыбку вызывают социалистические «Дни». В газете эсеров прочно обосновались А. Петрищев, С. П. Мельгунов и мадам Кускова, которая как бы символизует своей особой перекидной мостик от социализма к демократии, с успехом поочередно ночуя то в социалистических «Днях» (серия статей «Мысли и факты»), то в милюковских «Последних Новостях» (серия статей «Письма из Берлина»). Плоды такого альянса на лицо: нередко даже право—кадетский «Руль цитирует сочувственно статьи из «Дней», именуя одного из редакторов последних, Зензинова, по имени—отчеству. Заслужил одобрение! Еще бы: ведь одна из передовых «Дней» написана стилем, который конкурирует с синодскими посланиями.

«Пресыщена земля беззакониями их (большевиков) и от смрада дел их гибнет все живущее» («Дни»).

Не тот же ли автор сочинил воззвание, подписанное Антонием Волынским:

«Да падут на них (нынешнее правительство) все проклятия божии, изложенные устами Моисея в 23 главе Второзакония и это совершится скоро».

Скоро!—угрожает монархическое «Новое Время».

«Скоро!—восклицают социалистические «Дни».

Одни чувства, общие надежды и общий стиль: зверьего рыка.

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО.

В. Смирнов. (М-в.)

Из истории Союза красных ткачей.

I.

4-го марта 1917 года Иваново-Вознесенский Совет рабочих депутатов вынес постановление об организации при фабриках и заводах фабрично-заводских комитетов, которые быстро организовались путем явочно-революционным.

А 7-го или 9-го марта по инициативе пишущего настоящие строки и В. Я. Степанова*) перед Исполнительным комитетом Совета поставлен вопрос об организации профсоюзов в Иваново-Вознесенске и об утверждении постоянной тройки для этой работы из членов Совета.

11-го марта пленумом Совета наши предложения по вопросу организации профсоюзов были утверждены и была избрана тройка, в которую вошли: В. Я. Степанов, пишущий эти строки и тов. Иванов. Мне лично было поручено собрать соответствующие материалы и подготовить хотя бы примерный временный устав, что мною было и сделано.

Вопрос о том, по какому признаку организовать возникающие в революционном порядке профсоюзы, обсуждался в комиссии и был оставлен открытым впредь до оформления первичных звеньев профессиональных организации.

Правда, В. Я. Степанов выдвигал положение о том, что сразу необходимо организовать союз по производственному признаку. Автор же настоящий статьи держался временно иной точки зрения, т. е. считал немедленным восстановление бывших профессиональных организаций, которые возникли в начале 1906 г., просуществовали здесь до 1909 г. и были организованы в следующие союзы: 1) ситцепечатных рабочих, 2) прядильно-ткацких рабочих и 3) механических рабочих. Эта точка зрения практически давала более быструю возможность охватить организационно всех рабочих, т. к. опыт 1906 и 1909 г. г. не был окончательно забыт многими даже рядовыми работниками, что дало быструю возможность создать целый кадр профессиональных работников из рядовых рабочих, которые имели опыт прошлого.

---

*) Тов. В. Я. Степанов погиб на южном фронте во время ликвидации Деникина.

По этому не узко профессиональному признаку и были уже в марте месяце организованы профсоюзы в Иваново-Вознесенске. Первым был организован союз механических рабочих, вторым союз ситцепечатников и третьим союз ткачей и прядильщиков. Эти союзы быстро развертывали свою работу, правления их первое время помещались при Совете рабочих и солдатских депутатов в доме Генералова по Напалковской улице.

В это же время над вопросом профессионального движения работала комиссия под руководством тов. Беляевского в г. Кинешме.*)

Беляевский разработал устав областного союза текстильных рабочих, который исходил не только из производственного принципа объединения текстильных рабочих, но наметил промышленный признак союзного объединения.

Все подсобные предприятия, обслуживающие текстильную промышленность, а именно—механические заводы, ремизобердочные, химические, кирпичные, т. е. все те воспомогательные производства, кои зависели в Иваново-Вознесенском районе от текстильной промышленности, как основной, должны были войти в областной союз текстильных рабочих, границы которого определялись Иваново-Кинешемским районом, Костромской, Ярославской, Владимирской и Нижегородской губерниями.

С выдвинутым положением тов. Беляевского на районном съезде советов, созванном в г. Кинешме на 4-е апреля 1917 года, согласились делегаты Иваново-Вознесенска, Шуи, Коврова, Мурома, Вязников, Середы, Тейкова и Вичуги.

С мая м-ца исполнительным временным бюро повелась работа по организации областного союза текстилей по вышеуказанному принципу.

В июне м-це был созван в Иваново-Вознесенске учредительный съезд по организации областного союза текстильных рабочих.

При обсуждении вопроса о том, в каком пункте является желательным устройство центра профессионального областного союза, представители единогласно высказались за Иваново-Вознесенск. Все выступающие по этому вопросу делегаты съезда указывали на то, что Иваново-Вознесенск по экономическим и бытовым условиям, а также и по путям сообщения является центром рабочего движения крупного хлопчато-бумажного района, каковым он должен быть тем более при легализации пролетарского движения.

Съезд окончательно решил, что основание центра областного союза текстилей должно быть в Иваново-Вознесенске, утвердил устав и, наметив общие вехи практической профессиональной работы, избрал правление союза, во главе которого стали т. т. А. Н. Асаткин и С. К. Климохин.

Правление, учитывая большую практическую работу по организации областного союза, решило немедля образовать ответственную секретарско-инструкторскую коллегию из старых партийных и профессиональных работников, в которую были приглашены: Н. Н. Евреинов—секретарь—инструктор и С. С. Кордюков—инструктор—практикант Кинешемского отдела союза текстилей, М. Н. Шашунов—Иваново-Вознесенского отдела.

---

*) Тов. Беляевский меньшевик—интернационалист все время работающий в контакте с Советской властью.

тов. Почерников—Шуйского отдела, И. В. Беляев*)—Вичугского отдела, К. И. Фролов—Тейковского отдела, автор настоящей статьи—Ковровского, Тынцовского и Вознесенского отделов Союза. В Середском и Кохомском отделах также были ответственные секретари; фамилии этих товарищей точно не помню, в Кохме—помнится—был тов Чугунов, в Середе тов. Барабанов и Кузнецов.

Таким образом, красному союзу пришлось играть огромную роль в объединении текстильных рабочих не только Иваново-Кинешемского района, но и всего хлопчато-бумажного центра.

К началу Октябрской революции особенно резко и грозно были обострены классовые противоречия в Иваново-Вознесенском районе, эти противоречия сулили неизбежную острую борьбу между трудом и капиталом.

Накануне Октябрьских событий Союзом текстильщиков ведется энергичная агитация за создание стачечного фонда. Несмотря на материальную тяжесть, которую переживали красные ткачи, прядильщики и ситцепечатники, они все поголовно отчисляли 5% с заработного рубля за сентябрь м-ц для создания этого фонда. К моменту великих революционных октябрьских событий стачечный фонд красных ткачей определялся суммой до 300.000 руб. Конечно, эта была незначительная сумма, но все же и она по тем временам представляла возможность в нужный момент помочь наиболее нуждающимся стачечникам.

Таким образом, правление союза, напором 300.000 массы организованных на скорую руку рабочих текстильщиков, особенно лихорадочно готовилось к неизбежной областной стачке текстильщиков.

Что касается общего настроения рабочих масс на текстильных фабриках, то это настроение было революционно бурливым и грозным. Вековой гнев, порожденный рабским угнетением, порождал революционный энтузиазм. Этот классовый гнев создавал стремление во что бы то ни стало победить остатки царизма и буржуазию.

Все события кануна Октябрьских дней говорили за то, что рабочие массы все равно выступят, даже через головы руководящих организаций.

Перед Октябрьскими событиями чувствовалась страшная расхлябанность государственного аппарата.

Кругом царила безудержанная спекуляция, цены на все росли со сказачной быстротой. Еще за долго до Октябрьской революции наши хлопчато-бумажные короли всеми правдами и неправдами стремились к тому, чтобы застопорить текстильные фабрики. Проделывались жульнические махинации с хлопком и др. сырьевыми материалами. Рабочему классу приходилось за всем этим зорко следить.

Промышленники, объединенные в союзы, ожидали демобилизации армии и перехода с военных заказов на мирные условия. Грозила массовая безработица.

Учитывая все это, капиталисты вначале—очевидно—очень мало боялись начавшейся стачки и даже сами были не прочь вызвать ее.

---

*) Тов. Беляев покончил самоубийством на почве нервного припадка в Петрограде, где он добился денег для расплаты с Иваново-Кинешемскими рабочими.

Выжидая помощь от бравого генерала на белом коне, они надеялись на благоприятный для себя исход.

Но они ошиблись в своих предположениях и расчетах. Рабочий класс зорко следил за появлением контр-революционного генерала, он был готов к политическому захвату власти, он готовился к своей пролетарской диктатуре, он готов был объявить свой революционный террор врагам революции.

Таким образом здесь выступала на сцену не экономическая, а политическая забастовка Иваново-Вознесенских и Кинешемских рабочих текстильщиков.

Перед началом стачки областным союзом и Центральным Стачечным Комитетом, который был организован на одном из экстренных делегатских собраний, была разослана следующая телеграмма по всем районным отделениям союза: *„немедленно изберите на каждой фабрике из надежных товарищей пикеты.* Стачка будет объявлена особой телеграммой. Срочно сообщите свои телеграфные адреса. Иваново, Центростачка".

А 19 октября Центральный Стачечный Комитет предписывает всем районным и фабричным стачечным комитетам о немедленном воспрещении вывоза всех изделий с фабрик. В конце телеграммы говорится: *„немедленно поставьте пикеты и примите меры к запрещению вывоза мануфактуры по железным дорогам*, Центростачка". Вечером этого же числа выяснилось, что на фабриках к стачке все готово.

В день начала стачки были выпущены обращения к текстильщикам, солдатам и гражданам, которые приводятся мною также полностью. В манифесте Центрального Стачечного Комитета при Ив.-Кинеш. областном профессиональном союзе текстильщиков, ко всем рабочим области Центральный Стачечный Комитет писал:

«Рабочие нашей области очутились в общем потоке, в общем походе за лучшую рабочую долю. Руководство этой борьбой взяли на себя Советы Рабочих Депутатов. Их усилия не пропали даром. Если не были рабочие удовлетворены вполне, то всетаки их работа имела большое воспитательное значение. На место отдельных бессильных выступлений они создали общий организованный поход всей области, добились конференции 10—12 мая с фабрикантами. Правда, эта конференция не решила стоящих перед нею вопросов. Она окончилась разрывом переговоров. Капитал не пошел на уступки. Рабочие заявили тогда своему противнику, что они покидают собрание и отныне объявляют себя на положении воюющих.

Шли дни, недели и месяцы. Вместо Советов руководство экономической борьбой взял Областной союз текстильщиков. Он ни на минуту не забывал о том, что сказали представители труда на конференции 10—12 мая.

С первых же дней своего существования он начал готовиться к борьбе, призывая тов. рабочих и работниц к организованности и выдержке, борясь с партизанскими выступлениями, увеличивая свои боевые силы—финансовые средства. Каждый прожитый день приближал его к тому моменту, когда он мог с уверенностью сказать—«я, готов товарищи, рабочие готовы ли вы?». И, наконец, после долгих и настойчивых усилий работа была придвинута к концу, подготовлены все нужные материалы и выработаны требования—общие, жилищные, санитарно-гигиенические и тариф.

11-го октября делегатское собрание, законодательный орган союза—«голос самой рабочей гущи» утвердило эти требования и поручило правлению предъявить их союзу фабрикантов и заводчиков, властно заявив от имени пославших его, что за эти требования встанут, как один человек, рабочие всей области.

Итак, товарищи, настал решительный момент. Слова наших представителей, сказанные 10—12 мая, находят свое осуществление. Рабочая рать готовит свои

боевые знамена. Волей делегатского собрания генералом этой рабочей рати поставлен Центральный Стачечный Комитет. Ему поручено, в случае надобности, вести в бой рабочие батальоны на защиту требований, предъявленных фабрикантам 13 октября. Во исполнение этой воли, Центральный Стачечный Комитет шлет вам свой приказ № 1.

Товарищи, прислушайтесь к голосу ваших вождей, ваших непосредственных начальных, районных и фабрично-заводских стачечных комитетов. Без их приказов, без их разрешений не покидайте работы и кроме их никто не имеет сейчас права снимать вас с работ. Ждите общего приказа о выступлении. Противнику на ответ дан срок до 18 октября. В случае отказа с его стороны итти на переговоры мы позовем вас в бой. Каждый миг, каждый час будьте готовы к выступлению. Дисциплинируйте более отсталых товарищей. Собирайте недоимки-платежи в союз, увеличивайте его боевой капитал—стачечный фонд.

Помните, что наш враг—капитал объединен в громадный союз, что он располагает громадными средствами, что сразу не сдаст своих позиций. И мы такому сильному противнику должны противопоставить свою организованность и стойкость. В этом залог нашей победы.

В «приказе № 2 по рабочей армии» Стачечный Комитет объявлял:

«Настал час решительной и беспощадной борьбы. Капиталисты на наши требования даже не ответили. Армии рабочих брошен вызов. От локаутчиков, не брезгающих никакими средствами, ждать скорой уступки не приходится. Только организованность, дисциплина, точное выполнение указаний и распоряжений районных и фабрично-заводских стачечных комитетов обеспечит нам победу. С сего часа пикеты неуклонно должны нести свою сторожевую службу, строго выполняя приказания фабричных стачечных комитетов. Ни одного аршина, ни одного лоскута м-ры не вывозится с фабрик без ведома стачечного комитета.

Ни один рабочий, ни одна работница без разрешения комитетов не могут встать на работу.

Никаких переговоров с предпринимателями! Все их предложения и объявления в тот же миг срываются и спешно при посредстве районных стачечных комитетов пересылаются в центр.

Все приказания Центрального Стачечного Комитета неуклонно всеми выполняются. Без этого нет победы! Слабые, малодушные товарищи ободряются и дисциплинируются более сильными и стойкими».

В воззвании к солдатам области Стачечный Комитет указал причины стачки:

Голод стучится в двери бедняков—рабочих и крестьян. Мародеры и спекулянты без конца взвинчивают цены на предметы первой необходимости и нет предела их преступной деятельности. Саботаж и локауты промышленников, купцов выкидывают на рынок труда новые и новые армии безработных. Заработная плата рабочих далеко отстала от дороговизны жизни. Хозяйство рабочих подточено в конец.

И вот, рабочие нашей области, истомленные голодом, нуждой и тяжелыми условиями работы при плохом техническом состоянии машин, почти полным отсутствием ремонта, уходом самых лучших, сильных и трудоспособных работников в армию, поднимают свой голос и требуют от фабрикантов улучшения санитарно-гигиенических, жилищных и технических условий труда. Мы не требуем лишнего, не хотим губить промышленность. Нам надо получать столько, чтобы была возможность одеваться, не ходить босиком.

На наши требования, на требования ваших отцов, братьев, жен и сестер, измучившихся в нужде, капиталисты не хотят отвечать. Они бросают вызов. И мы этот вызов принимаем с достоинством. Мы будем бороться за свои права, права жить по-людски всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. С сегодняшнего дня мы объявили стачку. 300.000 рабочих сегодня бросают работу и идут на защиту своих требований. 114 предприятий останавливаются».

Мы верим, что товарищи солдаты с нами и за нас.

Центральный Стачечный Комитет.

В воззвании к гражданам Иваново-Кинешемской области, между прочим, указывается месячный заработок рабочих (при цене пуда муки у торговцев в 50-70 руб.) и приведен денежный прожиточный минимум, требуемый рабочими.

На отдаленных фабриках, говорит Центральный Стачечный Комитет, заработок доходил прямо-таки до голодной заработной платы». Например, на ф-ке Райковской Мануфактуры Костромской губ. ткачи заработали в августе 44. руб. 05 коп. На ф-ке Скорынина по 18 рублей без продовольственных и квартирных надбавок, в Телегине, ф-ка братьев Горностаевых, по 50 рублей и т. д., а в лучшем случае этот заработок давал возможность с грехом пополам сводить концы с концами полуголодное состояние. Немудрено поэтому, что рабочий, подгоняемый к этому—костлявой рукой голода, шел к капиталисту и требовал от него прибавки. Но его требования оставались гласом вопиющего в пустыне. «Рабочие зарвались, рабочие губят промышленность», неслось со всех сторон. Против рабочих встал и обыватель. Он думал, что и впрямь рабочие захотели райских условий.

Чтобы раскрыть правду, чтобы показать обществу всю основательность требования рабочих, мы и решили обратиться к вам. Пусть не один клеветник не посмеет возводить на рабочих незаслуженных обвинений. Мы хотим жить по человечески. Мы не можем дальше жить не доедая, не допивая, одеваясь в лохмотья, оставаться без сапог для того, чтобы тем самым давать возможность капталистам одеваться в шелк и бархат, носить золото, сладко есть, много спать и без конца веселиться.

Мы требуем того, что нам необходимо, без чего человек не живет, а бьется, как рыба об лед.

Вот наш денежный прожиточный минимум:

1. Белого хлеба 1/4 фун.	25 коп.
2. Черного хлеба 2 фун. по 24 коп.	48 коп.
3. Мяса 3/4 фун. по 1 руб. 60 коп.	1 р. 20 коп.
4. Яиц 2 шт. по 25 коп	50 коп.
5. Сахару 15 зол.	40 коп.
6. Круп, картошки и т. п.	60 коп.
7. Масла постные и др.	50 коп.
8. Обувь	50 коп.
9. Одежда	1. р. 50 коп.
10. Табак, бумага и проч.	60 коп.
11. Гигиена и культ. запросы	1. р
Итого	7 р. 53 коп.

Из приведенной таблицы ясно видно насколько скромны наши требования, особенно если принять во внимание состояние цен на предметы рабочего обихода на полное отсутствие на рынке хлеба и др. продуктов, на покупку их у мародеров и спекулянтов, дерущих за все в три-дорога.

Приведенные воззвания служат яркой иллюстрацией того настроения, какое царило в умах рабочих-текстильщиков. Эти обращения ярко и правдиво вскрывают те невозможные условия, в которые были поставлены текстильные рабочие. Накопленный от нечеловеческих условий рабочий гнев искал выхода. Этот революционный гнев прорвался.

Письмо в редакцию.

Считал-бы необходимым к статье В. К. „Проводы депутата во 2-ю Госуд. Думу“ („Ткач“ № 3) сделать следующие поправки и дополнения:

1. Суд над социал-демократической фракцией 1-й Госуд. Думы был в 1907 г. в ноябре месяце, а—следовательно—и протест, устроенный Иваново-Вознесенской организацией, был не в 1906, а также в 1907 г.

2. Тов. Жиделев был арестован после ареста фракции. Он несколько месяцев жил нелегально и судился отдельно от общей фракции.

3. Во время кампаний протеста тов. Буткин (Жаворонок) не был арестован. Мы с ним проводили митинг на ф-ке Грязнова и у нас на фабрике арестов не было.

4. По этому протесту на скамью подсудимых никто не был посажен, арестованные ограничились административной сидкой от 1-3 мес., после которой были выпущены (Постышев—Ермак). Оставшиеся в тюрьме Степан и Геннадий были оставлены, как бежавшие из Тобольской административной ссылки, а после, разобравшись с материалами, их присоединили к общему процессу Иваново-Вознесенского союзного совета с.-д. (дело Фрунзе и других—кажется, 35 челов.)

Это дело разбиралось в феврале 1910 г., где Степан (Коровайков) получил ссылку на поселение, а Геннадий (Н. Соколов) был оправдан.

В. Калашников.

5-го июня 1923 г. Крым.

Ивановская Областная Научная Библиотека

НОВЫЕ КНИГИ.

Уптон Синклер. Король уголь. Роман. Перевод Б. Яновского и Гр. Петникова. Издательство „Пролетарий"—*Харьков 1923 г.*

Всякий, кто не знаком с бытом углекопа, с адскими условиями этого—вечно черного и тяжелого труда,—должен прочесть книгу Уптона Синклера. Она заинтересует необычайной яркостью,—неоспоримой правдивостью и против воли перенесет в мир томящихся под железной пятой капитала, заставит жить, волноваться и думать жизнью, волнениями и думами шахтеров.

Казалось-бы, несложный сюжет: сын одного из королей угля Хол Уорнер молодой студент, в силу собственного каприза, поступил в угольные копи шахтером, кстати, в этом опыте социального слияния он видел «летние практические занятия по социологии». И вот Джо Смит (Хол Уорнер) в шахте «Всеобщей Топливной Компании» со всей пылкостью и энергией настоящего американца он принимается за работу. Ничего, что у него дома остались друзья, невеста, веселые развлечения. Все это вернется. А когда вернется, то брат-Эдуард, уже не будет называть его мальчиком, мечтателем. Он—Хол—сам непосредственно узнает все прелести шахтерского труда, проверит свои теоретические познания о труде, «мчащем колеса индустрии».

Страница за страницей сюжет развертывается. «Летние практические занятия социологии» захватывают Джо Смита. Он грубеет внешне, он терпит лишения, он начинает понимать, что значит труд шахтера. Он даже влюбляется, правда, больше умом, в дочь шахтера. Видит как неизмерима пропасть между представлениями, которые даются профессорами в университетах об этом труде. Сам становится жертвой беспощадной эксплоатации «Всеобщей Топливной Компании». Нет никаких мероприятий к охране труда. Все законы «свободной Америки» беззастенчиво нарушаются. Рабочих нагло обвешивают. У Компании существует жесткая норма заработка, выше которой шахтер никогда не сможет заработать сколько-бы угля не добыл. Чуткий молодой человек не мирится с этим и начинает вести сложную и тяжелую агитационную работу. Он сорганизовывает вокруг себя группу наиболее смелых, передовых шахтеров и в результате шахтеры требуют допущения своего собственного контролера к приемщику угля. Но администрация шахты не столь наивна, чтоб таким образом рабочие улучшали положение. Она слишком честно соблюдает инструкции «Всеобщей Топливной Компании», Вспыхивает забастовка. Душа ее—Джо Смит.

Ему, может быть, жутко уже от сознания ответственности перед теми, в ком он вызвал взрыв протеста против насилия.

Он не ожидал очутиться в самом центре классовой борьбы, в наступлении на окопы своих-же людей, быть вождем. «Он был похож в этом положении на человека который начал легкий флирт на улице, а на другое утро проснулся женатым. В нем нет прежнего веселого авантюристского духа, с которым он отправился на летние практическне занятия по социологии».

Он не поет уже веселой песенки:

Король наш Уголь,—чудак веселый,
Король наш Уголь,—чудак живой,
Наук высоких он создал школу,
О, слава, слава и нам с тобой!
. . . . . .
О, слава Углю и деньгам слава,
Колес зубчатых стальным рядам...

Но не может уже оставить начатого дела.

Капитал слишком силен. Забастовка проваливается. Только благодаря неожиданным случайностям Хол (Джо Смит) остается жив и возвращается в свою родную среду.

Грязь, невежество, обман и притеснения, уродование человеческих тел и душ в угольных копях Америки—это не фантазия «безответственного» мозга.

Вот кинематографически схематично содержание романа.

Эта схема Синклером развернута в цепь связных, незабываемых страниц, рисующих картины, иногда доходящие, по силе изображения, до предельной выразительности натуралистов,иногда дышащие неподдельным романтизмом.

Основная тенденция Синклера,—изобразить невероятный гнет капитала,—которая у другого романиста так легко могла-бы стать неприкрытой,—внешне—совершенно стушевана, но тем не менее задача эта выполнена убедительным и подлинно художественным изображением.

Перевод романа местами скороспел и небрежен, есть шероховатости и в технической стороне издания.

С. С.

Ник. Тихонов. Брага. Стихи. Изд. „Круг".—*1923 г.*

Среди многочисленного количества сборников стихотворений книжка Тихонова не затеряется: это хорошая отдушина из тусклой индивидуальной лирики, которая и теперь еще преподносится читателю.

Замятин писал Пильняку о Тихонове:

...Выклевывается тут такой Николай Тихонов молодец: многим из Серапионов нос утрет.

«Николай Тихонов—брат половчанин—памятен ему скрип возов в поле и пение лебедей на полете».

Это—необычайно краткая и верная характеристика творчества Николая Тихонова. Еще совсем молодой поэт, он уже создает свою школу, вводя в стихотворения современный сюжет, превращая их в волнующие новыми ритмами баллады.

По приемам письма и по содержанию Тихонов совершенно своеобразен.

Стихи: «Сибирь». «Баллада о синем пакете», «Баллада о гвоздях», »Баллада о дезертире», «Об отпускном солдате»—долго не забудутся.

Живописуя образами, Тихонов умеет всегда избежать имажинистской аляповатости, не делает образа самоцелью.

Как-то не хочется цитировать отдельных строф из этого сборника: в ней почти вся ярко издана книжка, хорошо, как большинство изданий «Круга».

С. С.

Г. В. Плеханов. Виссарион Григорьевич Белинский. Кн-во „Основа". *Иваново-Вознесенск 1923 г. стр. 53.*

Статья Плеханова о Белинском издана к 75-летию со дня смерти великого русского критика (1848—1923). Вне сомнения, дни памяти о „неистовом Виссарионе" вызовут ряд статей о его жизни, творчестве и влиянии на литературу и критику.

„Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно ни развилась она, говорит Плеханов,—Белинский всегда будет ее гордостью, ее славой, ее украшением. До сих пор его влияние ясно чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного; до сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознает, что значительной частью своего развития обязан, непосредственно или посредственно, Белинскому"...

Плеханов Белинским занимался много: из его критических статей о литературе самые значительные о Чернышевском, Некрасове и Белинском. Написанная ярко и рисующая в кратких чертах жизнь, творчество и взгляды великого критика, книжка Плеханова является одной из лучших в литературе о Белинском. Нельзя не рекомендовать ее для школ, библиотек и клубов.

М. С—в.

Л. И. Аксельрод (Ортодокс) Мораль и красота в произведениях Оскара Уайльда. Кн-во „Основа". *Иваново-Вознесенск 1923 г. стр. 54.*

Критический очерк Аксельрод об Оскаре Уайльде был первоначально напечатан в 1916 году в журнале „Дело" и заслужил хороший отзыв Г. В. Плеханова.

Несомненно, это один из ценных вкладов в критическую марксистскую литературу об искусстве, морали и литературе. Аксельрод в этом произведении пересматривает мнения об Оскаре Уайльде западно-европейской и русской критики и, разбивая установившиеся взгляды на творчество великого английского писателя, делает свой интересный вывод. Уайльд, вопреки оценке идейного содержания его произведений, считающейся как бы уже завершенной, вовсе не является чистым эстетом и проповедником крайнего аристократического индивидуализма.

Его нравственным законом отнюдь не был гедонизм, признание единственной целью жизни человека наслаждения. Напротив, „мыслящий широко образованный и к тому же обогащенный живым личным наблюдением аристократической среды, Оск. Уайльд приходит к ясному убеждению, что эстетическое жизнепонимание не способно разрешить проблемы жизни даже для личности привилегированных слоев. Бесконечное множество мотивов, невидимых связей, исторических и социальных, ставит личность высших классов в психологическую и моральную зависимость от всей общественной структуры. И сверхчеловеческий имморализм, ставящий личность вне общества, бессилен преодолеть эту железную органическую зависимость.

Буржуазные эстеты напрасно причисляют Уайльда к числу учителей эстетизма и имморализма. Его творчество свидетельствует об обратном: неогедоническая аморальная философия им развенчивается в „Портрете Дориана Грея" и в „Сказках".

Книжка Аксельрод выделяется из многих новых изданий по литературе и искусству; она интересна не только как литературно-критический материал, но и как философско-публицистическое произведение. Она будит мысль и вызывает интерес к вопросам литературы и искусства.

Нерасчитанная на широкие круги читателей, книга Аксельрод отличное пособие для факультетов общественных наук, преподавателей и вообще лиц, изучающих марксистский метод научного исследования.

М. Сокольников.

„Под знаменем марксизма". Ежемесячный философский и обществ.-экономич. журнал 1923 г. № 1,—январь 232 стр. № 2-3 февраль-март 264 стр.

С удовлетворением останавливаемся на журнале „Под знаменем марксизма". Журнал определенно выровнялся и улучшился по сравнению с прошлым годом. Некоторые книжки за 1922 г. были не удачны: №, посвященный Плеханову оказался наполненным в большинстве случайным не обработанным материалом.

Но уже последние книжки №№ 9-10, 11-12 были более стройны, более богаты содержанием.

Три №№ за 1923 г. полны богатого и серьезного материала. Очень хорошо делает редакция и усердно работающий в журнале т. Д. Рязанов, что они помещают те отдельные статьи, заметки и письма К. Маркса и Ф. Энгельса, которые ждут еще своего места в выходящих (между прочим, неизвестно когда) томах собрания сочинений обоих мыслителей. 2 статьи Энгельса, связанные со смертью К. Маркса, являются интересными историческими документами.

Впервые появляется на русском языке статья К. Маркса „Подвиги Гогенцоллернов", резко бичующая вероломство, коварство, мошеничество Гогенцоллернской шайки. Эта статья вызвала рев негодования прусских зубров; статья была запрещена в такой крайней степени, что Меринг в своей биографии К. Маркса был лишен возможности даже цитировать этот ядовитый политический памфлет.

Наконец-то, закончилась полемика т. М. Покровского и И. Степанова по вопросу о происхождении религии. Точки зрения обоих противников—основательно выяснены. Оба остаются при своих взглядах.

Довольно хорош отдел, посвященный материалистическому естествознанию. Наряду со статьями светил естествоведения—иностранцев (М. Планк.) помещены статьи А. Гольцмана „Наступление на материализм" и А. Тимирязева теория „квант" и современная физика".

Интересно начало труда т. В. Ваганина о Г. В. Плеханове. В 1-й главе В. Ваганин рисует переход Плеханова от народничества к марксизму и доказывает, что „одно и то же лицо (Г. В. Плеханов) являлось наибольшим" средоточием потенции марксизма в „Земле и Воле" накапливало, обогащало и развивало ее в „черном переделе" и реализовало эту потенцию в группе „Освобождение Труда".

Минусы журнала—незначительны. Совершенно не нужно было помещать „переписку" между Ю. Стекловым и Д. Рязановым относительно книжки анархистской Брунбахера: „Маркс и Бакунин", которую якобы расхвалил Ю. Стеклов. Эта полемика совершенно не интересна.

Затем несколько случаен библиографический отдел. В единственном в своем роде марксистском журнале библиография должна быть более систематичной, пожалуй, более основательной. Вывод: „Под знаменем марксизма"—полезнейший журнал, давший уже многое и обещающий в будущем еще больше.

Ф. С.

Проф. Лев Любимов. Курс политической экономии. Том I, выпуск I. Государственное издательство *1923 г.* IV+*265 стр.*

Книга профессора Любимова написана в выдержанно-марксистском духе. И это уже одно располагает нас отнестись к ней с большим вниманием. Кроме этого, тот факт, что она имеет своей целью служить учебным пособием для нашей высшей школы и пособием для изучения политической экономии вне стен этой школы, придает ей большую ценность, ибо наш книжный рынок литературой этого рода очень беден. На рынке и до сего времени очень много учебников политической экономии, но все они представляют собою ничто иное, как наследие прошлого, да и взгляды ими развиваемые не могут быть признаны сколько нибудь достойными внимания; их нужно изгнать из употребления. Сделать же это можно только тогда, когда есть что нибудь взамен изгоняемого.

До сего времени, нужно откровенно сказать, этого не было, так как конкурировать с буржуазной учебной литературой такая книга, как «Экономическое учение К. Маркса», К. Каутского, не могла, ибо она не охватывала всей суммы вопросов, которую обычно охватывают курсы; не мог конкурировать с нею и «Краткий курс экономической науки» Богданова, так как и круг вопросов, охватываемый книгой, не велик, и трактовка проблем напоминает скорее историю хозяйства, или теорию политической экономии. Нельзя, конечно, студента отсылать к первоисточникам, так как ему это не под силу; в результате преподаватель был поставлен в затруднительное положение в том, что нечего было рекомендовать, как пособие к лекциям.

С появлением труда профессора Любимова дело несколько изменяется. Его труд есть первый марксистский учебник политической экономии. С этой точки зрения он вне конкуренции.

Весь труд Любимова обещает вылиться в пяти довольно сходных по размерам, выпусках, из которых: первый—целиком посвящен марксистской теории ценности и цены; второй—теории земельной ренты; третий—рассматривает различные буржуазные теории ценности, главным же образом, австрийской школы предельной полезности; четвертый—трактует теорию концентрации производства и, наконец, пятый—рассматривает, какие формы приняла концентрация производства за последнее время: тресты, синдикаты и пр. Таким образом, только из этого плана всего курса Любимова можно уже узреть, что его прежде всего интересует в политической экономии. Конечно, было-бы странно, если-б профессор марксист построил свой курс так, как это делают все буржуазные профессора, т. е: 1) производство, 2) обмен, 3) распределение, 4) потребление и т. далее в этом же духе, что свидетельствовало бы о том, что этот профессор рассматривает и политическую экономию, как науку о хозяйстве вообще, а не как, допустим, науку о хозяйстве капиталистическом, что есть на самом деле и капиталистическое хозяйство, как хозяйство вообще, и поэтому необходимо отметить, что такого сорта постановкой вопроса профессор Любимов очень много выигрывает по сравнению с Богдановым и Степановым, которые вместо теоретической экономики преподнесли нам историю хозяйственных форм. Социальный характер экономических явлений нашего времени при такой постановке вопроса,

какую мы имеем у профессора Любимова, гораздо более подчеркивается и становится ясным, а от этого курс много выигрывает.

В лежащем перед нами первом выпуске, как мы уже сказали, профес. Любимов трактует вопросы ценности, денег, цен производства, прибавочной ценности и, следовательно, рыночных цен. Трактовка вопросов произведена в выдержанно-марксистском духе. Автор держался текста «Капитала» Маркса и не перегружая книгу цитатами очень удачно справляется с задачей.

Нужно отметить, как заслугу, простое изложение, доступное даже лицам мало слышавшим о теоретических вопросах политической экономии. Стиль живой, иногда даже картинный, благодаря удачным примерам, делает книгу легко читаемой.

Необходимо отметить, что автор не только популяризует и систематизирует взгляды Маркса и Энгельса, а также других, позднейших, теоретиков научного коммунизма в области теоретической экономии. В его книге есть места, где он дает свое решение вопроса, развивая, таким образом, положение Маркса и других. Конечно, это-он делать только по тем вопросам, которые Марксу не удалось развить, где Маркс только наметил путь развития. К разряду таких проблем, где Любимов дает значительную разработку, прежде всего необходимо отнести проблему редукции, проблему сведения, иначе сказать, сложного труда к простому.

Как известно, Маркс в своем «капитале» дал только общую формулировку вопроса, сказав, что «труд-сложный (квалифицированный) есть ничто иное, как умноженный простой труд». Но этим проблема отнюдь еще не была решена, а только была поставлена и формулирована. Эту проблему пытались решать многие экономисты-марксисты (Дейч, Бауэр, Гильфердинг, Маслов, и др.), но откровенно говоря, кроме разноголосицы в нее ничего особенно ценного не внесли. Правда, материал, собранный ими, и сами попытки интересны, но их ошибка заключается в том, что все они подошли к решению этого вопроса не как следует, т. е. не как к известной социальной категории, а с точки зрения отдельного случая. Решение, данное Любимовым, интересно с той точки зрения, что он подходит к самой проблеме, как к общественному явлению и в этой именно плоскости ищет решения.

Вот один из примеров этого решения: „Никто не станет спорить, что, напр., нарисовать замечательную картину очень трудно. Иными словами, на создание ее приходится затратить массу труда. Ясно, однако, что последнее относится не к труду самого автора картины. Последний в порыве вдохновения мог нарисовать ее очень быстро. Из чего же всетаки следует, что создать подобное произведение трудно? Из того, что многие пытались это делать, но у них ничего не вышло; они только напрасно потеряли время (труд). Это «потерянное» время-труд—одних членов общества и сообщает высокую стоимость удавшемуся произведению другого члена общества. Если бы никто не терял напрасно время (и труд) в бесплодных попытках, если бы всякий желающий после недолгого обучения мог нарисовать картину не хуже рубенсовской или рафаэлевской, последние, очевидно, не ценились бы так дорого, как это имеет место теперь.

«Чтоб одного возвеличить, борьба
тысячи слабых уносит».

И эта-то гибель тысяч «слабых» и создает высокую стоимость созданию победителя, триумфатора. Повторяется,—конечно, в иной плоскости—старая евангельская притча, что «много званных и мало избранных», и что избранные поели все, что было приготовлено на всех званных, и что избранные получили возможность пресыщаться именно потому, что остальные ничего (или почти ничего) не получили с сервированного на всех стола—(стр. 75-76).

Это один из примеров того, как смело проф. Любимов подходит к проблеме и, что взятая им отправная точка зрения—проблема редукции должна решатся, как социальная проблема, а не как индивидуальный случай—правильна и дает блестящие результаты. Этакое решение вопроса о редукции дает проф. Любимову богатые возможности для окончательного уничтожения, такой несостоятельной из всех несостоятельных теорий ценности, как австрийская предельная полезность, столь модная сей-

час. Основные ее коньки против теории трудовой ценности, хотя уже истасканные задолго до австрийцев в борьбе с этой же теорией, а именно, ценность старого вина, редких картин, старых монет, статуй и вообще всего стараго, делаются в руках проф. Любимова коньками против основ их теории, а не защитой. К решению этих вопросов он подошел так, как и к решению проблемы редукции и доказал, что только теория Маркса делает эти явления понятными. Эти страницы курса являются одними из лучших страниц курса, также, как и страницы посвященные редукции.

Но наряду с преимуществом книги Любимова нужно отметить ее недостатки.

Таким недостатком бросающимся в глаза является параграф третий, главы двенадцатой, посвященной торговой прибыли. Этот параграф оставляет впечатление, что автор его когда то читал соответствующие места III тома „Капитала", кое-что помнит оттуда, но кое-что, и очень существенное, забыл. Видно, что пред тем, как писать этот параграф автор не ознакомился предварительно для этой цели с литературой предмета, а положился на память и поэтому кое-что напутал.

Маркс говорил, что «самая функция, благодаря которой его (купца) деньги становятся капиталом, дает возможность капиталисту—торговцу совершать ее по большей части при помощи своих рабочих. Неоплаченный труд этих прикащиков, хотя и не производит прибавочной стоимости, дает ему однако возможность присвоить прибавочную стоимость, что для капиталиста с точки зрения результата решительно все равно; такой труд, следовательно, представляет для капитала источник прибыли. Иначе купеческое предприятие не могло бы вестись ни в крупных размерах, ни капиталистическим способом.

Как неоплаченный труд рабочих создает для производственного капитала прибавочную стоимость непосредственно, точно также неоплаченный труд торговых наемных рабочих создает для торгового капитала возможность участия в этой прибавочной стоимости". *)

Не так смотрит на дело проф. Любимов. Он пишет: «само собою разумеется что труд занятого у них персонала (у торговцев, *И. Н.*) увеличивает стоимость товара и создает прибавочную стоимость, текущую в карман владельца этого последнего (торгового предприятия *И. Н.*). Но важно понять, что источником прибыли торговцев является не только и не столько (в особенности у оптовиков) прибавочная стоимость, которая обязана своим существованием труду лиц, занятых в торговле, сколько реализации прибавочной ценности, произведенной рабочими, занятыми на фабрике, выработавшей данный товар, т. е. занятыми в предприятии, не составляющем одного организационного целого с торговым заведением» (стр. 169).

Как видит читатель это не тоже, что у Маркса, так как Маркс думает, что труд торговых рабочих стоимости и прибавочной стоимости, следовательно, не производит, а лишь притягивает своим прибавочным трудом прибавочную стоимость, произведенную в производстве. Любимов же считает что эта прибавочная стоимость, притянутая из производственной сферы, есть только дополнение к тому, что произведено торговыми рабочими. Я не могу сказать, чтобы этакий взгляд Любимова находился в полном соответствии со всей его теоретической системой и поэтому необходимо признать его неверным.

Будем надеяться, что при втором издании он исправит эту довольно большую теоретическую ошибку.

В заключение своего первого выпуска проф. Любимов дает несколько экскурсов, причем все они посвящены злободневным вопросам теоретической экономики, так или иначе (уже) обсуждавшимся на страницах периодической печати в последнее время. Такими вопросами являются: труд, производящий стоимость; природа прибыли кооперации; производственная и потребительская версия термина общественно-

*) К. Маркс, «Капитал», том 3-й, стр. 232-233.

необходимый труд. Главы, посвященные этим вопросам, принадлежат к числу лучших глав выпуска и с большим интересом читаются, так что учащиеся будут очень благодарны Любимову за этакое дополнение своего первого выпуска.

В общем книга написана живо, хорошим популярным языком и поэтому должна быть рекомендована всем партшколам и ВУЗ'ам. вместо курса Богданова и Степанова, который, как мы уже заметили, не дает того, что нужно, если не говорить об ошибках их построений. Издана книга прилично и не рассыпается от первого прикосновения, а это уже большой прогресс. Жаль только, что Любимов не снабдил свою книгу так, как эта сделал Бухарин в своих «теориях исторического материализма», библиографическими указателями: это облегчило бы дальнейшее изучение вопроса для начинающих.

И. Невский.

Издатель: **Ив.-Возн. Книг. Т-во „ОСНОВА“.**

Редактор: **Редакционная коллегия.**

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЕ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„ОСНОВА“

Общественно-Литературный Ежемесячник

ТКАЧ

В журнале печатаются стихотворения и художественная проза, статьи по вопросам политики-хозяйства-общественности, новейшей литературы, искусства и науки, критико-библиографические обзоры, книжные новости и литературная хроника.

ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

1. **Международное обозрение,** новости иностранной жизни.
2. **Внутри Советской Республики:** политика, экономика, финансы; советские будни в городе и деревне; провинциальные очерки и корреспонденции из глухих углов; по фабрикам—заводам; новая школа.
3. **Литература, наука, искусство.**
4. **Минувшие дни:** история красных фронтов в статьях, очерках и воспоминаниях красных бойцов.
5. **В крае ткачей:** старое, прошлое и настоящее положение Иваново-Вознесенской губ.; история революционного движения в крае; роль красных ткачей в гражданскую войну.
6. **Книжные новости,** рецензии и библиография.

В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: Н. Аблов, М. Артамонов, А. Баркова, Д. Бедный, А. Бубнов, Н. Бухарин, И. Вардин, Е. Вихрев, А. Винокуров, С. Городецкий, В. Деготь, Н. Евреинов, И. Жижин, К. Завьялов, С. Зорин, В. Иванов, И. Касаткин, С. Клычков, проф. П. Коган, И. Коротков, М. Коротков, В. Либединский, И. Майоров, И. Малютин, Д. Моор, А. Неверов, Н. Никитин, Л. Никулин, В. Павлов, А. Перегудов, проф. Н. Н. Песков, Е. Преображенский, А. Серафимович, С. Селянин, Д. Семеновский, М. Сокольников, А. Сольц, Л. Сосновский, Ф. Сулковский, М. Чернов, А. Яковлев и мн. др.

Журнал выходит ежемесячно
книжками от 5-ти до 7 печатных листов.

ПРИНИМАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Михайловская ул. дом быв. Гандурина, телефон 2-40.
КОНТОРЫ: уг. Советской и ул. Батурина, д. быв. Бурылина, тел. 1-66.

г. ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК.

БОЛЬШАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

РАБОЧИЙ КРАЙ

Орган Иваново-Вознесенского Губерн. и Гор. Советов Раб., Красноарм. и Крест. Депутатов и Губкома РКП.

Каждый рабочий и крестьянин должен подписаться на газету, в которой

1) **всегда последние новости;**
2) **специальный отдел—РАБОЧАЯ ЖИЗНЬ;**
3) **специальный отдел—КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕЛА;**
4) **оригинальные статьи по вопросам политики, промышленности, сельского хозяйства;**
5) **стихи, фельетон.**

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА МЕСЯЦ 40 РУБ.

Подписка принимается во всех почтовых учреждениях губернии, а также и фабрично-заводских комитетах.

Фабрикомам, при условии подписки сразу не менее 20 экз., скидка 32½%. **Об'явления принимаются по цене за строку нонпарель.**

Официальные извещения государственных и партийных учреждений сплошным набором . . . 25 к. зол.

Об'явления частных учреждений и лиц . . 30 к. зол.

Разовые об'явления о пропаже документов, приискании места и т. д. . . . . 25 к. зол.

На первой странице плата двойная. От частных лиц на первую страницу об'явления не принимаются.

Плата за объявления по курсу банкнот дня уплаты.

Никаких бесплатных и льготных об'явлений контора не принимает.

РЕДАКЦИЯ и КОНТОРА

Иваново-Вознесенск, Михайловская ул., (д. быв. Гандурина).

ТЕЛЕФОН № 2-40.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Иваново-Вознесенского Губпрофсовета

И

Губотдела В. П. С. Текстильщиков

ТРУД

Журнал является руководящим органом профдвижения в нашей губернии, широко освещая основные вопросы профработы, жизнь и деятельность профсоюзов, фабрик и заводов.

В журнале помещается оффициальный материал по законодательству о труде, циркуляры и распоряжения высших союзных органов губернии.

Журнал необходим для всякой союзной ячейки, для всякого сознательного члена профсоюза нашей губернии.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„КРАСНАЯ НОВЬ“,

ОТДЕЛ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Принимается

подписка на 1923 год

на следующие издания:

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

„КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ“,

журнал политики, экономики, агитации и пропаганды.

Выходит 1 и 15 числа каждого месяца
книжками в 96—112 страниц.

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

„КРЕСТЬЯНКА“,

орган отдела Ц. К. Р. К. П. по работе среди женщин.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

„РАБОТНИЦА“,

орган отдела Ц. К. Р. К. П. по работе среди женщин.

АДРЕС КОНТОРЫ:

МОСКВА, Милютинский пер., дом 22, кв. 44. Отделу период. литературы издательства **„КРАСНАЯ НОВЬ“**.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

„ОСНОВА“

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК, уг. Напалковской и ул. Красной Армии дом бывш. Кошелева, телефон № 1-31.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕЕТ: издательство, производственный и торговый отделы.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

(угол Напалковской и ул. Красной Армии, телефон № 1-31).

Вышли из печати новые издания по вопросам: общественно-политическому, историко-литературному, сельскому хозяйству, учебники, пьесы, детские и периодические издания.

К работам в Из-стве привлечены видные научно-марксистские деятели—литераторы: Л. И. АКСЕЛЬРОД (Ортодокс), П. С. КОГАН и др. Закуплены труды Л. Аксельрод «Очерки по истории материализма» и П. С. Коган. «Очерки русской литературы за последние 5 лет».

Производственный отдел:

имеет 2 типографии с вполне оборудованными отделениями: наборным, печатным, стереотипным, переплетным, литографским и линевальным.

ИСПОЛНЯЕТ всевозможные заказы и работы. Рабочих и служащих до 300-т человек.

Для исполнения художественных изданий, плакатов и других работ приглашен художник-академик Л. ЧЕРНОВ-ПЛЕССКИЙ.

Адреса типографий: 1) г. Иваново-Вознесенск, Алексеевская улица ф-ка быв. Кашинцева, телефон № 3-06; 2) г. Шуя, Стрелецкая улица, телефон № 97.

Торговый отдел:

СНАБЖАЕТ школы, библиотеки, клубы, нардома, учреждения, фабрично-заводские предприятия и проч. школьно-просветительными материалами, пособиями, канцелярскими и писчебумажными принадлежностями.

ИМЕЕТ представительство крупных издательств и Государственных торговых предприятий в Москве и Петрограде.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на комплектование специальных и общих библиотек и подбор учебной литературы по ценам издательств.

ИМЕЕТ большой выбор литературы (старой и новой) по сельскому хозяйству.

ВЫПОЛНЯЕТ быстро и аккуратно заказы.

ПРОДАЖА оптом и в розницу писчебумажных и канцелярских принадлежностей.

Оптовые цены ниже розничных на 10—15%.

ИМЕЕТ ОТДЕЛЕНИЯ В УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ:
Шуе, Кинешме, Середе, Юрьевце, Тейкове и Макарьеве.

АДРЕС: Оптово-розничного книжного магазина и склада из-ства-уг. Напалковск. и ул. Крас. Ар., тел. 1-31. Оптово-розничного писчебумажного маг. и склада-Социалистическая ул. маг. б. Ильинского, тел. 63

ПРАВЛЕНИЕ.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

„ОСНОВА“

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК, угол Напалковской и улицы Красной Армии дом быв. Кошелева. Телефон № 1-31.

ВЫШЛИ НОВЫЕ ИЗДАНИЯ:

1. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

ФР. МЕРИНГ. Исторический материализм (распр.).
Г. ЗИНОВЬЕВ. Из истории нашей партии.
А. БУБНОВ. Основные моменты в истории развития коммунистической партии в России.
Б. И. ГОРЕВ. Бакунин, 2-е издание.
ФР. ЭНГЕЛЬС. Развитие социализма от утопии к науке (распр.).
ФР. ЭНГЕЛЬС. Об историческом материализме.
КАРЛ КАУТСКИЙ. О материалистическом понимании истории.
П. ЛАФАРГ. Исторический материализм Маркса.
Иваново-Вознесенская губерния в гражданской войне.

2. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ.

Н. РЫБКИН. Учебник прямолинейной тригонометрии и собрание задач. Под редакцией проф. А. Я. Хинчина (распр.).

3. ПЬЕСЫ.

ЭРНСТ ТОЛЛЕР. «Разрушители машин». Драма из времен Луддистского движения, в 5 актах, перевод С. М. Городецкого.

4. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЕЛ.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ. (1823—1923). Сборник статей к столетию со дня рождения. Под ред. проф. П. С. Когана (с рисунками худ. Л. М. Чернова-Плесского).
Н. К. ПИКСАНОВ. Островский. Литературно-театральный семинарий.
Л. И. АКСЕЛЬРОД. Мораль и красота в произведениях О. Уайльда.
В. Г. БЕЛИНСКИЙ. К 75 летию со дня смерти (1848—1923).

5. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ.

«ТКАЧ»—новый общественно-литературный журнал. Вышел № 3.

6. ДЕТСКИЕ ИЗДАНИЯ.

ЛЕВ ЗИЛОВ. «Глиняный болван». Сказка, с рисунками Л. М. Чернова-Плесского.

7. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Агр. Г. ОВЕЧНИКОВ. Кормовой вопрос—основа хозяйства.

Портреты, открытки и плакаты к юбилею Островского.

Адрес издательства в МОСКВЕ:
.. .. Арбат, дом № 51, кв. 48. .. ..

АРХИВ